УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6
И43

Серия *«Русский Гулливер»*

Основана в 2005 году

Руководитель проекта ***Вадим Месяц***

Главный редактор серии ***Александр Давыдов***

Оформление ***Владимира Сулягина***

Иличевский А.В.
Бутылка Клейна / Александр Иличевский. – М. : Наука, 2005. – 439 с. – (Русский Гулливер). – ISBN 5-02-033916-4 (в пер.).

Александр Иличевский, поэт, прозаик, близкий в своем творчестве к стилистике европейской литературы начала XX века, но вовсе не пытающийся «изобрести велосипед». Его захватывающая сюжетность возвращает нас к идее авантюрного романа, но заставляет задуматься над смыслом бытия благодаря высокой изобразительности, фактурности, философской насыщенности текстов. Трудные темы, поданные легким языком. Доверие к слову, которое всегда доведет до истины, и к цифре, которая эту истину подтвердит. В книге собраны лучшие работы писателя: «Дом в Мещере», «Нефть», «Бутылка». Это первое издание, где Иличевский представлен настолько полно и внятно.

ISBN 5-02-033916-4

© Иличевский А., 2005
© Сулягин В., оформление, 2005
© Ян И., иллюстрации, 2005
© Центр современной литературы и издательство «Наука», серия «Русский Гулливер» (разработка, оформление), 2005 (год основания), 2005

ЛАБОРАТОРИЯ СНА

При обследовании в лаборатории сна к вашему телу прикрепляется бесчисленное количество датчиков: кровяное давление, кардиограмма, ритм дыхания, энцефалограмма, насыщение крови O_2, измерение усилий грудной клетки и брюшной стенки, движения левой и правой ног. Поутру вам представляют результаты. В ярко освещенной солнцем комнате молодая женщина разворачивает на столе с десяток графиков, приветливо сообщает, что ваше сердце не сделало за ночь ни единой остановки, и вы с замиранием этого молодого здорового сердца замечаете, как очаровательно приоткрылась створка халатика, когда барышня склонилась у монитора. На экране идет фильм с единственным актером. Это – вы. Вы лежите на постели, свернувшись в позе эмбриона и довольно внятно дышите. Видеокамера, установленная где-то на потолке, сняла вашу потустороннюю беспомощность от точки до точки. Это зрелище чудовищно, вы впервые видите себя со стороны. Вы думаете – неужели это я? Я? Нет. Тогда кто это? Вам становится страшно, вы отводите глаза в сторону телевизора, где показывают про Глеба Жеглова и Володю Шарапова. Звуки радио из автомобиля, стоящего под окнами, напоминают об очередной забастовке шахтеров. Вы судорожно пытаетесь вспомнить свои сны, – в них, очевидно, таилось что-то важное. Вам снилась какая-то детская сказка – например, Маленький Мук. Вы плутаете по тайникам своего полузабытого знания, но ощущение нераскрытой тайны не проходит даже тогда, когда вы догадываетесь, что уже давно думаете о семеричности мира. Все состоит из семерок. Никуда не денешься. Вы полностью переходите к этой проблеме, оцениваете, просчитываете, но вдруг, взглянув на женщину, внимательно наблюдающую за вашим скрюченным телом на экране, сопоставляющую ритмику вашего храпа с издерганными кривыми графиков, в ужасе прозреваете. Эта жен-

щина украла у меня мой сон! Теперь я потерял самое сокровенное. Самое сокровенное. И потом вы бежите по шоссе, берегом Каспийского моря, катитесь в электричке с сомнительными пассажирами, мечетесь по знакомой до боли раскаленной Москве, чтобы наутро вновь предстать перед той же самой девушкой с нежной шеей, впялиться в экран телевизора, где вы лежите уже на другом боку и видите другой сон, так и не вспомнив, как вы попали в это место – почему вас обрекли на такую изысканную муку?

Проза Александра Иличевского изобретательней, насыщенней этой первой пришедшей мне на ум иллюстрации, но цикличность ситуаций, их исключительность, как и простодушная парадоксальность персонажей, способных с такой же отстраненностью видеть себя со стороны, переходить с первого лица на третье, переливаться друг в друга, словно капли ртути, – схожи. В конце концов, где-нибудь в непроявленной сущности, в каком-нибудь состоянии Пралайи и сингулярной точке мы все равны: как течет время, нам неведомо, главная тайна кроется где-то там и внутри нас одновременно, а вовсе не в мультфильме по мотивам Шахерезады. Толпы двойников, замещение одного брата другим, внезапное проникновение в оболочку прадедушки или отца, постоянные перевоплощения взрослого человека в ребенка и наоборот кажутся оправданными на этих пересекающихся оборотах полиреальности, где всегда можно спрыгнуть с подножки поезда, но оказаться не на перроне, а в постели с незнакомой дамой... Правомерность художественного приема подкреплена явными законами мироздания, эта взаимоперетекаемость внутри бутылки Клейна в принципе дана нам в ощущениях, а инстинктивное нащупывание, всматривание, проглядывание в непроглядность Первопричины приличествуют каждому порядочному человеку.

> Похожий на обморок легкий действительности, напрочь неспособный к воздействиям воли, он мучительно длит свое действо под стеклянной броней видения. Его хищное зренье безнаказанно царствует в непонятных границах непросыпа, и никак его ни приструнить, ни привадить... Такой сон похож на лист, чьи мучительные слова внезапно покрылись твердым, как хрусталь, невидимым льдом, и теперь писавшая их рука более не способна вмешаться в их дальнейшее происхождение: перо отстранено – не процарапать, и слова теперь пишутся сами собой, будто с т о й стороны прозрачности кто-то рукою водит чужой какой-то почерк, в котором ты силишься узнать свой собственный и... узнаешь.
>
> Страшнее может быть только то, ч т о рука эта пишет.

Это из «Дома в Мещере», до настоящей трагедии еще далеко, пока так, намеки. Все захватывающе изысканно и наивно.

Герой поселяется в романтической квартире, уставленной пустыми птичьими клетками. Хозяин квартиры – бывший подводник, чувствующий себя на суше как летучая рыба, выброшенная на палубу. Он приходит за рентой, но вместе с ним появляется некий Горбун, который вроде бы ипостась хозяина (а может, и нет), но так или иначе теперь он передает какую-то тревожную весть, приглашение, письмо. «Она (женщина, скорее всего) вас ждет». В действительности Горбун приходит только затем, чтобы навсегда поселиться в сердце у героя: более того, напомнить, что он жил там всегда. Неожиданно герой умирает от яда. Нет, это ему приснилось. В действительности он едет в поезде, сходит на знакомой станции, оказывается на даче у друга и встречает в ночном саду крылатого Горбуна – большую птицу, сидящую на ветке яблони... Вот в чем дело! Однако мы ошиблись, – мы что-то неправильно поняли при прочтении. Действие возвращается обратно в птичью квартиру, Горбун уже живет там, живет, чтобы сказать в нужный момент, когда и куда нужно ехать, и они, конечно, едут, и вот они снова в поезде с усердием рассматривают пассажиров, и герою приходит в голову, что давно уже пора сделать обманный ход. Он решает уехать на курорт. В Хайфу. Вместе с девушкой Катей. Именно она и была ему назначена «горбатой» судьбой. Но и от нее он убегает и после лирического отступления обнаруживает себя на какой-то чужой крыше голым, завернутым в простыню. Опять провал, потеря памяти. Они идут с ней берегом Мертвого моря. Пограничники с пониманием дают им какую-то одежду. Потом вдруг, как само собой разумеющееся, пропадает она. Они опять в поезде с Горбуном (он теперь всегда с Глебом, словно злобный карлик на плечах Синдбада-морехода). На станции их хватают санитары. Опять амнезия. Наконец оба попадают в «Дом в Мещере». Лабиринт из пяти этажей. Охранники и пальмы в кадушках. «Наш Дом похож на роддом. Здесь принимают смерть, как роды». Разумеется, они в палате для умалишенных. Повествование выравнивается. Оно должно было выровняться: либо таков закон жанра авантюрной прозы, либо таково чувство самосохранения автора – на такой скорости можно зайти слишком далеко. Новые герои знакомятся друг с другом, размышляют о «божественной сложности нуля», и задним числом перелистывают вороха старых приложений к журналу «Нива». Гуляют, готовят побег наподобие Цинцината.

Во всех четырех частях книги («Дом в Мещере», «Нефть», «Случай Крымского моста» и «Бутылка») Иличевский так же последователен.

В «Нефти» (самой скоростной и элегантной повести этой книги) необходимая «интрижная» спираль раскручивается на фоне азиат-

ского барокко, в Баку. Молодой человек, герой «Нефти», заперт в четырех стенах с авторучкой и пачкой школьных тетрадок: в своих мемуарах он должен проговориться, куда спрятал драгоценнейший алмаз своего прадедушки Иосифа Розенбаума. В «Бутылке» обнищавшего математика после спиралеобразных катаний по Москве и непонятных проверок отвозят на о.Кипр, где он отмывает деньги нуворишей. В «Случае Крымского моста» герой еще не пойман (еще не успели), но он – преступник, убийца. Его вращательная судьба тоже прокатывается по пригородным поездам, застревает в метро на мосту у Воробьевых гор и заканчивается на Крымском. Ленты Мебиуса, бутылки Клейна, россыпи головоломок. Иличевский с налету, фантазируя на ходу (мол, там посмотрим) бросает своих персонажей в центрифугу пестрых, иногда взаимоисключающих событий – так, что и у него, и у читателя захватывает дух, а потом с усердием запирает их в клетки рассуждений, лирических отступлений, метафизических прозрений. В «Мещере» он предлагает график функции самодовольства от возраста. В моей лаборатории сна все было бы гораздо «прозаичней».

Женщины в текстах Иличевского сомнамбуличны, загадочны, они всегда появляются, чтобы прошелестеть платьем, радостно насторожить, но затем раствориться в образе медсестры, занимающейся «клиническим интервьюированием», или попросту уйти работать в студенческую столовую. Никаких проявлений страсти по существу нет, страсть для автора слишком темная и животная сущность, как ураган, как бич Божий: потому он удивительно целомудрен. Катя, Циля, Ирада – по существу, один и тот же образ женщины, который по своему метафизическому предназначению мог бы находиться на полотнах Вермеера, не испытывая при этом комплекса несоответствия. Художник путешествует с иными таинственными целями: бутылка крымского вина тем и символична, что ее невозможно открыть.

Писать о ребенке, пьянице или дебиле легче, выигрышнее. Расщепленность сознания персонажа позволяет использовать весь арсенал недомолвок и размытостей, требуемых художественной логикой или произволом автора. Однако в толпах героев Беккета, Саши Соколова или Дастина Хоффмана из «Человека дождя», столь благодарно востребованных в ушедшем веке, может статься слишком тесно. Насколько еще эффектен лирический герой с очаровательными аномалиями? Насколько он непредсказуем? Или любовь к грустным чудикам содержится в нашей сострадательной природе? Заметьте, фигура застенка (дурдома, полицейского участка или лаборатории сна) в предложенном ракурсе необходима, без нее не

создашь напряжения трагедии, не напомнишь что все мы, по сути дела, сидим в таких же каменных мешках «Самсоновых загадок».

> Если Господь все же отыщет себе мою историю, может быть, ему будет любопытно припомнить, чего ради и как он меня в нее втянул. Сама история, если внимательно ее размыслить, не так уж и важна, поскольку она – кульминация и развязка и, как и все взвинченное и мгновенное, отчасти бессмысленна; но вот то, что ввело меня в нее, и то, благодаря чему она стала возможна как случай, мне самому представляется существенным и вполне достойным изложения. Им я и продолжаю.
>
> Все началось, как вы можете уже догадаться, с моего прадеда, который приключился своим рождением в одна тысяча восемьсот восемьдесят четвертом году – в Баку, в доме, похожем на сон. На сон, который бродит вокруг меня, когда я, пытаясь избавиться от себя, думаю о своем прадеде. Сон невозможно выдумать, он – явление, и если сон состоит из прошлого, то есть бывшего, то это не сон, а простое переживание, всего-навсего глупо удваивающее уже отслоившуюся реальность.

Категории тайны. Тайну носят за пазухой. На нее надеются в иных мирах. Иличевский добросовестно что-то скрывает или, наоборот, выпячивает, перенося по повествованию таинственные предметы. Тайна должна томить. «Словно тайный горб на груди таскаю – тоска такая». Горбун – главная тайна «Мещеры». «Полость носимой им тайны растет вместе с моим отчаянием. Его горб, налившийся, как плод, зрея». Таким же сверкающим объектом является алмаз в повести «Нефть» – он далек, неподвластен разуму, но он – из того самого списка, который дети считают загадочным. Новорожденная девочка, с которой бродит убийца ее матери в «Случае Крымского моста» – та же самая переносимая из абзаца в абзац тайна, как и бутылка южного красного из заключительной части книги. Семейные тайны, тайны происхождения, путешествия по изгибам стекла загадочной бутылки Клейна, чей внутренний объем невозможно отделить от наружного: на этом можно продержаться какое-то время, но не до конца. Оркестровка и количество приемов увеличиваются с каждой страницей: не знаю, почему автору было необходимо включить в каждую из частей фигуру сочинителя – появляется новая степень свободы, – но ведь и «последней простоты» в этом нет.

«Я автор, я пишу книги», – Иличевский сообщает и об этом. Я – читатель, радуюсь. Мысль о подростковой радости приходит на очередном «вязком» отрезке текста, когда вдруг вспоминается «Сто лет одиночества», «Моби Дик» или «Рукопись, найденная в Сарагосе». Это же – почти детская литература, авантюрный роман эпохи

Просвещения, счастливая наивность сочинительства, изучая которую, мудрец может в очередной раз задуматься, а ребенок – запросто пролистнуть страницы с каббалистическими выкладками или гимны Божественному провидению, чтобы вернуться к долгожданным приключениям. Вспомните, сколько раз Альфонс из «Сарагосы» после сладких грез или волнительных поединков вновь оказывается на горе, под виселицей Лос-Эрманос, где болтаются два бандитских брата Зото, или сколько раз Шахерезада возвращалась к прежнему сюжету для своего царя... По этой же причине персонажи Иличевского возвращаются в поезд или на какую-нибудь неопознанную крышу, так самолет взлетает из Баку в Москву, но терпит аварию именно в точке отправления (именно в это время и происходит очередной виток сюжета). Авария была неизбежна, и самолет, кружа над бакинской бухтой, сжигал бензин, чтобы избежать взрыва при падении...

Понятие «закрутить сюжет» выступает здесь настолько наглядно, настолько кинематографично и щедро, что за работой автора следить перестаешь. Начинаешь удивляться вместе с ним. Если в романе уже есть один Горбун-карлик, то из-под печки должна когда-нибудь выползти карликовая мышь – серый комочек, который навсегда остался мышонком. Хулиганы поймали героя, он думает, что они его убьют, даже съедят. От страха он начинает говорить по-английски и хочет запеть «Интернационал». – Догадайтесь, как эти обкуренные анашой подонки злодействуют? – Они рисуют его портрет! Вот как! Они говорят, что на портрете он похож на бабу. Удивительно тяжкое преступление. Он плачет. Они изуродовали его лицо. В другом случае герой узнает, что вот-вот станет обладателем гигантского состояния в Апельсиновом графстве Калифорнии. Что произойдет дальше? Он увидит небо в алмазах? Нет. Отравленный собственной нервной системой, он идет по улице, бросает случайный взгляд на женщину в телефонной будке, и его начинает тошнить. Более того, женщина тоже не может удержаться от накатившего спазма. С пешеходами тоже творится что-то неладное. Вскоре заблевана по колено вся улица, но и милиционеры, подоспевшие к месту трагедии, – блюют. Такая вот морская болезнь по Феллини. Иличевский работает в жанре, где все пронизано игрою, будь то каузальный или событийный поворот. Люди начинают говорить, дискутировать, но через несколько минут оказываются в таком месте речи, откуда назад не возвратиться. Хотя бы поэтому те застенки и тупики, в которых они рано или поздно оказываются, становятся прозрачнее. Буддистский абсурд приводит к прозрению. Варианты побега из «черных дыр» должны быть непредсказуемыми, чтобы и ты сам вздрогнул от изумления. Так работающий на бандюков быв-

ший математик из повести «Бутылка» спасает свою бессмертную душу тем, что поднимает из затопленной нацистской подлодки груз матрасов, набитых волосами убитых евреек («утиль женских волос») и погребает их на Святой Земле. Варианты побега из «бытийного тупика» почти всегда связаны у автора с водной стихией. Где еще найти воду современному городскому человеку, как не в ванной комнате? Через нее и лежит путь к бегству от экзистенциального ужаса.

> Пробравшись на ощупь в ванную, я сбиваю все краны, чтобы вспухшей водой затопить потемки, вытеснить их. Спустя время слышен далекий рокот: воды внешние отозвались – так волки собираются мелким зовом, писком щенка от дворовой суки, – и вдруг, осознав, что они обманулись, медлят мгновенье, но все же начинают свою яростную защиту. И вот, завертело, бросило, подобрало, занесло, всплюнуло, протянуло... И от счастья задохшись крепчайшей пеной, пряди водорослей посдернув, медленным брассом, фырча и роя, я выбираюсь на мелководье, вижу дно и танкетку краба, ковыляющего наискосок в направлении к камням, по мини-дюнам, – я вижу, поднырнув над стайкою бликов, как солнце погружается в воду, пуская свой луч-острогу, и, тонкой струей проливаясь, себя на него надевает: и морским ежом, шурша, зарывается в воздух.
>
> Я проверил, на полный ли оборот открыты оба крана, и, убедившись, попробовал их сорвать напрочь. Медные вентили никак не сворачивались, я стал бить по ним ногой. Только погнул.
>
> Всхлипы регулярно выворачивали меня наружу. Должно быть, лицо мое при этом страшно изменялось, и я зачем-то подумал: как хорошо, что разбилось зеркало. Не думал я, что окажусь такой плаксой.
>
> <...>
>
> Стараясь продлить облегченье, я закрыл глаза и стал представлять над собою небо, высокий берег, деревья, тихо смещающиеся в вышине их макушек, – и постепенно добрался до того места, где меня вдруг настигла и стала медлить в обгоне баржа, появившись насыпью белого, как соль, щебня – из затылочной области моего стороннего зрения. Наконец, показался куцый буксир. На его палубе, колышась, надувалось сохнущее белье; стоял стол с самоваром, за ним мужчина пил чай из алюминиевой миски, держа ее, как пиалу, в раскрытых пальцах; подле стола были приделаны к трубе качели – на них, смеясь, раскачивалась девочка...

Через воду (пусть даже водопроводную) автор и выбирается к своему самому сокровенному. К морю или реке, к крабам и рыбам. К Астрахани и вожделенной Хазарии. Даже по мимолетным штрихам в этих текстах чувствуется человек натуральный, рыболовный: у кого-то из героев была ротанья голова (ротан-головешка), [в га-

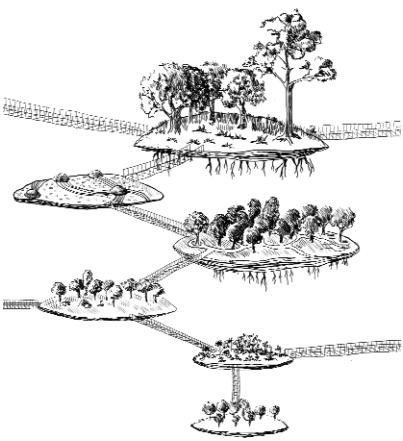
маке] «мы лежим валетом, провисая легко, как тяжелые рыбы в ячейках»... Но одна из главных притч, появляющихся в самом начале книги, это – сон о летучей рыбе (глубоководной птице), забравшейся на такую глубину – как и ее отраженье, – на такую немыслимую высоту, что уже невозможно ни взлететь, ни спуститься обратно. Она и есть главный образ.

В текстах нет прямых размышлений о сущности воды. В этом чувствуется пиетет, мистическое почтение. О пчелах – пожалуйста. «Поедание меда – кощунство, что-то вроде канибализма». О воде – нет. Мы уже – в воде. Мы тоже погружаемся вместе с автором все ближе и ближе к безжизненному дну мировой тайны, путаемся в водорослях текста, вдыхаем облака разумного и неразумного планктона, не ведая, успеем ли дочитать написанное или нам не хватит объема легких. Автор тоже не знает этого, он признается: «я не думаю, я рассказываю».

Есть в книге и другая притча. О каком-то «веселом» парне, эмигранте ностальгически вернувшемся в Москву. Он садится на воздушный шар обозрения, поднимается в небо и неожиданно для устроителей обрезает шнур, на котором вешается. Подвешенной куклой-небожителем он летит над нами – и нам становится понятным счастье этого трагического хулигана: Капотня, Лосиный Остров, улица Дирижабельная, Марьина роща, Страстной бульвар, Трехсвятительский переулок, Самотека, Красная Кривая улица, Набережная и дворец Ширваншахов в Баку, Кумран и Эйн-Геди, Маале-Адумим и Саусалито. Иличевский показывает нам страну, в которой хочется остаться, в которой хочется жить. Может быть, поэтому мои друзья, русские стриптизерши в Нью-Йорке, зачитали его первую книгу до дыр и вернули мне лишь жалкие обрывки. Находиться в заокеанской лаборатории сна им наскучило.

Вадим Месяц
Декабрь, 2002

дом в мещере



Памяти Ирины Семеновны Кайдаловой

...И если увидишь существо с туловищем человека и головой козла, знай - не человек это, и обращайся с ним, как с нелюдем. Но если встретишь существо с телом козла и человеческой головой, то знай - человек то, и обращайся с ним, как с человеком. Ибо глаза - первый и последний признак существу, что хранит оно образ и подобие Господа, Бога нашего.

Гемара

...есть солнечный тяж.

А. Парщиков

Глава 1

ГОРБУН

Квартира, где я тогда жил, была похожа на разоренную голубятню. Хозяин – давно вышедший на пенсию подводник – оставил ее мне набитой всякой древней всячиной, а сам переехал к вдове брата.

Перебираясь вслед за бездомностью своей с квартиры на квартиру, я привык их оценивать по снам, которые в них снились. Обстановка и местоположение в городе мне были безразличны. От уюта я отвык давно, а при наличии метро и книжки в рюкзаке можно жить хоть на луне. Но подробности обустройства этой моей последней квартиры в самом деле оказались занимательными. Из трех комнат одна была почему-то до потолка заставлена невычищенными птичьими клетками. Протиснуться в нее значило рискнуть попасть под обвал из охапок проволочного воздуха и осыпей шелухи от выклеванных семян и сухого помета. Из приоткрытой с опаской двери было странно видеть большой, насквозь зарешеченный куб солнечного света. В остальных комнатах и на двух антресолях – в кухне и прихожей – обнаружилось множество всевозможных приспособлений: связки тонких реек с прилаженными с одного конца петлями, овальные сачки, сетки, скворечники с захлопывающимися створками, силки, путанки, кормушки, поилки, манки и дудочки; среди всего этого попадались мешочки с мелом и зернами, горстки таблеток, завернутые в надписанные клочки бумаги, – наверное, птичьи витамины. Орнитологические атласы и экспедиционные обзоры составляли чуть не половину краткой, но беспорядочной библиотеки этой квартиры.

Чем именно занимался, выйдя на свою раннюю пенсию, мой хозяин, так и осталось для меня загадкой. Спросить у самого, когда,

упредив звонком, он являлся за квартплатой, – я раз за разом не решался. Его мрачный, немногословный вид предупреждал от любых расспросов. Войдя, он останавливался у порога и, пока я хлопотно добывал из вечно забываемой заначки деньги, сосредоточенно постукивал по стене кулаком.

Однажды я все-таки спросил. Помолчав, прерывисто ответил: во время рейдов – в общей сложности семь лет он проплавал офицером химзащиты в атомной банке – ему часто снился сон о глубоководной птице, которая, вынырнув, никак не могла лететь и падала в глубь обратно... Кавторанг осекся, порывом взял деньги, вышел. Тугие взмахи сверзающихся крыльев еще какое-то время неостановимо поглощались, как зеркальной поверхностью – взлет, – нисходящей теменью глубины моего воображения.

Наконец, мне стало неловко за свое любопытство. Даже почувствовал, что лицо горит, будто это я что-то ляпнул и теперь – стыдно. Решил догнать и извиниться. Конечно, это было глупо. Сделай я так в самом деле, – только бы умножил неловкость. Он даже мог бы подумать, что в его квартире живет сумасшедший...

Я выскочил за дверь. Он обернулся. Я заглянул в почтовый ящик и задумался. У меня это уже рефлекс – с места прошлого жилья – достать больничную повестку и скомкать, не читая. Даже если ее там нет, все равно заглянуть, – чтоб стукнуть со злости дверцей. Потому я, отчасти, оттуда и съехал, – уж очень меня раздражали эти бумажки, призывы к приводам. Но память движений осталась, что с ней делать?

Пока, себя в неловкости уловив, я ощупывал снутри свою застывшесть, – хлопнула дверь парадной.

Сбежал вослед на полпролета, но раздумал.

Удивительно, что он вообще счел нужным мне ответить. Но, с другой стороны, любопытство мое было вполне простительным...

Вскоре моему смущению нашлось объяснение. Чувство неловкости сменилось ясностью, что в его пунктирном, разумеющем нечто большее рассказе заключен смысл – но не сюжет – моего собственного сна, который давно уже отрывочно является мне в этой квартире, – и что, если его начать рассказывать, то это и будет продолжением истории о летучей рыбе... Но следом я осекся: подумаешь, человек объяснился, как мог, и на том спасибо – не мое это дело: мыслить это большее.

Однако, я успокоился напрасно. Никак я не ожидал, что сон, будучи уже начат чужими словами, скоро сам станет рассказывать себя и что мною для этого уже усвоены первые буквы его специального алфавита.

В этой квартире со мной ничего чрезвычайного – ни плохого, ни хорошего – не приключалось. Там не было тоскливо и жутко, как в пустом осином гнезде и как в некоторых прочих квартирах, где мне приходилось жить, – но там было грустно и немного влажно. В целом – я доволен. И сейчас, после того как внезапно пришлось ее покинуть, меня беспокоит, удастся ли уладить просрочку по оплате. В конце ноября непредвиденная, но не предвещавшая ничего особенно дурного загородная поездка неожиданно обернулась для меня рискованной экспедицией, настоящим путешествием, так сказать, в куда-бы-не-посоветовал-никому, и теперь неизвестно, когда все это кончится и кончится ли вообще. А если все-таки кончится, значит, беспокойство мое совсем не праздное, так как квартира мне все же понравилась и вряд ли легко удастся найти подобную. В общем-то, именно это мое житейское волнение можно рассматривать как отчаянное следствие подспудной надежды на счастливый исход. А если – нет и я больше никогда не вернусь, то так тому и быть, и поэтому – ни беспокоиться, что вот как неловко с квартплатою вышло, ни сожалеть о квартире, да и вообще думать о каком-либо прошлом не стоит. Но я не думаю, я рассказываю.

Иногда по субботам, бродя бесцельно по комнатам, я подходил к окнам и подолгу смотрел в них. Окно в спальне выходило на широкий бульвар. Там – холм, и – если зима – он был, как бельмо, выпукло белый – близоруко – впритык – пялился в яркое небо, и снег на нем лежал, как низкое облако, которое, зацепившись за верхушки, осело, расправилось – чтобы отдохнуть и вглядеться туда, где оно было – плывя и тяжелея...

Холм этот – и дорожки вокруг – излюбленное место для выгула собак из окрестных домов. Я прогуливался там каждый ясный вечер, хотя у меня нет собаки. Небо легко окрашивало снег, и он, казалось, становился теплее. Я медленно смотрел по сторонам, подолгу заглядывая в кружевной воздух деревьев. Если пес, погнавшись за брошенной вдаль хозяином цацкой, попадал в места, где снег по брюхо, движение его взрывалось пушистой вспышкой.

В иные воскресенья на этот собачий холм, кряхтя и препинаясь, как божья коровка по бело-наливному яблочному боку, выбиралась смешно разукрашенная незабудками «Победа». Из нее и с багажника на крыше двумя юношами в спортивных куртках выгружались разные приспособления и части оснастки, среди которых главным был длинный рулон блестящей на солнце ткани (высовывавшиеся из-под надкрыльев кончики прозрачно-сетчатых крыльев). Через некоторое время прихотливых приготовлений с пыхом и гудом взрывалась вулканом горелка, и неровно расправленная на снегу

ткань начинала степенно набухать в колышущийся шар, который, став наконец тугим, слегка подрагивал от сдерживаемой тяги полета на крепких стропах.

В несколько приемов собиралась и прилаживалась легкая корзина из алюминиевых планок и веревочного макраме.

К этому времени с дорожек бульвара и россыпью из близлежащих домов к вершине холма стягивалась любопытная толпа зрителей. Некоторые, собираясь полетать, несли в руках захваченные из дому бинокли и подзорные трубы.

И вот, однажды (в общем-то, ради этого и еще одного «однажды», случившегося месяца три спустя после выписки из больницы, я и стал рассказывать) в этой толпе появился бледный, как оттепельный снег, очень высокий человек, настоящий Гулливер. Его, казалось, совершенно не интересовали происходившие приготовления. Он стоял, выделяясь, с непокрытой головой, твердо глядя на серебряный шар темными, влажными, как из глубины дурного сна, глазами. Молотый перец щетины оттенял, присыпав, резкие скулы. Упорный подбородок прижимал скрещенную у горла полоску кашне.

Мне захотелось съесть бублик, я спустился с холма, зашел в булочную и вернулся обратно, когда все уже было готово, вспомогательная горелка потушена – и теперь стыла, шипя, на сером талом пятне снега.

Полет стоил двести рублей, и юноши-воздухоплаватели ждали, когда найдутся желающие разделить между собой цену и тесноту корзины.

Он подошел к ним и сказал, что хотел бы полететь один. Ему стали что-то объяснять и показали, как устроен стравливающий клапан. Расплатившись, он забрался в корзину, выпрямился – и задел взглядом меня.

Стропы отпустили, шар стал подниматься, сдерживаемый одним страховочным тросом. Он не смотрел вниз, он твердо смотрел прямо перед собой и, казалось, поднимал глазами то, что видит окрест, – округу; но – что видело его, – оставалось внизу, пренебреженным.

Когда страховка, упруго дрогнув, исчерпала себя, он был все еще виден, хотя и поднялся раз в семь выше всего в округе – и, возможно, уже мог различить: и площадь трех вокзалов с каланчевско-спасской петлей вокруг, и изгиб Яузы, и даже стопки кремлевских соборов, – и было видно, что еще чуть-чуть, и та тройка точечных белых голубей, запущенных под недавний гомон и свист с балкона соседнего дома и едва различимо барахтавшихся, кружа, как глазные мушки, в размытом солнечном пятне на самом донышке белесого неба, – станет так достижима, что – если захочешь – можно скормить им с руки несколько бубличных крошек...

Но вдруг что-то стряслось.

Что-то вверху, дребезжа, оборвало страховочный шнур, и он, глухо звякнув, провис. Десятки метров капрона, змеясь стаей зигзагов, рухнули в снег – и хлестнули по толпе.

Кто-то вскрикнул. Кто-то выругался. Мужик в плешивом полушубке присел и стал махать шапкой, как снятой головой...

Шар рванулся вверх, его стало плавно сносить, и он, на время затмив, совместился с солнцем.

Далее люди вырывали друг у друга бинокли и подзорные трубы. Выхватывали, чтобы видеть, как на обрывке шнура висит в вышине под корзиной воздухоплавающее тело, – и концы кашне, выбившись, свисают параллельно рукам, параллельно запрокинутому взгляду.

Финал этого полета я увидел вечером в новостях: шар наконец приземлился в Капотне. На следующий день прочитал в газете: Михаил А., эмигрант, семнадцать дней назад прибыл на побывку, с друзьями видеться отчего-то не стал или не успел, причина неизвестна.

Но главное – вскоре я вновь этот воздушный рейд увидел в ночном кошмаре, где двумя чужими зрачками уносилось прочь в слепоту мое вобравшее город зренье...

Окно в кухне выходило во двор. Однажды утром осень в нем исчезла. Громадный белый свет, выпав из низкого облака, вытеснил разом обморочную жухлость пространства, – которое, так и не успев обмолвиться последней постепенностью, взмыло куда-то вверх. Опрокинувшись и исчезнув, пространство оставило по себе свой отпечаток – призрак негатива, которому предстоит, пробуждаясь, быть проявленным весной. Просторная белизна, свободная для утраты нового взгляда, оказалась безопасным вариантом слепоты – испещренной застывшими черточками веток, теплыми пятнышками асфальта, кляксами канализационных люков, обрывающимися в воздухе лесенками галочьих следов...

Слепота эта безопасна потому, что она – внешнее, в нее можно проникнуть, у нее есть порог. Настоящая слепота – всегда внутреннее безграничное путешествие: в него не войти, из него – не выйти. Так моллюск обречен буравить тоннель своей раковины-дома.

Осязание слепца не есть отслеживание его мнимой границы, но ощупывание перемещения внутри его разбухшего до окоема лабиринта. Разбухшесть внутреннего настолько избыточна, что вымещается и на внешность. Отчего лица слепцов обычно так одутловаты, что щеки, подглазья, почти смыкаясь с крутыми надбровными холмиками, делают их облик схожим с видом трехдневного утопленника, всплывшего на свет где-то вниз по течению на четвертый.

Размытость телесных границ: туловище, лицо человека, утопшего в темноте, – бесформенное бельмо, расплывшееся по облику. Все одутловатое тело – сплошной ослепший глаз, лежалое рыхлое яблоко, чей цвет – бледность.

Лицо слепца есть слепок, как посмертная маска, снимок ландшафта вспученной внутри него темноты, в которую никак не вглядеться. Негатив делает размытую волглость черт внятной: выпуклое становится вогнутым, избытки бесцветного гноя лопаются тенями. Но что может быть бессмысленней фотографии слепца?

И все-таки во внезапности, с которой ретировалась осень, не было очищающего качества ополаскивающей временной перегной пустоты. Здесь был какой-то подвох – какое-то спотыкание, рушащееся под ноги с непроизносимым междометием, – язык беспомощен, поскольку как бы прикушен от удара, от которого легкий нокаут, – тугим сгустком крови накативший в область переносицы, отчего зрение слегка передергивается, кратким всплеском становясь по периметру орбит выпуклым и смутным, и стоп – пропало, и нет ни чего, ни что, ни до, ни после: ни облака-неба, посеявшего свет, ни слякоти снежного воздуха, провисшего грузным пролетом вороны – неуклюжим цеппелином снявшейся вслед за своим «кар-р» с березы, обнаружив вдруг блестки вороньего интереса в мусорном контейнере; ни сумасшедшего горбуна в латанном на плече линялом плаще и в морковного цвета берете, по двору кругами сужающего свое брожение к помойке, – он долго движется в нерешительной медленности, колеблясь и стесняясь, но, завидев вороний слет, решительно – на опережение – бросается вперед, чтоб настичь наконец свое любопытство: что там за «кар-р», который нам, возможно, пригодится?

Наконец из контейнера вынимается бесполезное – в виде жестяной банки из-под оливкового масла. Горбун шевелит губами и о чем-то причмокивает, качаясь на каблуках, раздумывая, удаляясь. Отлетевшая в недалекое прочь ворона, вернувшись осторожным комом сверху, клацает по горлышку металла: банка тяжела, ворона в глупости своей упорна, и кошка, крадучись, вдруг появляется в ее опасной близи. Птица, косясь на угрозу, сковыривается, не разжимая клюва, с края и, плюхнувшись со звуком жести оземь, загребает крыльями по снежной мокряди и, перемешивая и взбалтывая белизну. Как-то очень уж механически мелькнув, кошка «кошкой» вцепляется в ворону, на нет ее низводит, треплет, жмет – и замирает; снова треплет. Горбун, всплеснув руками, подбегает, за шкирку дергает, мычит рябому хищнику «пусти», – тот, жадностью инстинкта неподвижен, держит насмерть, ворона трепыхается на грани, предсмертный «кр-р» исторгнув напоследок; и этот сложносостав-

ной скандал весь целиком долой вдруг исчезает, поскольку разом все запахивает штора, и варится неспешно превосходный колумбийский кофе, и сигаретой – первой за день – выводится наружу легкое круженье головы...

И вскоре кофе варится повторно, немного чтения и добыча почты из ящика на лестничной площадке (удобство жизни в первом этаже)... Какое странное письмо: знакомый, но, увы, не вспоминаемый никак – как вспышка бреда – почерк: нет, не может быть, старательный, по-детски выпуклые буквы, таинственно отсутствуют обратный адрес, штемпель; так о чем же? Конверт был торопливо вскрыт, а в нем одна лишь строчка и... (Глеб даже присвистнул, шагнул, отпрянул, стал.) Разряд, обрыв, короткий первый всплеск потока немоты, залившей зренье, и дальше – белое бельмо пространства: двойной тетрадный лист, как полигон для беспощадного припоминания... Которое мгновенно все вокруг заполонило, живя неспешно, развиваясь.

И взгляд во двор повторно возникает позже, заставая горбуна качающимся в детском городке – на скрипом исходящих маленьких качелях. Он что-то ест, беря щепоткой из расправленной газеты на коленях, говоря ни с кем о чем-то (жесты диалога), рассказывая себя – отсутствию: подробно, не спеша и непрерывно, мгновенно реагируя на молчаливый отклик. Речь его бродит в ауре звука бессвязно, перемигиваясь с неизвестным, как по живому сумраку болота огоньки. Его речь того же – газообразного – свойства: от перебродившего одиночества жизни. Горб топорщится из-за ключицы, как флажок идущего в бой самурая. Чей вызов он принимает, куда помещает на длительность сна свою неизбывную мерцающую речь, чье содержание – озвученные движения видений, которые никак не схлынут, не изыйдут, однажды стоглазым жучком заблудившись в лабиринте ушной улитки...

Вдруг возникает на предчувствии и припоминании замешанная уверенность в его ангельском, постороннем происхождении. Этот горбун был встречен и в детстве, и в юности, и сейчас объявился со снегом, и снег потому – понимая – уже не страшен, спросонок поутру открывшись зиянием зрения. В детстве – он, сцепив руки на пояснице, будто поддерживая котомку горба, шел по бордюру, насвистывая «Синюю луну» – и, отозван в промежутках, отвечал, прерываясь, на птичьем – детском, родном языке, – порывисто оглядываясь на вывески, оставаясь точно, ровнехонько на бетонной рельсе, – и беззаботным канатоходцем вышагивал далее – не глядя на улицу вниз, будто бы в пропасть.

В юности он иногда приходил в студенческую столовую, чтобы, взяв экономно двойной гарнир и много хлеба, в черном коротком

наглухо застегнутом пальто – сидеть, согреваясь в затхлом, нищенском воздухе помещения, застывая надолго зигзагом великолепного профиля, не жуя, задумчив, печален без скорби, и возвращаясь – как к ноше – к тарелке, перебирая вилкой гречневые крупинки, – он был почему-то самым существенным из того, что тогда время от времени происходило, и, глядя на него, комом становилось проглатываемое, что-то начинало рябить в глазах и какой-то трепет передавался вокруг, возвращаясь к губам и векам – не жалость, нет, но что-то необъяснимое и важное, самое главное на свете и самое непонятное, – настолько, что однажды получило странное, неуместное проявление вовне – когда решительно встал, пренебрегая захватывающим разговором о только что сданном зачете, и, шатаясь в зыбком от навернувшихся глупых слез проходе, прошел как бы случайно мимо, обронив на ходу на поднос пятерку. Далее – бежал, глухо сдерживая рыдания, а вылетев прочь, оказался легким, и все стало, несмотря на стыдный осадок, светло и ясно, и пора уже было на семинар: пора, пора, едва поспевая на опоздание...

Год спустя я сидел, болтая с приятелями, покончив с синюшным яйцом под якобы майонезом и двумя порциями салата «Нежность», жуя корку черного и выуживая ложечкой чернослив из мутного столбика компота, – когда он, медленно прихрамывая, можно сказать – небыстро ковыляя, проходил мимо нашего стола и так же точно – не глядя вовне, как в зеркало, обронил те же деньги подле моей тарелки: сунув руки в карманы пальто, неторопливо вышел, у двери внимательно подняв голову к узкому стеклу пасмурной фрамуги.

...И вскоре он исчез, не появляясь ни в нашей «тошниловке», отсутствующе продвигаясь в шумной, голодной очереди, подтягивая грязный поднос вдоль раздачи, ни на улице Дирижабельной, у булочной, – запрокинув взгляд в верхушки тополей, собеседуя с кем-то – там – там – наверху, – ни у станционной кассы, чертя ногтем на заиндевевшем стекле расписания, приговаривая: «крестики-нолики, крестики, что?»

Больше я никогда его не видел, вспоминая, – не видел до сегодняшнего никогда: до первого снежного утра, когда появилось письмо.

Письмо, конечно же, письмом, и воспоминанье, всколыхнувшись и поначалу будоража, развилось и основательно пожило, оживляя, – но все же, себя за давностью исчерпав, схлынуло – и стало ко мне равнодушно. И все-таки что-то произошло. Что-то, с чем нужно было теперь разбираться. Сначала строчка. О ней я забыл, узнав сразу, навылет, а дальше – благодаря ей возникшее все заслонило и, обманно увлекая внимание, понесло в сторону от существа этой фразы.

Начало же именно в ней. Ее нужно разобрать по буквам и, вынув, отложить в сторону знаки препинания, как вытащенные из старой доски кривые гвозди. Нужно выследить каждый штришок ее сделавшего почерка, – чтобы знать направления, куда фраза эта может завести. Знать это важно потому, что событие, когда-то выжегшее, как дымное клеймо, на моей памяти в этой страшной последовательности эти слова, оказалось подобно взрыву, мгновенно сорвавшему откуда-то сверху лавину пустоты. Но только сейчас, спустя мутный поток календарного времени, до меня донеслись взрывная волна и пламя, и осколки жизни – и, возможно, только сейчас они угрожают настоящей смертью телу, чье существование еще тогда от взрыва было умалено наполовину, но которое все же зажило в передышке бессознания и – как ампутированное зрение приобретает наконец новый орган, подслеповато проклюнувшийся из ладони глянцевым боком, – приобрело видимость своей полноценности.

Он отошел от окна, в котором снег и пусто, и двор, и в нем скрипучие качели, на которых вестник, легко раскачиваясь, ждет. Взял в руки письмо, поднес к глазам и стал выслеживать почерк.

То полупрозрачное, что осталось от окна на сетчатке, – в затылочной области удерживающийся графический срез света – наложился на лист бумаги, и линии букв, повторяющие траектории глаза, почти совпали с движениями качелей. Кое-как выбравшись из этого наваждения, Глеб, стараясь не поворачиваться к окну лицом, ополоснул джезве, сварил еще, внимательно следя за пенкой, кофе, налил полчашки – и, спохватившись внутренне, вдруг обернулся: качели неподвижны – никого. Неровная, тревожная идея, что тот горбун внезапный неспроста случился в этом утре и что, его теперь пустивши восвояси, он потеряет ключ к тому, что было, есть и будет, – заставила себя опередить и броситься в прихожую – одеться: впопыхах, в рукав плаща одной рукою не попав, не выключив конфорку, свет и не проверив, есть ли деньги.

Он открывает дверь – и застывает.

Горбун на корточках сидит под дверью и, на него не глядя, роется в карманах, оттуда доставая разные клочки, кусочки, какую-то тряпицу, горсточку монет. Живя на первом этаже, он к этому привык, когда, домой под вечер зимний возвращаясь, в подъезде он нередко находил живые сгустки сумерек в углах – бомжей и просто человеков, свернувшихся в комочек, спящих или сутуло притулившихся к стене, чего-то там несвежее жующих, – чтобы заснуть не на пустой желудок. Как кошки льнут зимой к оттаявшим участкам люков, ведущих в подземелье теплотрасс, так эти люди превосходно знают все подъезды, в которых нету кодовых замков.

– Вы, простите... что-то делаете здесь...

Внимания никакого, полный нуль.

– Извините, я видел там вас, во дворе, где снег, и я подумал...

И снова ничего, мурлыкая о чем-то, продолжает, уставившись на то, что на коленях, перебирать – теперь, как бы в ответ, еще усиленней, чем прежде – вещицы из карманов: рассовывая, вновь их доставая, как будто ищет что-то и никак найти не может... Предельная сосредоточенность. Дотошность перебора. Словно подыскивает слова, чтобы ответить.

Глеб, не зная, что и делать, как отвлечь, на корточки присаживается тоже – и понимает вскоре, что горбун не ищет ничего, что ищет ничего он: и это вроде тика пальцев – такое вот пребеспокойное и бесполезное перебиранье. И полностью растерян этим наблюденьем, беспомощно раздумывает Глеб, каким же способом ему привлечь вниманье...

Спустился грузно лифт и трижды стукнул – створкой, дверью, снова дверью. Пенсионер Степан Петрович, престрогий мой сосед из верхних этажей, на нас взглянул недоуменным «В чем здесь дело?» Но, не найдя разумного предмета для вопроса, тронул дальше – в киоск за сигаретами, газетой, на прогулку, на почту, в поликлинику, на дачу – проверить клад в кубышке, утаенный, когда завбазой был, от ОБХСС?

Легко спустилась девушка-студентка со второго, ведя на выгул пса – воняющего сыром спаниеля. Добрейший кокер было сунулся ко мне, вихляя куцым хвостиком, миляга, но вдруг залаял, покосившись на. Горбун мгновенно спохватился, зажал предметы все в горсти, зачем-то снял берет и был таков, исчезнув в щели двери. Я, чтобы как-то сгладить дикую неловкость, погладил пса, кивнул, приветствуя, соседке – и, подобрав свой плащ, влачившийся по полу, рванул за ним.

Ворвавшись к самому себе в квартиру, я так азартно хлопнул дверью (как будто бабочку накрыл сачком в конце погони), что прищемил плащ, и это заставило меня помешкать у порога. Когда освободил полу, обернулся, то выяснилось, что горбун исчез из виду, побыв вначале в том конце прихожей, прижав берет к груди, внимательно смотря на плиточки паркета – полон нерешительности, смущения.

Отбросив плащ и оказавшись в кухне, его там не застал. Метнулся в комнату – и здесь его не видно. И в ванной пусто, и в кладовке. Взял стул, залез на антресоли: оттуда вытащил и сбросил на пол коробки, пишмашинку, тряпки и журналы – его там нет как нет. Вернулся в комнату, перевернул вверх дном постель, открыл шкафы, проигрыватель, ящики стола; расшторил окна. Подпрыгнул

посмотреть его на шкафе – пусто. Вернулся в коридор, проверил дверь – закрыта. Открыл и выглянул на лестничную клетку. Степан Петрович, вызвав шумный лифт, пытался вытащить тугую пачку корреспонденции, кряхтя и чертыхаясь.

– Вы здесь не видели... – беспомощно решил я обратиться.

– Не видел, – перебил и, выдрав наконец рулон газет из щели, отпрянул реактивно к двери лифта. Крякнул. Бросил в меня свой подозрительнейший взгляд.

Я, дверь захлопнув будто от ожога, отчаянно отправился на поиски по кругу снова: кладовка, комната, совместный узел, шкафы – стенные, платяной и вновь стенные... подоконник, стол письменный, и в кухне: буфет, сушилка, ящики с посудой, окно... В окне по-прежнему – охапки света, взрыхленного ветвями тополей, берез и лип, сугробы, покрывшие кусты густой сирени; знакомый спаниель, ополоумев от такого фарта – пометить сразу все громадное пространство его собачьей космогонии – двора, вдруг ставшего вакантным в одночасье, – мечась, как в банке муха, струйку мудро экономя, по две-три капли только отпускает на – каждый столбик, бугорок, подножие. Какая тишина глубокая вокруг...

Я все же оглянулся в кухню и, конечно, обмер. Горбун мой, примостившись на краю стола, сидел, скромняга, расправляя на коленях свой берет... Что за бред! Какая глупая, немыслимая шутка. Какой резон ему водить меня за нос? То первое, что мне тогда на ум пришло, как раз и было самым верным, – как часто я потом жалел, что это не исполнил: мне нужно было в шею гнать его тогда же... Теперь же поздно, поздно, прилепился...

Спустя какое-то (какое? – то, что выпрастывает, взрастив, привычку) время я вполне смирился с его мерцающим наличием. (Привычка, кстати, вещь неумолимо отвратительная, продукт отупляющей лени; привычка повсеместна настолько, что она – чувственная чума: если и к смерти-любви привыкнуть возможно, то смерть – и тем скорее любовь – не существует, привычкой замещаясь, и значит, чувства все – и горя штопоры, и обмороки счастья – всего-навсего шелуха полутеней, попавших на ретину немого небожителя, который – как не было – сметет всю эту пелену со зрения, как только схлынет интерес к тому, что происходит.)

Поначалу мне спасительно пришло в голову списать все на произвол воображения. Что вот, мол, засиделся, и то – в чем засиделся его (того) безумным содержимым – вдруг постепенно стало взбраживать сознание, которое, постояв должное в прохладном и герметичном одиночестве, вдруг стало бухтеть, себя будоража, расщепляясь и выделяя, выдавая взвесь и пузырьки, – и образовавшаяся

муть в какой-то момент пошла, отделившись от света, в осадок, и вот – нате, некий сгусток фантомный, как выкидыш, выпал под ноги и тут же – юркнул в невидимость, затаился: но время от времени дает о себе знать, вызывая тревогу, к которой хочешь не хочешь, а нужно привыкнуть – и привыкаешь.

Теперь немного нужно пояснений на свет представить о герое: что с ним и как, и почему живет один он – в результате обстоятельств, которые, представьте, уникальны и одновременно просты, – что свойственно любому из снов: просты, поскольку происходят, и уникальны, так как и не снились ни мудрецам, ни другу-их-приятелю тем паче.

Наш герой живет в Москве, в той местности, которую отшибом именовать по отношенью к центру здесь принято: Открытое шоссе – в неимоверной путанице града единственный большак, который никуда ни путника, ни транспорт не выводит, а, обрываясь тупиком за три км до МКАДа, подслеповато тычет в громадное пространство парка – Лосиный остров поглощает массой своей на карте направления и трамвайные пути за «Детским садом», – последней остановкой, где, сойдя, глаза становятся кустами от как бы проросшей зеленью ретины. (Ведь это свойственно глазам – точнейшим хамелеончикам – быть тем, что видят, не вопрошая – что и есть ли в этом смысл.) И дальше парк нерукотворный, дикий, его прогулки путано ведет по глохнущим в конце концов тропинкам... Но то ему и на руку: поскольку он и так – и так мечтает заплутать, чтобы избавиться от прошлых бредней, чтобы развеяться от средоточья тоски и неподвижности...

Уже прошло два года, как он выбрал место для пребывания и поместил в него себя – в надежде позабыться своим же прошлым: вымарав из записной густейшими каракулями всех, кто так или иначе – возможно, что лишь косвенно – имел в нем шансы быть, и потому случайно мог рикошетом вызвать память, которая сожрать его в два счета всегда готова, начиная с мозга. Он был предельно осторожен с этим – непроизвольным обмороком бреда, который мог случиться, если Мнемозина ему навстречу вынырнет как случай.

Но этот случай с горбуном его застал врасплох. Теперь подвох стал очевиден. И это вот письмо... Все вместе его заставило собраться, сжаться, как перед рукопашной – и неважно, что с призраками – то еще опасней...

Короче, в трех словах, как где-то выразил один поэт здоровый: «Чуваку баба не дала, а он в дурдом попал.» Примерно так. Но вот «дала» ли, не «дала» ли Глебушке Далила, я сам не помню, и если

вспомню, то дальше помнить не захочу. Не в этом, конечно же, дело. И не в том, что учесть бы надо: не хлюпик Глеб никудышный, а самый Самсон-назорей настоящий. Что скотины урон и смерть детей обожаемых, и своя от проказы вонючая, что в глазах невозможно червонною пастью маячит? Тщета да и только – плюнул, проклял, забыл и спокойно слетел в пустоту-перину – такой исход куда вероятней, чем Иова допрос пристрастный. Дело все в степени чувствительности: цепляет ли факт пропажи до смерти, или же нет – лишь так, позудило-поблазнило и далее – схлынуло, будто б и не было. Все от капризного свойства капризности пострадавшего от зависит: у ребенка цацку отняли – так вот: что им выплакалось, по сути, и есть содержанье беседы Иова – сначала с друзьями, женой – и с Тем, Кто воздал наконец за пристрастие веры. Вернули ли цацку, иль нет – неважно, равно как и побоку, что Иову в семь крат воздалось – возможно, приписка позднейшего копииста, придумщика славных концов. А дело все в том, на глубину какую, с какой высоты слеза каплет: хоть дно углубляй, хоть на обрыв с мелкоты забирайся. Что ж, и то дело: Далила-то Глебова ручейком меж его пальцев себя пролила – и протекла, истекая, а ему вдогонку все казалось, что проплачь он о ней (и в нее) подольше – подольше ее и продлит, настигнет, хоть никак и не сдержит.

И чуть было сам от себя не пролился, иссякнув. Да вовремя спохватился, поставив заслонку от памяти-бури, от мыслей о невозможном.

Нужно было прибегнуть к самым крайним, жестоким мерам: себя ампутировать от пуповины всей прошлой жизни. Исчезли друзья, на отшибе нигде пришлось поселиться, работу сменил – в общем, сделал попытку родиться по новой.

И – помогло: хоть и пусто, и некуда в радость податься – ни позвать, ни откликнуться – что ж, поделом, но зато и припомнить отсутствует повод.

И так продержался почти что два года. Завел двух приятелей – так, для совместного препровождения досуга, для поверхностной дружбы, собутыльников то есть. Плюс ко всему позаботился о регулярном снятии стресса – то значит: и приятельниц также завел. Но все оказалось подменой.

Теперь нас в этом месте жизни двое – горбун и я, – с тех пор, как выпал снег, принесший припоминание слепоты и утро, в которое пришло то странное письмо. Да, теперь нас двое. Я привык к нему – к его нечленоразделительным мычаниям – по поводу и без; к его мерцаниям: он пропадает временами, хоронясь то в шкапе платяном, то попадая каким-то образом на антресоли; то появляется и бродит по квартире, разглядывая в ней предметы-вещи, берет их в

руки с выраженьем, как будто в первый раз он это видит, и вглядывается так, что будто бы в последний...

Да, я привык к нему спустя недолго. Сначала было странно видеть нечто, что бродит, не мешая, по квартире, беспечно все следя, но понимая, что он здесь гость и что ему не след быть чем-то мне назойливым. Что ж, все не один и, может быть, когда-то я вестника такого сам предвидел...

Чем он питается? Он ест немного, все то же, что и я, непривередлив. Но все-таки склоняется к зеленому горошку и скумбрии в консервах. Совместной трапезы у нас с ним не бывает: он слишком редко ест – и невпопад. Обычно я ему на кухне оставляю того-сего, и он, конечно, рад, всегда и непременно благодарен: поест медлительно, зависнув над блюдцем, вилкой ковыряя, и после подойдет ко мне, мыча его специальные мычания, с гримасой благодарности... А мне: «Да что там, пустяки, не стоит. Лучше б вы наконец сказали, что вам нужно от меня...»

Все то же выраженье идиота, будто и не слышит. Снова мык. Я знаю, что это все без толку, и я машу ему, что – ладно, ладно, будет. Тут он, подлец, все понимает и немедленно уходит восвояси.

Сначала я был трепетен к его присутствиям-исчезновениям. Когда он попадался на глаза, я страшно нервничал, его расспрашивая – что он и откуда. Но он то был премрачно неподвижен, то улыбался, словно извиняясь, и я уж было потерял надежду найти хотя бы слабую зацепку во всей этой истории престранной. И вроде бы он стал мне бесполезен. Но – как странно! – когда горбун вдруг исчезал надолго, – я в диком беспокойстве метался по квартире, ища его, как если б он исчез в засаде...

Но вот однажды утром мне взбрело... Решенье это у меня возникло в процессе сна, отжатого кошмаром: мне снились ящички, и в них я находил, мучительно ища и ужасаясь, то чью-то руку, то безумный глаз, то крошево ногтей в кусочках мяса, то голову, то скальп, с нее же снятый; и так я рыскал в этих вложенных пространствах, вдвигая, открывая, задвигая, пытаясь ключик подобрать из связки, ломая ногти, если не подходит, проваливаясь в глаз чужой, приняв его за ящичек: слегка царапнув роговицу, – и в него сквозь щель стремительно, как жидкий свет, проникнув, – и вновь там, зреньем обернувшись страшным, ищу свой ящичек – в него попасть... И так это все было неизбывно и тошно, и смешно, и гадко, что я, очнувшись утром в крайнем раздраженье, решил сейчас же с горбуном моим решительно и резко разобраться, точнее – выставить ко всем чертям из ящичка моей квартиры с треском.

Я выскочил из ванны, еле-еле успев плеснуть для резкости две горсти и промокнуть, залез на антресоли и вытянул оттуда за рукав

тетерю мою жуткую. Свалился он на шею и, спросонья нисколько не поняв, что происходит, вцепился мне в затылок. Я его едва стащил, не меньше испугавшись, – мне показалось, что еще чуть-чуть и мне придется – наподобие Брута – куда-нибудь скакать, скакать до смерти, им будучи оседлан для забавы... Но все-таки пришли мы оба в чувства. И тогда я рявкнул: «Давай-ка, братец, вон отсюда быстро», – и к двери так подталкиваю твердо.

Он что-то вдруг стал скоро лепетать и, в общем, внятно, так что я услышал – впервые за все время от него – не то чтоб связное совсем, но все ж я различил: «немного подождать» и «дело все в письме».

Я обезумел. Я взял его за шиворот, встряхнул и поволок на кухню, чтобы там острым и горбатым клювом по курсу взгляда развернуть в письмо, которое, как памятка, висело, приколото булавкой, на стене. Я выкрикнул: «Что все это значит?!»

Он вырвался и отстранился. Сел.

Достал и стал натягивать берет. Поправил и, взглянув надменно, молвил (и снова связно, значит, дурака валял все время!): «Она вас ждет. Я с тем и появился, чтоб передать и подготовить к встрече».

Я весь обмяк и сел на что-то. Честное слово, это оказалось слишком, хотя я и предвидел. Что же делать?!

Он смилостивился, еще добавив: «Мы завтра в путь отправиться должны. Это не далеко, в Рязанской области, три с четвертью часа на электричке. Да, теперь пора, вы – знаете, и я вас нынешнего знаю. Она предупредила, если вы забыли – не стоит беспокоить...»

«Мне некого больше помнить».

«Да, вы помните, я вижу».

Мой обморок сменился беспокойством. Я бросился расспрашивать: что с ней и как она, что с нею приключилось с тех пор, как этот ветер, ветер, ветер наполнил свои щеки-паруса и все вокруг так быстро закружилось, что, чтобы уследить, юлой вертясь, напоминая сам себе стремнину и оглядку, или собаку, что, свой хвост пытаясь укусить и выудить из дебрей шерсти блошиный мельк воспоминания, крутит, вертит себя в стремительной оглядке на ничто, – с тех пор ни отклика, ни зова...

И вот теперь, спустя – не время, нет – какой-то ком бессмысленности, бреда, который полонил кусочек возраста, я от такого вот создания слышу, что где-то она есть и ждет меня, поскольку там что-то этакое вышло, что без меня теперь ей не распутать... Ну что ж, я рад, что мог бы быть полезен... Но почему образовалась тайна, нельзя ли было просто написать, что так и так, мол, нужно будет сделать вот это, это и еще, будь добр. Всего ей нужно было три-четыре фразы – обыкновенно человеческих, но вместо – она устраивает невыносимый театр, мне присылая страшный тот отрывок из моего последнего письма.

Престранно, и к тому же – очень. Какой-то цирк выходит, если внимательней – по сути – разобраться во всех репризах этого посланца: горбатый карлик – он смешон и пародиен настолько же, насколько мне зловещим показался поначалу. Но, Боже, Боже, почему так странно...

Два года минуло с тех пор, как только в общих снах нам видеться возможно. Она исчезла без предупреждения, так – что-то в воздухе витало постоянно, гремучей смеси запах доносился из пауз некоторых фраз, отрывков телефонных разговоров, взглядов в никуда... Да, было внятное предвосхищенье краха. Но что там было думать о, когда сию минуту происходит... И вот, стряслась пропажи катастрофа. И нужно было срочно мне себя эвакуировать, поскольку воронка пустоты от взрыва шире – стремительно росла и развивалась...

Сначала жизнь была, как после смерти. Движение лишь потому не затухало, что из инстинкта самосохранения. Потом настал беспамятства наркоз, но долго тихим обмороком страха – там, где-то в нижней части живота сосало тонко, медленно срастаясь. И больше ничего – ни влаги, ни тепла. Густейшая, как темень, глухота, заваленная ватными холмами, которые плодятся тучно всуе. И лишь однажды – только этим летом – какой-то проступил намек, и не на-мек в том смысле, что – на-метка, не след, к которому припасть, а так – неясный слабым светом проблеск, не эхо, нет, но что-то к новой жизни ее имеющее прикосновенье...

Случилось это скорее более, чем менее, таинственно, и к тому же я не берусь утверждать, что совсем случайно. Тут вот в чем дело.

В разгар июля я был приглашен своим приятелем к нему на дачу в гости. Уже неделю, как ладони зноя Москве бока, как банщик, разминали, так что к субботе стало невтерпеж, и потому я был ужасно обрадован любезным приглашеньем. Он позвонил под вечер накануне. Но утром обнаружились дела, и не дела, но так – делишки, то есть – мне нужно было кое-что состряпать: бодяжное, никчемное занятье, но то, что в понедельник кровь из носу заказчику взбрело вдруг получить.

И вот, порядком в офисе, в котором об эту пору вырубился напрочь спасительный пропеллер вентиляций, поднатерпевшись между делом, словно мышь, загнанная лакомым куском в теснину мышеловки, и измокнув – опять же, будто мышь, – скорей наружу я выбрался в теплейший душный сумрак.

Москва, хребтом бульвара изгибаясь, вела меня к Таганке, остывая не сразу – будто на излете дня дыша остаточным теплом заката, и постепенно наливалась к ночи блаженных сумерек прохладной влагой. Войдя в метро, я двинул по кольцу и выбрался наружу в

Н-ский вокзал, купил билет и тронул дальше – на поезде, до пятой зоны, взяв бутылку пива на перроне, чтобы остынуть самому и снять досаду на то, что день пошел коту под хвост...

Полупустой вагон. В купе всего один сосед: «Располагайтесь», – так он приветствовал меня, и больше – убрал с колена ногу, дав проход.

Подвесил свой рюкзак, уселся.

– Будем знакомы – Алексей Васильевич, – попутчик добро улыбнулся, и я в ответ кивнул. Слово за слово – чуть-чуть разговорились: ни о чем, но очень мило.

Однако вскоре пришел отряд билетного контроля: громила в маскировочном костюме поставил галочку в моем клочке и вывел, взяв под локоть строго, соседа – потому что оказался «зайцем», – и повлек в проходе в ближайший тамбур – разбираться.

Я же забыл о них, едва лишь взглядом проводил.

Я вынул ножик свой швейцарский, откупорил бутылку и с приятной жаждой предался утолению и скорости, с которой поезд покидал Москву, как будто тяжесть лишняя в ее границах добавлялась...

Вдруг погасло освещение в вагоне, и в дальнейшем история вот эта происходит в едва прозрачных сумерках (луна, повиснув на кукане проводов, тянулась гулко за движеньем).

Внезапно доносится из тамбура возня и шум, и звуки грубые понтовки. И я решаю выйти покурить, поскольку неохота, чтоб громила хоть как-то навредил соседу, который был столь мил со мной и ясен лицом и голосом: редчайший случай среди попутчиков, да и вообще.

Стою, курю у створки, чье стекло, являясь выбитым, напор движения впускает в тамбур вместе с облегченьем – от душной тяжести столицы как бы. Громила, явно поостыв с того, что есть теперь свидетель его столь хамских вымогательств, и, пожалуй, даже стушевавшись, давит на совесть пассажирскую. Сосед ему еще раз повторяет, что готов сейчас же покинуть поезд на ближайшей, – и вот уже платформа, огоньки, дверь разъезжается, и он выходит; громила же бросается вдогонку команде «ревизоров», рванув поспешно в следующий вагон.

Окурок мой вылетает в щель перед платформой.

Я возвращаюсь к рюкзаку. И тут я вижу, что в купе моем расположились какие-то престранные субъекты. Она и он... И все предельно мутно, но ясное дыхание волны предчувствия – все, что, по сути, нужно для видения... Я сразу понял, что здесь дело швах. Какой-то древний уловил я контур, в котором сумерки и огоньки в окне перемешались, растворившись в вспышке, как будто полнояркая

луна вошла и совместилась с шаром ее головки, профиль проявив, едва его не уничтожив светом, – и как-то я озяб смертельно... Поезд завис трассирующей цепью между «сейчас» и «прошлым», и все вдруг провалилось в разверзшуюся паузу (вагон мой темный – тоже пауза в цепочке).

Я сел поспешно, чтобы скрыть смущенье.

Почувствовал – там тоже чуют случай: беседа их мгновенно оборвалась с моим приходом. На руку же мне был вязкий сумрак, слабо усложненный скамейками, тенями пассажиров, разлившийся от выключенных ламп; к тому же лесополоса восстала стеною в окнах, заслонив далекий рой огоньков поселка... В общем, я... я не был узнан. Сложил руки на коленях, уткнулся в них лицом и сделал вид, что сплю.

Спустя долго – пока не убедились, что я заснул, – их разговор продолжился. На всякий случай, дотянувшись, он тронул меня за плечо и негромко позвал: «Эй, товарищ».

Умерев, я не реагировал.

Тогда он снова обратился к ней:

«Ну-ну, так что там было дальше?»

«Дальше?.. Он как-то выгнулся пронзенно, ноги его уже не слушались, поэтому попытка привстать, податься, задыхаясь, и как-то двинуться по направленью к двери мгновенно провалилась. Он осел. Рванул рубаху на груди, скакнула и полетела звонкими скачками под батарею пуговица. Вдруг он весь взорвался кашлем, кашлем – словно пытаясь выкашлять свою же смерть, которая теперь уже пустила по донышку желудка корешки: и, стеблем гибким извиваясь, вцепляясь до гортани в п л о т ь шипами, как в быстрой киносъемке, вверх ползет. И вдруг затих внезапно. Шея его как будто надломилась. Тяжелая, большая голова – о спинку кресла, вбок упала глухо. Комочек желтой пены навернулся у рта, легонько удлиняясь. Бутон, как будто лопнув, распустился, и алый шар, сорвавшись с полуоткрытых губ, поплыл к окну. И, чуть помедлив у фрамуги – солнцем, размером с О открытых губ, исчез. Исчез в закате, плавившем каемку небесную поверх деревьев, одним из сгустков этой плавки...»

«Неплохо. А чем вы таким особенным пользуетесь, что дает столь необычный эффект?»

«У меня был приятель, студент биофака. Однажды мы пришли с подругой к нему в гости, и он похвастался, что, мол, у себя в лаборатории они забавы ради стряпают разные такие яды, действие которых не только мгновенно, но и – что главное – после никак не обнаружимо какими бы то ни было криминалистскими анализами. Он подвел нас в кухне к шкафчику со специями и вынул две склянки.

Я запомнила полку, где они стояли, – по счету третья сверху. Вечер затянулся, нам пришлось заночевать. Утром я проснулась раньше всех и – не знаю, что мне взбрело в голову, – осторожно пробравшись, стянула наугад четыре пузырька. С тех пор я с ними не расставалась. Мне понадобилось время, чтобы выяснить, в какой именно склянке яд...»

Я засыпал. Видимо, упадание в сон было защитной реакцией. Требовалось срочно перевести в неправдоподобную мякину сна – и так обезопасив себя и весь мир, – этот узнанный голос и то страшное, нелепое, что он произносил. Чтобы уйти от этого еще глубже, я инстинктивно вдавил в глазницы кулаки. Сжал сильней колени. Сдвинул локти. Что он такое говорит? Еще сильней. Чтобы не слышать. Были бы вторые веки – и их закрыл бы. Потому что страшно. Еще зажмуриться. Что между ними общего? Не встать и не уйти. Зажать ладонями уши – заметят. Зачем, зачем она это говорит. Я не хочу. Еще сильней. До колбочек. И палочек. Фасеточное зренье темноты. И в нем ячеистые своды. Неряшливые соты диких пчел сочатся медом пустоты. Какой-то гул. Вагон – моторный, без пантографа. Должно быть, станция. Закрылись двери. И поезд тронулся, и набран ход. Я с ужасом предвосхищаю продолженье. Теперь она сказала, что на счету ее пятнадцать жизней, но яд закончился, и что теперь она «вся в поисках замены». Не может ли он чем-нибудь помочь? Я чуть не вскрикнул. В самом деле, ну каково все это мне, который, к счастью, что не узнан, в вагоне темном поздней – предпоследней – электрички встречает свою бывшую возлюбленную с каким-то гадом, но вместо того, чтобы отпрянуть и исчезнуть, – слышит все... И я решил, что брежу, брежу, и что вот эти голоса, они звучат внутри. Но все-таки, кто он такой – ее зловещий спутник, который так любезно предлагает свое участие в ее делах? С кем она сошлась? Вскочить и выбежать. Тогда раскроется все дело. Очередное поражение – клише и нонсенс. Но как мне только высидеть все это. Зажмуриваться глубже и сильнее. Но дальше – некуда. Медовые разводы. Плывут, переливаясь. Какой будоражащий голос. Но почему так откровенна? Яд. Поражение. Горячка. Глаза готовы лопнуть. Тупая боль незрения. Невыносимо. Как мозг податлив. Как виноградины, раздавшись тугою кожицей, вдруг брызнули и растеклись. Успокоение, глубокий сон. В котором вязкая, весомая, словно исшедшая своей летучей светосилой жидкость, колышась плавно и легко, медлительно проталкивала меня к пробуждению.

Проснувшись, увидел, что в вагоне горят вполнакала несколько лампочек и что в моем отделении сидит пожилая женщина: кормит с ладони котлетой путешествующего электричкой пса.

Пес, как все бездомные собаки, брал пищу осторожно и тут же пятился в проход. Сглотнув, качнувшись, клал морду на колени снова.

Вскоре выяснилось, что я проспал свою станцию и придется теперь два перегона идти по шпалам вспять, поскольку уже половина первого, а последняя электричка на Москву здесь не останавливается, и если проехать еще дальше, то неизвестно, успею ли на следующей перебежать на ту сторону, потому что впритык и вот-вот встречная повстречается с нами, и тогда мой путь – уже наверняка – удлинится еще на несколько километров.

Поезд нахрапом затормозил и, дернувшись, остановился.

Я сошел на платформу и огляделся: на этой станции я вышел один. Двери электрички решительно закрылись, тут же открылись и вновь, как отрезав, хлопнули.

Грохоча и воя, разболтанно промчалась последняя московская электричка.

Я двинулся в еще теплую, огромную ясностью ночь. В пристанционных огородах узкими ручейками между грядок медленно жил и струился низкий туман. Я спустился с платформы в плотную тень больших деревьев, чтобы нащупать тропинку, ведущую вдоль железнодорожной насыпи, и мне стало страшно. Что привиделось и прислышалось в темном вагоне, оказалось настолько вычурным и мощным, что постепенно стало приобретать отчетливую ясность повторенного сна.

Я быстро шел под луной, и она настойчиво двигалась за мною, как если бы была предметом размышлений. Мой быстрый ход был похож на замедляющийся бег.

Если тропинка слишком уводила в сторону, я выбирался на свободные от движения рельсы и шел, препинаясь, по шпалам, пока она снова не выныривала из тени, отбрасываемой насыпью.

Километров через пять мне повстречалась пущенная когда-то под откос старая дрезина. Сутулая плавная ветла шатром растекалась над ней. На покосившейся крыше дощатой кабинки сидела парочка. Они тесно целовались. Парень вздрогнул и развязно попросил у меня закурить. Я – уже на ходу – просто так, спросил, далеко ли до станции...

Добравшись, я обнаружил, что приятель мой уже спит. Я не стал его будить. На веранде стояло пружинистое кресло-качалка, и я осторожно, стараясь не раскачиваться и не шуметь, забрался в него и укрылся стянутой с топчана шинелью.

Спать не хотелось. Из приоткрытой в сад двери крались замирающие настороже ночные шорохи. Вязко шлепнулась, стрекотнув сквозь листву, запоздавшая слива. Я любил здесь бывать и хорошо все знал. Дача была очень древней – 90-х годов прошлого века –

постройки. Мне нравился ее дремучий, почти заглохший сад. В старой беседке, едва устоявшей под натиском зарослей вишни, черемухи, сирени, – от лета к лету, словно сложная говорящая буква, таинственно менялся узор, составленный из муравьиных дорожек. На чердаке под кучей старых журналов и книг лежал в кожаном футляре голландский – громадный, как кукольный театр, – аппарат для съемки на дагерротипы. Пустив в него колечко сигаретного дыму, можно было видеть, как в опрокинутые кверху тягой, клубящиеся пряди вбиралось – сначала дико кривляясь и потом, медленно оживая, – объемное изображение лица, до того лежавшее перевернутым плоским пятном на экране...

В одной из дальних комнат, в шкафу с проломленной задней стенкой, висели старые, брошенные сытой молью платья: с обвисшими – цвета растворенного в топленом молоке праха – брюссельскими кружевами, все в полуобрушенных рюшечках и сложных аппликациях; под их висячим ворохом, на дне, таилась заветная шкатулка со сломанной противной музыкой, набитая пачками желтых писем и картонных черно-белых открыток, присыпанных световой пудрой ретуши – с видами Альп, Апеннин, Венеции, Праги, Парижа; штемпеля их, как мутные окуляры, расплывчато содержали виды страшно далеких чисел: 10, 14, 17, 20, 27, 33, 59, 64...

Последовательность этих расплывшихся, кривляющихся оттисков странно напоминала мне мучительную эволюцию радужной оболочки зрачка неведомого наблюдателя времени... Зрачка, в чьих московских корчах растягивались зевки безобразных лакун площадей, снесенных кварталов, прорезывались шрамы проспектов, проступали рожицы в изменяющейся кутерьме переулков... Письма семнадцатого года адресовались в Иркутск.

Шорохи возобновились. Я завернулся плотнее.

Старый знакомый – мышонок Васька, вот уже третий год остававшийся мышонком (среди мышей тоже встречаются карлики), выбрался из-под буфета и, поклацав по темноте коготками, теперь умывался перед своей мисочкой с просом и кусочками сыра, весь – словно обмакнутый – отливая лунным светом, рассеянным на кончиках волосков его мягкой шерстки. Живой, подвижный будто ртуть, серебряный комочек.

Собираясь закурить, я достал из нагрудного кармана «Зиппу» и сигареты. Вдруг кто-то заглянул в ячейку веранды и отстранился.

Я рефлекторно метнул в эту рожу зажженной зажигалкой и выскочил на крыльцо.

Никого. Нижние ветви старой яблони раскачивались широко, как если бы с них слетела тяжелая птица. В мокрой траве, пролившись узким осколком, блестело стекло. Тишина. Застывший туман,

напитанный лунным светом, прикрыл траву у забора и грядки клубники. Упало яблоко, прошелестев, как пуля сквозь одежду, через листья. В конце июля самопад?! И тут я догадался посмотреть наверх...

Там что-то крупное сидело и, подбоченясь, складывало крылья, опасливо при этом – бочком, бочком – перебираясь вдоль толстой ветви – туда, где гуще и темнее. Я четко видел снизу его профиль: с короткой шеей – длинный нос, горбатый, как у грифа, корпус...

Я обмер. Известка страха мне сковала мышцы, когда оно, увесисто столкнув себя с насеста, вдруг ринулось сквозь крону и, плюхнувшись в траву, рвануло шаром через охапки клумб – с пионами, настурцией, фиалкой, куда-то вглубь, заранее теплицу огибая.

Серега выскочил из комнаты на звон разбитого стекла. Я объяснил, что кто-то был, наверно, вор. Он не поверил: «Разве что шантрапа деревенская бузит», – и потом несколько раз спрашивал, почему у меня такой ошарашенный вид; предлагал выпить валерьянки. Валерьянки не оказалось, и я опорожнил пузырек настойки пустырника.

Остаток ночи мы провели вместе на веранде. Пили чай и поглощали вчерашние пенки от клубничного варенья (безработная мать Сереги, оттрубив садоводческую вахту, по уговору, отправлялась на выходные в Москву, приготовляя к приезду сына всяческие вкусности).

На рассвете отправились купаться. Запрокинувшись на спину, я долго сплавлялся вниз, – сквозь прорехи в еще плотном речном тумане опускаясь полого в разливающееся зарею небо.

Потом, возвращаясь, пришлось долго и тягуче плыть против течения, и еще, перед тем как вскарабкаться на пляжный мысок, я сплавал на тот берег, так что купанье меня взбодрило вполне.

Когда, обсохнув, уходили с реки, из-за поворота смутно показалась баржа, – настороженно рыская носом, она шла почти на ощупь, сомневаясь в фарватере.

От осторожного гудка разлетелись пухом верхние, уже перистые слои тумана.

Я поперхнулся – оттого, что чуть не заорал от злости: мне показалось, что и я криком могу хоть немного разогнать свой собственный туман, застлавший жизнь.

Серега торопился: через час ему нужно было встречать на станции новую подружку, и мы, стремясь разогнать озноб, рванули наперегонки в поселок.

Глава 2

КУКОЛКА

Раньше я почему-то не замечал, что горбун пахнет чем-то химическим. Да – он пах. Он был опрятен, но все-таки распространял собою запах: так пахнут больные люди и доктора – лекарствами, больницей.

После объяснения я весь день приходил в себя. Точнее – то приходил, то снова отдалялся, мучительно пытаясь сосредоточиться, внушив себе, что касательство происходящего к моей персоне имеет лишь случайный смысл.

Но ничего не выходило: размышления мои рано или поздно стопорились, и их осторожная логика разлеталась в пух и прах, будто нарвавшись на мину. Миной этой было допущение, что сон, привидевшийся мне тогда, в электричке, несет в себе хотя бы крупицу истины. Неважно какой – истину символа или факта: жить с этим было невозможно. Умозрительные саперные работы ни к какому результату не приводили: густая путаница моих раздумий напоминала шахматную игру вслепую, где не только была неизвестна моя – заведомо проигрышная – позиция, но еще и на самой игровой доске не хватало нескольких полей. Попытка нащупать их содержимое приводила к тому, что начинало мерещиться черт знает что, и в конце концов приходилось панически бежать прочь этого места; но из темных клеток что-то рвалось, цепляясь, вслед – и еще долго пульсировало в точечной области мозга, словно маленький грызун едва не наступившей мигрени.

Наконец, придя к выводу, что разрешить данный кошмар можно только реальным действием, я успокоился и стал обдумывать, как следует вести себя в поездке. В конце концов долго разбираться с ней не буду, заберу письмо и дам деру. Наличие маленького мерзавца в этой истории меня сильно раздражало. Но я решил на первых порах ему – как проводнику – подчиниться и быть паинькой: хотя бы потому, что без него до места не добраться. А после сразу постараюсь от него избавиться. Это первое.

Вторым пунктом решения было – ни в коем случае не цацкаться с Катей и вести себя жестко: утопающий часто в панике топит спасателя; поэтому легче всего спасать уже обездвиженного: для этого нужно либо оглушить, либо тащить не мешкая за волосы, чтоб болью, жесткостью сломить панику – так пламя пожара сбивают взрывом.

Следом я тут же подумал: только нужно еще понять, кто из нас утопающий.

Покружив по квартире, я обнаружил его сидящим за шторой на подоконнике.

Он сосредоточенно смотрел за окно – так, будто там таинственно жило его вниманье.

Облачко запотевшего стекла мешало ему видеть.

Обернулся.

Я молчал, не зная, с чего начать. Облачко стало исчезать и совсем исчезло. Вопросительное выражение наконец сменилось рассеянным.

Я спросил: когда? Выяснилось: завтра утром – электричка в 9.20, с Рязанского вокзала.

Решившись ехать, я испытал облегчение. Но вместе с ним возникла тревожная, словно бы звонкая от нервозности пустота. Чуть позже стало ясно: в квартире не усидеть. Я оделся и вышел.

Еще у дома купил и стал пить водку и до Солянки добрался, едва нащупывая себя в слабом чувстве. Войдя в «Пропаганду», сдуру выпил вина, и только через неделю припомнилось, как обратно меня везли на такси цыгане, по пути дважды пересаживая в «неотложку» – к ручным медведям, которых душили санитары, повязывая им роскошные банты. Наконец привезли на вокзальную площадь и положили на трамвайные рельсы, а проснулся я дома и испугался, что надо скорее обратно...

Утром мы отправились. В метро он вел себя прилично. Не бормотал вокруг и был сосредоточен. На следующей остановке ему уступили место. С достоинством водрузился на сиденье и кивнул в благодарность.

На вокзале обнаружилось, что у него есть деньги: купил с лотка булочку и кофе. Я нервничал, мне было не до завтрака.

Когда стояли в очереди в кассу, важно сообщил, что билет покупать ему не нужно. (Потом, в поезде, предъявил контролерам инвалидную книжечку.)

Поутру народу в электричке было мало, и я смог удобно вытянуть ноги: колени дрожали, и за икры кусала судорога.

Горбун сидел напротив, с краю, и с неподвижным лицом что-то нащупывал в карманах.

И еще. Тогда, в электричке, я заметил, что горб его стал больше, он как-то вытянулся, еще сильней топорщась...

И вот, поняв, что сам я был – хотя и косвенным – виновником начала, я стал дорогой припоминать то, что так долго было под запретом.

Одержимый идеей поправить начавшую скисать жизнь (защитившись на психфаке, Катя нашла себе какую-то странную работу, стала пропадать на ней и возвращалась после как чужая, но не только в

этом было дело), я стал подумывать о крайних мерах. Последние заключались в попытке перевоплощения. Своего рода повторения метаморфозы: из бабочки, которая вот-вот погибнет, – в другую бабочку, которая б жила за счет своей же смерти, рассматривая ту как возрожденье. Увы, я тогда совсем не представлял, какое там – на новом свете – может возникнуть действо...

Практическая сложность задуманного состояла в том, что необходим был отвлекающий маневр. Для этого я выбрал умиротворяющие обстоятельства туристического отдыха. Мной предполагалось отправиться куда-нибудь на юг, к морю – туда, где все бы было интересно и потому вниманье к сути притупляло: трюк, надо сказать, вполне тривиальный, чтобы она по мере действия меня не раскусила. Но, находясь в цейтноте, я не смог придумать чего-нибудь изящней. К тому же мне уже давно Москва обрыдла – хотя бы тем, что мы в ней жили: мы растворялись в наших ссорах, как в вязкой кислоте, и потому мне попросту хотелось слинять из настоящего (так отраженье подмывает иногда сбежать за рамки зеркала с липучей амальгамой, – за счет которой, собственно, живет, но жизнь его – отрицание свободы).

В начале апреля крах стал очевиден, и я решился. Волокиты в турагенстве не случилось, на все про все – визы, билеты, недорогая гостиница в Тель-Авиве – ушла неделя. Прилетели сначала на Кипр и в ожидании астрономического увеселения – накануне затмения отплыли из Лимасоли на пароме в Хайфу.

До ливанского берега три часа ходу. Судя по солнцу, курс теплохода слегка воротится носом от него и постепенно забирает к югу.

Кругом пустынный штиль; линия горизонта, как лезвие, безупречна. Ни облачка. Пассажиры вывалили на палубу и сейчас коптят на спичках донышки пластмассовых стаканов, бутылочные осколки и прочую прозрачную мелочь. Посматривают на часы, слышны споры, у кого точней. Тучный грек, сложно сопя, устраивает на носу баррикаду – три пары солнечных очков. Стеклянный дзот разваливается: грек, чуть разогнув переносья и дужки, снова цепляет на пробу.

Затмение будет концентрическим и на этой широте почти полным: граница лунной тени промчится где-то совсем неподалеку.

Я ни разу не видел затмения. Я замираю от будоражащей смеси восторга и ужаса. Затмение представляется мне фантастично, как некий конус, наполненный сумерками: он восходит вершиной к черному солнцу, которое излучает ночь...

Кате неинтересно. Она познакомилась на палубе с очаровательной старушкой. Старушка оставила приятельнице своего престарелого таксика. Песик едва жив, старушка волнуется.

Мне нравится таксик, но не нравится старушка. Я иду в бар и возвращаюсь с кружкой пива.

Наконец 11.54, вокруг заплескались возгласы: началось.

Я сооружаю дифракционную щелочку между указательным и большим. Я придумал этот способ наблюдения еще в детстве – что-то вроде обскуры, сложенной из пальцев. Презирая очки, с ее помощью я боролся в школе с надвигающейся миопией – сквозь нее при необходимости можно было надежно разглядеть детали удаленных предметов и условия задач на доске.

Чтобы пригасить яркость, я плотнее зажимаю в пальцах стылую горошинку светила...

Далее все происходит как по писаному. А было где-то читано, примерно, это:

«И солнце вошло в ущерб. Скоро стал виден серп в слоистом облачке остатка дифракции спектра...

Обморок яркости – сумрак – воздуха мякоть пронизал, яблоко стратосферы, как глазное, вдруг стало сизым.

Публика, что на пароме, кверху внимание вперив, ахала, видя, как в саже солнце кусала луна, как в перьях и хлопьях сажи барахтался дня зрачок, наколот на тьмы колок.

Великое затемненье, обморок дня застыл в огромном, как О, поднебесье, – длань лунная наложила его на сознанье земли.

Стало прохладно. Ветер, штиль теребя, понесся прочь из тени в места, еще утомленные светом.

Луна, как бритва Длилы, космы Шимшона брила, и падали в море снопы солнечной шевелюры.

О, лысое солнце ночи! О, черный зевок затменья! Зрачок оскопленный блещет и каплей идет на дно...»

Вскоре пассажиры взволновались и подались в укрытие, остерегаясь вредных выбросов жесткого спектра излучения.

Мне дико захотелось остаться одному. Я метнулся на нос, к подобью бушприта, сел сверху, над самой водой. Катя звала меня из-под козырька верхней палубы. Я не реагировал. Все затмение я просидел над швом разбегающегося моря, пялясь в исчезающее солнце. Лунная тень шлейфом сумерек причудливо выгибалась в огромной атмосфере вдоль своих стереометрических границ...

Словно что-то мучительно припоминая, я силился вобрать видение смерти светила в свои глаза и мозг до конца, до самого кончика зрительного нерва. Я был уверен, что если удастся это сделать, то – вспомню. В этом мне маячило спасенье.

При входе в порт Хайфы всех пассажиров согнали на палубу и выстроили вдоль перил по обоим бортам. Оказалось, мы все обязаны

представить свои лица пограничникам – специальному отряду физиономистов, которые неутомимо кружили на катере вокруг теплохода, пока мы крадучись шли к причалу. Один из них слишком пристально вперился в мою милость. Он даже что-то сказал напарнику, кивнув на меня. Тот тоже обратил внимание, и у меня ослабели колени. Я постарался расслабить мимику, чтобы согнать озаботившее их выражение. К счастью, террористов среди пассажиров не оказалось, и когда погранцы перед самой швартовкой свалили восвояси, закурив дрожащими руками, я облегченно опустился на корточки...

Вечером следующего дня мы гуляли по набережной, лущили фисташки и тянули из высоких пластмассовых стаканов водянистое «Маккаби».

Бетонная набережная, лениво протянувшись вдоль череды прибрежных отелей, кончилась очередным пивным бунгалом, начался теплый и мягкий пляж, и скоро, окончательно устав вязнуть в песке, мы остановились.

Было ветрено, и волнорезам приходилось туго. Укрупненное перелетом к югу светило, натужно просаживая горизонт, едва уже держалось на поверхности – и когда все-таки кануло, в этот момент набежала особенно крупная волна и достала нас брызгами. Я отказался от идеи выкупаться.

Заорал, как срезал, киловаттный муэдзин на невидимом минарете.

Темнело стремительно, звезды проступали со скоростью проявки фотоснимка. Тонкий месяц уже давно висел накренившись, будто оседлан тяжеленьким ангелом сумерек. Мы сидели на большом, еще теплом камне и обсуждали, куда и как поедем прогуляться. Сначала наперебой называли места – Цфат, Бейт-Лехем, Несс-Цион, Акка, Кумран, Эйн-Геди, Эйлат, но когда речь зашла, когда именно и в какой последовательности, я сказал, что все поездки нужно отложить на неделю. Что в течение этого времени мы никуда и носа не покажем из гостиницы, так как у меня есть к ней дело, а какое – сейчас скажу.

Все-таки я очень нервничал, получилось сбивчиво, но она поняла сразу. Что-то прикинув в уме, неожиданно легко и даже весело согласилась.

Мы вернулись в гостиницу, и я показал ей расписание серий.

Минут двадцать ушло, чтобы растолковать подробности процедуры и то, как она должна себя вести. Хотя я и старался с самого начала говорить об этом как об игре, скоро стало очевидно, что она начинает поглядывать на меня с опаской.

Я подумал: пусть, пусть думает что угодно, главное – не спугнуть, подвести к первой серии, а дальше уже никуда не денется.

В первую ночь я не спал в промежутках, боясь сбиться с распорядка. Сначала все шло хорошо. После первого же приступа она отключилась, и тень пролилась в точности, как я предполагал: из ямки ключицы скользнула по левой груди на живот, и когда добралась, иссякнув, вся струйка, живая выпуклая лужица света тихонько заколыхалась, изменяясь и медленно исчезая. Контур постепенно уменьшался, принимая разные замысловатые формы, рвался, открывая новую кожу. Как только линия приостанавливалась жить и искривляться, я фотографировал, чтобы потом выучить и следовать найденному алфавиту.

Это было похоже на крошечное карнавальное шествие драгоценных букв.

Я расшторил открытое окно и тут же вернулся – лужица почти исчезла и теперь блестела яркой ровной точкой, выпукло наполнявшей глубокий пупок. Застыв, устремилась на донышко – исчезла. Обомлев, я спохватился и от живота, не целясь, нажал на спуск. Затвор щелкнул, вспышка вырвала ее из темноты и бросила обратно, разметав ей руки и бедра по розовым простыням. И тут я понял, что я натворил.

Отстрелявшись, фотоаппарат зажужжал, напористо перематывая пленку. Я сел на подоконник и там просидел до начала второго приступа.

Было свежо от близкого бриза. Патрульные катера конусами прожекторов кроили долгую бухту Яффы...

Месяц очертил четвертинку неба. Я так ничего и не придумал. Одно было ясно – отступать поздно...

К полудню я оказался близок к помешательству. В конце четвертой серии стали появляться странные симптомы. Температура вместо того, чтобы снизиться до 33 и 2 и остановиться, упала до 30 – и тут же стремительно взлетела. Скоро она металась в бреду, индикатор подмигивал на сорока, и я хотел было уже прервать серию, как вдруг рукой ощутил, что холодеет...

На этот раз обошлось. Температура пришла в норму как раз в то мгновение, когда уже пора было подводить ее к консервации. Еще пять минут – и я бы стал убийцей.

Уложив ее, я помчался проявлять фотопленку. Петардой брызнув из «Кодака», нарвался на оцепление – пока я торчал у проявочной машины, на углу обнаружили неопознанный пакет, тут же в воздух взвилась опасность теракта, и теперь ждали саперов. Прохожие обрадовались, что наконец могут оправдать свою бездарную праздность, и превратились в бдительную толпу зевак. Обойти всю эту кутерьму значило дать крюк в два квартала и потерять минут десять. Я рванулся через ограждение. Меня скрутили, но после краткой проверки отпустили.

Все шло вкривь, не по плану. Былая уверенность неофита превратилась в отчаянное сомнение – в обморок свободы действий. В чем состоял просчет, думать было некогда. Элементы последовательности требовали абсолютного ума, внимания и сосредоточенности, как при раскрое большого алмаза. Выявляемая с каждой новой серией еще одна графема алфавита, с помощью которого я надеялся прочитать ее тайну, была на вес двойной жизни – моей и чьей-то еще, неизвестной – той, что рождалась сейчас у меня под руками.

Иногда я брал ее за руку и подводил к зеркалу, как на пробу. Поначалу ей было страшно, и – только глянув – тут же садилась на корточки и, прячась, подглядывала за отражением поверх коленей. Потом немного обвыкла и стояла в зеркале смелее, но все равно – ежилась, поводя плечами, и переминалась, словно входила в холодную воду. Наконец не выдерживала, прыгала обратно в постель, взбивала ворох простынь и, скользнув под ними, сворачивалась неприметным комочком, стараясь перехватить, удержать участившееся дыханье.

Так продолжалось еще три дня.

Пятый день не дал никаких результатов. Более того – я, к своему ужасу, обнаружил, что время от времени не могу удержать ее зрение. Иногда она гасла, и, ничего не видя в кромешной тине, мне приходилось, чтобы не прерываться, находить и удерживать ее в поле на ощупь. Конечно, это был запрещенный прием, но если хоть на мгновение остановиться, есть риск, что всю трехчасовую операцию придется начинать по новой.

Но это не все. Иногда я слышал, как она тихо смеется. Из этого, разумеется, ничего не следовало – грудные младенцы тоже чему-то про себя улыбаются, хотя у них нет на то никаких оснований – ни опыта, ни памяти, ни рефлексов. Тут дело, скорее всего, во мне самом. Ее смешки находили во мне некий чудесный отзыв. Словно смеялся я сам – создатель и ребенок своего исчезнувшего детства. Впервые поймав ее смешинку, я чуть было не сорвал всю серию, которая через 23 минуты должна была закончиться, и напряжение уже зашкаливало так, что малейшее отклонение от последовательности грозило вышибить все клапана – и отнести, разнеся, нас обоих к самой настоящей чертовой матери.

Это было так, будто на всем ходу вдруг кончилась сумеречная нора горного тоннеля, и под напором движения из-за высокой скалы хлынула в лицо облитая розовым маслом низкого заката равнина, и следующий тут же за тоннелем крутой поворот на долгое восхитительное мгновение остался незамеченным – и в него, спохватившись, пришлось вписываться на пределе – с заносом, сжав зубы и намертво вцепившись в руль, мучительно жмурясь от ослепления и жути...

Но ничего, скоро я научился на это быстро реагировать. Позже, если мне приходилось улавливать ее неожиданный, будоражащий смех, я как бы скашивал зрачки и, поднырнув, гладко и без задоринки проходил под волной своего отзыва, так и не взят врасплох оплеухой от веера брызг, крученья и света...

«...В результате она скоропостижно приближается. Растительные сети мокрых, пахнущих не то тиной желанья, не то шанелью, душные дебри тропического сна, безвыходного настолько, что вернуться в него – значит проснуться... А между тем, канув всеми пятью, сейчас тонкой серебряной струйкой в глине потемок – ясным и новым – проворно, и к поцелуя устью уверенно расширяясь, происходит происходящее – я, некий звук, исподволь и незаметно, внятным побочным продуктом, – эхом бьющегося прикосновенья под кожей, выемкой ласки».

Естественно, у меня иногда мелькали проблески веры в благополучный исход. Но, казалось, они только для того и появлялись, чтобы, исчезнув, еще больше дать волю отчаянию и безысходности, которые тут же до краев наполняли углубившуюся полость надежды.

Временами мне действительно мерещилось, что дела мои не так уж плохи. Например, ее постепенное привыкание к зеркалу вселяло в меня не то чтобы уверенность в окончательном успехе, но хотя бы необходимую бодрость, с какой я приступал к очередной серии. И все-таки страх мой временами зашкаливало. Главное было – не сорваться в панический штопор. Я отлично это понимал и держал себя в руках. Тогда у меня уже исчезло чувство, что мною творимое – подвластно единственно мне. Но до последнего я старался взять на себя в с е, быть единственным ответчиком в этой истории...

Долго в таком напряжении оставаться было невозможно. Начинал упорно давать о себе знать инстинкт самосохранения. О, если бы я тогда не дал слабину и не пустил бы все на самотек!

На шестой день на рассвете, за час до начала, я вышел из гостиницы и стал спускаться к набережной в поисках уже открывшейся кофейни. Пройдя три квартала, я вдруг решил сбежать. Да, сбежать. Вот так просто – пройти сейчас на причал, купить билет на теплоходик до Акки, – и концы в воду. Документы, деньги при мне, на вещи в такую теплынь наплевать, а с ней там сами в конце концов разберутся. Даром, что еще не все сделано. Ведь только я это знаю, постороннему глазу все возможные недочеты – частичная амнезия, недомолвки жестов, провалы взгляда, когда зрачки на заметное время застывают на чем-то невидимом, – могут запросто показаться

обыкновенными странностями: мало ли людей на свете, которые не этим светом зрячи?

Я оглянулся. Тут и сям на узкой улочке, взявшей в прицел едва показавшее темя солнце, уже сонно высовывалось оживление: зеленщик выкатывал тачку с роскошной, как клумба, охапкой салата, петрушки, сельдерея, редиса – в россыпи капель, крепкого, как бочонки; толстый мальчик у фруктовой лавки, обморочно зевая, на корточках собирал обратно в корзину ярко распрыгавшиеся апельсины; сосед зеленщика, лысый старикан в почти сползших с плоского половинчатого зада штанах, в грязной майке и замусоленной вязаной кипе, поминутно сплевывая, зло возился с заевшими жалюзи мастерской; в доме напротив очнулся водопровод, и в окне второго этажа густо мелькнул ливень медного, мягкого блеска: туго стянула к затылку волосы, обмакнула лицо – нет ли облачка? – в еще жидкое небо; где-то наверху прочихался и затарахтел невидимый мотоцикл и – вместо того, чтобы лихо и кратко промчаться вихрем, блажным ревом кромсая утреннюю плавность, мучительно, как будто упираясь, – скатился под гору мопедом: долговязый резервист, азартно оседлав колесного ослика, с автоматом на шее, зажав футбольный мяч между торчащими выше руля коленями, поспешал не спеша на утреннюю поверку в часть, возвращаясь из увольнения...

Я свернул направо и, забирая лесенкой переулков в гору, вышел на улицу Герцля. Стоя на обочине, помахал водителю автобуса. В широком лобовом стекле «Мерседеса» передо мной плавно потекла череда оживающих разнообразием ландшафтов. Через часполтора я был в Иерусалиме.

Неподалеку от автобусной станции мне отыскалась контора, торговавшая круизами по Средиземному морю. Громоздкая маклерша, с печально выпуклым от набухшей щитовидки взглядом, ленивыми каракулями выписала билет на паром, отплывающий завтра из Хайфы в Ларнаку, и крупно воззрилась на меня, выжидая, когда я достану деньги.

Подобрав с конторки билет, я спросил, могу ли, раздумав, вернуть его обратно. Выяснилось, что тогда я теряю половину.

Зажужжал крошечный вентилятор, тетка заерзала, пытаясь уловить слабую струйку воздуха.

Окончательно потеряв ко мне интерес, включила под стулом шумный чайник и принялась вычитывать насчет калорий призматическую обертку «Таблерона».

Пролепетал звоночек, означая еще одного вошедшего посетителя. Я увидел себя со стороны: остолбенев в нерешительности, тупо уставившись на рекламные бело-синего морского глянца плакаты,

я стоймя стоял с билетом в руке перед исполненной невнимательного презрения маклершей.

Я поспешил выйти, столкнувшись за спиной со строгим ожиданием окладистого хасида.

Город мне был известен неплохо, и путь до Яффских ворот по холмам я проделал пешком. На площади, у башни Давида, среди толкотни и муравьиной неразберихи я немного успокоился.

В тесной фалафельной усатый араб щедро набил мне питу овощами и хумусом. Кусок застревал в горле, но, упорствуя, я все же добрался до половины. Захотелось пить, и я вернулся к стойке – за «Колой». Расплачиваясь, бумажника в заднем кармане брюк не обнаружил. Обхлопав себя по всем карманам и посмотрев на полу, я зачем-то схватил с прилавка банку «Колы» и выбежал вон. Хозяин, что-то крича, – за мною...

Я прерывисто мчусь по узкой улочке, отбрыкиваясь от встречных, и стараюсь не упустить из виду смуглую лысину пацана, который, пока я расплачивался, терся в фалафельной, клянча у посетителей мелочь. Хозяин, то и дело хлопая меня по локтю, что-то орет благим матом и очень мешает. Парнишка спешит, но не слишком, словно убегает так – на всякий случай.

Я не выдерживаю и, круто развернувшись, сую в руки полоумному хозяину фалафельной жестянку: заткнувшись, поворачивается, бью его под зад коленом, пропадает в толпе. Я возвращаюсь к погоне и скоро вижу: мой воришка, качнувшись вбок, шныряет в дверь какой-то лавки.

Влетаю следом, и стоп – там темно из-за наглухо закрытых ставень, но свет – какой-то тусклый, тоскливой желтизны отсвет протискивается, обваливаясь лохмотьями теней, за громоздящимися вдоль стен стеллажами. Резкий запах тертой полыни, жженого сахара и гашиша. У меня кружится голова, и, шатаясь, я нетвердо пытаюсь на ощупь приблизиться к заднику лавки. Там, у стены, блестят два глаза: присев на корточки, мальчик прячется за здоровыми медными чанами. Его выдает любопытство, и чем ближе я к нему продвигаюсь, тем он дальше высовывает свою чумазую мордочку. Вдруг все вокруг начинает плыть, и стены вогнуто колышут темноту, содержимое лавки стремительно оживает, слипается в сплошную череду из чашек, чаш, пиал, кувшинов, ваз, подносов, бус, монист, кривых кинжалов, вынутых из ножен, четок, каких-то книжек и лубков с персидскими красавицами, с грозно сросшимися бровями, – вся эта дребедень подхватывается моим головокружением и несется развинченной каруселью у меня под ногами, где внезапно в центре взрывается белый свет, и по мере его разгорания темнеет в глазах и меркнет наверху, у темечка. Но прежде чем

упасть, я все же успеваю видеть и, падая, бью выросшего из-за виска амбала в солнечное сплетенье...

Потом я долго вижу ее, сидящую по-турецки на незастеленной постели. Белые стены сочатся ровным матовым светом. Она смотрит прямо перед собой в окно. В его квадрат вписано полное, терпимое для глаз – закатное солнце.

Крохотная изумрудная ящерка-калека застыла на ее бедре. Их взгляды неподвижны и сходятся в одну не видную за солнцем точку.

Очнувшись, я в конце концов обнаружил себя на крыше.

Сначала было непонятно, где. Я увидел над собою небо, а привстав, понял, что вокруг – открытое, как на пустыре, пространство, сзади приостановленное сохнущими на веревках простынями и углом стены, сложенной из известняковых кубиков. Я долго рассматривал свою тень на стене. Чем-то она привлекла меня, и я даже подумал – не моя.

За простыней невдалеке открывался утопленный за горизонт купол с крестом в окружении верхушек кипарисов. Стало ясно: то, что я принял за пустырь, – пространство крыш домов, вплотную прилепившихся друг к другу. И я вдруг вспомнил, как однажды у Гефсиманского сада видел военный патруль: солдаты свободно прогуливались над карнизами, время от времени внимательно посматривая вниз, на уличную толпу; поговаривали, что почти в любую точку старого города можно попасть, передвигаясь исключительно поверху.

Голова была свежей, ничего у меня не болело, и скоро я решил встать, чтобы осмотреться и понять, как отсюда спуститься на землю.

Происшедшее меня ничуть не испугало. Я даже был в каком-то смысле благодарен неведомым обстоятельствам за то, что очутился в таком чудесном месте. Когда б еще мне самому взбрело бы в голову сюда забраться? Когда бы я еще такое вот увидел: равнину белого города, стоящего по пояс в море света...

Солнце палило вовсю, и стоило закрыть глаза, как оно тут же следом перемещалось слепым пятном – в затылочную область, и там мягко шевелило своими теплыми кровяными лепестками.

Поднявшись, я обнаружил, что совершенно наг, и вдруг пронзительно заныло темя. Я снова сел. Не веря, еще раз оглядел себя и почуял, что крыша на новом месте раскалена прямо-таки зверски. Попробовал, поерзав, переместиться и отыскать тот участок у стены, где лежал прежде, только очнувшись, но, видимо, тот уже успел нагреться. Сидя существовать было невозможно.

Я вскочил, стянул с веревки простыню и, обернув вокруг бедер, отправился на разведку. Стараясь срочно удалиться от места про-

буждения, был неосторожен и едва не провалился в узкую, шириною в ступню, щель между домами.

Требовалось срочно отыскать место для удобного спуска в какой-нибудь безлюдной округе: никому ничего мне объяснять не хотелось. Ориентируясь по близкому, идущему снизу уличному гулу, я наконец обнаружил бесшумный обрыв и осторожно подполз к его краю, опираясь только на кончики пальцев.

Это был крохотный внутренний дворик. В нем росло, наполняя его с горкой, густое абрикосовое дерево. По ветке, налегающей на край крыши, я спустился вниз. Огляделся. Кругом глухие стены и единственное низкое окно чуть в стороне от места спуска. Ни души.

Страшно хотелось пить.

Я отобрал с земли несколько битых, но еще не потекших абрикосов.

Обсосанной косточкой осторожно постучал в окно.

Сзади раздался глухой звук упавшего плода.

Постучал еще.

Дворик был тенистый, и лезть обратно на крышу не хотелось – я сильно обгорел во сне, и теперь любое движение, вызывающее сокращение кожи, ощущалось как ссадина.

Я потуже затянул на бедрах простыню и сел на лежащий под абрикосом коврик.

Сидя я подбирал вокруг себя сочные плоды и, надкусив, высасывал медовую мякоть.

Вдруг подумал: как она там?

Все равно пить хотелось нестерпимо, и я снова подошел к окну.

Постучал – теперь упорней, звонче.

Рама прянула от стука, как живая.

Громко спросил по-английски: есть кто-нибудь?

За плотной шторой ничего не видно.

Вдавил раму глубже (насколько было возможно – что-то там мешало) и протянул руку, чтобы отодвинуть штору. Не по себе мне было лезть в чужое, к тому же все-таки не ясно было, что там молчит, не отзываясь. Поэтому я мешкал, теребя, сбирая пядью складки толстой ткани, пытаясь подобраться к краю, чтоб разом сдвинуть и открыть – что там, за нею.

Не так все оказалось просто.

Я стал тянуться вбок и внутрь – для этого пришлось прижаться предплечьем и щекою к раме. При этом мой взгляд частично обратился внутрь дворика, и вдруг что-то зеленоватое, находясь смутно не в фокусе из-за близости к глазу, рывком спустилось по известняку стены и застыло у переносья.

Зажав в руке каемку шторы, я отстранился, чтобы разглядеть. Это была ящерка, точь-в-точь такая же – с раздвоенным хвостом.

Во рту она держала пестрый лоскуток: исчезнувшую по брюшко в пасти бабочку. Вдруг кто-то сильно дернул меня за руку, и я влетел во внутреннюю темь.

Что было дальше? – Дальше темнота. И в ней какие-то щелчки, щелчки мгновений, как будто кто-то перезаряжает... Да, там были вспышки, одна, другая, череда – из букв, которые слагались по группам в имена, так, словно смысловой мотив на ощупь к истине пытался подобраться, чтоб имя верное, единственное выбрать... Щелчки и вспышки раздавались сродни тому, как если бы фотограф опергруппы работал бы на месте преступления, снимая ракурсы от следа к следу с трупа.

Все это длилось дико долго. Никак нельзя было проснуться...

Потом возник внезапно некий звук, протяжный тонкою тоской, – и, подхватив, вдруг вынес мое зрение ясное на место, и я очнулся.

В общем-то, все, что случилось тогда со мной, впоследствии никогда не вызывало чувства досады. И совсем не потому, что сослагательный способ отношения к прошлому всегда мне казался порочным. Позже, вспоминая, я всякий раз был счастлив от уверенной мысли, что легко отделался. Хотя, чего именно я тогда бежал, все еще не ясно. Есть два варианта отношения к происшедшему. Либо расценивать его как пустое событие – случай, не имеющий никакого внешнего смысла в последующем настоящем. Либо пытаться найти слабый отзвук, след, неким образом деформирующий судьбу, ее тем самым выявляя. Увы, такое понимание забрезжило лишь недавно...

Я отчетливо помню, что после провала в окно мне не было больно. Зацепившись ногой за раму, я окончательно потерял равновесие и рухнул в мягкий морок головою. Окно со стуком затворилось, портьера вязко колыхнулась, и чья-то крупная фигура исчезла в полной темноте. Я было подался вперед, чтоб встать, но кто-то, взяв меня за плечи, сдержал и, дернув, снова опрокинул навзничь. Я попробовал вырваться, напряг пресс, плечи, но тщетно – второй, как ужас, навалившись, сдержал меня за ноги. Я дико закричал. Другой раз, третий. Ноль внимания. Мне держат руки, ноги – и молчок. В конце концов я надорвал, охрипши, голос... Довольно долго я лежал и слышал их сопенье. Пытался раза два рвануться, сбросить – хоть бы хны: как будто бы свинцом меня залили. Вдруг кто-то положил мне руку на глаза, и больше я уж ничего не помню внятно...

Очнулись мы почти одновременно.

Сначала я увидел звезды – такие крупные и сочные, как каменная соль на хлебе бородинском: вся половина неба полусферой ти-

хонечко кружилась и слабой дымкой марева, как будто рябью, покрывалась. Потом вдруг что-то осторожно поднялось с моей груди, стало легче дышать. Я привстал и нащупал ее.

Мы обнялись.

Где мы и что мы – понять было невозможно.

Представлялось ясным только одно – местность горная, под ногами «сыпучка» – мелко-каменная зыбь. Идти по ней невозможно – больно и к тому же опасно: я, решившись осмотреться, скоро потерял равновесие и полз обратно на карачках.

Оглядевшись – если только в бочке с дегтем можно оглядеться, – понял, что если и идти куда-то, то – вниз, туда, где угадывалась в темени, огромной и глубокой, как зрачок великана, дорога: несколько раз почти на самом дне показались светлячки автомобильных фар и, медленно прочертив дугу, исчезли. Спускаться в таких густых, как пустота, потемках было безрассудством, но я чуял: нужно срочно сваливать с этого места.

Стараясь передвигаться по более или менее пологим местам, мы постепенно забирали в сторону скалы, где, трассируя за придорожным кустарником, исчезали фары. Нам повезло: пару раз несмертельно слетев кубарем, в конце концов мы оказались на асфальте.

Было все равно куда идти: округа не поддавалась опознанию. Мы тронули налево.

Местность напоминала громадное продолговатое дно, а мы, получалось, обходили его по краю: это угадывалось по отсутствию звезд на нижней части окоема.

Легкий ветерок донесся с противной стороны колодца, снял атаку комаров и приятно обдул от влажной духоты все тело. Послышался тяжелый, немного едкий запах.

И тут меня осенило: мы шли по шоссе, ведущему вдоль берега Мертвого моря на север.

Я сказал Кате о своей догадке; она хмыкнула:

– Скажи спасибо, что не Крым.

Все-таки хоть как-то полегчало.

Мы пошли живее – временами, как диверсанты от патруля, шарахаясь в темь от хлещущих по шоссе фар. Мы решили заночевать, добравшись, где-нибудь в Эйн-Геди, наверху, в рощах: ловить попутку в сторону Иерусалима – голым и в такую пору – было дикостью.

Вдруг из-за поворота взметнулся плотный конус света. Медленно шевелясь, он прощупывал маслянистую поверхность воды.

Театр искрящихся соляных столпов, немо стеная, кривлялся – вспыхивая и пропадая – под слепящей дланью света.

Мы не были в силах вообразить, что происходит – вся эта свистопляска зрения начисто смела остатки сознания. Мы прижались

друг к другу. Так напоследок – от страха или прощаясь – обнимаются родные люди, увидевшие вспышку взрыва и понимающие, что до прихода взрывной волны есть только несколько секунд...

Со временем стало ясно, что световой конус раздается от диска прожектора, установленного на бронетранспортере. Машина двигалась медленно и упорно, толкая перед собой массу света, как жук-коробейник – священный шар.

Пограничники отнеслись к нам дружелюбно. Мы соврали, что вечером купались и у нас арабы стянули одежду, а теперь, когда стемнело, пытаемся добраться до нашего кемпинга, в юс-хостеле у Моссады.

Сержант или сделал вид, что поверил, или в самом деле поверил, – и велел выдать нам какое-то солдатское тряпье. Потом связался по рации с патрульной машиной. Через минуту примчался джип с мелкой сеткой вместо стекол. Из него выскочили два солдата. Они составили в два яруса ящики на заднем сидении и усадили нас на освободившееся место. Водитель оказался эфиопом, и – пока не заговорил – в темноте мерещилось, что он без головы. Угостив мацой (Песах был на мази) и яблочным соком, нас довезли до самой Моссады.

Мы заночевали на скамейке автобусной остановки. Неподалеку в зарослях кустарника у костра кипела студенческая компания. Почти до света они шумно пели под гитару. Я с удивлением узнал мотив одной из песен. Это была «Темная ночь».

Утром, завидев припарковавшееся у остановки такси, мы бросились к водителю и, обещая горы золотые, стали упрашивать свезти нас в Тель-Авив. Шофер помотал головой и сказал, что его пассажиры сейчас осматривают крепость и что за два часа он никак не обернется. Тогда я отогнул еще два пальца, и через минуту за четверной тариф мы уже неслись вдоль озера жидкой соли, растерянно оглядывая потрясающую, словно лунную, местность.

На светофоре за два квартала до гостиницы мы переглянулись и выскочили в разные стороны из машины. Попетляв по округе, встретились в номере.

Пока Катя принимала ванну, я позвонил в Несс-Цион Перельштейну. Вечером Костик привез деньги. Я расплатился за гостиницу и купил билеты. На следующий день мы были дома. А спустя неделю Катя исчезла.

Канула внезапно, и я пропал вместе с ней, как не было.

Был звонок из конторы, где она до того отработала свой испытательный месяц. Сказали, что срочно ждут ее на постоянку. Катя обрадовалась – как-то таинственно обрадовалась: сложила пальцы крестиком, подошла к окну и долго там стояла. Я окликнул ее. Не отвечая, метнулась в прихожую, оделась – и пропала допоздна.

Через день, наспех собравшись, она уехала в какую-то подмосковную командировку.

Я был на ее факультете, объездил подруг и написал отцу в экспедицию. Я пытался свести концы, но тщетно. Отец наконец отвечал, что недавно она ему писала: все хорошо и даже слишком, наконец теперь при деле, работает безумно интересно, и творчества хоть завались, пока часто приходится разъезжать, но скоро все это прекратится и станет оседлым.

Затем через неделю раздался нервный междугородный звонок. Она узнала, что я стал будоражить отца, и хотела предупредить. Она сообщила, что все в порядке и что искать ее нет смысла. В разговор развязно встряла телефонистка и напомнила, что заказаны три минуты и что пора бы закругляться.

Тогда, положив трубку, я испытал облегчение. К счастью, до меня еще не мог дойти полный смысл услышанного. И я не мог себе представить, что мне будет стоить его забыть.

На следующий день взял отпуск за свой счет и уехал на месяц в Питер. Там написал ей то самое письмо и отослал на адрес отца. Уж не знаю, как оно к ней попало.

Вернувшись, я собрал все вещи моей Августы, вывез на Лосиный остров и устроил там, на поляне, всесожженье.

Глава 3

ПРИБЫТИЕ

Разговаривать с ним мне не хочется. Я сижу у окна и смотрю, что там. В окне движение тасует: дома, мосты, платформы; повторяет: волны телеграфных проводов, столбы, деревья. Под стук колес в поезде думается размеренней, если думается вообще. Я просто смотрю в окно.

Ничего нет слепей окна. Чем оно просторней (а движение раскатывает его поверхность аж на всю ширину ландшафта), тем оно более близоруко. Если рассматривать крайний случай, окоем – самый интроспективный объект созерцания на свете...

Входит нищий с сиплым баяном. Мучительно ковыляя в проходе, засаживает в воздух попурри: играет. Из протертых мехов повеял, оглушая, ветерок. Я испытываю облегчение, когда он перестает на время хуярить, чтобы взять протянутую горбуном мелочь...

На очередной остановке народу в вагоне по таинственному закону то прибывает, то убывает. Впрочем, чем дальше, тем пустее.

Раз десять туда-сюда прошла та же бабка с пирожками, беспрестанно вопя: «гор-ря-ячие, с пылу-жар-ру, с капустой, картошкой, яйцом...»

Каждый раз обстоятельно извиняясь за беспокойство, по вагонам носят и дают пощупать разную всячину: нитки и каминные спички, огнеупорные скатерти и кипятильники, батарейки и изоленту, цветные карандаши и тетрадки, слоников и пони, веники и метелки, терки и специи, сервизы и журналы, газеты и ежедневники, детективы и песенники, удлинители и елочные игрушки, пиво и еще черт знает что. Хотя чего там щупать пиво, пиво пить надо. А они щупают – будто проверяют, холодное ли. Это зимой-то...

Оказывается, мы выходим на станции Лесная. Горбун извещает: «Пора», – и, схватив с полки рюкзак, следом вываливаюсь – сначала в тамбур, и далее – в мертвую зиму.

Небо – небеленый низкий потолок. Снег серый, как небо...

Галки бьются во взорванной клетке голых ветвей. Вороны, кружа и спадая с соседних деревьев, переругиваются с ними. Кажется, галдеж и карканье и порождают зрение...

На разъездных путях рассыпан жмых, валяется продранный мешок, и распластан у стрелки дохлый черный пудель.

Я дико думаю, откуда здесь пудель?

Людишки, сошедшие с поезда, тянутся струйкой в никуда – по тропинке, огибающей станционную кассу. Иссякают.

Горбун оглядывается вокруг, потягивая длинным носом, будто вынюхивая направленье. Я чувствую мерзкий запах гари – где-то горит свалка органических отходов, тлеет горячая мертвечина.

И все-таки прибыли.

Ну уж, прибыли так прибыли. Кругом дурдом, и жители его себя сами лечат.

Кабы знать, что такое здесь станет, я бы отстреливался – но ни шагу.

Описываю. Проходим мы, значит, с горбуном по лесополосе и оказываемся на дороге. Голосуем. Машин почти нет: вдалеке лес, посреди поля обрушенный коровник стоит вразвалку, трубы, шпалы, балки какие-то штабелями, поодаль деревня – три дома, у одного только забор, зачем вообще нужна здесь дорога – тайна. Но горбун ручку, как пионер салютующий, кверху задрал и стоит так, не шелохнется. Я жду. Холодает. А карлик все стоит стоймя – голосует в неизвестное.С ноги на ногу переминаюсь, сигарету прячу в кулак, чтоб согреться. Стоит.

Останавливается «зилок». Шоферюга высовывает морду, длинно харкает в сугроб и мутно пялится на нас. Горбун руку не опускает, стоит, неподвижно глядя в поле. Морда харкает еще, бормочет – и укатывает.

Я подхожу к горбуну, трогаю его за плечо: чего, мол, стоишь-то. Тот ноль внимания, торчит, как столбик, в столбняке, и точка.

И чую я: что-то здесь не то. Заглядываю ему в лицо... а там не видно. Глаза стеклянные, навыкат. Тормошу. Он тверд и косен, как замерзшая синица, все так же держит руку. Я тормошу сильней. Теряет равновесие и падает, как статуэтка. Точнее – опрокидывается. Я успеваю тельце подхватить и... И стою теперь с ним на руках: твердый, как полено, рот приоткрыт, и шарик желтой слюны изо рта выклевывается, набухая. И главное – кадык бешено колотится, как будто хочет проглотить – и не способен.

Сначала я опешил, потом запаниковал: закружил на месте, соображая, куда бы положить. Освободился от рюкзака, стянул, выпрастываясь из рукавов, куртку, бросил на снег, кое-как ногою расправил: устроил. Из-за горба – набок завалился: ворочаю обратно – валится.

Вспомнил, что в таких случаях надо разжать припадочному зубы, а то язык проглотит. Посмотрел: челюсти и так разжаты, с языком только непонятно... А рука-то – торчит. Сгибаю – не гнется. Стал делать искусственное дыхание, давлю на грудь: она – как кость, и чувствую, что горб как бы приминается под нажимом...

Вдруг, как из-под земли, останавливается машина – «скорая». Я – к ней, оттуда – санитары. Один меня заламывает, другой к горбуну. Я не пойму, в чем дело, пытаюсь вырваться, чтоб тоже к горбуну, но не могу: держит меня, кабан этакий, за руки, и вижу: тот, другой, над калекой склонился, что-то всыпал ему в рот из горсти, потрепал по щекам, подбородку, в лицо вгляделся, ухо к груди приложил и на землю поставил.

Пока он возился с ним, я еще раз попробовал вырваться, обернуться к моему держателю. Не получилось. Я спрашиваю: чего держишь-то? Молчит. Я к его товарищу: в чем дело?! Тот и глазом не повел – занят. Пока горбун зенки на свет заново продирал, санитар подымается с колен и ко мне. Несет рюкзак, бросает под ноги. Быстро облапил, обыскал. Раскрыл рюкзак – глянул: ничего интересного. Залез по пояс в «Газель» и что-то там достает, возится. Выходит водила. Смотрю, а это та самая рожа из «зилка», только почему-то в белом весь, как ангел. На голове – шапочка. Достает из кармана халата блокнотик и молча что-то дрочит. Я спрашиваю: чего пишешь-то, сволочь. Молчит, строчит и поглядывает – подправляет, с моей физиономией сверяясь, будто срисовывает или вроде как описание для фоторобота по пунктам составляет.

Тут горбун, очнувшись, подходит, шатается и машет слабо рукой. Меня отпускает верзила. Ага, думаю, вот кто у вас главный...

Надеваю рюкзак, стараясь виду не подать, что сейчас буду драпать, и скашиваю глаза. Который искал, тем временем нашел и обернулся с какой-то штукой резиновой в руках, вроде кислородной подушки. Развел руки, подобрал трубочки-присоски и подходит ко мне, как с сетью, – приноравливает на расстоянии аппарат надеть – и за спину мне, падла, заглядывает. Я отстраняюсь, но натыкаюсь рюкзаком на верзилу сзади. Он сдергивает мне лямки с плеч, срывает до поясницы, перекручивает – и я повязан. Рюкзак тяжелый, с книжками, не очень-то и потрепыхаешься. Дергаюсь, чтоб обратно, пытаюсь скинуть – верзила, стянув, держит сзади, а другой в морду мне тычет маску. (Мелькает бред: сейчас наденут маску, и тогда можно будет бежать – в этой карнавальной толпе меня не узнают.) Мычу, лягаюсь, вдыхаю – и с копыт.

Сквозь белые стекла «скорой» слабеющий матовый свет болью сочится мне в темя. Запястья затекли и ноют, притянутые к носилкам. Мерцает свет – колышется сознанье. Тряска. Подле маятся по полу два мишки, в намордниках, с розовыми бантами. Оба санитара сидят в ногах. Не смотрят. Я отключаюсь.

Потом мелькают диваны, пальмы в кадках, бородатые портреты, кушетки, холодная, липкая клеенка, письменный стол – за ним пухлая тетка, с ямочками на щеках, улыбчиво что-то метит в блокноте, вчитывается, застывает. Я слышу: «Анестезию. Срочно». Спустя провал звонит телефон, тетка берет трубку и страшно пугается. Кладет обратно, не сказав ни слова. Потом достает из ящика что-то блестящее: дышит на кругляшку, протирает рукавом и смотрит – не прояснилось ли.

Телефон звонит еще раз, тетка отвечает по-английски:

– Good afternoon, Saint Michael hospice, may I help you?

Надо мной склоняется кудрявый водила и, скалясь, больно берет за руку...

Очнулся ясный – будто только народился. Вижу: Катя сидит подле, на шее стетоскоп, как ожерелье. Смотрит на часики – пульс мне считает.

Кругом все белое. Напротив – громадное окно и в нем ель на снегу голубая. Ничего себе поликлиника, рассуждаю.

Я смотрю на нее долго-долго.

Она сосредоточенно следит за стрелкой на циферблате.

Проходит год, и еще один месяц исполнен.

Я беру у нее из руки мембрану и легонько шепчу: «Привет».

Она улыбается, и я думаю: ну, пронесло.

Глава 4

ОТДЫХ

Вот я и обжился. Только все еще не знаю, с чем.

Стефанов говорит, он тоже поначалу не все взять в толк способен оказался. Все податься куда-то стремился, чтоб выяснить. Но потом, говорит, дошло. А я не верю, что дошло, я думаю, его сломали. А то, что бодрится – мол, понял все досконально и с тем остаюсь пока что в мире, это так – припарки. Но все равно он добрый и хороший. О лучшем соседе я и помыслить не мог. В других палатах на нашем этаже разные типы встречаются – в лучшем случае зануды, в худшем – этакие бодрячки, с улыбкой жизни от кефира с булкой на ночь. (И вообще, сказано: не бойся геенны, а бойся соседства в раю с дураком.)

Только что-то в последнее время Катя вдруг стала подлаживаться к моему старику. Не дай Бог с ним что случится. Я решил – буду тогда в одиночку проситься, а то еще придурка какого-нибудь с жаждой жизни подселят. Несомненно, глаз она на него уже положила. Заходит чаще, беседы о балете вести повадилась. А Стефанов-то – балетоман отбывший, вот он и покупается. Хотя сам по профессии математик, но про толстого Дягилева с нежным Нижинским и о балете вообще заливает так, что любо-дорого послушать, посмотреть. А еще он ужасно любит Москву, особенно бульвары... Но это другая история. Я все боюсь, как бы Кате про нее не стало известно, а то болтовня их – и риск – удвоится...

Вчера вот разговор у них случился на закате. Представьте. Точка обозрения – из кресла в углу, где я сижу правым боком к камину. Поле зрения выпукло и просторно покрывает извне нашу палату: высокий объем слегка голубоват от мраморного пола; здоровое окно, почти во всю стену, выходит на опушку и, растворяя в блеске синие деревья, содержит до края розовую пустоту; камин уже прогорел – и от него отсвет в рифму: кажется, что от заката греет бедро. Стены матово-белые, как промокашка, замедляют свет, вбирают. Стефанов полулежит на одре, Катерина – нога на ногу, с прямой спиной на стуле у изголовья. В руках – тетрадь; иногда она что-то в ней пишет.

Стефанов, прервавшись, тщательно разглаживает и обжимает ладонями сванскую шапочку, будто помогает прийти в порядок мыслям. Проводит рукой по узкой бородке. Закат сползает по стене и мешается с его бледностью. Мягкий воздух течет поверх нас. Я чувствую слабый запах припоминания...

– Жест – это поступок тела, чувство – поступок души. Когда душа

и тело делают одно дело – это и есть танец, – так продолжает Стефанов и, обернувшись, сверяет со своим мое пониманье.

– Тело есть тяжесть души, если хотите, плотность ее движущегося воображения... Своего рода якорь, балласт, дарующий ей способность почувствовать радость опоры. Не будь тела, душа бы канула в обмороке полета, как шарик воздушный в ветре. Танец – это действо, позволяющее скользить над таинственной гранью души и тела, это, так сказать, бреющий полет души над ее отражением в мире... Когда Нижинский делал свой первый прыжок в «Фавне», это был не прыжок, не грубое сокращение и распрямление мышц, проносящее его над всей сценой, а своего рода душевная эскалация, задающая высоту тональности, зазор, дистанцию между душой и телом, на которой и будет впоследствии разворачиваться, проистекать весь танец. Мы все здесь, между прочим, тоже в некотором смысле танцоры – из-за этого вот зазора. Он у нас больше, чем у прочих, поскольку мы ближе находимся к смерти... Чем ближе к смерти, тем явственнее мерцает душа, она то отходит, то вновь возвращается, умудренной...

– Ну, это вовсе не обязательно, – вмешиваюсь я, – взять хотя бы этого фраера из седьмой палаты. Ему без пяти помирать, а он все про живот свой думает, скандал вот вчера устроил. Видите ли, заказал на ужин ромштекс, а принесли по ошибке рыбу, так он такой бенц учинил, что нянечка расплакалась.

Катя тут же внесла в блокнотик мой нечаянный донос.

Старик не ответил и прикрыл глаза.

Катя повернулась к окну – закат густел и пускал дыханием перья цвета. Я подумал: окровавленный фламинго.

Стефанов с закрытыми глазами длинно протянул высохшую руку и коснулся Катиного плеча. Она вздрогнула и отстранилась. Но тут же смутилась своей брезгливости:

– Алексей Васильевич, все это очень, очень интересно, пожалуйста, продолжайте.

Стефанов выпростал руку на одеяло и, пряча дрожание пальцев, натянул на кисть обвислый рукав свитера.

– Танец есть мера чувственного и мыслительного зрения, то есть – время... Заблуждение – думать, что танец что-либо выражает. Танец находится по ту сторону выражения и смысла. Танец – это телесное воплощение души, идеи незримого голоса. Но – не выражение. Это – явление в чистом виде, которое есть само сообщаемое, а не сообщенье. Больше того, в танце человек создает себе телесного двойника – так сказать, свое иное, танцевальное тело. Они отличаются друг от друга так же, как сидящая на ветке птица отличается от птицы в полете, как смерть от жизни. Непрямая сумма движений танцора – вспом-

ните череду телесных представлений на древнегреческих вазах и стробоскопическую фотографию танца – не исчезает бесследно, но становится прибавлением к его иному телесному «я», к его двойнику, который ближе к душе и музыке, чем осязанье. Этот двойник, он бессмертен, нетленен. Все зримые явления души осуществляются именно им. И именно танцевальное тело отвечает за ориентацию в невидимости. Оно как бы наш универсальный проводник: сам ведомый музыкой сфер, он оберегает нас и в сложных дебрях бессознания, и в ослепительной пустоте чувственной неги...

Я взглянул на Катю: как ей этот бред. Она поглощенно записывала.

Старик разошелся и стал добирать примеры:

– В этом свете становится очевидным, что такое явление, как клаустрофобия, есть реакция инстинкта самосохранения на попытку отдалить, выместить танцевальное тело субъекта от него самого. Умаление места тела им панически рассматривается как ампутация танцевального двойника или в лучшем случае ущемление его дыхательных путей – пучков движений, чей воздух – живительная смесь из пространства и времени...

Стефанов вновь обратился к себе внутрь и смежил веки. Но, не найдя ничего доступного для произнесения, повернулся к живому окну и замолчал.

Катя, скользнув по полу, усаживается ко мне на колени, запускает в мои волосы руку и мягко перебирает.

Закат теперь остыл пепельной синевой, и стремительный сумрак густеет, отделяясь от зрения. Я кружу по его простору и жду первой звезды. Я кружу, и стремительный лет потери наворачивается на меня, как нитка кокона.

Катя ластится, и ее легкая тяжесть вливается мне в солнечное сплетенье.

Я отстраняюсь и пересаживаю ее на подлокотник.

Шапка золы с коротким шелестом сползает с углей в камине.

Стефанов протяжно вздыхает и поворачивается навзничь. Что-то колышется над его постелью, в оконных сумерках постепенно светлеет, и видно, как легкие перья сияния разнеживаются в низком облачке, кружась и опадая.

Стефанов, очнувшись, затянул по новой:

– Тело суть тяжесть души, плотность ее движущегося воображения... Танец – это действо, позволяющее скользить над таинственной гранью души и тела, это – стелящийся полет души над ее отражением в мире...

Мне становится ясно, что старик снова попал на тот же виток своего балетного бреда, и говорю Кате:

– Пойдем.

В доме уже объявлен отбой, верхний свет, как ночью в вагоне пассажирского поезда, притушен, и голубоватые капли светильников цедят сквозь матовую роговицу прохладный цвет покоя. На цыпочках мы пробираемся к заветной двери. Сестра-хозяйка сейчас на дежурстве в холле, и мы тайно хотим проникнуть в ее камору. Проникаем.

Внутри пахнет свежим бельем и расколотой косточкой абрикоса. В узком окне, в ее распущенных волосах я вижу три меняющиеся звездочки. Они трепещут и, совмещаясь, норовят исчезнуть. Я гадаю, какая из них появилась первой...

Она шепчет: «Подожди» и, задохнувшись, прислоняется к высокой стопке белья. Распускает поясок халата и поднимает руки...

Стараясь не издать по мрамору шага, возвращаюсь. Стефанов уже спит. Во сне он видит живое и слегка кривит рот, улыбаясь. Я поправляю ему одеяло.

Снова усаживаюсь в кресло и нахожу те же три звездочки. Я не знаю, с чего начать, и просто долго смотрю на них. Потом догадываюсь и, чтобы проверить, выскакиваю в коридор. Мне в ноги бросается из-за двери горбун, я зацепляюсь и распластываюсь на теплом мраморе. Его венозные прожилки, подернувшись бликом, рыхлой сеткой отслаиваются с черточек, выскочивших врассыпную в глазах от удара.

Я ушиб коленную чашечку и крепко сжимаю зубы, чтобы не застонать. Горбун цепко, как палач-обезьяна, хватает меня за руку и тянет по направлению к холлу. Согнувшись, держусь за колено, но хватка его бульдожья, и мне приходится все же потрафить ему, хромая.

В холле первого этажа в конце рабочего дня проходит совещание персонала: сестра-хозяйка, врачиха, медсестры, нянечки и санитары сидят полукругом у новогодней елки и обсуждают завтрашний приезд ревизионной комиссии Красного Креста и Полумесяца.

Катя сидит в стороне, у двери столовой. Смотрит, будто чужая — слепо.

Горбун подводит меня к низкому подоконнику и сам подсаживается рядом. Над нами торчат, зацепившись за штору, два выпущенных из клетки волнистых попугайчика (твари уюта) и время от времени гадят. Я отодвигаюсь в сторону от этой капели. Горбун трясет штору, и два желто-синих вспорха с пронзительным чириканьем рвут через пространный холл обратно к ихней клетке. Садятся. Тупо, завалившись на бочок, замирают.

Как в цирке, в фокусе параболы, по которой расположился персонал, осанисто восседает сестра-хозяйка. Место вокруг нее вытягивается и щелисто подает возглас: «Осанна!»

Хозяйка-сестра крепко держит бразды общего внимания и вещает. В ее размеренной речи то и дело мигает мимический английский акцент. Это придает некоторый шарм ее сообщению. Правый глаз у нее страшно крив и косвенно пялится на меня. Я замечаю, что он стекленеет на мне неотрывно, в то время как левый вполне подвижен и все время елозит по лицам персонала, яростно требуя у них понимания.

Боль в колене на время затаилась, и до меня доходит, что ровный и властный голос сестры-хозяйки – это голос моей злобной школьной училки английского – Серафимы Сергевны...

Выясняется. Комиссия приезжает в полдень, и все уже должны быть к этому времени на цырлах.

Сначала – торжественная часть торжественной встречи, затем подробная экскурсия по заведению, праздничный обед, в программу которого входит выступление кружка самодеятельности и более близкое знакомство с избранными представителями контингента. В пять часов – обмен памятными подарками и церемония проводов.

На станции четырех членов комиссии будет ждать машина из автопарка хосписа. Один из санитаров объявляется ответственным за доставку. (Кудрявый водила встал, чтобы поклониться.)

Распределяются пункты обязанностей и назначается жесткий режим исполнения.

Подчеркивается: завтрашний день важен для репутации дома в глазах не только его владельца, мистера Леонарда Кортеза. В результате завтрашней встречи представители регионального бюллетеня Международного Общества Красного Креста и Полумесяца должны получить полное представление об успешном начале такого экстраординарного для «вашей страны» акта милосердия, частью какового и является их деятельность в этом странноприимном доме, построенном и функционирующем при полном финансировании и патронаже господина Кортеза.

Вдруг я вспоминаю, как Саня Беляев притащил откуда-то в класс богомола и на перемене приклеил его циркульные ножки к обложке классного журнала... Это стоило ему жизни насекомого, двух часов беседы наедине с Серафимой и перевода в другую школу: в учительской он умудрился заснуть и рухнуть со стула...

Когда бодяга кончилась и прочие разошлись, остались горбун, хозяйка, Катя и часть меня. Часть – оттого, что колено снова ноет ужасно и боль поглощает сознанье.

Мне вкратце предъявляется обвинение в попытке шпионажа. Объявляется, что во избежание дальнейших неприятностей – с моей стороны – завтрашний день я проведу взаперти в одиночке. Горбун кивает, а я не спорю и прошу дать мне болеутоляющее и бинт. В колене все время что-то смещается и выходит наружу мученьем.

Сестра-хозяйка кивает Кате, и мы оказываемся в процедурной. Я спрашиваю ее:

– Что происходит?

Она молча обвязывает бинтом мне туго ногу. Достает из шкафчика две облатки.

Дает запить.

Горбун строго заглядывает в приоткрытую дверь.

Я швыряю в него мензурку. Нехотя исчезает.

Катя – тихо:

– Будь осторожен. Иначе – пеняй на себя.

Она целует меня в лоб и отстраняется, потому что я хочу ее обнять.

Глава 5

СОСЕД

Все-таки в одиночку меня не переправили.

Заперли в палате вместе со Стефановым. Я обрадовался. Стефанову ведь не до перемещений, его и так ноги не держат. А мне и подавно.

После анестезии нянечка принесла в пластиковых судках сразу завтрак, обед и ужин. Заглянул санитар и стукнул на пол микроволновку. Дверь за ним затворилась – суетливо, как клетка с тигром – за трусом-дрессировщиком. Было слышно, как он, сопя, с матерком, возится с пластилиновой пломбой.

У Алексея Васильевича с утра случился всплеск тонуса, и сейчас он читает.

– Стефанов, вы кофе или чай?

– Чай.

– Что проку в чае утром? Вот кофе, он действительно трезвит спросонья. К тому же, если покурить...

– Но в чае больше кофеина...

– Зато цепляет медленней, если вообще цепляет.

– Ну что ж, давайте кофе.

Я прямо в кружке заливаю кипятком из печки три ложки «велюра» и накрываю блюдцем.

– Что вы читаете сейчас?

– То, что здесь пишется о нас.

– И как там?

– Худо.

– В каком же смысле?

– А во всех.

Я подаю ему напиток, старик кивает и берет.

– Стефанов, что вы вчера такое о балете рассуждали? По-моему, душа, коль есть она, она плюет на тело. Душа, ведь, божий дар, а тело – так себе, яишня...

– Ну, это ведь вопрос воображения...

– А мне все ж кажется, что рассуждения.

Внезапно что-то происходит: старик мерцает долгим взглядом, тень проступает изнутри в лице. Он углубляется в усилие...

– Стефанов, что, так плохо?

– Плохо.

– Врача позвать?

– Не надо, справлюсь...

Он надвигает сванскую шапочку на глаза и пытается улыбнуться – из глубины боли.

– Вы говорить-то можете?

– Могу.

– Так что ж, давайте говорить?

– Чуть-чуть позднее.

Я поворачиваюсь к окну.

Снег падал так, как если бы деревья взлетали вверх в полнейшей тишине и там бы растворялись в свете...

– Да-а, место они выбрали вполне сказочное... Кругом – дремовая Мещера, летом, должно быть, леший водит, мох на мшарах, что ковер шахский – по щиколотку... Грибов – тьма, хоть косой мети. Я был в детстве в этих местах, два месяца проторчал в спортивном лагере на Прорве...

Стефанов приподнял с одеяла книжку, листнул три страницы, но читать не стал.

– Алексей Васильевич, может, в самом деле, врачиху позвать, она вам внеочередку пропишет... Чего мучиться-то?

Стефанов помолчал.

– Знаете, вы, пожалуй, правы. Боль, она, в общем-то, не облагораживает. Разумеется, испытание ею прибавляет мужества... Но скоро все это оборачивается каким-то нездоровым спортом.

Старик говорил с трудом, претерпевая. Я ткнул в звоночек и, подскочив, крикнул в дверь:

– Врача срочно!

Когда пришли с мензурками, заодно спросил у них еще и травки. Поломавшись, отсыпали. После коктейля лицо старика прояснилось.

Я затопил камин и набил две гильзы. Стефанов свою отложил, не раскуривая. Я затянулся наслаждением...

Э-эх, зря старик не благоволит к траве. Говорит, иронизируя, что иван-да-марья на его поколенье не действует, как мое равнодушно к полету Гагарина. Или ко вторжению в Прагу.

– У каждого времени своя рецепторная зона, – заметил он однажды.

Честное слово, не понимаю. Травка, на мой взгляд, отличное клиническое средство. Уж точно получше коктейля Бронштейна. Слишком круто тот забирает – после приема ты сразу, под напором вплываешь в туманное озеро совершенной благодати. А травка, она только отвлекает: конечно, тебя всерьез укачивает облегченье, но берег видно всегда. Полная, безотносительная благодать вредна потому, что всякий раз у больного появляется надежда на рай. Но боль возвращается, и с ней – тоскливая смерть наяву, похмелюга. В результате – запойное дело. Но суть, ведь, не в боли. И не в цикле поблажек – а в обмане души.

Снег падал тихо и ровно. Казалось, он возносил по себе деревья. Взгляд подымался вслед за тающими в плавной белизне кронами, и сверху было видно, как мы протяжно смотрим, исчезая, сквозь – из своих двух разных вечных точек.

Стефанову явно полегчало, и он решил не тратить времени на внутреннее созерцание.

– Что ж, давайте разговаривать.

– Мне сегодня ночью снилось прошлое, – я вспомнил, оживившись. Это довольно странно, приснилось все в точности, без прибавленья. Обычно снится будущее или несуществующее, а тут – словно по кругу пустили.

Стефанов совсем отложил книжку и вытянул желтые руки поверх одеяла.

Из стенного шкафа я вытянул полено и уложил на угли. Береста закурчавилась, полыхнула – жар был сильный, и чурка – с руку – зашлась нацело, как спичка.

– Представляете, снится мне, как мы однажды с Катей на крышу Пашкова дома лазали. Начало июня, пух, словно легкий, неприкаянный снег, кружил по городу. Мы шатались полдня по бульварам и под вечер уселись с пивом на каменную скамейку парапета, над Моховой. Здание ремонтировалось. Сложная короста лесов обложила великолепный фасад. В их ячейках пыльные окна мягко сочились ожившим в плоскостях светом. Внизу стадами вдоль свободных тротуаров бесчеловечно мчались автомобили, и, казалось, город был совсем пуст. (Знаете, ощущение пустоты всегда обостряется механистическим движением... Автомобиль – это другая, умаляющая ипостась человека, железная маска. Садясь за руль, человек

превращается в химеру, исчезает. Боль, кстати, в этом смысле – тоже маска...) Катя вдруг поднялась и переступила через низкую решетку в палисад. Я не сразу понял, зачем ей это. Довольно долго не показывалась. Вдруг слышу тихий свист откуда-то сверху. Смотрю, а она мне уже из окна первого этажа машет, чтобы я за ней шел. Я рванулся – перелетел чугунную решетку, забор, забрался на высокий подоконник, а ее и след простыл. Внутри – реставрационный разгром, пыль, мусор, вскрытый пол, ободранные балясины, балки с мочалками пакли в пазах и – вот чудо! – золотистый свет в высоких окнах плотными клиньями в полумраке медленно течет сквозь высоченный неф читального зала – и сходится у подножья главной лестницы, на первом пролете которой стоит она: прямая спина, прелестный профиль в ореоле, она вглядывается в этот розоватый свод лучей – мечтательно и отстраненно, и мне как-то стало холодно и больно, и жгуче от этого ее, совершенно потустороннего взгляда... Острое неподвластное ни телу, ни уму желание, пронзив, подняло меня на свою пику. Мы поднялись до самых антресолей, по узкой винтовой лестнице пробрались в купол. Осторожно вылезли на покатую крышу и перебрались за бортик башни. Полнокровный закат царил над Москвой – так что глаз не хватало. Разводы, перья, складки... Город оборачивался вокруг и парил над полноводной глубиной впечатления. Мы онемели. Такое бывает, когда зрение сильнее речи. Впечатленная душа – она нема, потому-то рай и всеязычен... Закат переваливал через карнизы, просыхая вдоль длинных полос теней. Взгляд продвигался по колено за отливом, перебираясь бульварами, сквером, дворами, следя по отмелям синеватые колышущиеся ворохи донных произрастаний. Над фонарными столбами косяки стрижей стремглав метались зевками по летучим изломам корма, за плавным пухом. Мы уселись на теплые листы зеленого кровельного железа. Она медленно склонилась ко мне – и повергла навзничь поцелуем... Вряд ли мы что-либо соображали, на такой верхотуре. Мы запросто могли бы сверзиться. В одно из движений нога сорвалась с краю, я стал сползать на коленке и вдруг почувствовал, что проваливаюсь, зависаю. Что сейчас вся моя опора – внутри нее, и выпусти меня она... Тогда смекнуть об опасности я был, конечно, не способен... Невидимая глазу светосила бурлила, проливаясь через нас... Потом мы долго мертвыми лежали. Закат почти иссяк, но краешек еще теплился кровью... Вдруг я услышал слабый запах тленья. И он подействовал, как нашатырь. Сказал «Пойдем», – и стали мы спускаться, невероятно сложно, осторожно перелезая в близоруких сумерках, испытывая легкое круженье и мелко оступаясь на приступках... Когда уже мы были на втором пролете, услышали шаги, сердитое сопенье и обсужденье

походя, кто там и как пролез на крышу... Отряд омоновцев шагал по лестнице навстречу – в надежде застукать и упредить теракт. Как выяснилось, сторож нас заметил снизу. А в городе в связи с войной внимательность была объявлена к терактам. В метро стояли урны, броня которых запросто могла два-три кило принять в себя от пластиковой бомбы. На каждой станции в вагоны поездов входили солдаты для специальных наблюдений. Тревога вслух мерцала всюду. Так вот, нас отпустили сразу. Проверили бумажки, пожурили. И сторожу поставили в укор. Пока я с ними разговаривал, собака – как уголь черная овчарка – сдружилась с Катей и играла с ней... Остаток вечера мы провели в «Айриш пабе» на Знаменке. Там встретили Лансов: Сашу и Свету. Они буквально накануне вернулись из Италии... Болтали много, я едва слышал: слепые мои мысли блуждали в распахнутых оконных сумерках переулка... «Италия – страна победившего неосоциализма, где крадут у булочных велосипеды...»; «в Неаполе жара разъела камень...»; «любая мысль, даже о еде – поступок...»; «в Венеции воняет гнилыми водорослями, а сам город – красивая утопленница...» И прочая ерунда туристических впечатлений. Сейчас уже не помню – то ли они тогда рассказали, то ли сегодня мне все это доснилось, но точно было – в толкотне на площади Цветов, в Риме, стоял поглощенно, словно бы подле самого себя – человек в парусиновых штанах и марлевой тенниске. Он держался рукой за сердце, и губы его шептали. И услышал я пять женских, неведомых имен, произносимых с внимательным трепетом и измененьем в зрачках... Он прикрыл глаза и чему-то улыбнулся под веками. И вдруг запел из Леонковалло. Выглядело это несколько комично – лысоватый, мешковатый, рыжеватый, – но пел он так, что – сердце вон из равновесья. Народ стал уплотняться восхищенно. Внезапно подкашивается и падает замертво на излете голоса...

– Да, действительно, комично... На то он и паяц.

– Но он так и не встал, Стефанов! Толпа решила – придуряется, подбросила монет и рассосалась, а он лежал пронзенно и стал хватать вдруг воздух ртом, как рыба... Примчалась «неотложка» – было поздно. Покрыли простыней и увезли. Соломенную шляпу с мелочью поставили ему на грудь. И несколько монет просыпались, позвякав... Последнее, что помню. Я поднимаю с булыжника монету и подношу к глазам, совмещая с диском солнца. Монета, как мониста – пробита в центре, и тонкий луч слепит, буравя в крошево хрусталик...

Глава 6

ОДИНОЧКИ

Стефанов молчал.

Потом поднялся и, повозившись с тапочками, утомленно сел у камина. Я кочергой разбил, разворошил угли. Открыл судок, достал ломоть хлеба, поджарил. Подал старику. Стефанов стал медленно жевать, собирая слюну и посасывая хлебную жижу. Он страдает чем-то вроде цинги – болячкой, возникшей на почве истощения. Вообще-то, ему всего-ничего – рождением старик тридцать седьмого: на явно свежей фотокарточке больничного листа я видел его без этой хилой бородки, вполне моложавым, еще с шевелюрой. И было-то это, судя по дате, только два года назад.

Я решил отвлечь старика:

– Алексей Васильевич, как вы попали сюда?

Стефанов, все еще помещаясь взглядом в медленный отсвет жара:

– Я долго болел, валялся по больницам. Потом сказали, что помру. Стали выписывать. Я хотел остаться. Или самому концы отбросить. Ни к чему мне это было – своих беспокоить. Они и так со мной намаялись. Врач навел справки. Выяснилось, что недавно вот это заведение, «Милости просим», так сказать, открылось...

– Так вы поверили, что умираете?

– У меня не было никаких оснований не верить.

– Так же, как и верить не было оснований...

– Да. Наука, елки-палки...

Стефанов снова повернулся к камину. Его бородка брезжила жидким золотом. Синие всполохи уже исчезли, марево слабо плескалось над жаром, и прозрачные розовым светом угли чуть подернулись пепельными лишаями.

То ясное знание, что таилось во мне, показалось мне жалобным птенцом, где-то мерзнущим во внешней ночи. Мгновения неизвестного солнечного лета мерцали перед ним, не грея...

Началась метель, снег повалил проворнее, гуще. Белая темнота наискосок заштриховала опушку. Под неровными порывами ветра наша стеклянная стена, дрожа низким гулом, заливалась всплесками молочного незрения. Гибкие, вертлявые фигуры, заверченные в сгустки порывами ветра, плетьми бились, хлестали в окно, вспыхивали в нырке из темноты к свету, липли плоско к стеклу, дико всматривались и осыпались.

Я вспомнил: «Зима. Размером с сознанье. Чашка с кофе, лимон, белоснежная скатерть. Застывший профиль. Подвешенная беседа.

Если встать, отодвинуть штору, распахнуть окно, полчище духов метели ворвется, расплескав существования вокруг, по щекам, – исколов, истает. Призраки, они исчезают в тепле моего лица... Я возвращаюсь, допиваю кофе. В комнате еще пахнет свежестью морозного воздуха – их присутствие тает. Сигарета дымится. Желтеет лимон. Профиль оборачивается к вам, чтобы всмотреться. Слезы мешаются с каплями тающего снега.»

Стало тоскливо, но тоска возникла непрозрачной, и меня скоро потянуло в зыбкую, тревожную сонливость. Резкие краткометражные сны, как кошмарные осы, зароились над моим сладким, сонным воображением...

И увидел я за стеной прибывшую комиссию. Ее наглое любопытство, норовя всюду сунуть свой клюв, – хищно кромсало, расклевывало сытый уют жителей. Суетливый персонал с объедками достоинства на физиономиях обморочно, но неотступно, как ищейка на живодерне, следовал за тремя проворными, в элегантном черном, мужчинами. Длинноногая дива, бывшая при них, едва поспевала на высоченных каблуках, как на ходулях, за ними. Очевидно, она им была обузой на этой охоте: они травили невидимого зайца и – как при обыске – ловко юлили и взбегали: по коридорам, лестницам, этажам и галереям Дома. Главный – мистер Леонард Кортез, невиданный доселе владелец здешнего мира, придирчиво осматривал подробности устройства каждой жизни, каждого сустава больничного механизма... Его лицо пока что неразличимо: либо он никогда не поворачивается им ко мне, либо оно стерто, а вместо – сплошной безглазый шар, безо рта, без носа, с аккуратной, даже стильной стрижкой. Также он имеет: неснятую шубу и трость в руке, вышесредний рост и порывистую важность движений... У пациентов он ломано, без переводчика, глуховато интересуется, чем больны, как долго, какова была их мирская специальность, имеются ли дети и насколько благополучно здесь налажен быт... Он настойчив и, если человек уже не способен отвечать, интересуется тем же у врачихи. Та исходит дрожью подле – держа охапку серых больничных карт, торопится найти, роняет на пол... Кортез бодро шутит, но заметно, что раздражен и едва терпит, – подгоняя намеком. Я вижу, что шуба его роскошна и то и дело меняет состав своего меха: то умеренный бобр сменяется пышной лисицей, то лиса – аккуратной блестящей норкой, то изящная норка выпускает линялые космы енота... Кажется, что шуба, как краска лица, выдает его скрытное американское мнение, и я никак не могу взять в толк, почему он ее не снимет... Я вижу, как он взмахивает и тычет своей сандаловой тростью – словно щупом, – отдергивая, распахивая, приподнимая, приоткрывая, раздвигая – занавески, дверцы, двери, одеяла, створки, шторы... Попутно

во рту его вырастает курительная трубка и распускается пряным, как аромат чернослива, вьющимся на излете пыхом... Роскошная краля (медовые зрачки, небрежно собранный на затылке ворох русых волос, узкое черное платье, тугая нитка жемчуга на запястье, хипповая фенечка в декольте, немного раскосые скулы) смирно вращается подле, оказавшись его женой – Наташей...

Сновидение мелькает хвостиком взгляда и исчезает. Я поднимаю голову и вижу, что Стефанов уже перебрался на постель и поудобней устраивает подушку. Метель в окне установила обороты и существует теперь заунывно. Я снова – от тоски – оказываюсь не в силах видеть – и опускаюсь в следующий сон...

Я вижу – горбун, придерживая горб, сцепив на пояснице ручки, стоит подбоченясь, на все степенно озираясь; Кортез властно и нервно прохаживается по холлу, покуда косая сестра-хозяйка перед нарядной елкой нудно распинается на тему торжественной встречи. Вдруг, на самой ее подобострастной ноте («благодаря милостивому, щедрому участию»), два попугайчика внезапно срываются с дверцы клетки и, мотаясь в своих глупых догонялках, бередят и поганят весь этот остекленевший пафос...

Далее следует страшное. Все каменеют в непредвиденном, как катастрофа, смущении. Кудрявый водила от страха хватается толстыми пальцами за свои лошадиные желтые зубы. Вот-вот должна последовать стравливающая напряжение тупая шутка. Сестра-хозяйка уже пугливо улыбается, чтобы расцвести. Но Кортез берет все это по боку и неожиданно срывается в дикую прыть по холлу, рубя и разминая бешеное зренье тростью. Попугайчики едва уворачиваются – петляя, взмывая, кружа... Голубого Кортез забивает почти сразу: короткая вспышка в облачке пера и пуха; желтый, кувыркаясь и вихляя, еще мечется вкривь и вкось по тесному воздуху, то спадает на бреющий и бьется мягко в мебель, то, стукаясь в потолок, взмывает, чиркает по елке, сшибает шарик, тянет серпантин – и вдруг на одном изломе выруливает прямо на меня: анфас я вижу выпуклость его бешеных круглых зенок, раскрытый клюв орет, визжа, о неизвестном, я вижу в медленном полете, как эта маленькая гарпия плывет, мешая воздух взмахами и колошматя, как лапки, распрямляясь для посадки, преостро коготками внезапно целятся мне в глаз... и тут же вижу набалдашник, круглейший, смуглый, с кисточкой из ворса, который птицу настигает за затылком, за хохолком, недоуменно взбитым... Удар приходится скользящим. Весь в пухе, перьях, крови – оползаю...

Я тупо вижу трупик попугая. Распластанный комочек безголовый. Две белых липких капли – чего, мозгов, что ль, птичьих?! – я, пальцем подобрав, несу поближе к зренью... ближе... Я погружаюсь

в них, как в выросшее тесто, как в трясину. Там – темнота, виденье попугая после смерти... Вдруг проясняется, и вижу ветку спелых абрикосов. Надкусываю клювом, ковыряю – сок сладкий, вязкий восхитительно течет по подбородку... Все так знакомо, но пугаюсь продолжения – и исчезаю, вынырнув наружу...

Далее мое зрение мешается из двух половин – две вертикальных взвеси, с оттенком желтого одна – и красного от страшного удара. Надо мной склоняется месиво из рож, все вглядываются, но в то же время и с опаской, с оглядкой на Кортеза – как он считает, можно ли помочь. Да, он считает, можно: махает на меня рукой и разрешает. Я вижу Катино лицо. Она склоняется и ваткой утирает. Мне щиплет зрение, разбита бровь, и что-то липкое с виска сочится... Мерзко. Мне хочется рыдать, и я рыдаю...

Тут меня Стефанов, как водится, растормошил и долго смотрел, пока меня вновь не сморило.

Проснувшись окончательно, я обнаружил, что гоньба попугаев не прошла для меня бесследно. Видимо, во время сна я уткнулся лицом в рукоятку кресла и отлежал себе бровь, переносицу, ухо – они горели, как смазанные горчицей. Отправившись в ванную умыться от сна, я отметил, что Стефанов тоже заснул, а метель прошла и наступили цинковые, неясные небом сумерки.

В зеркале половина лица оказалась нежно-красной, в мелких цветочках и морщинках от тисненой кресельной обивки...

Прикрутив тугой кран, я долго смотрел на капель, на ржавый потек на белом фаянсе. Он был похож на надкушенную грушу.

В коридоре послышались голоса: один каркал, еще один, прерывая смутный третий, ему отвечал, разъясняя подробней... Кто-то стукнул в дверь и, подергав за ручку, перестал, удалился шагами.

Захотелось есть. Я поставил в СВЧ друг на дружку судки и подумал: надо будить Стефанова ужинать.

Старик крепко спал, завалившись неловко набок: шапочка съехала глухим войлочным ухом на ухо, борода подмялась подбородком, и вид его был безмятежен, как у аксакала, заснувшего в тени ореха в полдень. Вероятно, от неудобной позы ему виделось неспокойное, и время от времени он неглубоко дергал ногой, стараясь нащупать дно вязкого морока сонной жизни. Пока печь волнисто гудела, разогревая пищу, я вытащил из-под его плеча жидкий комок подушки, сложил со вторым, валявшимся в ногах, и всунул их под стефановские сны. Старик повел головой и снова забылся. Печь пропищала готовность, я вынул еду и на стопке салфеток поставил на край постели.

– Стефанов, – позвал я его осторожно, – я ужин разогрел.

Старик долго не отвечал, медленно разгибаясь, поднимаясь, и вдруг, очнувшись, спросил:

– Они ушли?

– Здесь никого не было, Стефанов.

Старик, душой не принимая то, что видит, хмуро обвел страшными спросонья глазами палату, задержался в провале остывшего камина и остановился на окне, вглядываясь в погоду.

– Снег перестал...

Мы перекусили. Судки мыть было лень, и я сложил их в раковину в ванной. Почти стемнело, но свет включать не хотелось.

Я затопил камин. Дров оставалось немного. Завтра попрошусь пойти порубить...

– Стефанов.

– Да.

– Вы что, балетом долго увлекались?

– Долго... Почти всю жизнь.

– А как так вышло?

– Сначала... Мне было лет семь... – размеренно стал припоминать Стефанов, – мы жили в эвакуации, в Уфе, там я впервые увидел, дотронулся до балетной пачки. Мы снимали половину в доме, где хозяйка в юности посещала хореографическое училище Вагановой в Петербурге. Потом они с мужем – от греха подальше – после двух неудачных попыток исчезнуть (знаете ли, – панический Крым, игрушечный барабан, захлебывающийся в кильватерной пене, красноармейский патруль в Харькове – и отказ в выдаче заграничного паспорта в 23-м году) подались в провинцию – учительствовать... У нее в комнате висели в рамках под стеклом фотографии. Девочка у балетного станка: вокруг – стайка белоснежных бабочек в наклонных, взлетевших зеркалах; девочка-фиалка в центре хоровода; девочка в трико головокружительно делает мостик на излете перил роскошной дворцовой лестницы: на ступеньках – испуганное восхищение. В общем, я влюбился...

Побряцав ключами, дверь открыли. Вошли нянечка и медсестра с подносом и шприцами.

После анестезии и уборки (от коктейля я снова отказался, потребовав возместить пайкой травки) спросил Стефанова, не уступит ли он мне свою утреннюю порцию «марии».

– Берите, берите, мне это – припарки, гомеопатия... – и я порадовался дублю.

– Так что там было с пачкой?

– Однажды я забрался на чердак... Потайной лестничный лаз вел на него из низенького чулана под косой крышей веранды, так что отыскать и забраться – уже было приключением... Наверху предо мной распахнулось целое царство интереса – столько там было все-

го. От восторга у меня обледенели на руках кончики пальцев. Огромная ивовая корзина была доверху набита тряпьем, с горки которого я поднял чудо – пачку и пуанты. Их пробковые мыски крошились в пальцах, как размокший жмых... В моих руках теплился кокон балетной девочки, вспорхнувшей в новый, неведомый доселе замок моего воображения, и я был в растерянности. По инерции предыдущей жизни больше всего меня, конечно, интересовал велосипед и рулоны петард, которыми был набит его ключной кошелек. Но и старые журналы – приложение к «Ниве», с Пинкертоном и отрывками из «Фрегата “Паллада”» – были недурны. Вдобавок на чердаке, в сплетении балок обнаружилось ласточкино гнездо. Представьте: пыльный яркий сноп света медлит в полумраке, обтекая птичий остров... Был конец июня, птенцы только вылупились. Розетки их распахнутых головок дрожали над краем гнезда, словно напальчиковые куклы на пятерне над широмой. Их мамаша прилетала так часто (из темноты невидимкой выпархивая в световом куполе), что я стоял, завороженный, соображая, как они не лопнут. Дело в том, что в детстве я ужасно плохо ел – предельно мало и к тому же был капризен насчет меню. И это в эвакуации, на иждивенческом положении, да? Для мамы было сущей морокой – меня накормить. Самый большой ее страх в моем детстве представлялся ей в виде дистрофии или в лучшем случае туберкулеза. Я бесконечно смотрел на прожорливо распахнутые, как хищные цветки – целый букетик, ротики птенцов, на челночные рейды ласточки, и мне стало стыдно. Я сверзился вниз и спросил у матери сразу две морковных котлеты. Она обмерла, но потом решила, что для кошки, и хотела меня прогнать. Тогда я сам схватил со сковороды и запихнул в рот, давясь и проглатывая. Мама заплакала. С тех пор я стал есть...

– Стефанов, а что же все-таки с балетом? – почуяв неладное, попробовал я вернуть его к началу.

– Да это, собственно, и все. Я влюбился, и с тех пор это ее сладостное движение в зеркалах засело во мне... И то, как я с балетной пачечкой в бесчувственных руках смотрел на ласточку, на домик света... Этот вспыхнувший зверский голод, он сохранился во мне навсегда, как желание... Он и был, по сути, желание, только я желать тогда не умел.

Если откровенно, Стефанов мне совсем неизвестен, но, видимо, именно по этой причине наши беседы мне интересны. Он говорит охотно, много и без предисловий, словно не успеет, не проживет. Но так же охотно молчит... И вот что я заметил. Беседы наши, если даже и являются спором, всегда монологи. Так получается и честнее, и с большим смыслом.

Дело здесь не в голой искренности.

Диалог – это неэкономная форма монолога, симулирующая обратное понимание. Мы же с ним разговариваем, как два сброшенных без парашюта парашютиста, которым до земли надо как-то скоротать время... Что бы он ни рассказал мне, это никак не может повлиять на приземление. В наших разговорах нет вороватости будущего времени, крадущего у настоящего для роста понимания. Приращение смысла здесь не занимает у себя самого. Мы со стариком не повязаны взаимной ангажированностью ответов, которая как раз и заправляет диалогом. Природа диалога в том, что он рождается с тем, чтобы, пожирая себя, длиться. Энергия его смыслов эгоистична: не порождая иного, она целиком уходит на воспроизводство – не времени, а длительности речи: какой смысл в перебрасывании – «горячей картошки», «гранаты с сорванной чекой» – «из уст в уста»? Отсюда – выхолащивание, охлаждение производимого. В диалоге нет многоточий как таковых – настоящих, не пунктуационных... У диалога нет конца, он не может быть оборван, поскольку стал произносим.

Мы же если что и сообщаем друг другу, то это не требует ответа в принципе, все это может быть прикончено в самом начале, равно как и не произнесено вообще... Мы говорим не потому, что произносим и слышимы, а потому, что с а м и с е б я слышим, чтоб удостовериться хотя бы. Мы не интересны друг другу в том смысле, в котором собеседники различны своей заинтересованностью в произнесении... Скорее, он говорит, а я слушаю, или нет: я говорю, а он не слушает, или да, – ровно в той мере, в какой человек бредит собой до предела отчаяния. Любая наша фраза – не сказанная, но случайно услышанная, – это междометие, возглас, пусть и вынутый с шепотом, с криком, с голосом трезвым и внятным...

– Стефанов, а что вы думаете о любви?

– Я не хочу думать...

– Мне интересен животный ее аспект.

– Там нет ничего животного.

– Вранье. А как же то, что любовь – это смерть? Что красота порождает смерть желания? И нужно ли вообще бороться с низменностью в этом красивом деле? И если да, то как?

– Ну, хорошо, допустим, человек в этом, интересующем вас смысле – животное. Допустим, он хочет перестать им быть, чтобы стать человеком. Некоторые сумасшедшие, знаете, как поступают? Делают в простынях дыры и детей творят только через них. Вот вам и решение: ни вожделение глазом не допустимо, ни заблуждение прикосновений.

– Значит, проблема решается дисциплиной, да?

– Не дисциплиной в смысле воздержания, а полным устранением желания в принципе, переводом его в непредставимость, в Бога.

– Ну, хорошо, что же тогда делать, если желание становится воплощением одержимости?

– Три варианта: либо сдаться и кануть, либо раздвоиться и – любить одно, а спать другое – пусть и в одном существе. Что, впрочем, тоже без толку. Либо...

– Слишком просто, чтобы – верно...

– Согласен.

– Так что же вы думаете о любви?..

– О любви?..

– О смерти.

– Думать нельзя.

– Верить тоже.

– Вы любили?

– А вы убивали?

– Да. Себя.

– Смерть желания и желание смерти – их различение и выводит человека за пределы себя – в человека. Спросить бы у Диониса...

– То есть – у Эрота?

– Нет, Диониса. Эрот действует в начале, лишь при самой потере невинности, когда все свежо и только-только потеряло точный смысл непредставимости. Эрот, по сути, только змей, податель яблока, а после – после он превращается в беса прогресса – в племянника своего, Диониса. Последний как раз и заправляет далее всей этой нехитрой гностической лабораторией, в которой и всего-то – два выключателя: «родись-узнай», «умри-забудь».

– А кто он, собственно, такой – Дионис? Что горнего он происхождения – дело десятое, поскольку там, в эмпиреях, в смысле иерархий, еще почище, чем в дольних. Там он такой же вертухай, как здесь санитары: своя политика, своя программа смерти. Что толку, если власть ему маломальская перепала – в области, что пониже пояса? Это, в конце концов, все равно как под трамвай попасть.

– Слишком уж вы рационально рассуждаете.

– О чем?

– О желании.

– О трамвае.

А иногда мне кажется, что нам со Стефановым разговаривать совершенно не о чем. Мало того, что все наши разговоры – своего рода диалогические самозванцы, но и само их возникновение не обязано никакому внешнему позыву, у них нет цели. Но почему-то все-таки мы говорим.

В самом деле, ну о чем, казалось бы, нам разговаривать? Он старше меня в два с половиной раза, в бесконечность то есть. В детстве я был убежден, что чем старше человек, тем он лучше... Я не вкладывал в это «лучше» качественный оттенок: понятия ума, мудрости, но ощущал простую иерархичность в том смысле, что – ничего общего не может быть у человека с ним самим, предыдущим. Императив старшинства, основанный только на количественной оценке, признавался единственно верным. Это как в детстве – один, августовский, салабон – другому, декабрьскому: «А ну, салага, дай место пахану...» Действие возраста линейно увязывалось мною с прогрессом. Но вскоре я обнаружил, что если не думать, то расти не будешь, что думание – как во сне падение – признак роста. Что удачное, чудом случившееся размышление набирает тебе очки, которым имя – минута. Что календарь здесь не при чем. И далее – что только во сне мысль и возможна. И что думать – значит выпадать, спать, поскольку сон столь же невоспроизводим в своей потусторонности, как и мысль. Которая, случившись, умыкает человеку в довольствие кусочек у вечности. Потом, подросши, с брезгливым удовлетворением обнаружил, что есть мужи с юношеской придурью и старцы с неряшливыми повадками подростков...

Стефанов же, спустя долгий очный период незнакомства, мне сразу показался сверстником. Сверстником не потому, что я умудрился как-то его передним числом догнать. Или он – отстать. А потому, что ему в его облике наплевать на свой возраст. И здесь я почувствовал свой недолет. Как награду в виде утраты. Подобная свобода мне была неизвестна. Он мог говорить со мной и на равных, и не очень, и не чураться впадать на излете в несусветный лепет о детстве (будто у меня его не было), и говорить так, что я вовсе не обязан его слушать, просто говорить, выговаривая себя, доставая и производя новое из неизвестного, а там уж – кто поймет, тот и услышит...

Но он мог так же и молчать, словно рассказывал.

Продолжить хотя бы с того, что сначала мы вообще с ним не очень-то и беседовали. Мне лично вполне хватало избытка впечатлений, а ведь впечатленное состояние – всегда немое... Даже имя его я узнал только потому, что оно было написано ацетоновым маркером у входа в палату на пластиковой дощечке (с замаранным стиркой куском пенопласта на привязи сбоку; моего имени на ней не было и, как потом выяснилось, и быть не могло). Мы существовали молча друг у друга на виду в нехитром, предельно независимом, почти бесконтактном быте. Так независимо сосуществуют слои течения в абсолютно невязкой жидкости, например, в сверхтекучем гелии. Единственное формальное вмешательство, допус-

кавшееся обстоятельствами передвижений, состояло в нечаянной встрече в ванной, в параллельном сидении у камина, в нечаянном сообщничестве при общении с нянечками и медсестрами... (Последнее отчасти навязывалось их дурацким обра(об)щением к нам: «больные».) Никогда я не переживал более уместного – своей свободой – соседства. В нем была некая весомость одновременно фиксированного и неподдающегося сказанию смысла. Это, по сути, была догма непроизнесенного и потому неизвестного высказывания, которое могло быть чем угодно, только не цепочкой слов, только не твердым смыслом.

Поначалу его многословное молчание производило на меня подавляюще-тревожное впечатление. Прежде чем начать так – молча – говорить, в его движениях появлялась некая, но внятно уловимая предыстория его содержательной безмолвности. Какой-то пласт вдруг срывался в череде его жестов, мимических движений, смещений зрачков, набиравшихся иногда в час по чайной ложке с самого утреннего пробуждения и, отслаиваясь значимым в непредставимом, начинал отдельное от облика повествование.

Я уже поминал, что теперь он почти не встает, максимум (который почти ниже минимума), на что он способен в рамках досуга, это сон, или забытье, или чтение (что не отличить от первых двух), редкие рейды к камину или исследование – вплоть до последней еловой маковки – очертаний нашей оконной опушки... И вот, в какой-то момент накапливаясь, и при этом не суммируясь не налипая комом, но входя друг с другом в какую-то волшебную реакцию, череда его присутствий, разворачиваясь, начинала сливаться в некое удивительное повествование, – и я застывал, пораженный собственным вниманием, как иногда кошки застывают перед невидимым.

Я не уверен, что способен точно передать наблюдавшееся. Но знаю точно: явление это ближе всего к видению. При этом оно парадоксально не имеет признаков какого-то бы ни было зрения: ни логического, ни психического, ни феноменального. Я, скорее, склонен называть это не-зрением: тем, что ближе всего к видимой неизвестным органом, словно бы пророческой – слепоте. Да, пожалуй, именно слепота успокоительно проистекала от него в такие моменты. Будто нечто вполне видимое, опознаваемое, но в то же время совершенно прозрачное проистекало в нашем совместном зрении. Словно смотришь на что-то в окно и вдруг замечаешь: в стекле, принимая смысл движения от виска к брови, начинает происходить непонятное – такое, что одновременно вмешивается, преломляя, и остается в стороне, отдельно от вещественности того, на что ты через окно смотришь. Не думаю, чтобы он сам осознавал, что именно с нами обоими в области этой слепоты происходит.

Но то, что знал – это точно. И вот, хотя я и не был впоследствии способен внять происходившему, после все же ясно возникало чувство приобретенного знания. Не того знания, что имеет тяжесть и свойства орудия или опоры. Но знания, от которого сосало под ложечкой, из которого дышала пропасть беспочвенности.

– Теперь давайте поговорим о возрасте.

– Мне неизвестно, что такое возраст.

– Например, возраст – это удивления мера, толщина отделяющего забывание пласта... Мера трудов археолога горних заведений, его неудача.

– Скорее мера мысли. Но и это – слова, к тому же почти чужие...

– В таком случае, не подскажете ли, как различить нас с вами в антропологическом смысле, взявши за основу разность дат рождения.

– Никак. А если все-таки различить, получится пшик, бессмыслица.

– В смысле существования – и ежу внятно. Я же имею в виду, примерно, следующее... Вы, простите за обиходность, человек другого поколения.

– Ну и что? я просто т о г д а родился.

– А я родился в то время, когда человека (уже почти буквально) могли передать по телефонному кабелю... Так вот, что вы можете сказать мне, чего я не знаю и не смогу никогда узнать?

Стефанов какое-то время молчит.

Я возвращаюсь из ванной, когда он вновь оборачивается к устной жизни.

– Со своей стороны, я бы мог – передразнивая вас – неумно спросить: что вы думаете о современности?

– Я не люблю современность.

– Потому что ненавидите наглядность и любите ясную незримость? Считаете, что говорить и даже думать вовне не имеет никакого смысла?

– Перебор. Потому что я точно так же не люблю яйца и герань, меня от них не просто тошнит, я бегу от одного только запаха мысли о них.

– Я же хотя бы тем отличаюсь от вас, что мне сейчас современность просто, без экзальтации, безразлична...

Стало скучно, и беседа на этом угасла. Откуда у старика такая привычка к дидактике?

Ночью:

– Стефанов...

– Да.

– Вы видите месяц?
– Не вижу.
– Вон там, где отсвет из-под облачка... еще прячется за деревьями.
– Ну и пусть себе прячется.
– Вам что, неинтересно?
– Нет.
– Мне кажется, он похож на блеск зрачка: лунная тень – это непрозрачный зрачок, а ободок света – его неполный блеск.
– Мне плевать на все наблюдения.
– А меня смущает, что он нас видит...
– Попробуйте зажмуриться.
– ...Не получается. Он остается на сетчатке.
– Тогда сдвиньте штору.

Я встаю и снова собираюсь улечься. Стефанов лежит навзничь с открытыми на потолок глазами. Лунный свет трогает блеском его бородку. Я заворачиваюсь плотнее в одеяло.

– И как теперь?
– Порядок. Стефанов...
– Да.
– Вы, говорите, были ребенком?
– Был. А что?
– Как это?
– Вы что, маленьким не были?
– А как у вас там было... в детстве?
– Примерно, как сейчас... Имеется в виду – все тот же способ зрения. Вот, например, то, как я вижу солнечные пятна на узоре от тени листвы. Они шевелятся, живут, мерцают... Тот, кто в и д и т их – как бабочек – и есть я, пятилетний.
– А всякие там мысли, знанье, книги?
– Отчасти, это наносное. Удивляешься, конечно, временами то тому, то другому... Но удивиться так, как я лет в восемь удивился самому себе, уже не удавалось никогда... Мать послала меня за молоком, я шел по бетонной дорожке, болтая пустым бидоном, разглядывал те самые пятна, и вдруг встал как вкопанный – и так стоял неизвестно сколько. Я, понимаете ли, неожиданно понял, что я есть я. Что будто бы внутри меня абсолютно твердый, вечный шар, очень красивый, изумрудный... Завороженный открытием, я всматривался в него со стороны – он блестел и вертелся, отражая все вокруг: хоровод деревьев, дом, глянцевая воронка неба... Помнится, потом никак не мог взять в толк, как мне удалось отдалиться от себя, чтобы шар этот вынуть, видеть...

Я помолчал, присматриваясь, не появился ли месяц снова.

– Стефанов...

– Что.

– Тоскливо мне.

– А я вот вспомнил, как в детстве болел воспалением легких... Золотистый раствор в капельнице, онемевшая рука... Поздняя осень, первые заморозки... Фонарь светит в черных, костлявых деревьях... Его свет преломляется в опрокинутой в вену склянке... Я не могу оторваться от фонаря – он похож на негатив вороньего гнезда... По ночам деревенские уводили коней из колхозной конюшни – до утра кататься. Носились по госпитальному парку, подъезжали к окнам, требовали для них украсть хлеб из столовки... Мы боялись и, сговорившись, отламывали по четвертинке от своих паек... Громадная, как смерть, лошадиная морда с бешеными, выпроставшимися из орбит глазами, храпя тугим паром из ноздрей, вламывалась в раму и вдруг взрывалась сиплым гоготом, взлетая на дыбы, расплющивая в жутком оскале удила... Потом – страшный, кругами, топот... Комья подмерзшей земли, как от выстрелов, по аллее...

Стефанов затаился, вспоминая.

– А мне и вспомнить-то нечего, – пожалел я.

– ...

– Стефанов, у вас дети есть?

– Двое.

– И что они?

– Ничего. Просто дети.

Но Стефанов не сердится, если ночью я иногда надоедаю ему болтовней.

Он знает: мы квиты.

Часто он сам никак не может угомониться. Честное слово, еще чаще, чем я, не говоря уж о почти еженощных побудках. То про балет или о детстве в который раз затянет, то просто окликает, и кажется – беспокойно, – проверяет, не сплю ли; и бывает, что уже сплю, а он меня своим окликом будит. Разбудив же и как будто обрадовавшись, тут же спохватывается, чтобы вышло, что не просто так разбудил и, словно извиняясь, старается поскорей сообщить что-нибудь, на его взгляд, особенно ценное. Вот, например, недавно довелось мне от него услышать, что поскольку агония – это пляска смерти, один знаменитый хореограф специально занимался тем, что по совокупности наблюдений за умирающими пытался расшифровать и претворить в сценический танец движения смерти. Я рассердился и ответил на это, что хореограф его сволочь и что попадись он мне, я бы непременно с ним рассчитался. Я тогда вышел из себя не на шутку и, вскочив, стал метаться по палате и долго

не мог успокоиться, а Стефанов уже жалел, что завел со мной разговор, и не спорил.

Вообще-то, то обстоятельство, что он так часто меня будит по ночам, выглядит довольно странным, я бы сказал, подозрительным даже. Можно, конечно, допустить, что ему страшно быть одному наяву, но ведь – взрослый же человек. Обычно он будит меня среди ночи совершенно напрасно. Поначалу старик оправдывал это тем, что я, мол, кричал во сне, хотя мне ничего такого страшного и не снилось, а потом перестал. Он расталкивает меня ото сна и, добившись, чтоб я открыл глаза, вглядывается в меня так, словно о чем-то просит. Сначала я мычал спросонок, в чем, собственно, дело, но потом привык, – старик просто посмотрит на меня, посмотрит, вздохнет, подоткнет мне одеяло, а после тихо ляжет сам, вот и все.

А я и сам рад бываю, что ему так покойней, хоть какая-то от меня есть польза.

Глава 7

ДОМ

Рассказывают.

Пространство этажей имело подробное устройство и находилось в точном и мрачном соответствии с танатологической моделью знаменитого швейцарского врача-психиатра Розы Стюблер-Кросс: DABDA (Denial – Anger – Bargaining – Depression – Acceptance). По-русски эта дребедень была не меньшим дырбулщилом, означая: ОГТУП (Отрицание – Гнев – Торговля – Уныние – Приятие).

Нумерация этажей придерживалась английской аббревиатуры, а неоднозначности 1-го и 4-го, 2-го и 5-го разрешались цифирной приставкой: A и A2, D и D2.

По мнению Стюблер-Кросс, именно такие – DABDA – психические стадии проходит терминальный пациент с момента получения сведений о своей участи. Смена стадий означала переселение с этажа на этаж, и символизм переездов в Доме, имея внятный клинический смысл, тщательно соблюдался.

В обязанности Кати, в частности, вменялось регулярное отслеживание эволюции состояния пациентов – посредством «клинического интервьюирования». Понятно, что движение по этой цепочке не было однозначно линейным. Случалось, некоторые пациенты умудрялись выписывать весьма замысловатые кренделя в этом простейшем конфигурационном пространстве. Однако, этаж B, где

обитали больные, состоящие в данный момент в переговорах с собственной совестью (за что, мол, – и чем бы мне от ужаса такого откупиться?!), был особенно популярен и перманентно испытывал трудности с расселением.

Однако же мы со Стефановым как-то умудрились остаться оседлыми...

Также рассказывают.

Здание Дома было возведено «по последнему слову строительной техники». В течение четырех месяцев из Москвы – по шоссе и железной дороге – в экспедиционном порядке напористо продвигались: толстые колесные цеппелины, набитые туго, вплоть до разрыва давлением каменным облаком цементного праха; мощные тягачи «Вольво», тянувшие высоченные пачки соснового корабельного бруса – для создания стационарной опалубки; самосвалы, засыпанные с горкой парным, дымящимся нефтью асфальтом; циклопические, ракетные тягачи – с оранжевыми японскими дорожными мастодонтами верхом на платформах; запечатанные таможенным свинцом и вниманием вооруженной охраны – контейнерные фуры с уникальными реанимационными аппаратами; шуршащие иномарки, стремглав катившие членов контрольных комиссий на театр строительства; мебельные фургоны с подробностями изящного обустройства интерьера... И протарахтел, пыля, списанный с были «пазик», напичканный деревянными ящиками с замысловатым оборудованием для монтажа небольшого крематория.

На ближайшей узловой станции разгружались вагоны с глыбами лиснянского голубого мрамора. Затем их напряженно, по одной на полуторке, перевозили в спецмастерскую при городском кладбище – для выделки и полировки облицовочных плит.

Целый подлесок свай был вбит под фундамент во мшару. Иные уже после третьего удара уходили под бабой в корень бездны – и поверх встык забивались последующие.

На несколькокилометровых подступах к строительству выпиливались и вырубались дебри, ссыпались речками песок и щебень.

Жирные, беспомощные, как кашалоты на суше, паровые катки уминали напористым чревом холмы парящей, точно из свежевспоротого брюха, асфальтовой икры.

Временами рабочие мучались выбросами торфяного газа, которым, тужась, сипло рыгала насилуемая строительством топь...

Далее возводилась на высоту следующего этажа опалубка, хлюпали и хлопали бетономешалки, и под пулеметный рокот насосов из задранного хоботом гофра тугими очередями заливались на верхотуру хляби раствора.

Несмотря на масштаб, строительство старались вести смирно и даже втайне: главным принципом секретности было уберечься от чрезмерных контактов с немногочисленным местным населением и научиться успешно игнорировать его беспокойные расспросы. Для этого целый отряд охранного агентства под видимым предлогом сбережения строительных материалов обносил дежурными патрулями внутренний периметр двойного забора, увитого поверх высоковольтажными спиралями колючей проволоки, в первую голову выстроенного вокруг площади всего предполагаемого строительства.

Охранники либо спали во мху под соснами, либо лениво фланировали вдоль, подбирали в шапку грибы и, скучая, перебранивались с любопытствующим из-за забора населением. Но поскольку охранники сами были обделены правдивым знанием о стройке, на этой почве у них с местными часто возникало краткое перемирие – из обоюдного любопытства. Охотнее всего охранные агенты якшались с женщинами: мужчине всегда легче признаться в своей слабости и недостаточности женщине, чем кому бы то ни было еще, в частности – мужчине, которому он не только не признается, но еще и мордасы набьет в опровержение своей ложной основательности. Ведь женщина на Руси – существо заведомо исповедальное.

– Ой да, миленький расскажи, не скрывай, страсть как любопытно, чегой-то вы здесь точки копаете – аль прииск какой добываете? А то баба одна брехала, что прошлый год самородок на болоте подобрала, грит, свезла его в Рязань, машинку швейную на электричестве купила. Так мы смеялись с нее – прибедняется, а тут нате вот – вы приехали. Так чо, миленький, поди много уж золотишка-то нарыли? – врала, провоцируя, настырная тетка, появляясь на ветке березы с бидончиком, полным земляники...

Наконец, охранник, дружелюбно сердясь, прерывал насупленное молчанье и отрывисто сообщал, что сам, мол, толком не разумеет, строят тут черт-те что – то дачу, то санаторий, но болтают еще – станцию для космической разведки.

– А вообще-то, женщина, не положено, иди-ка ты подобру-поцелу – гляди того, обход нагрянет, скандал за контакт и разглашенье случится.

Иногда часовые бросали для пущей острастки в женщин мухоморами, и те, удаляясь в свояси, ухмылялись про себя над городскими неуками, потому что – не мухоморы то, а вкусные, как куриная белуга, «зонтики».

Рабочие тоже только смутно догадывались, что за грандиозную напраслину они здесь, на болоте, возводят. Специально через прора-

бов была распущенна легенда, что строят дачу с а м о г о. Домыслы же пошли дальше, да все круче – и дошли до строительства личного подземного аэродрома этого самого с а м о г о. Слухами полнилось, что особые бригады Метростроя, ввинчивая толстый, как поезд, бур-медведку, ведут тоннель от бункера под станцией метро «Маяковская» – разветвляют ходы коммуникаций, множат площади хранилищ и ангаров – и что скоро на том краю опушки, венчая трамплин подземной взлетной полосы, будет возведен специальный холм типа дота, откуда из-за бетонных раздвигающихся ворот будут вылетать, выстреливаясь над лесом в поднебесье, специальные летательные аппараты.

Егерь Лыков сразу сказал, что все это караганда несусветная. А потом, наливая заезжему за саженцами молодому леснику маленькую, ему и еще раз сам себе подтвердил, что караганда, понимаешь, враки. Что в действительности там б у н к е р строят. Понял? Что конец света скоро (слыхал, на будущий год обещают, в июле, 5-го?), потому и строят, шакалы боязные. Помирать неохота, вот и копошатся на скорую руку. Только там свай не по три и не по пять вбивать надо. Сколько ни вобьешь – все одно в прорву канут. Дна там от начала не бывало: хлябь там что ни на есть утробная, реликтовая – в самую сердцевину железную опускается. Рано-поздно схавает топь постройку, не подавится. А ты закусывай, закусывай, не стесняйся, – рыжики, они продукт вполне бесценный, золотой даже... А торф?! А ежели диверсант, гад, поджог подземный сварганит? Не знают они, что ли, как торф горит? Так гудит-полыхает в недрах, что руда плавится, и там, внизу, аж до самой сердцевины огнь идет и наверх вместе... с этой, как его, с лавой плещет... во-во, извергается. Да ты не мечи, не мечи, на меня не смотри, тебе еще в дорогу сбираться. Чуток отпил – и погодь, пока рассосется, организьму слушай. В семьдесят втором – тебя тогда поди и не было, ты ж, говоришь, в позапрошлом из Лесного выпустился? – так тут под Шатурой такое было, страсть Господня прямо: танки, трактора под землю валом валились. Гусеничные машины, какие только были в округе, в лес пустили – думали огонь придавить, да куда там... Ползет на пузе, ползет, и тут – опа: плюх-хлюп, как канул. Его давай цеплять под уздцы, тягать обратно, – вроде технику спасать надобно, а там через пять минуточек и тянуть-то нечего – махина вся, как воск, течет, одно дуло наружу, и то уже – сопля, гнется и розовым светит... А на кой оно нужно, дуло-то?.. Ну, понятно, брат наш тогда, лесничий-егерь, под самую завязку натерпелся... Мы военных в центры очагов сопровождали. А как дойдем – мать честная, кругом огонь под ногами гудит, не уймется – шевелится, шатает. Вот и бросали все и давай бегом

драпать, жизнь уносить. Сами бежим, а сердце в мотне колотится, – под ногами-то зыбко, как на льду весеннем... Так эти начальнички, говоришь, санаторий строят? Ну, не ты, так все равно ведь болтают, что санаторий. Ну-ну, знаем мы эти профилактории-оратории, мать их за хвост барсучий... Я вот когда в сорок первом, осенью, пацаном, тебя моложе, в Куйбышев призвался, так, пока до фронта, объект один наружно охранял, вот этого наподобье. Ну, и понял я тогда, какие у власти берлоги для работы-отдыха бывают. Ты только послушай. Поставили, значит, в городе, в самом центре, зданье. Два этажа, крыша, отделка, все как полагается для канцелярского помещения. Но никто еще не заезжает. Стоит, пустое, месяц, два – ну, думаю, не до переездов: война ведь. А потом скумдюкал. Во дворе там, за забором, нужник стоял, будочка метр на метр и на два. Вот я и приметил через щелку, догадался все же. Утром туда заходит человек, рабочий стало быть. И не выходит, там сидит. Через пять минут другой по нужде отправляется. Ну, думаю, ладно, вдвоем там еще куда ни шло, а вот третий и четвертый сейчас заходят, они-то там как всем скопом справятся?! Вот так-то, малый. Так я их и разгадал. Сорок человек в эту будочку утром вперлись и только вечером поздно отвалили. А им навстречу еще столько же – меняются, значит, на сменках. Ну, и я потом скоро сменился. И что удивительно, ни кучки земли, или хотя бы говна какого, с собой на поверхность не брали. А куда там землю девать – тайна. Жрали они ее, что ли? После, конечно, скумдюкал я – когда заявили, что правительство из Москвы в Самару переводить будут, – что бункер там для Старшого строили. А бункер – это тебе не метро. Бункер это, так сказать, сразу четыре метра. Вот оно как, а ты говоришь – самолеты-перелеты, понимаешь».

Глава 8

ПРЕБЫВАНИЕ

Жизнь, как баба с пустым ведром у полыньи, слабо охнула и неуклюже, беспомощно подломилась, плюхнулась, сверзилась на часть свою основную: и то ли больно, то ли досадно, а могло быть и хуже: затылком, – вон и напрочь в непроглядное. А так – обошлось: кругом и над синева, белизна, лед блестит леденцом и – в пузырьках и трещинках, аж лизнуть охота, и подо льдом – рыба: извивается сверком, бьется, наружу просится... Рыба эта – я. Жизнь моя – наверху, в отдельном от меня обмороке. Я же, хотя и знаю, что на воздухе суши помру и погибну, отчаянно рвусь и прошусь во внешнее – к себе прийти на помощь – и – не пускают, но видеть – пока дают...

Кстати, о «Форели, разбивающей лед». Интересно, с какой стороны о лед билась форель, так сказать, под пером поэта? Сам по себе образ напряженной тщеты и тоскливой напрасности, содержащийся в идиоме «как рыба об лед», имеет следующую иллюстрацию: рыба поймана (чтобы вытащить – долго, протяжно тянули в натяг, заговаривая срыв – «сорвись-сорвись-сорвись» – скорой рыбацкой присказкой, и даже пришлось потом, при выемке, колоть, расширяя вбок, лунку: «Какая здоровая, однако, лещуга!»), снята с крючка и кинута подле с окоченевшим уже остальным уловом. Cadaveric spasm. И будучи брошена в пустоты россыпь, рыба принимается биться. Остервенело. Взлетая и рушась обратно оледь. Взлетая. Хлопая хвостом, точно аплодируя рыбацкой удаче. Иронично. Первый удар. Второй. Третий... Тристан идет наконец ко дну в одиннадцатом... А здесь – обратная тяга обреченности – со дна, чтоб задохнуться, в последний раз вглядевшись.

И в этом нет ничего. По крайней мере, ничего удивительного. Так что так вот и обнаружилось, что живу я здесь, пребываю. Что жизнь, она, как говорится, и на луне возможна, и хотя зыбка, словно ход облаков над озером по ветреной загородной погоде, но, тем не менее, благодаря и ветру, и зеркалу ряби – возможна. И что Катя к ней вновь, как и ранее, как и странно все очень и, можно сказать, даже страшно – причастна. И все так же близка, словно прикосновение, и стремительно недоступна, как отраженье в ручье.

Покуда я здесь томлюсь-ошиваюсь, Катя со мной по существу моего пребывания не обмолвилась и полусловом. Все мне чудится, что хочет сказать что-то важное, объяснить – почему, но чему-то противясь в себе, не в силах молвить. Потому-то и время для меня расслоилось на цепочки значимых снов и провалы...

Этот морок необъяснимости тем более отягчен тем, что все в той же мере – маловнятной тайны и скрытого в ней подвоха – горбун принимает участие в том, что со мной и вокруг происходит. Мера эта полна как и прежде, несмотря на явное снижение его ранга за счет появления Кортеза, хозяйки-сестры и Наташи, у которых он – пусть и на особенно важных, но все-таки – на побегушках (посылка за мною в Москву и прочие вспомогательные мероприятия).

И вот, теперь, когда мы со Стефановым заполучили его к себе во владение, в залог (так как снится мне, наконец, что поймал я его, уловил, посадил дохлой куклою в кресло, и кляп потуже впихнул), я решил выложить горбуну накипевшее: пока спит Стефанов, все сполна рассказать и поведать – по поводу здешних дел и событий.

Прямо сказать, нервы у меня не выдержали. В звон, дребезжа, пошли, тоненько, гадко и злобно, словно зуд комариный над ухом,

от которого только одно избавленье: наобум размахнуться и вдарить, себя ни чуть-чуть не жалея.

Не знаю, что на меня нашло, какой резон у меня нашелся. Что хотел я ему объяснить? Меру отчаяния, степень боли? Это было бы неверно, совсем пустое, поскольку милости ждать от них не пристало, и глупо даже. Видимо, я почуял, что вот именно сейчас важно начать говорить. Что если гора не идет и т.д., то единственный способ выжить – это все-таки молвить, произнести. Потому как уж очень всего нагорело, зашкалило с тех самых пор, когда он у меня в квартире в конце ноября появился.

Не вырывался и, казалось, не прочь был послушать...

Но с чего же начать?

Да хотя бы начать с того, что, не выслушав, горбун махнул рукой и кляп выпал из уст его вместе с криком «На помощь!» Тут же, сорвав печать с моей удачи, смешав остаток мысли, ворвалось санитарное кодло, и пошло, пошло сплошной каруселью: нас завертело, бросило, подобрало, занесло, всплюнуло, протянуло... и вместе со спящим Стефановым я вновь спустя беспамятство оказался во внешнем пространстве, в котором ничего из того, что уже здесь случилось, никогда не случалось, а если все же случалось, то об этом хорошо постарались забыть... Впоследствии если что-то из настоящего и напоминало о прошлых событиях в Доме, то это жестоко и неумолимо подвергалось крепчайшему из умолчаний.

Итак, я иду по второму этажу или не этажу, но это все равно, так как я иду по мрамору, по голубому, в венозных прожилках, камню. Стефанов остался там, где мы с ним, очутившись, очнулись – на крыше, где ветрено, хмуро и не видно земли, покрытой низкими облаками; и где не видно и неба, скрытого пеленой облаков повыше, где странно чувствуешь свое зренье начинкой в слоеном пироге обложившей мозг облачности. Старик очень плох, на ветру ему оставаться нельзя, и я должен теперь отыскать для него свободную койку, врачей, и вообще, позаботиться об уюте. Я спустился уже на три этажа, но нигде никого, вот и сейчас, на втором – ни души персонала, и свет вдоль стен синеватый льется, стекает; тишина в коридоре – и в палатах ни звука. И вообще, тишина – уплотненная так, что можно ее потрогать. На душе – пусто и сухо, словно я уже умер. И я спрашиваю себя – неужели? Тишина. Неужели произошло то, что не вспомнить и не разобраться? Я в замешательстве. Чтобы как-то выкарабкаться из него, я решаю закурить. Достаю сигареты, сажусь по-турецки на пол, нитка дыма, сучась и курчавясь, ползет вверх подобно моим размышлениям. Сидеть неуютно – мраморный пол холоден, как лед Коцита. Мне приходит в голову,

что это, возможно, только предчувствие. И следом – что, быть может, это и хорошо, так как именно в такие минуты и происходит самое важное из возможного. И что, следовательно, необходимо быть внимательным и не упустить ни одной секунды, как драгоценность. Я докуриваю, бычок ввинчиваю в мрамор. Накрываю для верности подошвой и встаю, чтобы продолжить свое размышленье. Послышался крик за одной из дверей и сразу же оборвался. Снова всплеснул, но короче. Затишье. Вновь кричат, но теперь размеренно, словно стонут. Громкий всхлип, захлестнувший в область дикого вопля, набрал высоту вслед за этим без перерыва. Мне становится не по себе, и я пытаюсь определить, за какой именно дверью кричат. Не за этой и, вроде бы, не за той. Я напряженно жду продолжения, чтобы быть точным. Внезапно подряд три коротких вскрика раздаются вразнобой – позади, впереди и за ближайшей ко мне дверью. Было подавшись вперед, вдруг прядаю, поскольку еще один вопль повторно раздался за той, у которой я только что находился. Я протягиваю руку, чтобы открыть, но вдруг начинают вопить сразу все двери. Словно хохот, немыслимый хохот, слившийся из рыданий, стонов и спазмов, раскатился по всей кишке коридора. У меня свело скальп от страха. Крики рвались вперед и назад, давились и вновь после вздоха взрывались и, достигнув предела, рушились на излете неряшливым всхлипом. Чтобы выжить, нужно было исчезнуть. Я толкнул дверь и шагнул. Сначала я увидел звезды. Вся половина неба кружилась полусферой и слабой дымкой марева, как будто рябью, покрывалась. Местность напоминала громадное продолговатое дно: это угадывалось по отсутствию звезд на нижней части окоема. Теплый ветерок донесся с противной стороны колодца и приятно обдул все тело. Сгусток темноты, взметнувшись, хлобыстнул крылом по лицу. Вскрикнув, я прянул. Опрокинувшись навзничь, выставив, защищаясь, руку, ползу прочь – и прочь, и так далее...

В этом месте я просыпаюсь от того, что меня будит Стефанов, и просит – п о с м о т р е т ь. Я продираю глаза – вижу его силуэт в прямоугольнике окна. Под косым лунным светом окно как будто накренилось, приоткрывшись. Стефанов долго всматривается в меня – и наконец, вздохнув, ложится. Отключаясь, чувствую, что попадаю в то же место, и пытаюсь сопротивляться. У меня не получается, и я оказываюсь посреди этого «и так далее»... В нем я вижу, как кукла, сделанная из меня, опрокидываясь навзничь, вывернув, выломав, как в «Гернике», руку, опираясь другою о пол, отталкивает себя от источника страха непослушными, кем-то отнятыми ногами. Нечто, лишенное себя, ползет, волочась, по пустыне навязанного ему кошмара. Происходит это долго и невыносимо. «Долго» –

даже не то слово, так как время, отпущенное на ужас, – не время, не последовательность, составленная из событий страха, а непрерывный провал, не имеющий ни конца, ни начала, застывшая стремительность: в ней силится быть жизнь, распяленная на лопающихся сухожилиях паралича.

Тем не менее, я засыпаю еще глубже и прихожу наконец в себя. Шарахнувшись от двери, отползаю, насмерть испугавшись. Дверь тем временем, размеренно зевнув, скрывает ночь и звезды, их дыханье, а также шрам, оставленный на зрении полетом, которым вызван был мой ужас...

Я все еще сижу на мраморе, так как не уверен, смогу ли подняться – без ног. Прислушиваюсь – тишина. Замираю. Чувствую, как мрамор подо мной теплеет. Вдруг чую: тишина прислушивается ко мне. Чтобы было менее страшно, пытаюсь ее представить. Какая она? Почему-то вместо тишины я вижу берег, бесшумный прибой, облака и пену, скалу и сосну на ней с завернутыми по бризу – от моря – ветвями: лицо старухи, открытое порывом ветра... И вдруг вспоминаю – Стефанов! Да, конечно, Стефанов. Что я делаю здесь без него, как он там, наверху, на крыше, где ветер, промозглый ветер и облака, такие низкие, что кажется – это туман из леса поднялся до начала неба. Ветер кружит и меняется, но никак не может прогнать облака, он несет их клочья – ворохом или в охапке – сразу во все стороны ветра. Они проникают в одежду и влажно трогают щеки. На верху невозможно. На верху хочется пропасть в сухое тепло. Я не справлюсь один – узкий люк и лестница без перил: старик не устоит – я не удержу. Рискованно. Нужно срочно найти кого-нибудь в помощь. Забыв о ногах, встаю. Тут же падаю. Мрамор холодит щеку. Мне ничуть не больно. Веду рукой, нахожу теплое место, где только что был. Как добраться до старика? Я улавливаю исчезновение места. Что же я так лежу? В конце концов, так ведь можно и простудиться. Я снова вижу немой прибой, пенные барашки пасутся вдали на отмели. По берегу кружит собака. Она входит по морду в воду и настороженно смотрит. Вдруг, что-то учуяв, лает и прыжками вылетает на берег. Лай срывается в вой. Солнечный день мрачнеет, небо внезапно меркнет. Диафрагма видения сходит на нет, изображение выворачивается наизнанку, и черное солнце затмения реет над морем. Постепенно я привыкаю к вою. Тоскливо и жутко, но все же терпимо. Надо идти. Я пробую встать. Передавая часть веса стене, дохожу до двери... и проваливаюсь в нее, как в утро.

Глава 9

УТРО

Утром я проснулся от радостной злости. Откуда она взялась – осталось тайной сна. Дикая бодрость всплеснула меня с постели, пронесла к окну босиком, расшторила свет – и утро ворвалось в высокий объем палаты, жмурясь, искрясь, переливаясь и будоража. Захотелось напрасно наружу, в белое, прямо так – в чем родил меня сон – бежать до упаду по снегу опушкой, бежать на солнце от скачущей тени, бежать – и на этом бегу заглядывать, задирая и вверх кружа голову, упадая – в голубые башенки елей, стремительно – над тем, где нельзя – парящие в зимней, глубокой и яркой, – как «ах!» – восхитительной верхотуре...

Увлеченный потоками белизны, вскочил на кровать и запустил в Стефанова подушкой.

– Отомрите, Стефанов! – вскричал я ему, – проснитесь, мне кажется, все разъяснилось.

Старик неохотно раскрыл глаза на мое необычайное поведенье. Он молчал, не понимая, стоит ли ожидать худшего. Я скакал высоко на кровати, сбитое белье сползало рывками на пол. Потолок широко раскачивался. Его твердая близость отчетливо ощущалась моей макушкой. Веселое безрассудство захлестывало меня все выше и выше. Стало труднее дышать, но амплитуда восторга не унималась. Наконец, потолок срикошетил меня по затылку и камнем отправил в неглубокий аут: сознание, гулко померкнув и сразу же вспыхнув, осталось все же при мне. Я лежал, задыхаясь от счастья.

Стефанов, сообразив или припомнив, что сумасшедшим следует потакать, осторожно привстал и перебросил в меня подушкой. Не долетев, она плюхнулась на пол, как лопнувший дирижабль.

Я поднял и бросил, смеясь, обратно. На этот раз смех у меня действительно вышел немного нервным.

Утвердившись в том, что за ночь сознание мое дало необратимую течь, Стефанов решил подыграть мне и попробовал сделать раззадоренный вид. Давая понять, что он принимает игру, метнул подушку изо всей немощи обратно.

Но идея подушечного боя тут же себя исчерпала. Дико радуясь чему-то внутри, я смеялся, как сумасшедший, скакал по палате, вея вокруг простыней, как прапором, и сумбурно кричал о том, что все хорошо, что просто мы этого не замечаем, – что стоит нам только заметить, как сразу все станет действительно х о р о ш о, что «хорошо» всегда на мази и просто мы не привыкли его видеть, что это нас ле-

ший водит кругами по непролазным чащобам тоски, но стоит нам только плюнуть на память, приметы и смутные ощущения, стоит поднять нам для этого взор – и тогда мы увидим надежное солнце, точь-в-точь то самое, что за окном, и удерживая его в качестве ориентира, сможем, не плутая, смело идти, догоняя себя, на свободу...

Ничуть не запыхавшись, я сел к Стефанову на постель. Похоже, он мне поверил, или только подумал, что был бы рад это сделать, во всяком случае, теперь на его лице осторожно существовало зыбкое выражение интереса.

– Стефанов, – сказал я определенно, – хватит киснуть, давайте драпать отсюда!

Старик посерьезнел:

– Вы знаете как?

– Ну, для начала нужно привести себя в порядок, – издалека начал я. Вас ужасно безобразит бородка. Вы походите ею на обтрепанного Хоттабыча, почти исчерпавшего волшебную силу желаний. Она на вас... ну, как пена для бритья двухчасовой давности. Давайте начнем с брадобрейства!

Стефанов растерялся, я же, настаивая, бросился к двери, достучался до нянечки, потребовал скальпель, ножницы и свежее полотенце.

Через время она вернулась ни с чем, объявив, что сестра-хозяйка выдачу требуемых предметов запретила до объяснения надобности.

Разъяснить я отказался. Некрасивая няня, подняв и без того высокие белесые брови, тем самым показала мне меру питаемой ею смеси равнодушия и удивления. Далее, не сказав ни слова, тут же удалилась подслушивать. Мне вдруг взбрело, что если б она не испытывала сдерживающего мимику удивления – «Чего тогда персонал беспокоить?!» – брови б ее слетели, шурша, с плоского личика и, сойдясь, трепыхнулись бы прочь прозрачной стрекозкой.

После мнимого ее ухода я намочил полотенце и взял его наизготовку. Вынул зажигалку – сделал пробный чирк. Стефанов был странно спокоен, давая понять, что смысл процедуры ему очевиден. Подпалив полумесяцем вокруг лица неряшливый волос, я дождался, пока курчавое пламя доберется до кожи, и укрыл ошарашенное выражение старика спасительным полотенцем. Далее – добыл из-под матраса швейцарский свой нож, будучи гордо уверен, что тот не намного тупее, чем скальпель. Настругал с куска туалетного мыла, взболтал с теплой водой и взбил зубной щеткой – в чайном стакане. Обмазал воспрявшего после пожара старика скользким раствором и принялся внимательно скоблить: вниз полоску щеки два раза и вверх осторожно по сантиметру. Особенно трудоемким оказался подбородок: на выпуклостях нож несколько раз сорвался, пришлось потом на порезах долго держать салфетку.

После бритья Стефанов стал другим. По крайней мере, новым. И даже немного чужим. Стараясь на него не заглядываться, я искоса удивлялся. Потом не выдержал и ему сообщил. Старик, хотя еще сам себя, иного, не видел, почувствовал это изменение и стал также меняться и в лице, приближаясь в нем к бодрому выраженью. На стуле Стефанов теперь сидел, как на выданье. Словно бы воображая перед собой зеркало, он старался не выказать своей заинтересованности в подробностях изображения и слегка косил по сторонам, то и дело на миг украдкой возвращаясь к прямой оси взгляда. Иногда он посматривал на меня: мол, ну как, ничего, сгодится?

Вдруг я почувствовал, как зрение утолщается, преломляясь. Чтобы не разреветься окончательно, я выбежал в ванную и нырнул мордой под кран. Выпуклая струя понеслась по моим раскрытым глазам... Я поклялся себе вообще ни о чем не думать.

Вернувшись, обнаружил, что Стефанов стоит, держа в руках испачканное полотенце, не зная, что с ним делать.

– Отлично, – зло растирая рукавом лицо, я сообщил старику свое впечатленье, – никак не ожидал, что теперь – это вы. Только давайте договоримся сразу – отныне никаких шапочек, ермолок, кип, тюбетеек, шляп или кепок не существует. Треух на случай мороза и приличная цветом панамка – в жару: вот то, что только можно себе позволить в смысле комфорта для мыслей, ушей и затылка.

Стефанов кивнул, соглашаясь. Кивку помешала рука, прижимавшая к порезам на подбородке салфетку. Старик отнял ее, взглянул на пустую ладонь, но о салфетке не вспомнил. Как мятый цветок флокса, подсохшая розовой кляксой кровь неопрятно крепила белый квадратик к коже. На новом его лице он напоминал квитанцию, приклеенную к подошве взятого из починки ботинка. Стефанов отправился к зеркалу в ванной – удостовериться в обновке. Оттуда вернулся уже без и очень довольным. Снял свою сванскую шапочку и провел по темени ладонью.

– А не побрить ли и голову?

После химиотерапии его волосы обсыпались и перестали расти. В неровном, топорщившемся редкими клочками ежике неприятно блестели участки голой кожи. Я сказал, что – как это я сам не догадался. Стефанов обрадовался, я приступил. Старик просил не церемониться и скрести голову как следует. Мы увлеклись, бритье спорилось. Однако остававшейся пены хватило лишь на половину черепа, пришлось доструга́ть обмылок. Мелкий, он крошился и выскакивал, как оттаивающая медуза, из пальцев. Как раз в это время заявилась анестезия. Мы переглянулись, и я сказал, чтобы не мешали, пусть придут вскоре, но после того, как закончим. Они выдворились, я продолжил. Стефанов, помолчав, сказал, что дело воняет кероси-

ном, что они так просто ушли не просто так. Увлекшись, я не сразу прислушался к его опасениям, было не до того: пена сбилась не слишком густой оседала почти сразу, и потеки ее устремлялись прямиком за вислый шиворот свитера, поэтому нужно было спешно брить снизу вверх, проворно подбирая лезвием мыльную жижу...

Я приостановился, пытаясь понять, прав ли Стефанов. Но стоило мне только застыть, соображая, как мелкий топот просеменил к нашей двери по коридору.

Старик сжал челюсти, взгляд его затвердел. У выбритой стороны черепа набухла височная жилка, выступил желвак. Вид его из несуразного стал воинственным.

Дверь, цокнув язычком замка, приоткрылась, и в нее, как в лузу, вкатился горбун. Ожесточенно копаясь в карманах, он имел чем-то встревоженный, злой вид. Наконец достал и грозно мне протянул. Я подался вперед, чтобы взять, но карлик отдернул руку и как-то неопределенно двинул подбородком. Что-то щелкнуло, и я увидел маленький серебряный револьверчик – горбун целится в меня от живота: боек взведен, большой желтый палец лежит сверху, но я замечаю, что почему-то на курке указательного нет, а он вместе со средним, безымянным и мизинцем сжимает рукоять, так что получается жест, который примерно значит: мол, ну что, так-так, отлично; однако неплохо вы здесь устроились, только что с того, позвольте спросить?

Я вспомнил, что держу в руке нож, и посмотрел на Стефанова. Старик был наготове и вид имел грозный. Восточное полушарие его черепа, облитое мылом, сияло перламутровым всполохом, уловленным от вставшего над деревьями солнца.

– Что надо?! – спросил я горбуна, вскипая.

В ответ, словно расколотый грецкий орех моей головы, щелкнул выстрел. Нож, как в фокусе, кувыркнувшись из ладони, полоснул запястье и звякнул о мрамор. Я бросился на горбуна. Он нырнул у меня под ногами и, когда я развернулся, уже прятался за Стефановым. Старик, стушевавшись, то мелко оглядывался за спину, то возвращался встревоженным взглядом ко мне. Казалось, он вообще боится пошевелиться, будто его все еще бреют.

– Стефанов, посторонитесь! – взревел я.

Старик, как умел проворно, бросился на кровать, на лету удачно зацепившись ногою за стул. Путь наконец оказался свободен. Проглотив разом весь воздух в комнате, от двери набирая разбег, слегка отводя назад корпус, я понесся на горбуна, как заправский хавбек, пробивающий пушечным боем свой желанный штрафной удар.

Я инстинктивно понял, что из-за повышенной юркости этого гада не с руки мне его руками ловить, что надо действовать как в фут-

боле. Каждый миллиметр моих движений под тяжестью отчаяния отпечатался в моем сознании, как отдельный шаг долгого пути страшной мести. Того бешеного ожесточения, что было вложено мною в правую ногу, хватило бы, чтоб угробить всех вратарей мира... От моего страшного пенделя горбун дал тушкой «свечу», взмыл под потолок и, задержавшись в верхней точке, будто прилепившись, сверзился оттуда бездыханный.

Сейчас мне видится эта реприза предельно четко, как в медленном кино, разложенная по кадрам мгновений. Она доступна мне всей последовательностью движений, я могу ее просмотреть с того или с этого места, сделать стоп, заглянуть вперед и отбросить назад, чтобы лучше, сладостней видеть, как горбун, взлетев к потолку, сучит ножками и перебирает руками, морщится то ли от боли, то ли от страха не сомасштабной ему высоты; как он, достигнув, цепляется за потолок и ему удается на три коротких взмаха пройтись по нему руками, чтоб не задеть головой – так что падает он в результате, низринувшись увесистым тельцем на мрамор, еще ближе к окну, чем положено было горизонтальной составляющей моего удара. Последний кадр изображает: в пух и перья расхристанный таким сумбурным полетом горбун лежит недвижимо навзничь; верхняя пуговица блестит и болтается, как вынутый глаз, на двух нервных нитках; халат задран до голого живота; живот его слеп, как бельмо – вычурно и жутко отсутствует пупок; левый ботинок исчез, и большой палец торчит из дырки в носке; толстенный желтый ноготь, топорщась, страшно загибается к самой подушечке; длинные волосы сбиты на лоб – из них обелиском взмывает горбатый клюв; я внимательно стою над ним и идиотски думаю, что сейчас он похож на разошедшегося в пассаже альтиста.

Стефанов с постели глядит однозначно:

– Что делать?

Я хватаю в охапку стул и с ним вместе пытаюсь выйти в окно. Ожесточенно пытаюсь и раз, и два, и три, но стекло только гулко гнется, как поверхность гигантского мыльного пузыря от дуновенья, и держит меня внутри надежно и крепко, как круг заколдованный Брута. Отчаявшись, я с размаху метаю стулом в прозрачность, – отраженный, стул порхает раскорякой обратно, и я, уворачиваясь, спотыкаюсь о горбуна и валюсь рядом с ним на мрамор. Стефанов неловко помогает мне встать. Я щупаю пульс у горба – треплется. Беру полотенце и кляпом вставляю в оскал: при этом горбун мычит, находясь все еще в бессознанье. Вторым полотенцем вяжу запястья, хватаю за шиворот и, протянув по полу, запираю гада в ванной.

Входит анестезия.

Рука у меня в крови, кругом беспорядок, как на трибунах после

матча. Они решают, что это мы со Стефановым вздорили. Приносят смирительные рубашки, вкалывают дозу серы. Решают позвать сюда, на ЧП, сестру-хозяйку. Та еще не пришла, а я уже начинаю орать: от серы сводит все мышцы – ни шевельнуть, ни напрячься, будто лежишь под гидравлическим прессом. От давления неподвижности у меня начинается приступ клаустрофобии, и я ору благим матом: мол, сукины дети, что же вы, падлы, так круто. Вскоре действие серы добирается до лица, мимику сводит, и выражение застывает корявой маской страха. Глазами двинуть невозможно, и кажется, нечто непредсказуемое совершается в боковом зрении. От этого еще страшней. Появляется сестра-хозяйка, за ней в колышущийся фокус вплывает Кортез. У него действительно вместо лица пустота, а на месте головы – парик, рубчатая изнанка которого мне отлично видна снизу. Хозяйка вглядывается то в меня, то вбок, где лежит Стефанов, и что-то бурчит – не понять – по-английски. Жуткий Кортез машет рукой – развяжите. Меня кувыркают два санитара, выпрастывают из рубахи, и я снова вижу Кортеза, у которого теперь простое лицо, короткий нос, густые брови, впалые щеки. Похож на один из бюстов Челлини. Он нагибается, прикладывает указательный палец к моим губам, говорит «Please, be calm» – и выходит. Сестра-хозяйка – за ним. Мне обрабатывают перекисью порез на запястье, приводят в порядок комнату и снова чего-то вкалывают. Отключаясь, я прислушиваюсь и слышу, как Стефанов молчит, как будто бы умер.

Глава 10

КУКЛЫ

После я спросил Стефанова о сне, где видел себя куклой. Спросил нарочно, чтоб пофилософствовал всласть, как водится, поскольку Катя была при этом, и мне хотелось взять ее на пробу: что она возразит, что отметит, каково будет ее впечатленье – или виду не подаст совсем, будто так оно все и надо.

Стефанов приободрился и взглянул на Катю, как бы проверяя ее готовность внимать и записывать.

Катя обломила кусочек грифеля автоматического карандаша и чуть выдвинула кончик, чтоб острее шла линия.

Стефанов недолго подумал – и выдал, не оплошал:

– Паника, панический страх – состояние, в котором человек пляшет не под собственную дудку, а под дудку постороннего, вселившегося в него ужаса. Ужас космат, и в растительности его, пру-

щей из всех органов чувств, извивается удушье. Если случится подсмотреть его со стороны (боюсь, только душой отлетая), то в пляске этой – сходной в сути с агонией, так как последняя не что иное, как танец конвульсий, уводящий упирающееся тело за трудный порог, перевал, смерти – мелькнут и копытца, и рожки, и веретено свирели, из отверстий которой тянутся к испытуемому, как к марионетке, звенящие нити нервов. Таковое унижение умножается еще и вполне понятной ненавистью к куклам. Куклы отвратительны так же, как мертвецы. Парафиновая телесность первых совпадает с трупным окоченением последних. Душа, еще будучи при теле, словно теплород разогревает чуть выше точки плавления токи этой нижайшей фракции нефти, которой напитаны ткани. Отлетая, душа предоставляет тело участи затвердевания. Черствость закапанной свечным воском просфоры – возможно, эхо этого парафинового дела: трупное окочененье. Кукла вообще не что иное, как мумифицированная – сгущенная – пустота...

Тут Стефанов приподнялся и поправил себе подушку. Катя поспешила вновь обновить грифельный кончик.

– Ненависть к неживому, но правдоподобному, по-видимому, есть естественное продолжение мизантропии, каковое столь же естественно, как и продолжение человека – трупом или куклой: человек в подавляющем множестве своих состояний мало чем отличается от этих двух – даром что дышит, тепел и, возможно, красноречив. В конце концов, все признаки гомосапиенса могут симулироваться кукольником в его произведении даже еще ярче, чем самим живым их обладателем. Единственное, что наверняка отличает человека от куклы – это его способность быть свободным. Свобода столь же недоступна и необходима, как воздух в воде для дыхания. Производство свободных продуктов мышления или речи – лишь следствие свободы как таковой. Содержание же последней – в совершенной непредсказуемости выбора. Свобода первична по отношению к выбору, существование которого только ею и обусловлено. Следствием этого первородства, в частности, является возможность свободы – и в железобетонных рамках догматики, и в тесной кишке тюремного пребывания. В свете такого подхода море – как стихия – более человек, нежели смышленый, окультуренный, но взятый в своем усредненном по состояниям обыденной несвободы индивидуум. Кукла-пустышка вызывает отвращение не потому, что обманывает: ритуальное чувство досады или разочарования в данном случае лицемерно. А потому, что благодаря сходству отображения показывает вашу собственную суть или в лучшем случае содержание: рабское ничто – пустота, взятая в полон своей же пустотою. Обнаружив себя, кукла как бы говорит: «Привет, это я. Но может быть, и ты.

И знаешь, почему? Потому что ты так же и благодаря тому же похож на себя, как и я – на ничто». Подлинная жизнь – всегда усилие свободы. Смерть потому и ненавистна, что лишает последнего шанса быть свободным. И только поэтому кукла мертва – у нее нет такого шанса.

Катя тронула Стефанова за рукав – у нее кончился грифель. Пока бегала за авторучкой, старик сидел с полузакрытыми глазами, а я, вне себя от возбуждения, накручивал ход мимо камина от окна к двери и обратно.

Катя вернулась с чуть порозовевшим от быстрого шага лицом. Старик не глядя продолжил.

– Отвращение к предмету не исключает одновременной едва завуалированной к нему любви. Самый распространенный вид любви – любовь к кукле – всегда вариант нарциссизма, приумножающего своим влечением к отражению собственное естество – рабство у ничто. Первый позыв к этому действу, возможно, вызван тем, что – «природа не терпит пустоты». То есть – якобы животворящая сила любви должна стремиться восполнить пробелы живого. Искусность кукольной формы в том, что она превосходно справляется с задачей организации места, куда любовь, как жертва в «волчью яму», должна устремиться. В результате пустота получает возможность паразитировать теперь уже на удвоенном плацдарме плоти: взаимопроникая, она циркулирует и разбухает; а также сгущается подобно парафину. Сгущение, и далее – окоченение, вызванные такими течениями, и есть «черный ход» от любви – к смерти...

Катя захлопнула папку и равнодушно вышла.

Глава 11

СИНОПСИСЫ

Раз в неделю каждый житель Дома, кто еще способен нащупывать губами слова, должен иметь разговор с моей Катей. Она – единственный в штате психолог – наблюдает нас и делает нам выводы. От ее разговоров мы должны лучше жить – спокойнее умирать. Раз в неделю она входит в палаты и вынимает из каждого начисто душу.

Она как бы держит ее в руках и говорит – вот. Вот ручки, вот ножки, вот глаза и вот сердце; вот то, с чем вы расстаетесь...

Катя считает, что от этого больному становится легче: он ближе видит тайну, и страх его, как если б в темной комнате на два-три мгновения включили свет, слабеет хоть немного.

– Да, – возражаю я, – в темной комнате включают свет, и рожа смерти теперь отлично видна, ее оскал пышет нитью накала, и свет сейчас взорвется, щелкнув на кадыке искровым пробоем...

Раз в неделю Катя встречается с каждым больным и отложенным жалом своего любопытства нащупывает его ощущения. Ее немногословная речь одновременно участлива и холодна. Выслушивая, Катя часто кивает в знак своего понимания.

Каждый ее кивок похож на мелкий глоток участия.

Большинство больных рады счесть понимание за сопереживание. Но есть и такие, которые не поддаются интервьюированию. Они либо еще более замыкаются, либо взрывчато реагируют на очередную попытку расспросов. К таким Катя приходит вместе с тройкой санитаров, и тогда собеседование превращается в допрос.

Она может и любит раскалывать молчунов.

Ей это нравится, как нравится инженеру добывать науку из закавыки, возникшей в рутине его деятельности. В этом проявляются ее профессиональные амбиции. Методы и финты, к которым Катя прибегает, могли бы вызвать зависть даже у опытного следователя.

Но большинство пациентов давно уже, как мыши белые к вивисекции, привыкли к ее еженедельным расспросам. Они приходят к ней в офис обыденно – как на очередную процедуру.

Когда именно она сама придет, знает каждый лежачий больной. Это ему известно так же хорошо, как и расписание приема коктейля Бронштейна.

Некоторые готовятся заранее и делают записи. Больные в них описывают подробности своего текущего состояния, составляют перечень своих ощущений себя. От Кати требуется выявить динамику старых и появление новых.

Часто записи заползают в исповедальную тональность. К этому, я думаю, немало располагают личные качества Катерины. Но временами нотки исповеди дают петуха и срываются в вопль, которому все равно, кто ему внемлет.

Катя забирает листки и подшивает в папку личного дела – белого цвета, с тесемками.

Я смотрю на такую папку и злобно думаю: какой чудный гербарий, какой добротный картонный саван!

На папках есть надпись «Хранить до». Срок Катей вписывается только после того, как ей становится ясно. Бывает, цифры появляются после первого же собеседования. Но случается, что они не появляются вовсе. Я не видел ни одной с надписью «Хранить до: вечно».

Катя чрезмерно добросовестна в своих изысканиях. Ни одна смутная деталь не выскользнет из ее внимания. Деталь, как косточ-

ка из сочного плода, будет вынута из мякоти устного сумбура наружу и обсосана до появления твердой скорлупы утверждения.

Я знаком с содержанием некоторых папок Катиного архива. Катя иногда показывает мне то, что считает особенным. Я же думаю, что выбор ее по преимуществу определяется смутными сюжетными пристрастиями, а не научной ценностью выдаваемых мне наблюдений. Если так, то не скажу, что всегда нахожу ее предпочтенье мне близким.

Чего ей только не пишут! Впечатление от прочитанного зачастую можно сравнить с потрясением, полученным в результате еще одной прожитой жизни.

Часто не очень хорошей. Еще чаще – просто дурной.

Конечно, сначала было интересно: любопытство сродни похоти. Но скоро из тематического и сюжетного разнообразия вылепился громадный ком пустоты. Я не в силах представить себе человеческое существо, способное его, этот ком, оплакать. Если таковое и существует, оно не может быть человеком. Человек не может иметь такое большое сердце. Сокращаясь, оно разорвало бы грудь.

Однажды я наотрез отказался читать.

Чтобы меня заставить, Катя выдумала: записи эти предназначаются для Кортеза и поэтому я должен их переводить на английский. Она потребовала у Наташи внести это в реестр моих обязанностей, выполняемых мной в ее ведомстве.

Уже набив себе оскомину, я в конце концов поднаторел не тратить ни толики впечатления на перевод. Я научился делать это безучастно, и поэтому могу теперь оценить исследовательский талант Кати. Я вижу, ей не только ужасно интересно, к а к мы умираем, но она еще и пытается выстроить з д а н и е нашего умирания. Она документирует и комментирует наш пантеон с научной целью. Она вписывает свои наблюдения в создаваемую структуру, как в несуществующий еще кроссворд.

Для начала, собеседуя и наблюдая, она улавливает натяжения и затем ловко выплетает на бумаге поведенческую сетку-схему, в которой трепещет – пытаясь жить и тщясь умереть – смертельно больной.

В конечном итоге, ее работа должна создать такую паутину психологических состояний, в которую бы он попадал, даже если ее не существует.

Катя старается делать это четко и просто, чтобы прочие могли, взглянув на любого умирающего, сверить его с буквами ее универсального исследования. Сверить и с удовольствием подтвердить: «Да, это та самая стадия, именно тот синдром... Гм, как, однако, все это в яблочко!»

Я, конечно, мог бы предположить, что Катя занимается этим только для того, чтобы написать на нашем материале диссертацию. В ней был бы описан универсальный механизм неизбежной смерти, который, будь он действительно создан, лишил бы людей последней свободы – умереть как никто другой.

Умереть по-своему – так, чтобы это было открытием, новой вещью, новым вещным смыслом жизни, которой, может быть, и не было. Существование такого универсального механизма полностью устранило бы приватность смерти. Все бы тогда умирали так, как едят арбуз или персик, или борщ, или суп, или яблоко, или черт знает что еще, но такое, что уже бы существовало в каком-нибудь перечне.

Нет ничего более неприкосновенного, чем частность смерти. Домашние животные, если есть куда податься, никогда не помирают на глазах хозяев. Смерть вообще более интимное действо, чем роды. Хотя бы из гигиенических соображений. Собака еще может ощениться на чердаке или под верандой. Но умирать она уходит туда, где ее никто не найдет. Туда, где никто, кроме, возможно, Всевышнего, не обитает. Где почва примет, а солнце поможет. А если почва не примет, сильное солнце все равно заберет.

Наш же Дом похож на роддом. Здесь принимают смерть как роды. Причем всячески стараются сделать их особо тяжкими. Они не понимают, что не им, гадам, решать, где быть человеку, равно как и не понимают того, что удерживающий должен иметь чистые руки.

Они не понимают, что это не их кошачье дело. Научными методами здесь лезут в тело и душу. Корежат и то и другое – плоть превращают в воск и вписывают в формуляр страх Божий.

Как можно допрашивать по пояс перекушенного смертью человека? Неужто не ясно, что в подобной «науке» кроется тот же мотив, с которым преступника четвертуют под анестезией, с тем чтобы публика могла еще видеть его застывающую улыбку – то ли от кайфа, то ли от удовольствия, с которым в него проникает смерть?

Но вряд ли, воплощая самые благие намерения, вымащивая ими свою гуманистическую стезю, они в самом деле понимают, что делают, – я по крайней мере надеюсь. Что филантропия часто хуже злодейства, им, скорее всего, невдомек. Дело их рук воспринимается ими как жертва во имя науки.

Равно как и вне их понимания, что сколь угодно малая примесь научного интереса превращает любое доброе намерение – сочувствие, милосердие – в пшик. С убийственной тупостью – или замыслом? – они не желают взять в толк, что приватность смерти – главная степень свободы человека, часто последний его шанс.

Своим научным инструментом они удаляют почву – Бога – от зерна покаяния. А на что способно зерно без почвы?

Но все ж таки думаю, Катя не способна была решиться своей научной работой потворствовать этому грязному делу. Я все же надеюсь, что это не так, что у нее есть какие-то иные мотивы. Пусть они не менее зловещи, но не столь тупы – вкус не мог ее подвести.

Меня это особенно волнует. Если бы я оказался не прав, этой ее диссертации уже бы хватило и на всех санитаров, и на самих пациентов. И у каждого из нас тогда имелась бы степень. Это была бы не просто диссертация, а работа грандиозного научного центра.

Дело в том, что мы очень богатый материал. Мы очень плодотворно здесь умираем. Получив вместе с работой в бюро у Наташи право свободного перемещения по Дому, я ознакомился с каждым больным – и убедился. До того, проходя мимо колумбария, я не осознавал, что стоит там, за каждой плитой. Я шел вдоль стены и чувствовал только (виском), что она – кладезь пустоты.

Косясь на нее, я запрещал себе воображать...

Вот, для примера, отрывок из первого интервью, взятого у одного теперь уже отбывшего пациента. Тогда он еще новосел и новобранец. Прошла лишь неделя с момента его поступления, и он все принимает за чистую монету.

(Расшифровка диктофонной записи приводится без правки – так что все выкрутасы устной речи налицо. Вопросы опущены. Видимо, Кате было скучно еще раз повторять себя на бумаге. Тем более что реплики ее почти бессмысленны и должны только вновь подхлестнуть монолог больного. Запись эта замечательна потому, что в ней есть таинственные и опасные для пациента места. Как раз это и понудило меня выкрасть донос. Для Кортеза я перевел – комар носа не подточит, а Кате сказал: «Потерял. В бумагоуничтожитель по ошибке сунул». Конечно, не поверила. Но не накнокала.)

«От 20 февраля 1993 г. Синопсис: пациент А.Г., музыкант; возраст – 9 дней; состояние удовлетворительно-подавленное; на первый взгляд опасности не представляет; итог отношений с семьей подведен; помимо волевого приятия, обнаружена склонность к подробному осмыслению: в этом довольно сумбурен, что, к сожалению, обусловливает определенную непредсказуемость в дальнейшем; склонность к резким перепадам от заносчивости к смирению подозрительна. Рекомендован к пристальному присмотру.

Материал №1

<...>

– Нет, не припомню. А если и припомню, вам-то что проку от моего припоминания? Простите, доктор, здесь можно курить? А как к вам тогда обращаться? Понятно... Тогда скажите мне, Катя,

чего, так сказать, ради, чем то есть я обязан этакой чести, вашему вниманию? <...> Ах, вот оно что... Не уверен. Что ж, согласен, попробуем разобраться вместе. Нет, не стоит. Спасибо, забавная пепельница. <...> Вы знаете, я, пожалуй, не помню. Ну, что я мог тогда подумать... Что человеку может прийти в голову, когда он такое слышит? Это было так, как будто мне кто-то крикнул, что молоко сбежало, или жена – навсегда. Или что-нибудь в этом роде. Да. Нет. А почему вы спрашиваете? Не понимаю...

<...> Да, это была моя жена. Нет, она блондинка, правда, крашеная блондинка. Да, на ней был синий берет. Не отметил? А зачем вам это? <...> Ну, хорошо. Допустим, рост у нее примерно метр семьдесят, глаза большие, серые с черными штришками. В сумерках меняют оттенок – становятся голубыми... Фигура превосходная. Но зачем вам это? <...> Ясно. Что же я могу о ней такого замечательного рассказать... Разве что... Ну, хорошо, я отдаю себе отчет, что это может показаться более чем странным и – что хуже – бесполезным... К тому же обстоятельство это запросто может отбросить тень на мой рассудок, но раз вы просили быть подробным...

<...> В общем, как видите, почти ничего особенного. Простите, я волнуюсь, хотя чего уж теперь. <...> Пожалуй, да, было что-то еще. Определенно было. Извините, у меня зажигалка барахлит... «Черный Капитан». Довольно сносные, только вот этот вкус сладковатый раздражает, не углядел в общем... В тот день приключилась такая еще деталь... После я пытался думать о ней, но ничего ясного в ней не увидел, и все же это мне до сих пор не дает покоя... Тем утром, когда я уже проснулся, а жена еще спала... Нужно прежде сказать, спит она у меня очень странно, с приоткрытыми глазами, у нее короткие веки, в народе это называют «лупяницей», довольно вычурное, согласитесь, название. Такое, правда, очень редко случается, в общем-то это можно рассматривать как уродство, дефект... Да-да, именно. Причем, как заснуть при этом совершенно непонятно, а жена говорит, что и не замечает вовсе, сызмала привыкла, и свет ей ничуть не мешает. А вот сам я поначалу никак, никак не мог привыкнуть. Глядя на это, на то, как она спит, мне часто становилось не по себе. Ну, в самом деле, представьте, такое жуткое зрелище. Бывало, я даже заснуть от этого чувства не мог, когда она уже заснула, а ты читаешь, читаешь, и вроде пора уже на боковую, поворачиваешься, чтобы выключить бра и самому отключиться, и вдруг видишь, что человек вроде как бы и родной, а из-за того что вид такой – будто мертва – имеет, чужой она странно казалась, словно видишь впервые – хотя, говорят, ко всему можно привыкнуть, правда? Ведь можно было бы уже давно смириться, мы ведь все-таки семь лет как женаты, а все же всякий раз берет оторопь...

Так вот, поворачиваешься и вдруг видишь: лежит она навзничь, глаза приоткрыты, и когда смотришь на нее, то чудится, что сны роятся, как невидимые бабочки или стрекозы, или что-то с прозрачными крыльями над ее лицом, и сам не знаю, как так выходит, что оторваться от их кружения совсем невозможно. Они кружатся и кружатся, и вроде как пыльцу собирают с чела, или вдруг все вместе собираются в прозрачный рой, он сжимается летучим рыхлым комом, и тогда над ней застывает нечто, словно шар, наполненный ее невидимым зреньем, он упруг, его слегка колышет что-то, и иногда звук глухой раздавался, будто кто-то постукивает ладонью в окно в кухне, просится внутрь, и, бывало, что входит, – это можно было отсечь по легкому дребезгу чашек, – и шар тогда колышется, дышит чаще, как бы от более близкого присутствия, что ли... Особенная жуть охватывала меня, если я вглядывался в самые зрачки. Тогда кажется, что видишь сквозь свое отражение уходящую вглубь глубину сна. Я так поступал иногда, это завораживало на всю катушку, самому страшно, будто сам вслед за взглядом, но жуть эта сладкая как бы... Простите, вы что-то спросили? <...> Нет, не думаю, даже уверен. Ведь в конце концов, если это и так, то ведь главное здесь впечатленье... Ага. Спасибо.

Так вот. Вглядываясь, я иногда намеренно будил ее, то ли от страха, но нет – чтобы уловить в глазах пробуждение... Однако мне это не удавалось, я никак не мог уловить границу между до и после – она сердилась всегда, и мне приходилось выдумывать что-то. Нет, я не говорил ей об этом, не думаю, что есть здесь что-то дурное, я же не подсматривал ее – ее сны. <...> Нет, я уверен, это было вполне невинным занятьем...

<...> Так вот, в тот день, когда я должен был наконец решиться, невозможно было тянуть дальше – еще месяц назад я назначил себе, что вот – встану во вторник и пойду, наконец, узнаю... Жене не сказал, сам не пойму отчего, наверно, решил, что только мое это дело, а сама узнает, когда будет все точно известно, и вот тогда, во вторник, я проснулся – да не то чтобы проснулся, поскольку сна у меня с той поры как не бывало – так, дремал на поверхности (тревожно, зыбко, словно на спас. плоту в зимнем море), – так что я не проснулся, но, скорее, очнулся, привстал, сторонясь, как обычно, взглядом, – я в конце концов выработал у себя такую привычку, что когда она спит, ее для меня как бы и не существует: но в то утро я все-таки взглянул на нее, – не знаю, нет, это не было случайностью, я хорошо помню, что-то меня привлекло исподволь, я сначала лежал, представляя, как встану, пойду на остановку, спущусь в метро, и как от метро пойду пешком, и что буду видеть по сторонам – и все это было так муторно, тягостно, как в детстве перед школой,

– но тут что-то меня отвлекло, точней, смутило, и я посмотрел на нее с испугом – и увидел, что она не спит, то есть спит, так как у меня не было оснований определить, я говорил, что никак не могу найти границу между ее явью и ее сном, а тут я посмотрел, и мне показалось, что нет, не спит она, и тогда я решился ее позвать, я назвал ее по имени, и она встала, она поднялась очень прямо, все с так же открытыми глазами, с прямой спиной, совсем не опираясь на постель руками, будто что-то подняло ее за плечи и развернуло ко мне, и тогда я онемел, я взглянул в ее глаза и не знаю, что такое нашло на меня, но я испугался, мне стало так невозможно страшно, что я вскрикнул, отпрянул, спрыгнул с постели – и тогда тут же разбилось окно в кухне, наверное, кто-то бросил камень, и звон стекла вывел ее из этого состояния, и она бросилась на меня, рыдая, и сама долго не могла понять, что с ней такое, а я ее утешал, утешал и не стал расспрашивать...

<...> Да, я согласен, возможно, вы правы. Нет, камня в кухне я не нашел.

Глава 12

МАЛЬЧИКИ

А вот еще отчетик – одно из трех сочинений на собственную тему, которые Кате удалось выудить из меня самого для своих изысканий. Пошел ли ей этот материал на пользу – не знаю: реакции так и не последовало.

«Здравствуй. Заранее извини за сумбурность и за то, что не все здесь относится к делу.

Видимо, в последнее время со мной стало происходить нечто действительно важное. Это стало особенно ясно, когда я поймал себя на том, что все чаще стал рассуждать о себе. Такого рода размышления мне всегда были против шерсти, и потому их возникновение для меня не просто подозрительно – но и опасно. Однако, как бы то ни было – вот что я заметил.

В Доме меня постепенно стало особенно занимать то уважение, которое я привык испытывать к себе-ребенку.

К той своей слабо меняющейся ипостаси, когда мне 2, 3, 4, 7, 12 или 15 лет.

Дело в том, что я-ребенок не есть что-то отдельное от меня, от меня-текущего.

С той или иной степенью легкости он способен заместить мое существо в любую минуту.

Количество моего счастья составляется из суммы его посещений.

Он – мой единственный друг и судья – и пример.

И едва ли не единственный человек на свете, перед которым я могу испытывать некое чувство, что, судя по всем описаниям, должно называться стыдом.

Когда он долго не является, я испытываю страх, что он умер, и сам постепенно начинаю умирать – сначала от страха, что он больше никогда не вернется, потом – от тоски.

Появление его всегда неожиданно, – так же, как и мое исчезновение. Мне нравится в нем почти все, я умиляюсь его капризам, и даже его обидные насмешки в конце концов заставляют меня улыбаться. Я предельно внимателен к его оценкам чувств. И это несмотря на то, что он часто бывает откровенно зол и беспощаден: после его справедливых взбучек – от меня ни пера, ни пуха.

В то же время я обожаю его, как своего ребенка.

И я запросто могу умереть от этой своей любви.

Нельзя сказать, что он неизменен. Он строптив и легкомыслен. Но ясная легкость искупает все.

Иногда мое к нему почтение зашкаливает за зависть. И тогда я почти умираю от зависти к нему, что он еще ни черта не знает.

Счастливчик, он ни-че-го-шеньки еще не знает, похоть познания еще неведома ему.

Владеющая им страсть любопытства – пока еще творящая страсть называния имен, – а не блудливый зуд наглядности, зудящий нарушить – разрушить – увидеть, что за – границу утробного мифа.

Вирус вины еще не впился в его ДНК, в нем еще не проросло простое зернышко смерти. Зернышко, из которого вырастает опыт: хотя и нельзя помыслить – достичь – бесконечность, но ее всегда можно пощупать, облапить, убить.

Любая наука – смерть, наступившая при вскрытии тайны. Любая наука – наука удовлетворения. Именно тогда и исчезает движение, суть которого в достижении – ведь дальше уже ехать некуда: у ж е пощупали, у ж е надругались, зачем теперь это еще и мыслить?!

Счастливчик мой имеет несколько качественных обликов. Они условно различаются мною по возрасту.

Например, ему 15 лет, и ночью он может во сне решить две-три геометрических задачки за раз; утром проснуться, плеснуть каракули решений в тетрадку, на лету позавтракать, умыться – и сорваться на велике рыбачить на Москва-реку, к Афанасьевской дамбе; или – на электричке в Берендино: на лесное озеро.

В 12 лет он приходит ко мне в облике воинственного стрелка – с луком из корявого можжевельника и пучком стрел. Наконечники стрел сделаны из гвоздя, треугольно обернутого кусочком консер-

вной жести. Вкладывая стрелу щепоткой голубиных перьев в тетиву, он готов расправиться со мной – за какую-нибудь мелкую жестокость, вызванную ленью. Расправиться так же – навылет, как он однажды поступил с вороной, разорившей от скуки ласточкино гнездо под карнизом нашего дома.

В 7 лет – строгий и внимательный мальчик, перелистывая кляссер с марками, сурово смотрит на меня исподлобья: он недоволен мелькнувшим во мне сомнением.

В 5 лет – хотя я еще не умею связно говорить, но уже могу читать, и грандиозность того, что я вычитываю из – в сравнении с моим нынешним воображением – заставляет меня уничижительно ретироваться, сознавая собственную беспочвенность.

А вот и первое речение. Меня купает бабушка. В цинковой лохани, установленной, как корабль в доке, на двух стульях, обложенный облаком пены, восседаю, нежась, я. Губка-утенок не совершенен – он плавает только плашмя. Внезапно бабушка опрокидывает на меня дымившуюся на плите кастрюлю, и я от испуга и несильного ожога чертыхаюсь: «Тьфу ты, челт, бабушка, чуть не утопила!»

Бабушка вскрикивает и едва не рушится вместе с кастрюлей на пол – в обморок. Но удерживается: всхлипывая и ослабнув, опирается рукою о стол; кастрюля, долетев, еще дребезжит, обегая дно по краю восьмеркой: «Тьфу ты, черт...» – строгость этого междометья и сейчас, одергивая, заставляет меня быть предельно собранным при обхождении с собой-маленьким...

В три с половиной года мой любимый герой – Чингачгук, о котором себе вслух читает моя старшая сестра.

Никто не знает, что Чингачгук уже два дня мой кумир.

Дело в том, что я еще не умею говорить.

Я – «немой немтыря», как меня любя называет бабуля. Я могу только вякать: «ма», «па», «ба», «папедрот» и «бом-бом».

Особенно сложный «папедрот» сопровождается разъяснением – жестом, намазывающим воздух левой ладошкой на правую.

Все вместе означает: «хочу бутерброд».

Бутерброды в моем детстве были обычно с черной икрой, паюсной, самой вкусной из всех ее видов. Наверное, поэтому я так мучительно равнодушен сейчас к этому деликатесу, – я забочусь, чтобы мне-маленькому больше досталось.

«Бом-бом» – и я стою, показывая рукою куда-то вверх, в дверях бабушкиной комнаты, так объясняя свое раннее пробуждение. Мне обидно за бабушку, ей снова придется со мной возиться, и я говорю «бом-бом» – себе в оправданье.

«Бом-бом», – били большие, как скворечник, интересные, как игрушечный город с невидимыми обитателями – человечками в

сине-белых костюмах, выбивавшими крохотными кирками крошки прозрачной летучей породы, – трофейные немецкие часы (они достались бабушке от одного военного, квартировавшего у нее сразу после войны). Их бой забыли отключить на время моего дневного сна: для этого вставлялся спичечный коробок между молоточком и резонирующей, наподобие камертона, толстой спиралью. На их начищенном, как закатное солнце, медном языке была выгравирована пасторальная картинка: дерево, луг, мерлушковые овечки, пастух в мерлушковой же папахе; и то ли волк, то ли собака, охраняющая стадо от себя-волка. Во всяком случае, волк должен был вот-вот появиться, и если, я думал, он и окажется собакой-оборотнем, то мне становилось как-то исподволь, понарошку, страшно.

Когда я вспоминаю эти часы, мне кажется, что день и ночь теперь сменяют друг друга за один взмах их где-то незримо идущего маятника.

Итак, я стою и поясняю наверх: бом-бом. Меня очень беспокоит волк. И вдруг меня озаряет. Я внезапно понимаю, кто может спасти нас всех от этой страшной собаки. Осененный этим пониманием, я страшно кричу: «Чингачгук!» и бросаюсь по комнате, топоча и гикая, подпрыгивая и кулачком угрожая неизвестному. Бабушка, моя бедная бабушка, оправившись от неожиданности, говорит невпопад:

– Уж лучше пусть будет «бом-бом»...

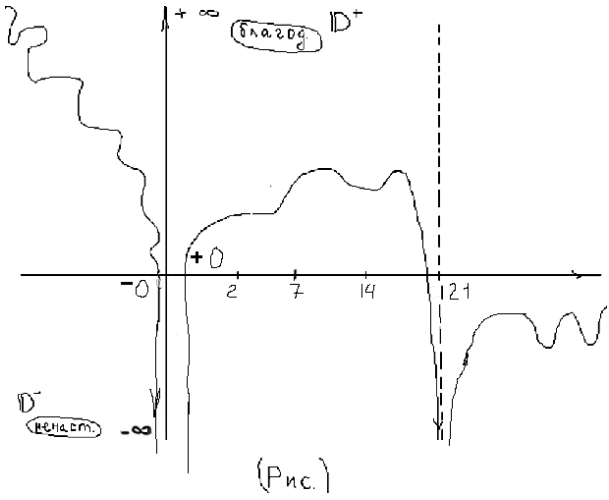
И последнее, что поминаю. Мне 2 года, я вижу темное окно. Окно полно моего застывшего страха. Наконец, я кричу, задыхаясь. Мама знает что делать. Она выносит меня вместе с воплем в кухню и включает свет. Лампочка прокалывает темноту, мне больно, теперь кричу от глазной рези и вырываюсь. Мама гасит свет, и я мгновенно засыпаю.

Это темное окно – теперь оно не совсем черно, – в нем кружатся медленно звезды и яркой мошкой сгорает в немом вое луны пролетающий спутник. Но почему-то, когда оно появляется в моем зрении, я начинаю нервничать и принимаюсь беспричинно одну за другой зажигать спички. Они ломаются, и иногда сера, вспыхнув, обжигает пальцы...

Я не одинаково отношусь к моим мальчикам, но всех их люблю больше себя. Это дает мне право на некоторое пристрастие. Впрочем, оно довольно условно. Чтобы четче отдать себе отчет в этой ироничной условности, я как-то от нечего делать нарисовал график моей к ним благорасположенности. (Его я прилагаю к этой записке, – только вряд ли он тебе пригодится, но раз уж ты просила писать все, что придет в голову, вот я его и нацарапал.)

Позже выяснилось, что она (расположенность) находится в прямой зависимости от моего удовлетворения существованием в той

или иной мальчишеской ипостаси. То есть – я пришел к выводу, что при наличии презумпции идеальности самооценки («я счастлив тогда и только тогда, когда доволен самим собою: то есть – совестью») эти два параметра можно объединить.



(Рис.)

Следует дать некоторые пояснения относительно поведения функции самодовольства при предельных значениях возраста.

Волнистая линия в формальном небытии, до рождения, означает смутное почтение к себе-небывшему. Время утробного пребывания дает чрезвычайно положительные значения существования, нисходящие из абсолютного блаженства небытия (плюс-бесконечность) к первой точке сингулярности – моменту рождения. Здесь следует закономерный провал в минус-бесконечность, а затем, постепенно выкарабкиваясь на свет Божий, я прихожу в положительную область осознаваемой благодати. Далее мы с мальчиками движемся более или менее по нарастающей. Где мы минуем максимум – сказать затрудняюсь. Так мы благоденствуем примерно до 22-х лет, когда наступает негаданно затянувшаяся пора второго рождения. Мы ухаем в пропасть, вновь брея над минус-бесконечностью, и спустя календарных полгода я выныриваю из бессознания совершенно один. Подобно Улиссу, в Харибде утратившему всех своих спутников, я потерял при этом рождении моих мальчиков. С тех пор они только на время приходят ко мне, всегда поздно или рано меня покидая...

После выбраться в положительную область существования мне так и не удалось. Все мои усилия свелись к мучительным осцилляциям

между несуществованием и полным к себе безразличием. Говорят, третий инфаркт – последний. Надеюсь, то же относится и к рождению. Все это, однако, не означает, что, родившись повторно, я навсегда перестал быть счастливым. Нет, я не то чтобы лишился счастья как такового. Скорее, счастье лишилось меня, оказавшись подменой. Что равносильно тому, что меня самого подменили. И подмена эта совершилась по принципу одержимости: во мне поселился нечистый дух познания. Дух, который, пожрав имена моих мальчиков, теперь мне шепчет: дотронься, познай, умертви – в этом суть обладания.

И то, что я натворил с тобой, – следствие его увещеваний».

Кстати, однажды я попробовал рассказать Стефанову о моих мальчиках. Получилось сбивчиво, и старик только понял, что я что-то разыскал в своем детстве. Однако это нашло в нем отзыв. Он сказал, что детство его самого сейчас занимает особо. Почти постоянно оно ему снится и думается.

– Так происходит, наверное, потому, – задумался вслух Алексей Васильевич, – что мозг человека, его память устроена по принципу древесного ствола. Наслаивающиеся события и впечатления клетки мозга располагают кольцеобразным способом. Чем к более раннему возрасту относятся воспоминания, тем ближе их место хранения к центру. При умирании происходит отторжение клеток. Их истребление начинается с периферии, и скоро человек лишается своего ближайшего прошлого. При этом настоящее, не успевая закрепиться, становится призрачным, рисунок его среза мерцает во времени, дезориентируя, вызывая вестибулярную тошноту у реальности, у которой, непрерывно стремясь, уходит из-под ног ее зыбкая почва – память. Умирающий, если у него есть время на размышления, всегда безразличен к происходящему. Перед смертью человек начинает жить в обратном направлении стрелы настоящего времени. Именно поэтому его нулевая точка, точка его смерти, проходится им как обратная запись процесса рождения. – И именно поэтому, – в заключение сделал предположение Стефанов, – в этой точке умирающим испытывается дикая смесь боли, страха и света, за вспышкой которой следует взрыв темноты...

Глава 13

ПЛЕМЯННИК

Впрочем, случается у нас в Доме и грустно-смешное.

К примеру, прибыл к одному жителю этажа «Т» дальний родственник из Якутии. Обычное, в общем-то, дело – навестить напоследок приехал, узнав, что случилось такое несчастье.

Но вот явление его смертельно больному с порога показалось подозрительным, прямо-таки тревожным. И в самом деле, спрашивается, с чего бы вдруг племянничек расчувствовался? В течение жизни близки они не были – так, встречались разами, когда тот, вместе с семьей или без, бывал транзитом в Москве, востря лыжи на курорт – в Крым, Сочи, Анапу, или обратно. Причем, пока кантовался на московской фатере, с братаном пахана у него никак слишком взаимопроникновенных бесед не нарисовывалось. Так, по малому – как дела и учеба дочурки, сильно ли было весеннее половодье на Лене, а в Москве, в вышнем граде, по прежнему все – непонятно и сложно, таинственно даже, много машин, приезжих и подземных перемещений...

И вот, пожалуйста, нате – прилетает через полглобуса, разыскивает и с первых же слов вызывает тревогу.

Сначала возникла у умирающего закономерная мысль, что дело в ошибочном представлении о завещании. А завещивать-то ему и близким родственничкам, кроме дачи в Тучково, нечего было. О чем он своему племяннику при первом же разговоре, нехорошо глядя прямо глаза, и сообщил.

После чего дядя то ли разозлился на себя, то ли жаль ему себя самому лишний раз стало, не понять, в общем только на всякий случай рявкнул вдобавок, что квартира, ясное дело, останется сыну.

Племянник, однако, не реагировал и продолжал немногословно соболезновать у постели. Потом внезапно наклонился жарко к самому уху дяди и таинственно сообщил: он-де тоже, увы, умирает.

Дядя не понял, решив... На самом деле, ничего не решив, так как был уже утомлен и встревожен визитом, и все внешнее, что было ясно не сразу, им тут же отстранялось от усилия понимания.

Поняв, что дядя нынче уже не в себе, племянник вошел в русло и попросил дядю показать ему округу. Удивившись еще раз, тот провел его кратко по Дому, показал Зимний Сад снаружи, ознакомил с процедурным комплексом и растерянно привел обратно, не зная как быть с посетителем дальше.

Племянник же был внимателен и казался себе на уме. Оказавшись в палате, он лег на его постель и сказал, что отсюда никак ни

ногой и пусть дядя просит администрацию подыскать еще одно место.

Дядя в ответ онемел, а верзила как ни в чем не бывало стал интересоваться, а не платят ли здесь суточные за пребыванье.

После чего отвернулся к стене и застыл, никуда не глядя. Широкая его спина, так сказать, повернулась к миру глыбой молчания.

Так его санитары и ворочали, пытаясь привести хоть немного в чувства. Племянник молчал, и молчал даже тогда, когда его выносили вон из палаты, прежде запеленав, конечно, – вдруг окажется буйным.

В общем, скандал, и притом непонятный. Племянничка тормошат, а он ни гу-гу, будто бы здесь же, при жизни, взял да и умер. В общем, сыграл натурально в молчанку глухую, всех поразив своим стойким таким поведеньем. Дядя страшно взволновался, что из-за его родственника такая буча вдруг разрослась, но ничего поделать не мог – племянник и на его вопросы был нем как рыба.

Водила кудрявый даже пытать предлагал, чтоб добиться хотя бы полслова. Но все-таки не выносить же на улицу живого еще человека. Тем более что ни хозяйки-сестры, ни Кортеза, ни горбуна об ту пору в Доме не оказалось – они накануне спешно отправились скопом в Москву, – ходил слух, на какой-то таинственный слет: неизвестно, какие дела их всех сразу в Москву отозвали...

Номинально за старшую оставалась Наташа, но она ничего не решала и только сказала, когда доложили: «Вот сумасшедший».

Потому пристроили племянника до распознания причины в подсобном для разных хозяйственных нужд, темном, сухом помещении. В нем было много разных вещей, вот он и стал, затаившись, одной из...

Спустя же три дня все разъяснилось. По возвращении начальства, принесли все еще спеленатого, как толстая куколка, племянника прямиком в кабинет к Кортезу. Только взглянув, тут же велел бедолагу вынуть из смирительной оболочки. Там, в кабинете, племянник как миленький рассказал то, что потом разболтали кругом санитары.

Оказывается, узнав из телеграммы о прискорбном обстоятельстве, племянник внимательно и глубоко, как рухнул, задумался: а что такое жизнь вообще, если она рано-поздно-всегда кончается. Чтобы отдать отчет в катастрофичности ситуации, надо отметить, что ранее мысли данного рода племяннику были не просто не свойственны, но и немыслимы в такой же мере, в какой немыслима ясная речь обезьяны: в силу образа жизни и склада он был человеком действия и такую галиматью поступком считать не мог.

Сын осевшего на поселении политзека, он вкалывал инженером

на промысле алмазов, якшался с якутами и часто по выходным пропадал в тайге на охоте. Кажется, мог попасть белке в глаз, стреляя навскидку. Пронять его мог разве только медведь, вышедший на него с вилами. И тем не менее, пример родного дядьки пронзил его. Вопиющая мысль, что и он-таки медленно, но неотвратно помирает, уложила его на обе лопатки.

Возможно, обстоятельство, что умирающий его двоюродный дядя об ту пору оставался последним его старшим родственником вообще, и обусловило силу произведенного на него впечатления (родители его семь годков уже как почили). Возможно, что неотвратимость именно окончательного его сиротства и подвигла его на такие необыкновенные размышления. А возможно, и нет – что сумасшествие данного рода образовалось в нем спонтанно, сдвинутое – как лавина возгласом или кашлем более или менее терпимой и в конце концов совсем неудивительной, хотя и печальной, мыслью.

Как бы там ни было, но событие бреда взорвалось. Целых два месяца пролежал он на диване, отвернувшись к стене, употребляя пищу только по настойчивому убежденью супруги. Там, на диване, ему и вошло окончательно в голову, что он, как и дядя, живет умирая, и ему захотелось поделиться с ним таковым убеждением. Очутившись же в Доме и оглядевшись, он воспрянул и решился поступить нахрапом. Тем более, думал он, здешнее умирание при смерти ничем в смысле комфорта и отношения не отличается от тамошнего умирания при жизни, только все происходит честнее.

И он решил не лицемерить. Но опасаясь, что его не поймут, пришел к выводу, что действовать нужно резко и определенно, – например, устроить здесь всем забастовку: мол, никуда я отсюда идти – не пойду, что хотите со мной творите, а я здесь всенепременно останусь, если даже меня тут прямо возьмут и зарежут.

Выслушав чужого племянника, Кортез сообщил, что тот ошибался. Что его отлично здесь все понимают. Что ему совершенно не следовало сомневаться, а так прямо все и сказать. И что он, Кортез, сделает от него зависящее, чтобы племяннику в Доме было «уютно и превосходно».

Последнее раскипешившийся племянник не совсем понял, но понял, что никто его отсюда гнать уже больше не будет. Он присел на корточки, так как его так и не пригласили сесть, и обхватил руками голову от потрясения.

Кортез велел санитарам освободить и подготовить палату к еще одному новоселью, а также внести нового гостя в список...

Однажды этот странный племянник забрел к нам в гости – под предлогом сыграть в домино. Мы сразу сообщили, что в домино играть не умеем, и предложили выпить чаю, но вскоре об этом пожа-

лели. Племянник, пылко согласившись, оказался неугомонным, пил стакан за стаканом, уничтожил всю заварку и сахар, а напившись, стал расспрашивать, кто здесь чем болеет. Я шутя ответил, что болен любовью, а Стефанов вообще уклонился, сказав, что желтухой. Племянник ржал в ответ, не унимался, говорил, что мы издеваемся, так как наверняка у нас какие-то страшные заболевания, и что он нам заочно завидует очень. Также поведал, что когда умрет двоюродный дядя, в память о нем он попросит разрешения переселиться в его палату. Мне было странно видеть, не слушая, этого здорового, размером с медведя, сибирского идиота, который обстоятельно рассуждал о таких глупостях.

Стефанов вскоре отвернулся к окну и больше на племянничка не смотрел.

Глава 14

ГУЛЯТЬ

Я часто гуляю по Дому. Обычно это выглядит как прогулка, но иногда и как настоящее приключенье. Случается, иное приключение не совсем проходит мне даром. Вчера, например, оно не прошло. В таких случаях я стараюсь делать выводы. Бывает, что они получаются неоднозначными. Как сейчас. Честно говоря, я вообще от вчерашнего никак не могу еще отойти. А начиналось все вроде бы безобидно.

Вчера днем из нашей палаты отправился я на второй этаж, миновал кастелянную, процедурную, красный уголок и сделал таким образом лишних 137 шагов; зато встретил по дороге Катю.

Она шла куда-то и, улыбнувшись, пригласила глазами следовать за нею. У двери оглянулась, и я понял, что меня просят обождать.

Хотя в коридоре никого не было, но стоять в нем стоймя, непонятно чего ожидая перед неизвестной дверью, было столь же малоприятно, как бывает неприятно в городе торчать на открытом месте, подвергаясь беглым взглядам поглощенных своим ходом прохожих...

Вскоре, маясь перед дверью, я начинаю неодолимо мучиться тем, что за нею. Но вот что странно, я вдруг понимаю, что вовсе не непредставимость последнего составляет причину моих переживаний. И что, конечно, непредсказуемость – усеченный вариант непредставимости – совсем не имеет никакого отношения к моему волнению. Что за порогом, нисколько меня не беспокоит: что бы там ни было – за.

Постепенно мне начинает казаться, что перед порогом соткалось, как мохнатый живой коврик, в котором запутались ноги, поле невозможности как таковой. И я, будучи стреножен в его силках, переступая, топчась, силюсь, мучаюсь, словно мотылек в световой ловушке лампы.

Мне даже начинает казаться, что дверь превратилась в окно, за которым, как грузное медленное животное, спокойно живет, дыша и передвигаясь, тучное, жаркое солнце.

В коридоре возникает медсестра и проносит мимо меня на подносе склянки. Одна из них блестит и слепо режет глаз.

Дверь приоткрывается, и Катина рука легко тянет меня внутрь. Медсестра оглядывается, но я исчезаю.

Войдя, я ровно ничего не вижу, но чувствую шепот Кати – он горяч и вместе с прикосновениями сливается в одно умопомрачающее чувство...

Очнувшись в тихом свете, я странно нахожу рядом с собою Катю мертвой.

За стеклянной стеной в упор висит вытесненное нами солнце. Косматое, оно медленно ворочается и живет. Всплески вспышек разрывают свитые вокруг меридианов жилы его огненных речек.

На светлом, словно вылепленном из светящегося воска, Катином теле неровно перемещается сердоликовый отсвет.

Припав, я веду по нему губами, и мне кажется, мои губы движутся вслед за ускользающим в тень теплом.

Вглядываясь, я не верю – и, целуя сосок, вижу свое отражение, которое, вглядываясь, целует меня в мокрые глаза.

Тепло исчезает, отсвет бледнеет, и я, поднимая голову, вижу теперь белое, наконец освободившееся от терпимой зрением яркости солнце.

Ровное, даже матовое бельмо слепит меня, обволакивая своим рассеянным взглядом.

Я вдруг понимаю, что это его второе явленье, что в первое, покуда я спал, оно забрало у меня Катю и сейчас, раскалившись по новой, пришло, чтобы взять и меня.

Внезапное спокойствие овладевает мною. Оторвавшись от Кати, встаю во весь рост на постели и, оттолкнувшись, прижимая к груди колено, прыгаю прямо в окно, на солнце.

Глухой удар сотрясает небольно мне тело. Тугая роговица окна, упруго прогнувшись, посылает обратно движенье прыжка.

Оказавшись на полу, я понимаю спокойно – мне некуда деться, что выход теперь только один.

Солнце уже дало течь, и его нервное жгучее щупальце трогает мою руку.

Вывернувшись, я срочно отыскиваю на полу джинсы и достаю из кармана перочинный нож. Полоснув по внутренней стороне предплечья, наклоняюсь над Катей и то же делаю с ней. Ложусь рядом навзничь и беру ее за руку, соединяя порезы.

Постепенно переливаясь в нее, зрение плавно меркнет, и все сильнее давит напряжение тугой глухоты, словно, нырнув в ее тело, я погружаюсь все глубже и глубже, спасаясь от наваливающейся сверху туши солнца.

Но еще до исчезновения я все же успеваю видеть, как в последних сумерках Катя, очнувшись, наклоняется и, всматриваясь, тянется полураскрытыми губами.

Ее поцелуй совмещается с моей наступившей слепотой...

Пробуждение случилось легко и радостно, почти не отягощенное какой-то особенной вычурностью обстоятельств. Последние же были таковы, что проснулся я в чужом совершенно мне помещении, где ни Стефанова, ни нашей привычной обстановки не наблюдалось.

Смутно припомнилось, как я заснул и что тому предшествовало. Встревоженный, я поспешил одеться, чтобы исчезнуть из опасного места.

Уже на пороге затягивая ширинку, я увидел у ног выпорхнувшую из двери записку. Развернув, узнал круглый, как толстая цепочка, почерк. Она сообщала, что просит меня ничего без ее ведома не предпринимать и что, если мне вздумается срочно ее увидеть, мне следует обратиться к горбуну, которого она называла в записке: «мой поверенный»...

Прочтя, я разозлился. Мне показалось, что Катя уже по второму кругу повела меня за нос. Я разъяренно подумал: вот заберу, или даже выкраду у нее письмо, и прах здешний с ног своих отряхну, чтоб духу моего тут не было.

Однако, как разъяснилось чуть позже, я вновь не подозревал, что заплутал и что подозрительность моя не имеет никаких оснований...

Нужно было срочно исчезнуть. Я свернул записку, сунул в задний карман и тихо щелкнул дверью, соображая, куда же податься.

По коридору прошла медсестра, неся на подносе какие-то склянки. Одна из них внимательным блеском застряла в моем зрачке, и еще долго сиреневое пятнышко рывками плавало перед глазами, пока я порывисто, словно боясь погони, сбегал и взбегал по лестницам, пытаясь вспомнить и отыскать свой этаж.

Глава 15

ПОПОЙКА

Племянник захаживал к нам и еще, но, к счастью, мне всякий раз везло надумать причину, по которой вскоре я спроваживал его без особого урона нашему покою.

Вообще же, к нам любят являться непрошено гости. Так что мы давно уже перестали им всем подряд удивляться и только старались заранее подготовить ту или иную конфузную сценку выпроваживания, в конце которой гость сам не хотел у нас долее оставаться.

Признаться, мне подозрительно везло в подобных инсценировках – и понятно, по закону сохранения удачи, рано или поздно должен был случиться провал. Так оно и произошло однажды. Только вот провал этот чудом оказался везеньем. О чем особая речь. Стефанов потом говорил, деланно брюзжа, но внутренне страшно довольный новым знакомством: ну что, мол, поделать с явлениями природы – от них, как от грозы, ни сбежать, ни уберечься...

Вот как это случилось.

Однажды, когда мы просиживали зимний вечер у неровно гаснущего камина, дверь отворилась, и в нее вошел некто странный, весь в бороде и курчавой, полуседой шевелюре.

Некто был обернут козлиными шкурами, обут в сандалии на грязную, босую ногу; синий плащ из болоньи почему-то свисал у него за плечами.

Густые брови торчали кусочками меха. Толстый нос походил на высохшую гигантскую грушу. Напруженные губы держали ее, как на подносе. Яблочные щеки наливались розовым соком здоровья. Ярко-синие глазки подвижно смотрели повсюду из этого натюрморта.

Острый запах козьего сыра пронзил окружающий воздух.

В довершение наружности, гость держал в руках раскрытую, с двумя сломанными спицами парасольку, которой слегка играл, вертя туда и обратно.

Ткань зонтика была расписана огромным, выцветшим подсолнечником.

И вообще, заговорив легко и нагло, гость только подтвердил свой несерьезный облик.

Однако с места в карьер, толком еще не поняв, что он там такое вещает, я почуял зверино, что дело здесь пахнет чистой воды керосином...

– Бонна ночи, дорогие мои жильцы, как поживаете, – наконец пробился ко мне сквозь тревогу его басовитый возглас. – Добрый

вечер, многоуважаемые, добрый вам вечер! – продолжал, чуть-чуть раскланиваясь – сюда – ко мне, туда – к Стефанову, и опять, черт возьми – сюда, приветствовать нас пришелец.

Я оглянулся на Стефанова и понял: старик мне не в помощь – выражение его скисло, и ясно было, что он готов уже сдаться без боя.

– Да-да, именно так, вы не ослышались, я интересуюсь тем самым – как вы здесь е щ е живете. То есть, мне интересны подробности. Должно быть, весело, а? – гость, вертя зонтом, вдвинулся в комнату и, с удовольствием причмокивая губами, огляделся.

– Ничего, спасибо. Но все же позвольте... – стал осторожно противиться я.

– Ничего не позволю, не имеете просто права, – не дослушав моих возражений, парировал гость, и ловко, почти без разбега, запрыгнул с ногами на мою кровать.

Щетинистая, серая от дорожной пыли ляжка чудовищно разместилась на свежем пододеяльнике. Зонтик, хрустнув, сложился и воткнулся в подушку, взвив облачко перьев.

Стефанов схватился за голову руками.

Я же понял, что будет еще только хуже, и пока решил гостю подыграть. Стараясь не выдать свое беспокойство, спросил пришельца, на каком этаже он проживает.

Тот, не ответив, в ответ рассмеялся, и когда, отсмеявшись, стих его гогот, сказал, что на одном из самых последних – на семнадцатом.

Я озадачился, соображая, откуда взялись еще двенадцать этажей.

Гость тем временем повторно огляделся вокруг и внимательней задержался на Стефанове. Старик безнадежно смотрел перед собой, смиренно ожидая развязки.

Опасения мои тут же подтвердились, стоило незнакомцу представиться Дионисом Карелиасом...

Родился в Измире, учился в университете им. Патриса Лумумбы, работал собкором в московском отделении «Рейтер»; «торчит по больницам» уже три года, «никак все копыта отбросить не в силах», «надоела бодяга вся эта до смерти», в Доме он второй только месяц и «надо сказать, что доволен вполне, хоть и странная здесь обстановка».

– Не правда ли, так себе обстановочка?

Гость, внезапно нахмурившись, замолчал, но спохватившись, поинтересовался еще раз:

– Ну, как, как, коллеги, вы здесь, без меня?..

Не выжидая ответа, тут же добыл из-под плаща тыквенную флягу и устроил ее бережно, как дикарь трофей – снятую с врага голову, – на коленях.

Обломок кукурузного початка высовывался из крутого пупа сосуда.

Остававшиеся на нем волоски золотились осенним светом средиземноморского урожая.

Три небольших бараньих рога, изогнувшись на запад, юг и восток, оказались в руке Карелиаса.

Мы как один подались вперед.

Откупоренная крупными, как галька, зубами пробка гукнула и повисла.

Повисла на глянцевом, звонком боку, легонько покачиваясь на пеньковом шнурке.

Бултыхнув приподнятым на ладони содержимым, грек торжествующе зыркнул на нас голубым, искрящимся взглядом.

Колкий блеск в его зрачках замелькал подобно клочьям облаков, видимых в иллюминатор над морем.

Карелиас попросил принять у него рога и из оранжевой, громадной головы овоща стал разливать прозрачное серебряное масло.

До моих дрожащих ноздрей донесся слегка металлический вкус огненной чачи.

Стефанов воспрянул и пристрастно следил за наполнением своего рога...

Мы чокнулись за знакомство.

Ослепленный выпитым залпом, я онемел.

Ровный напор морского заката, раскрывшись жарким бутоном, шел из грудной области в руки и ноги, переливал через край мой мозг спокойной радостью света.

Карелиас, зажмурившись, крякнул.

Стефанов, качнувшись, устоял на ногах, но тут же присел, приводя в порядок дыханье.

Тут же разлив по второй, Карелиас молвил:

– А теперь без чока, за нашего брата, смертного.

Он поднял рог и добавил неясно:

– Я имею в виду и тех, кто еще, и тех, кто уже, хотя их меньшинство, понятно?

Я кивнул, а Стефанов, хмелея стремительно и неуклонно, как под откос, неопределенно двинул рукой и согласился.

Грек, окунув нас в свой пристальный взгляд и чудом нащупав наше слабое пониманье, взял корникупею в толстые губы, как мелкую рюмку, и метнул на дно нутра, в прорву – глоток, граммов примерно так в двести.

Случившееся после осталось в моей голове лишь потому, что было настолько ярко и вычурно, что не остаться оно не могло, затмив мое ощущенье себя. Я мог не помнить себя в течение и после происходившего, но происходившее не запомнить не мог, так как оно существовало помимо и даже в м е с т о меня настолько, что выз-

ванное им впечатление никоим образом не могло исчезнуть, если даже ради удержания ему следовало бы превратиться в некую внешнюю память обо мне, о бесследно растворившемся в своем впечатлении, но все же обязанном помнить то, что в мое отсутствие происходило.

В общем, я заломил ручку форсажа и, пробив потолок реального, обнаружил себя во внешнем, где стремительно и на удивленье легко было реять над собою.

Захватывающий поток опьянения был упруг, но порывист; я то взмывал, то вновь избегал падения, резкость моего близорукого зрения, влекомая странным ритмом, немыслимо колебалась, и я попеременно то видел все эпизоды пьянки отдельно, то они, удалясь и почти растворившись в узоре событий, реплик и жестов, с неуловимой ловкостью калейдоскопа слагались в сплошной ритуал, таинственный смысл которого, будучи едва уловлен мною, тут же вновь ускользал от называния...

Второе омовенье осилил я за два присеста, в промежутке отметив, что Стефанов, допив, отплыл к окошку и стал смотреть на темень. Старик стоял качаясь, и отраженье в тьме качалось точно так же. Я дух свой перевел и подошел к нему. Ему сказал: «Ну, что вы, Стефанов, дорогой», – обнял его за плечи и тоже посмотрел... И то, что я увидел, мне показалось страшным, настолько неподвластным ни зрению, ни слову, что молвить мне об этом – что молвить ничего.

Молчание.

Стефанов, не в силах оторваться, вдруг затвердел, сказав: «Что ж, пусть они придут».

И тут мне стало тошно. Я взгляд свой обернул к двери, но вместо двери, куда инстинктом сохранения вдруг броситься был двинут, увидел ровно ту же стеклянную стену, в которую влагалась палата отраженьем...

Зажаты в тьме зеркал мы жутко оказались. Куб комнаты разъятый сквозь рушился цепочкой в туннель вложений темных, тускнеющих все больше, чем дальше взгляд уходит, следя себя в безумии толпы из двойников... Переминаясь, они волнами отводили, прикладывали маски и что-то глухо бормотали – гул губ их складывался в хор...

Я двинулся сквозь них, от страха умирая. Они ж, как будто безразличны, не тратили внимания ни на меня, ни на Карелиаса, который лежал все так же на постели, в обнимку с тыквой. Он один из нас троих не дал повтора в зеркальных плоскостях.

Его спросил я: «Что же делать?»

«Ничего», – был мне ответ.

Я успокоился немного и подсел к Карелиасу, в ногах.

Стефанов скоро оказался рядом – и мы, ежась оба с двух сторон, стараясь не смотреть на улей взглядов, покорно ждали, что здесь будет.

Камин почти потух, и оттого мне мнилось, что свет как будто истекает в колодезное чрево, которым комнате был дан пробой.

Карелиас был убийственно спокоен. Ему, казалось, наплевать на то, что здесь такое происходит.

Достав из-под шкур огромную раковину, розовополую, похожую на взлохмаченно-завитое ветром облако, грек стал вертеть ее туда-сюда, развлекая наше вниманье. И вдруг, почмокав дутыми губами у отверстий в начале завитушки, издал три – восемь – девятнадцать нот, – мелодию собой едва ли представлявших, но походивших больше на призыв, или на то, как трубачом перед игрой берется проба воздуха, дыхания.

Так раздудевшись, он вдруг ловко взметнулся вверх с постели и точно приземлился у камина. Подбросил бревнышки и через раковину дунул. Три жарких пышных птицы взлетели, пламя разжигая, из дебрей бороды архонта.

Внезапно стало все вокруг предельно ясно. Ярчайший свет, подобьем наводнения пространство сразу вспышкой полонив, стал тихо литься крыльями фламинго, пеликанов, кружащихся размеренно вокруг, над углубленьем жертвенника рея.

И вот тогда я различил двойников. Они странным образом проявились разными. К тому ж их было только трое. И дверь на месте оказалась. Но все это не умалило странность их явления. Двое мужчин – юный и старый, – и третья, увитая плетью хмеля только. Растение два-три раза обегало спиралью ее наготу, произрастая из глубокого пупка. Две плавные русые пряди лились на плечи из высокой прически. Она улыбалась огромным блеском черных глаз и, прислонившись к стене у камина, держала в руке бокал.

Юноша был наг совсем. Размещался он, держа нога на ногу, сидя на кровати Стефанова. В руке его тоже, сверкая рубиновой лампочкой, парил бокал. Небольшие рожки торчали в его мелких кудрях. От нечего делать юноша, хихикая и гукая, разглядывал обомлевшего Стефанова и, пугая старика, наклонял в его сторону голову – бодаясь понарошку.

Пожилой оказался обутым по щиколотку в копыта. Размерами он превосходил Карелиаса вдвое. Сдерживающий его буйные меховые одежды пояс был шириною в передаточный ремень эскалатора метро. Присев на корточки, он щепил ногтями дрова, помогая Карелиасу развести огонь.

Я посмотрел на Стефанова и увидел, что и он потрясен этими фокусами.

Немедленно я осознал: вот наши друзья и сообщники, вот кто нам поможет.

Стали представляться.

Женщина назвалась Дафной.

Сатир, прогремев – Паном.

Юноша утаил свое имя, звонко рассмеявшись, когда пришел его черед назваться.

Дафна, кивнув в его сторону:

– А это – Эрот.

Гости, руководимые Карелиасом, стали располагаться.

К люстре была подвешена на лямках белоснежная коза, из вымени которой Карелиас нацедил нам вина. Нога животного подергивалась под вытягивающими движениями рук. Коза тихонько блеяла и мотала головой, слегка раскачивая ее всю на весу. Я углядел, что лямки подвеса были сшиты из кусков парашютной стропы...

Появилась корзинка с хлебом и разломанным гранатом, похожим на горку розовых сот.

Карелиас установил на полу у камина блюдо с полосками мяса.

Пирушка вскоре набрала ход. Чудесный обморок восторга вновь наполнил собою воздух. Слои света, переливаясь друг в друга, скользили в медленном, сочном зрении: Дионис разгонял их звуками – теперь мелодично – стонущей окарины. Стефанов оживленно беседовал с кокетливо присевшей между нами Дафной. Пан, шутливо сердясь, охотно подвергался насмешкам Эрота. Карелиас, откладывая в сторону раковину, следил за огнем и время от времени подносил от камина порции зажаренной закуски.

Я попросил у Дафны позволения сорвать несколько салатовых соцветий с ее одежды. Она разрешила. Мягкая, пушистая веточка, чуть-чуть щекоча, коснулась моей щеки...

Более или менее по очереди мы прикладывались к висящему под потолком живому бурдюку. Доимая струйка, звеня и пенясь, вспять отражалась донышком. Преломляясь в стекле, вино окрашивало и ножку бокала. Наполнив его, я раз за разом неуверенней возвращался обратно. В один из этих рейдов, когда я на обратном пути решил прихватить ломоть хлеба, внезапно горстка гранатовых зерен взвилась вверх из-под моей руки из корзинки и, покружив, струйкой вылетела в оконное стекло...

Мне было светло и покойно. Я с удовольствием смотрел вокруг, у меня в ладони лежали нежные соцветья хмеля...

Я прислушался к беседе Стефанова и Дафны. Старик говорил ей о танце, о том, что поэзия – это танец пары – звука и смысла. Что тайна стиха кроется в танцевальных движениях губ, языка, в систолах гортани вселенной, в шифрованных ангелом гармониках свя-

зок; что смысл – это лишь дополнительная октава, сгущенная – иная, как лед – это иное состоянье воды – форма звука и ритма. Что стих порождает танец, а ритмический рисунок стиха – это готовая хореографическая партитура.

Дафна, соглашаясь, сказала, что в танце она особенно чувствует бессмысленность обыкновенных слов, одновременно ощущая, что тело ее в движении рождает и само становится им – неким таинственным словом, которое произносит и – произносится танцем...

Мне было хорошо. Хорошо так, что я стал плавно раскачиваться вслед за слоями воздуха, несомыми упругим звуком из раковины. Вскоре я обнаружил себя в другом конце комнаты, в компании Пана и Эрота. Эти двое совсем надоели друг другу и теперь развлекались тем, что, встряхивая тыкву, брошенную Карелиасом, пытались, изловчившись, попасть болтавшимся на шнурке початком в дырку. Чача бултыхалась и выплескивалась наружу. Я попросил их налить мне немного чачи. Выпив, я поинтересовался у них, знакомы ли они с горбуном.

– О, еще бы, – пробасила похожая на растрепанный кочан голова Пана и, опрокинувшись, приняла в себя коротким водопадом остатки зелья. – Так знакомы, что сил моих больше нет переносить это знакомство, – и напруженный складками подбородок утерся краем шкуры. – Если он еще раз будет баловать с моими козами, я спущу на него собак, и тогда пусть не обессудит, – подмигнул, качнувшись, сатир Эроту.

– А я, – поддакнул ему Эрот, – если он еще раз попытается строить козни Наташе, – мальчик дотронулся ладонью до своих рожек, – такое наважденье ему устрою, что пропадет он отсюда надолго: есть у меня на примете одна горбунья в соседней деревне, – подмигнул он в ответ лукаво Пану.

– А почему вы спрашиваете, он что, вам тоже чем-то не угодил? – крикнул мне, услыхав наш разговор, Карелиас.

Большая черная птица вдруг села мне на лицо и подержала в своих крыльях мой разум...

Едва ли что уяснив из диалога сатира и мальчика, кроме того, что горбун им известен отлично, я отшатнулся на середину комнаты и крикнул, обращаясь ко всем:

– Как, вы меня спрашиваете, досадило ли мне чем-то это существо?! О, я мог бы вам рассказать, чем оно мне досадило, о, я бы мог...

Карелиас отвернулся от камина. Дафна перестала болтать со Стефановым. Пан поднял брови – две мохнатые гусеницы выгнулись, чтобы ползти. Эрот хлопнул от удовольствия в ладоши и легонько подпрыгнул на матрасе, как мячик.

Стефанов тихо произнес: «Глеб, пожалуйста, не надо...»

Но было поздно. Плотина уже дала течь, и беспорядочный поток негодования обрушился на мои голосовые связки...

– О, если бы, если б только я мог отлить отчаянье в звук, оно бы разнесло в пух и прах этот дом, прогремев, как гремит округа при переходе истребителем звукового барьера, и эхо бы смело и развеяло прах... И тогда бы опушка, на которой он стоит, покачнулась блюдцем, и лес бы, как трава, пригнулся, и зверье бы в нем ужаснулось... Что еще мне нужно исполнить для произнесения моего отчаяния? Что нужно мне еще пережить и домыслить, какой сверхчувственный барьер мне следует пробить своим впечатлением, чтобы шар, огромный шар моего крика раздался, вспухнув, неся и снося – все натерпевшееся здесь, в этом месте? О, я догадываюсь теперь, почему он – г о р б у н, почему именно горбун о н, почему этот малахольный так невыносимо таинственен и ужасен! В самом деле, зачем ему горб?! Что ему проку в нем? Горб – это котомка, уродства ноша. Он противен и непристоен и, можно сказать, даже страшен. К тому же в обиходе он – бремя: с ним трудно спать или просто находиться в горизонтальном пространстве. Неужто не мог он себя покрасивей придумать? Да, теперь я знаю отчего – я знаю это с тех пор, как заметил, что горб его наливается, словно плод, зрея. Полость носимой им тайны растет вместе с моим отчаяньем. Я это заметил давно, еще в Москве, и теперь страшусь прироста с каждым его появленьем...

Тут я качнулся особенно сильно, но Эрот, подскочив, удержал мою милость, и потолок откуда-то из-под ног вновь качнулся на место – в темя.

– Так вот, горб его – это полость, вместилище моего несчастья. Полость, волновой фронт моего зреющего крика – крика, в который терпеливо воплощается мое отчаяние. Оно густеет, набирает инерцию, ход, оно зреет каждой душой, здесь заключенной. Оно трепещет в предвкушении полета, и стропы уже дрожат от взмывающей тяги. Гниющие тела – ветшающие, штопаные одежды этих душ, истончаясь, избавляют его от балласта. Но что же может быть там, внутри горба, что может явно обнаружить тайну? Впрочем, так ли это важно, что там – пустота или пара крыльев – перепончатых, или покрытых вороным пером; или же в нем помещается весь этот Дом, вся заданная вселенная вместе с солнцем, луной, горизонтом, лесом, опушкой, а небесный свод ее суть изнанка горба и клеточная сеть здешних созвездий – ее подсохший эпителий. Нет, твержу я себе, нет: тебе показалось, почудилось – свят, свят, Саваоф, пусть обойдет мя, – ты знаешь неточно. Что, может быть, нет ничего дурного в том, что есть смерть, что, возможно, это необходимое свой-

ство происходящего, что, отвергая и отмахиваясь от нее, мы обнуляем саму жизнь, и тогда, отделавшись, вступаем, как в болото, в смерть при жизни. Но для чего, для чего тогда нужно вскрывать эту тайну, разве есть какая-то необходимость, неужели нельзя смириться, отпустить от себя и самому из-под взгляда этой тайны исчезнуть? Откуда взялась такая ревность к тому, что именно у горбуна в горбу? Ведь нечестно так думать – я должен себе признаться: я в самом деле иногда думаю, что в горбу у него – парашют, символический, конечно, скорее всего – просто некое спасательное средство, которое бы позволило ему выжить – не так больно упасть и не расшибиться...

Я перевел дыханье. Публика смотрела на меня так, будто все еще чаяла от меня выходки поинтересней... Я насторожился: никто не смеялся. Только Эрот пощелкал пальцами. Стефанов, переживая за меня, пересел на стул рядом – чтоб быть на подхвате, ежели я грохнусь. Твердо стоять я уже не мог – меня потихоньку водило, мотало по неясной эклиптике вокруг центра комнаты.

Я смутно обернулся к окну.

Желток зрелой луны, взобравшись повыше деревьев, переливчато играя внутри жидкой средой, нежно смещал контуры своего зародыша. Скрючившийся слепой малыш шевелился и нюхал жабрами морозную полночь.

«Я из племени духов, но не житель эмпирея...» – пропел задиристо Эрот, отметив для всех стылый мой взгляд.

«Господи, – воззвал я в руинах сознанья, – неужели Ты позволил мне так надраться?»

Внезапно мне стало стыдно своих речений, и я умолк. Двинулся было к кровати, но покачнулся и был усажен Стефановым, уступившим мне место на стуле.

Дафна, сделав глоток, отвела на излете плавной руки бокал и, покачав его, как будто целясь, плеснула мне в лицо рубиновым зайчиком:

– Мы просим вас, продолжайте.

Оказавшись в более устойчивом – сидячем – положении, я ободрился.

Я поднял руку к свету и показал всем веточку хмеля:

– Вот, взгляните. Я еще раз изреку сентиментальную глупость, но мне уже один ответ, – как вы думаете, что чувствует растенье, умирая? Что ощущает оно осенью, или сорванное желающей рукой, оно, могущее пробить своим ростом камни? Что может быть мощнее его стремления к солнцу? Какой вид человеческой воли способен сравниться с его произрастающей сквозь ничто страстью? И все же, будучи сорвано слабой – в миллионы, в миллиарды раз

более слабой, чем этот росток, – рукой, оно смиренно умирает. Больше того, если б оно не могло погибнуть, это нарушило бы происхождение всей остальной жизни. Но в таком случае, скажите на милость – почему мне так тоскливо, почему, понимая разумом, что т а к н а д о, я никак не могу прийти в себя от одной только мысли? Это – давнее мое переживание, оно претерпеваемо мною давно, с тех самых пор, как однажды в детстве, засыпая, я переговаривался с сестрой – наши кровати были сдвинуты изголовьями, и мы часто, почти уже во сне, продолжали лепетать о разных детских вещах и штуках, – так вот, однажды ночью моя старшая сестренка ужасно быстрым шепотом сообщила мне, что если я не знал, то пусть сейчас узнаю, что среди нас, людей, живут какие-то ангелы и что они точь-в-точь такие же, как мы, но на самом деле совсем другие, что, сойдя на землю откуда-то сверху, по некой лестнице, вырубленной в небе, они имеют одну только цель – рано или поздно всех нас погубить. И вообще, заключила сестра, теперь вдруг зевая и засыпая окончательно: – Мы все равно когда-нибудь все умрем. – И я умру? – спросил я. – И ты. И я. Все. – Вы думаете, тогда я испугался этих ангелов? Ничуть. Ни тогда, ни сейчас я не питаю к ним ничего дурного. Какое отвращение можно питать к вирусу? Но тогда меня поразило другое, а именно – что мы умираем... Я лежал с открытыми глазами и почему-то видел серое зимнее море, которое впервые наяву увидел только лет десять спустя. Шел крупный мокрый снег, у самого берега зябли, тяжко качаясь на волнах, белые лебеди. Снег шел так густо, что птицы, иногда взлетая и вновь садясь на воду, мешались с ним, поднимая в воздух облака своих перьев, и я переставал видеть. Следующий за этой ночью день стал первым днем моего страха. Все последовавшее за этой ночью завтра я плакал и был безутешен. Я прибрел к отцу на работу и спросил, почему. Что он мог мне ответить? Но мой вопрос его задел, и, видя мое страданье, он стал оправдываться. Однако, вскоре поняв, что я не понимаю, и тем более не принимаю, принялся рассуждать о достижениях медицины. В результате у него получился занимательный научно-фантастический рассказ о чудесных докторах и реанимационных устройствах, которые всегда, как наручные часы, будут носимы людьми при себе и которыми при регулярной мгновенной диагностике в случае необходимости будут производиться живительные инъекции... Я замахал руками и убежал. Потом, вечером, я спросил сестру, наконец вернувшуюся из музыкальной школы, боится ли она сама умереть. Дело в том, что я, изнемогший от истерики, хотел узнать у нее, у той, которая несла ответственность за приобретенное мною смертельное знание, что она сама думает об этом. О, как я мучился ее поздним возвращением, как я метался от окна к окну, пытаясь предвосхитить ее появленье на улице...

Сначала был закат, и свет, исчезая, обливал пухлый наст на крыше дома напротив, но потом стемнело, и я, как ни старался, не мог ничего внизу разглядеть... Я не мог уже больше в одиночку переносить свое отчаяние. Я надеялся обрести в ответе сестры сочувствие, я думал, что ей тоже страшно и что тогда мы будем бояться вместе.

– Нет, – ответила она мне, – не боюсь, – и я тут же перестал быть предметом ее внимания...

Я схватил ее за руку и, чтоб не показаться трусом, выпалил:

– И я не боюсь, понимаешь?..

Ляпнув такое, я в самом деле избавился от страха.

Но с тех пор сестра перестала для меня существовать.

Это стало моей бедой.

О, вам пора уже засмеяться. Что же, смейтесь! Смейтесь над этим немужественным созданием, которое впервые вкусило несколько капель мысли и не знало, что в случае такого отравления делать... Ваше суровое мужество мне противно. Вы слышите, меня тошнит от него, мне мучительно видеть ваши окаменевшие пренебрежением лица! Вам наплевать на смерть. Вам наплевать на жизнь. Вы источаете прохладу вечности. Вы ею питаетесь, это ваша голодная диета. Вы – камни. Я же... Я хочу быть растением! Я готов умирать и рождаться хоть тысячу раз на дню, я готов покорно отдавать свои плоды смерти, но я не хочу испытывать при этом страха, вы слышите меня, камни! Я н е х о ч у...

Тут Карелиас действительно поморщился.

Я понял, что это уже перебор, и стушевался. Но явные, пусть и пьяные, слезы текли у меня из глаз, и я подумал, что наплевать, я был искренен...

Как я и опасался, гости восприняли мой бред как вызов.

– А что, – спросил, хмурясь, Карелиас, – «медсестра» это тоже с е с т р а, так ведь?

Я мгновенно протрезвел. Ведро жидкого воздуха вылили мне на голову, и она тут же затвердела, опрозрачнев. Я поперхнулся догадкой, но все же попробовал не подать им вида...

Сглатывая рвущееся дыхание, я ждал, что же будет здесь дальше. Покуда я взмывал, все чаще зависая, в ожидание, мысли рассеялись, и стало ясно, что догадка пуста и не стоит никакого беспокойства.

Но было уже поздно.

– Вот что, дорогой мой, давайте начистоту, – смягчаясь, сказал Карелиас.

Я развел руками, и тут...

В общем, начистоту у нас с ним так и не получилось. Ему и прочим гостям так и не привелось узнать, что ничего с моей стороны

начистоту не имеется, – а если бы имелось, то я, владея этим знанием, был бы от счастья другим человеком...

Потому им ничего так и не удалось от меня услышать, что нас прервали. И даже не прервали, а, так сказать, прикончили. Потому что, когда прерывают, то всегда оставляют шанс возобновить прерванное.

Но тогда никто не оставил нам никаких шансов.

Сестра-хозяйка чуть не на метле вломилась в дверь и стала на пороге. Сияние справедливого возмездия озаряло ее лицо. От удовольствия она потерла кривой глаз пальцем – как монокль.

Она не спешила. Ее неторопливость была столь же оправдана, как и оправдана медлительность прелюдии, с угрожающей неспешностью приближающейся к оперной битве первого действия.

Могучая горстка санитаров, как целое войско, взбухала за ее спиной. Азарт, с которым они предвкушали расправу, вызывал раскачивающиеся, как у музыкантов, движения их членов.

Мне показалось, что они также похожи на глухонемых футбольных болельщиков, в замедленной съемке бурлящих трибун приветствующих гол своей команды.

Но мы не были проигрывающей командой, скорее, мы были отрядом партизан, чье укрытие стало известно захватчикам. Нужно было защищаться.

Сатир выступил вперед и заслонил нас своим колоссальным корпусом. Набычившись, он подтянул пояс.

Я почувствовал облегчение.

Но оно тут же исчезло, сметенное происшедшим.

Из-за спины сатира мне не удалось увидеть начала катастрофы.

Вдруг я услышал заполошный клич сестры-хозяйки. Вскинув голову, она повелительно заклинала на неизвестном языке. Белесое жало трепетало в ее зубах, как боек пулемета «максим». Череда гортанных, похожих на клекот слов пружинистой очередью поразила слух и, порикошетив, рассыпалась, словно горсть гороха по полу.

Покатившись, слова оказались гномиками, в которых я узнал наших пропавших гостей. Они исчезли во мгновение ока, будто их кто-то сморгнул с ретины и бросил россыпью в невидимость.

Гномики, как крупные ртутные шарики, беспорядочно суетясь по полу, пытались собраться в кучку.

Предназначенное мне слово, не причинив мне вреда, от удара превратилось в миниатюрный мой слепок и, шлепнувшись под ноги, юля и догоняя, наконец настигло Дафну – и слилось с ней, ничуть не изменив ее облика и размера.

Из числа санитаров выступил вперед волосатый водила и, дико ржа, стал заметать в совок живой мусор.

Рванувшись, гномики оказались проворней: они метнулись скопом туда-сюда, и покуда водила неуклюже пытался настичь, рой прозрачно-розовых пчел влетел в окно, неся в упряжке небольшую соломенную корзинку, вроде гондолы.

В нее беглецы, суетясь по веревочной лестничке, и погрузились.

Эвакуация произошла успешно, стекло даже не звякнуло, лишь тихо колыхнувшись.

Ополоумевший водила еще какое-то время размахивал веником, как сачком, пытаясь вымести или словить что-то в воздухе...

В этот раз нам со Стефановым досталось не слишком. Я даже умудрился извлечь некоторую пользу из наказания: отправившись в одиночку, я получил возможность основательно подумать о многом.

В частности, о том, почему Стефанов будит меня по ночам.

Обдумав, решил проверить. К тому же очень удачно случилось так, что нас разлучили на время. Как раз то обстоятельство, что мы со стариком эти дни провели порознь, и позволило проверить мою гипотезу сразу же по возвращении.

Вышло так, что в палату я вернулся первым. Стефанов появился только к вечеру. Его осторожно привезли на каталке после химиотерапии.

Он едва был жив. Хотя для боли не было уже сил, приступы вскоре возобновились с прежней силой.

Всю ночь я просидел у постели Стефанова. Мучился, силясь не задрыхнуть, но, как назло, меня валило в сон еще с обеда. Ну, хоть спички в глаза вставляй. Будто кто-то шаркал мелкими шажками по глазам. Чтобы смягчить ощущенье ожога, веки слипались сами собой.

Старику трудно было отвлекать меня разговором, постепенно он совсем замолчал. Чтоб не отключиться, я решил надеть линзы. Возясь с ними сквозь сон перед зеркалом в ванной, упустил в сливное отверстие левую линзу. Выяснилось, что осталось еще только три пары запасных.

Вернувшись к Стефанову, обнаружил, что линзы бесполезны – только усиливают резь. Я содрал их, сбросил на пол, оттянул веки кверху пальцами, локти положил на колени.

Дело близилось к новолунию, я пялился временами на тонкий серебряный серп, и он, двоясь, троясь, плыл по слезе нарядной гирляндой.

Как смог я высидеть ту ночь – просто непостижимо. Зато утром Стефанов чувствовал себя лучше. Это не было чудом, хотя, прежде чем пришла анестезия, в палату заглянули санитары и поинтересовались, не созрел ли старик на вынос.

Хорошенько прикорнув днем, следующую ночь я провел со Сте-

фановым в разговорах. Он изложил мне все, что успел вычитать интересного в одиночке, а под утро, уже совсем оживившись, вдруг решил рассказать о своей первой любви.

История мне показалась удивительной, и, когда я сладостно завалился под утро, мне приснилось ее продолженье.

Глава 16

ЧИСЛА

Здравствуй. Сегодня я думал о числах. Точнее, о сущностях, которые в них скрываются. Ты спросишь, для чего они мне нужны, эти числа, вместе с их сущностями. Действительно, в общем-то, ни для чего. Но я все же думал о них. Ты скажешь, думать можно о чем угодно, ты только этим и занимаешься. Согласен. Но все-таки думать о числах – это вовсе не то же самое, что думать о собаке или еже, или просто о вещи. Думать вообще можно по-разному. Например, размышления о тебе не имеют ничего общего с моим думаньем об опушке за окном и деревьях вокруг.

Как можно это различить?

Если попробовать объяснить, то получится сложно, в то время как на первый взгляд вполне очевидно. Утром я решил с этим разобраться и в результате добрался до чисел. Если уже скучно, то можешь дальше не читать. А мне все равно нечего делать, поэтому я продолжу. Так вот, я проснулся и стал думать о тебе.

Надо сказать, это обычное мое занятие, я всегда почти неотрывно думаю о тебе. К тому же ты снилась мне сегодня, и я ужасно разволновался, проснувшись, так как ты снилась мне за окном поезда, вагон уже тронулся, а я все пытался читать по твоим губам, – был конец ноября, и окна проводник уже запер. Поезд, понятно, тронулся, а ноги не слушались, – в общем-то, обычное для сна дело...

Лишившись же сна, я все еще отчаянно пытался удержать твое лицо, понять твои губы, но не смог и просто стал думать о тебе.

Думать о тебе бывает иногда очень сложно, а бывает – не очень. Но всегда – неизбежно. Мне кажется, что даже когда я ни о чем не думаю, то я не думаю именно о тебе, и что это есть только некий другой способ мысли о тебе же.

Но только в этот раз я почему-то разозлился. Не знаю, что на меня нашло. Возможно, дело все во сне, который вертелся вокруг меня ночью. Мне было досадно, что поезд уже уходит, а ты так и не соизволила выйти в тамбур. Может быть, в проходе было слишком

много пассажиров и ты решила, что не успеешь?.. Но тогда я разозлился и подумал: ну какого черта, неужели я не могу думать о чем-нибудь другом. За что мне такое наказание, спрашивается?

И тут же следом поинтересовался у себя, а почему бы мне действительно не подумать, например, об окне. Тем более, это совсем просто, взять вот так и подумать: а что такое окно?

Чем оно хорошо и чем дурно. Что в нем такого особенного, что отличает его от остальных вещей, например, от солнца, которое в нем в то время уже поднялось выше деревьев.

И я начал с рассуждения о том, что окно похоже на полынью.

Я задумался и никак не мог понять, с какой стороны нахожусь – в воде или снаружи...

Тут проснулся Стефанов, спросил, потягиваясь и зевая, который час, и снова ужасной соней повернулся на бок.

Я снова стал думать.

Но ничего ясного у меня уже не выходило. Не получалось именно потому, что в окне мне все время прозрачно чудилось твое лицо. Оно меня отвлекало, хотя и было почти невидимо и только иногда проступало в зрении яви благодаря медленным очертаниям перистых облаков.

Трудная оказалась вещь – окно. И я бросил вскоре это занятье – размышление об окне. И ничуть не жалею, что бросил, так как это заставило – случайно – меня подумать более интересную мысль.

Я подумал о различии рассуждений о тех или иных предметах. Так это случилось потому, что я разозлился на себя и попытался понять, в чем причина того, что я не могу ни о чем другом, кроме тебя, думать.

Если ты все же добралась до этого места, то мне тебя жаль, так как дальше будет еще скучнее. Можно даже сказать, что дальше будет еще невозможней, потому что я уже сам испытываю трудность понимания. Так что смело бросай и обещай мне больше не читать. Согласна? Так бросай же. Ну вот и славно.

В принципе, думал я, мысль о любом предмете суть одно – независимо от самого предмета. Выражаясь наглядно, и значит, приблизительно, и значит, бесполезно, – вода, обтекая разные предметы, всегда остается водой. Следовательно, дело все в тех невидимых глазу завихрениях в потоке, которые вызывает суть и форма (в случае воды – только форма) предмета, подвергшегося течению мысли.

Так я пришел к простейшему выводу, что дело все в различии предметов. И чуть было не поздравил себя с очевидной глупостью, пустышкой – доказал исходное. Но к счастью, этот простейший вывод навел меня на начало следующей цепочки рассуждения.

Хорошо, подумал я, что же тогда различает предметы друг от друга?

В самом деле, нет двух одинаковых предметов на свете, которые были бы доступны мысли. Это – верно потому, что даже об одной и той же вещи мысль проистекает различно. Если бы это было не так, то мне вскоре наскучило бы думать о тебе. (И в этом месте я особенно тебе благодарен.)

Мысль о тебе неизбежна и движется только потому, что ты неуловима, твой образ всегда мерцает, он изменчив, и уже не понять, благодаря чему это происходит.

Но оставим пока на время изменчивость. Мы доберемся до нее позже, и я скажу о ней отдельно, так как это ужасно таинственно и потому того стоит.

Так вот, думал я, значит, все дело в различии. Что же может воплощать идею различия как таковую? Конечно же, ч и с л а, что еще! – закричал я про себя и испугал своим криком Стефанова, потому что мне только показалось, что я кричу про себя, мысленно, а на самом деле я заорал во весь голос и даже чуть было не сверзился, подскочив, на пол.

Старик поинтересовался, не случилось ли чего, и я вместо того, чтобы сказать: нет-нет, ничего не случилось, Алексей Васильевич, спите спокойно и дальше, дальше я не буду кричать, просто я подумал тут кое-что, и меня это привело в восторг, но я обещаю вам, что это больше не повторится, я буду вести себя тихо и смирно, тишиной оберегая ваш сон, – вместо этого я стал рассуждать во всеуслышанье, чем вынудил Стефанова проснуться окончательно.

Так вот, кричал я шепотом, ничего не может быть ближе к идее различия, чем числа! Хотя бы потому это так, что все числа разные! Если разжевать эту тривиальность – нет ни одной внутренне неразличимой пары двух нетождественных чисел. Следовательно, всего естественней было бы двум различающимся предметам, или мыслям об этих предметах, поставить в соответствие два разных, определяющих их числа. А это значит, по крайней мере, что весь мир, все события действительного и нереального представляют – и составляют – собою числа!

Стефанов поправил себе подушку повыше.

Я почувствовал, что что-то здесь все-таки не так, и сбавил обороты.

Но это только на первый взгляд может показаться поверхностным выводом, – поспешил я оправдаться. Вы скажете (и ты, вероятно, скажешь): подумаешь, какая простецкая мыслишка – перечисление всего сущего. Что тут особенного, что все, абсолютно все события и вещи можно пронумеровать, а что с ними после делать-то? И по какому признаку их нумеровать? Как определяется их упорядоченность?

Тут я снова задумался. Твое лицо, развлекая во все стороны мысли, жило у меня перед глазами, оно составлялось из чисел в виде

разных звезд, которые, едва застыв, тут же рассыпались и с медленным упорством начинали собираться в облик снова. Еще чуть-чуть, и я бы завис совсем, будучи туго нанизан на непроизносимый ступор рассуждения.

Стефанов с интересом взглянул на меня и спросил:

– Ну что, стоп машина?

– Хорошо, – теперь спокойно вполголоса продолжил я думать, начиная, как тигр в клетке, накручивать «восьмерки» перед камином, – ч е м же прежде всего отличаются предметы друг от друга? Что сразу можно сказать о предмете на подступе к мысли о нем? Только то, что он с л о ж е н или нет, так ведь?

Действительно, сложность – это первое и зачастую последнее качество предмета, которое выуживается при попытке его распознания. Любое нечто имеет свою конкретную сложность. Например, можно сразу сказать, что окно с л о ж н е е, чем чайник. Или подушка. Или то, что в нем – в окне – наблюдается.

Но в то же время ужасно сложно сразу сказать, что сложнее – окно или ты, Катя.

(Думаю все же, что ты. Иначе я бы чаще думал об окне.)

Но именно в этом трудном сравнении сложности предметов и выявляется числовая природа сложности как таковой. Самый естественный способ представления сложности – это представить его числом; за каждой сущностью стоит число, определяющее его сложность.

Теперь вопрос. Существуют ли одинаково сложные сущности? Ответ – нет, не существуют, так как все сущности различны. Отсюда следует, что отождествление сущностей по числам их сложности невозможно. Все кругом различно. Даже один и тот же предмет отличается от самого себя, стоит его только заново помыслить.

Это я так думаю. Возможно, другой думает иначе и вполне допускает существование тождественного отношения в его мире. Я не настаиваю.

Если б я настаивал, я бы противоречил самому себе, так как, настаивая на общезначимости своего суждения, я впустил бы в свой мир тождественность.

Стефанову все это наскучило, он потянулся за книгой и проворчал:

– Глеб, может, хватит, а?

Я набрал воды и врубил чайник. Но решил не сдаваться и сел писать это письмо.

Сейчас уже четверть девятого, и скоро придет анестезия, – надо закругляться. Так вот, вкратце.

Числа, которые стоят за каждой единицей существования, могут быть страшно велики. Потому что все существования разные, и чи-

сел требуется ужасно много. Обыкновенный чайный стакан может представлять собою число большее, чем расстояние в миллиметрах до созвездия Девы. А что уж там говорить о самом созвездии... Выходит, что качества – варианты наших представлений – всего-навсего «дело десятое», если не «двадцать пятое», по сравнению с числами сложностей.

Теперь очень кратко об изменчивости. О том, почему мне не удается не думать о тебе.

Я не в силах не думать о тебе, потому что мне это интересно. Интерес заключается в неисчерпаемости мысли о тебе. В твоей особенной изменчивости, которая не дает мне скучать, о тебе рассуждая. Это значит, что ты обладаешь ужасной сложностью.

Число твоей сложности огромно. Огромно настолько, что вряд ли представимо какими бы то ни было мысленными механизмами. Представить его тобою самой – тоже затруднительно, но это представление уже ближе к правде, чем какое бы то ни было другое.

Даже гадать всего только о разряде твоего числа бесполезно.

Число его порядка, возможно, превышает число звезд в нашей Вселенной.

Конечно, самой большой сложностью обладает Бог. Тут о представимости числа Его сложности вообще не может быть никакой речи. Единственное, чем можно обмолвиться на этот счет, это то, что Его число, вероятно, сопоставимо с числом сложности «нуля». (Нуль, между прочим, очень сложная штука.)

Теперь мы приступаем к приоткрытию тайны изменчивости.

Внимание.

В тьме вышеизложенных соображений естественно было бы задать вопрос: а при чем тут изменчивость, позвольте вас (меня) спросить? А вот при чем. В детстве я читал одну очень занимательную книжку о разных физических явлениях. Как сейчас помню, написал ее человек с коротким французским именем и чуть более длинной, вроде бы английской, фамилией.

Так вот, в частности, среди прочего ужасно интересного повествования там была глава об очень больших числах. Естественно, речь там шла не просто о числах, а о б о л ь ш и х числах, играющих главную роль в некоторых физических законах. То есть, попросту, там шла речь о физических константах, величина которых количественно является ужасно выдающейся штукой среди прочих констант. В качестве одного из примеров, на которых строилась эта удивительная гипотеза, был взят пример обратной величины гравитационной постоянной, той, что торчит множителем в законе тяготения. В ней, насколько я помню, было аж 26 порядков величины! В том, что рассматривалась обратная величина очень маленькой

постоянной, нет ничего удивительного, так как нет никакого существенного различия между очень малым и очень большим, главное в «очень» (см. выше – о Божественной сложности нуля).

Суть гипотезы была в том, что если постоянная очень велика, то она вовсе не постоянная, и следовательно, закон тяготения не есть закон, который неизменен. И выходило так, что там, в этой книжке, утверждалась одна убийственная вещь, которая поразила меня навылет.

А именно, что: все очень большие числа есть числа изменчивые.

Другими словами, чем больше число, тем меньше у него шансов оставаться равным самому себе. Отсюда следует, ни больше ни меньше, что закон притяжения тел изменяется во времени (ну, не во времени, а в чем-то еще, что очень похоже на время), и значит, сила притяжения тел, она – пульсирует!

Вот почему мне никогда не скучно думать о тебе.

Ты – как очень большое число – изменяешься, и закон твоего изменения непостижим.

Я бы еще добавил сюда что-нибудь о силе притяжения друг к другу очень больших чисел, то есть о том, что вот эта неотвязная моя мысль о тебе и есть следствие непрерывного дребезга чувств нашего влечения друг к другу, который вызывается этим изменением, но уже не могу.

Не могу потому, что только сейчас заметил: катая этот абзац, я уже давно, сколько – не знаю, ору во все горло, а Стефанов мечется вокруг, сжимая двумя подушками голову и уши, и причитает насчет того, когда это все наконец, елки-палки, кончится.

Я окликнул его и извинился. Простите меня, говорю, Алексей Васильевич, в самом деле, я впредь – ни гу-гу.

Старик кивнул и скрылся в ванной, не веря мне, что больше не буду.

Продолжаю. (О, как хорошо, что ты этого уже не читаешь, как, должно быть, тебе было бы досадно со скуки принимать весь этот кошмар на свой счет.) Итак, чем большим числом сложности обладает сущность, тем ближе она к качеству божества и тем вероятней, что она непостоянна. Не знаю наверняка, как у тебя обстоит с этим дело, но знаю точно, что сложность твоя невыносима. Впрочем, вряд ли это столь удивительно.

Вообще, что может быть сложнее, чем человек. Но вот я думаю, что, с другой стороны, в то же время ничего не может быть проще человека.

Стоит только пойти и взглянуть на наш колумбарий, и сразу станет ясно. Я там не люблю бывать – идешь мимо стены, как дурак, – ни окна, ни просвета, – но, идя в лес, на прогулку, ее никак не миновать: кажется, ее там назло установили, на вид, так сказать, поставили.

Ну, идешь мимо нее и так про себя несложное думаешь: что есть след человека, не только во времени, но вообще? (Очевидно, след человека больше его самого, так что достаточно думать о следе.) Ответ тоже сам собой, как эхо, от этой стены доносится: мраморная дощечка, размером не больше, чем для разделки мяса, да набор чисел на ней.

Так вот, стоит только посмотреть на наш колумбарий, как сразу станет ясно, что у человека, как ни у одной другой вещи, всего проще обстоят дела с сопоставлением его с числами. Действительно, проще пареной репы состряпать правило счисления всех людей, руководствуясь порядковыми номерами их появления и исчезновения. Хорошо еще то, что людей – в отличие от некоторых других вещей – конечное множество, и рождаются они по порядку.

И умирают они тоже строго один за другим – если взять, конечно, часы поточнее. То есть человек обладает одной уникальной координатой, которая его однозначно определяет. Координатой точки в двумерном пространстве, в плоскости, где одна ось – рождение, другая – смерть. Но тут могут возникнуть сложности с календарем и звездами. Звезды могут заплутать (вселенная ведь расширяется, как было написано в той же книжке про изменчивость гравитационной постоянной), а календарь внезапно смениться, – и вот тогда и возникнет казус неоднозначности в определении. Поэтому разумней было бы соотносить человека не с парой датировок, а просто брать его координаты по номерам в череде событий рождений и смерти (благо ни одно событие не может совпасть в точности с другим, если следовать нашему допущению о повсеместном различии в мире).

Этот принцип работает, даже если предположить, что душ на белом свете, несмотря на демографические проблемы, конечное множество. Просто следует допустить, что где-то есть резервуар еще не поспевших к рождению человеческих сущностей, где они томятся до поры до времени, как резервисты в запасе. Тогда вместо пары порядковых номеров у человека (души) будет целый набор этих пар.

Впрочем, и здесь не обойтись без конфуза. Например: родился, умер – родился, умер – родился, – родился, – родился, умер – , умер – , умер, – и т.д. Кстати, этот принцип перевода человеческой природы в числовую отлично прочувствовал товарищ Эйхман (да сотрется имя его!), когда обдумывал устройство заведений вроде Треблинки.

Между прочим, в последнее время я все чаще (когда не думаю о тебе, то есть думаю, но несколько другим, непрямым способом) задумываюсь, а не сумасшедший ли наш директор – Кортез Леонард? Может, он родственник или последователь этого Эйхмана? Надо бы выяснить. Через Наташу? Через Наташу.

Все, закругляюсь. Хоть и строчу как угорелый, но все равно время идет и уже подпирает. Стефанов сейчас в третий раз выглянул из ванной, не решаясь все еще выйти, – прислушивается, не завел ли я свои вопли по новой. К тому же вот-вот придет анестезия.

Хочется есть, сейчас взгрею повторно чайник, заварю кофе. Вспомнив о завтраке, сильнее захотелось есть. Письмо передаст тебе няня, Алевтина Георгиевна. А может, и не она, посмотрим, кто там у них сегодня дежурит. Если передаст новенькая, то ты дай ей чего-нибудь, чтобы привадить. Я тоже дам, дубль надежней.

И последнее. Сегодня все отменяется – Стефанов не смог вчера добыть ключи, так как Владимиров (из 17-й) еще днем исчез. Старик об этом узнал слишком поздно, уже нельзя было поправить. Кому сейчас передадут вахту по кастелянной – неизвестно. Будем надеяться, что преемник окажется сговорчив и скрипеть после первой же смазки не станет.

Глеб.

P.S. Если поедешь на этой неделе в Москву, дай знать – сообщу, какие привезти мне вещи. Сейчас знаю точно – нужны новые лезвия для бритья, две-три кассеты. Заодно успокоишь моего подводника, а то, гляди, в розыск меня подаст, если уже не подал.

Глава 17

КУПАТЬСЯ

Но потом подумал: а какого, собственно, черта.

Тогда залез в ванную и долго не вылезал.

Стефанов трижды через дверь спрашивал, скоро ли, и вообще, не случилось ли чего?

Я не отвечал. Я сидел в ванной и рыдал. Беззвучно плакать не получалось – рыдания содрогали, взбалтывали и мутили меня. Тем более, время от времени меня кидало на стены, и с них падали разные предметы: пластмассовые крючки, полотенца, зубные щетки, два обмылка, тюбики с пастой, шампунь, новенький станок для бритья... Наконец, сорвалась сама полка, и вслед за ней разбилось зеркало.

Стефанов застучал кулаком по двери, но я, собравшись, тихо ответил, что все в порядке. Старик не поверил и стучал еще, прося выйти, но я во весь напор врубил воду и заткнул уши.

Скоро вода выбралась прозрачным холмиком через край. Пришлось встать и раздеться. Мокрую одежду я бросил на пол, не выжимая, потому что уже все равно. Плач кое-как истощился, и я теперь временами только взревывал, будто икая. Очень странные ощущения, которые никак невозможно было унять.

О чем я думал тогда? Не важно. Наверное, ни о чем не думал. Хотелось только остаться в ванной навсегда, чтобы уж наверняка не пришлось думать. Спазмы всхлипов не унимались, и я решил, что надо что-то сделать, чтобы их прекратить.

Я вспомнил, что икота проходит от воды, и стал пить прямо из ванны. Пил сначала пригоршнями, а потом без обиняков припал к поверхности, протяжным глотком оттягивая приближение нового всхлипа. Вода мне показалась очень вкусной, я пил и никак не мог напиться, но, все-таки всхлипнув, поперхнулся и закашлял.

Спазмы так и не унялись, и я стал просто лежать в ванной. Тело мое вздрагивало, как крепкое судно от очередного, но все еще не смертельного попадания.

Видимо, вода уже пробралась, просочившись, в комнату, так как послышался плеск снаружи и какая-то возня вокруг и поверх этого плеска.

Я прислушался. Стефанов, то причитая, то возмущаясь, толкал по полу и громоздил на обе кровати мебель, спасая ее от наводнения.

Я проверил, на полный ли оборот открыты оба крана. Убедившись, попробовал их сорвать напрочь. Медные вентили никак не сворачивались, я стал бить по ним ногой. Только погнул.

Всхлипы регулярно выворачивали меня наружу. Должно быть, лицо мое при этом страшно изменялось, и я зачем-то подумал: как хорошо, что разбилось зеркало. Не думал, что окажусь такой плаксой.

Тем временем вода снаружи ванны добралась до половины ее верха. На дне этой подводной мелкоты красиво лежали упавшие со стен предметы. Бритвенный станок находился на дне дважды, помещаясь на зеркальном осколке.

Глядя на эти остатки крушения, я вообразил себя подводным археологом, и такое забеганье вперед – прочь от себя – мне пришлось по душе: призраком облегчения...

И еще я бесполезно подумал: все-таки это замечательно, что пол здесь мраморный – вода на нижний этаж протечет не скоро.

Стефанов затих, под конец прогрохотав в три приема дровами для камина.

Не прекращаясь, меня донимали всхлипы. Я попробовал расслабить мышцы и для этого, вдохнув и всплывая, расправил вдоль рос-

та тело – так, как если бы я сплавлялся по течению реки, повернувшись на спину. На какое-то время это помогло. Стараясь продлить облегченье, я закрыл глаза и стал представлять над собою небо, высокий берег, деревья, тихо смещающиеся в вышине их макушек, – и постепенно добрался до того места, где меня вдруг настигла и стала медлить в обгоне баржа, появившись насыпью белого, как соль, щебня – из затылочной области моего стороннего зрения. Наконец показался куцый буксир. На его палубе, колышась, надувалось сохнущее белье; стоял стол с самоваром, за ним мужчина пил чай из мятой алюминиевой миски, держа ее, как пиалу, в раскрытых пальцах; подле стола были приделаны к трубе качели – на них, смеясь, раскачивалась девочка. Из приемника, временами то исчезая в эфире, то относясь по ветру в сторону, доносилась задорная французская песенка. Лицо девочки мне показалось знакомым; я подумал, что ей, должно быть, ужасно интересно вот так, на буксире, путешествовать вместе с отцом по реке. Когда они приплывут в Астрахань, продолжал выдумывать я, отец непременно отвезет ее на моторке на Дамчик и дальше, на взморье, – он обещал ей, она никогда не была у моря, они будут купаться и загорать, станут все время напролет проводить на песках – в течение дней, покуда в порту разгружается щебнем и загружается чем-то еще баржа, и девочке солоноватое, лишь с привкусом моря, взморье будет казаться живым огромным серым зверем, поросшим зелеными лишаями – камышовыми плавучими островами, – а «барашки» на отмели – похожими на стремительно тающие льдины, и вокруг будет хорошо, очень хорошо – из-за воздуха, солнца, икры и арбузов; и только иногда девочке будет печально вспоминаться, что скоро лето кончится, и они с отцом больше не будут путешествовать на буксире по рекам, несущим себя к Волге, и наступит лиловая грустная осень, и в ней восстанет, как наказанье, пятиэтажное, скучное школьное время, где химия, отвратительный, непонятный предмет, по которому должно морочиться весь учебный год, так как теперь мы вступаем в выпускной класс, а чтобы поступить в техникум, экзамена по химии, к несчастью, не избежать: «О, химия – ты не наука!..»

Все это время, пока я, пытаясь утихомирить воображением спазмы плача, представлял себе реку, баржу, девочку, море, напор воды грохотал и фыркал вовсю, но стоило мне добраться до осени, школы, билета по редкоземельным на вступительном, как он внезапно стих, стал глуше, тоньше, и скоро только капли падали из лейки душа, капая, капая, капая, пока не перестали булькать совсем.

Я очнулся, поднял голову, огляделся. Вода давно поднялась выше края и уже прозрачно покрыла умывальник. Выяснилось, что я выплыл наружу и лежу теперь наискосок, головою к ручке двери.

Потолок, заметил, стал намного ближе. Ванная комната наполнилась наполовину, и если бы я встал на ноги, то пришлось бы по горло. Это показалось забавным, и в промежутках между спазмами я стал плавать, отталкиваясь от стен, и даже попробовал нырять: перемещаясь по самому дну, подобрал две-три вещи, но, всплыв, не знал, что делать с ними, и бросил обратно.

Снаружи снова послышался шум – кто-то, хлюпая, шел по воде; постоял, видимо, оглядевшись, и вновь двинулся к самой двери. Встал. Хлопнула входная дверь, и еще кто-то прошлепал, цокая языком и – «Что же делать?» – вздыхая.

Ага, понял я, Стефанов все-таки доложил. Сдрейфил во благо. Сестра-хозяйка страшно потребовала открыть. Я грубо ответил и хотел еще – просто так – проорать что-нибудь оскорбительное, но вновь разрыдался.

Теперь я ревел белугой, во все дыханье. Мне даже почудилось, что плачу не я, а кто-то другой, и что я запросто могу оглохнуть от такого громкого звука. Я зажал уши, но стал тонуть, и чтобы не захлебнуться, оперся коленом о край ванны.

Стали ломать дверь. Удары были неритмичными: выламывающие то и дело оскальзывались и никак не могли совместить усилия.

Я заревел еще громче, чтобы не слышать их дело, и отчаянно забил по воде руками. Ор мой полностью вместил меня самого. Все свое существо я вложил в этот сгущенный вопль, и он, казалось, став моим двойником, принялся жить от меня отдельно.

Его пульс определялся перебоем моего дыхания. Он бился о стены, бил меня самого – сгусток звука тяжелым шаром метался в воздухе, грозя разнести в ничто любое препятствие. Я обхватил голову руками, чтобы укрыться от его ударов.

Но тогда я начал тонуть, и крик мой, захлебнувшись, вдруг стал на излете внятным. Внезапно сделалось ясным, что именно я кричу: «Катя».

От неожиданности я примолк. Снаружи притаились.

– Позовите Катю, – всхлипнув, сказал я им.

Молчок. Сестра-хозяйка что-то негромко приказала санитарам, и удары в дверь возобновились.

– Уйдите все и позовите Катю, – снова стал я терять терпение.

Они не реагировали. Тогда я нырнул и достал со дна бритвенный станок. Резать вены им оказалось неудобно – я наполосовал много царапин, но до тока крови так и не добрался. Наконец, сообразив выломать пластмассовую планочку, я тем самым освободил всю ширину лезвия.

Теперь дело заспорилось. Тугие маки, клубясь, распустились из моего плеча. Мне стало покойно, я лежал с закрытыми глазами и

снова видел, как фигура девочки входит в ясную лунную ночь, опрокинувшуюся в штилевое зеркало моря, и осторожно плывет в прозрачной высокой темноте где-то рядом со мною, в страшно волнующей своим прикосновением близи, которая становится тем тоньше, чем далее я, освобождаясь от себя, растворяюсь в водном покое.

Удары внезапно стихли. Я едва это заметил, так как, постепенно превращаясь в облако цвета, окутывался нежной глухотой, тишиной, которая понемногу стала убаюкивать меня, плавно качая и унося прочь от посторонних покою болезненных ощущений.

– Глеб, это я, – позвала Катя.

Я, с трудом ощущая себя, повернулся на живот и стал в бурых сумерках искать дверную ручку. Уже утратив ориентацию, едва обнаружил ее, пядь за пядью ощупав все стены. Замок наконец поддался вращению. Я повис на ручке...

Высокий столб теплой воды ринулся в комнату. Он выплеснул меня без остатка, протянул исходящей силой напора по полу и ударил с размаху в окно.

Видимо, от удара я потерял остатки сознания, потому что, когда очнулся, никого в комнате, кроме меня и Кати, не было. Мы лежали, обнявшись, в мелкой воде, будто на отмели, до которой долго добирались вплавь. Вода была розовой от заката. От его цвета немело все тело, особенно левая рука. Катя беззвучно плакала. Ее веки немного припухли, а глаза от слез, казалось, увеличились и влажно блестели спокойным синим светом.

– Ты чего плачешь?

Она отстранилась, взяла мою руку и, осторожно вынув из воды, припала к ней, целуя порезы. Мое исчезновение остановилось. Я стал снова способен удерживать себя во внешнем, и вид комнаты, полоненной наводнением и скопищем дикого беспорядка, постепенно прояснился в моем набирающем силу резкости зренье.

В нем мы – сначала беспомощно и ожесточенно, как брошенные штормом на мелководье большие рыбы, барахтаясь и извиваясь, вместе пытались освободить от одежды Катино тело – пояс халатика, бретельки, подвязки: все это еще больше запутала спешка – и далее, успокоившись, вытянувшись вдоль друг друга, стали медленно выплывать на глубину, уносимые лаской вслед за протяжными, стирающими различие прикосновениями.

Как ни удивительно, история эта, с наводнением и суицидальной истерикой, сошла с меня как вода с гуся: пару недель я проторчал в изоляторе под капельницей с глюкозой – и только.

Меня навещал Стефанов, заходила Катя, и даже однажды заявился Кортез со всем своим кодлом. Интересовался самочувствием

и корыстно желал скорейшего восстановления. Последнее, оказалось, его особенно беспокоит потому, что у Наташи в бюро как назло именно сейчас полный обвал с переводами: «бумажный рашн драбадан», как неловко выразился Кортез (где он только этих выражений поднабрался?). В ответ я обещал ему сосредоточиться на выздоровлении и поблагодарил за «участие в моей столь благополучной участи»...

Кортез, конечно, не мог лично оценить моего подтрунивания, но находившийся тут же, как на подхвате, горбун мне этого не спустил. Ухмыльнулся странной смесью злорадства и улыбки (все-таки вызванной шуткой) и, подскочив ко мне, то ли мстительно ущипнул, то ли поощрительно потрепал за щеку. Я не сдержался и двинул его так, что, отлетая, он опрокинул капельницу. Игла, увлекаемая трубкой, повернулась под кожей, и я, озверев от боли, рванулся его добивать. Меня словили, и Кортез сам пожурил урода – погрозил пальцем и даже сказал, что велит его отшлепать, если он не прекратит своих ко мне безобразий. Горбун, поднимаясь с пола, раза два ожесточенно зыркнул на меня исподлобья, но, дослушав Кортеза, выбросил вверх руку, щелкнул каблуками и что-то зычно прохаркал в согласие.

Когда же все кодло, замыкаемое сестрой-хозяйкой, потянулось к выходу, я заметил, что Катя, обернувшись, взглянула на меня с удовольствием.

Глава 18

АРХИТЕКТУРА

Каким, однако, тяжким бывает полдневный сон!

Похожий на обморок легкий действительности, напрочь неспособный к воздействиям воли, он мучительно длит свое действо под стеклянной броней видения. Его хищное зренье бесчинно царствует в смутных границах непросыпа, и никак его ни приструнить, ни привадить... Такой сон похож на лист, чьи мучительные слова внезапно покрылись твердым, как хрусталь, невидимым льдом, и теперь писавшая их рука более не способна вмешаться в их дальнейшее происхождение: перо отстранено – не процарапать, и слова теперь пишутся сами собой, будто с т о й стороны прозрачности кто-то рукою водит чужой какой-то почерк, в котором ты силишься узнать свой собственный и... узнаешь.

Страшнее может быть только то, ч т о рука эта пишет.

И вот, пока я прохлаждался под капельницей, накуролесив сверх всякой меры, стали мне снится сны полуденные, – чтоб медом, наверно, такая легкая участь мне не показалась. Измучили меня совсем, как я ни бодрился с утра пораньше. И спасу от них не предвиделось – всякий день смаривало, как по часам – в полдень. Сплошная морока с этими снами открылась – сниться страсть всякая, а что – как всегда, не помню.

Однако под конец, под выписку самую, все же приснилось мне кое-что с толком. Приснилось существенное, и потом я понял, что весь бред, что до того смутно ко мне в полдень пытался сквозь сон пробиться, как бы накапливал свой разбег – и наконец оформился смыслом.

Вот в какую он поместился загадку.

Странная штука – пропуск в нашем хозяйстве. Его не надо предъявлять, чтобы пройти, но нужно предъявить позже, по требованию – и если в нем не указано, что ты имеешь допуск в то место, где тебя застали, то тебя оттуда выкинут. Таким образом, в самом понятии нашей пропускной системы кроется свербящий искус: не уловленный – не нарушитель.

О, сколько адреналина мне поставила в кровь эта идея!

После того как мне выдали пропуск на ограниченное передвижение (стряслось это в связи с началом моей деятельности в ведомстве Наташи), моим любимым развлеченьем стало п р е д с т а в л я т ь устройство пространства нашего Дома.

(Почему это не случилось раньше? До того у меня не было оснований на выдумку. Выдумка – дитя неполного знания. Полное знание и полное незнание бесплодны: все их дети – выкидыши.)

Часто я закрывал глаза и пытался усилием логического зрения достроить недостающие части в системе пространственных сообщений нашего м е с т а. Постепенно узлы моего представления, расшатываясь, но все еще не нарушая целостности, начинали вымещать за пределы своего объема участки возможного обитания: несуществующие области, зарождаясь, с благодарностью принимали в себя по зернышку от вероятности реального пребывания. Растущий при этом скелет связей таинственным способом – из простого устройства, чью суть можно было легко удержать в пяти пальцах, – начинал, стремительно множа свои сочленения, превращаться в сложный куст гигантского растения, которое, увлекшись собственным буйным ростом, но успев зацвести, вдруг вспыхивало от умственного перенапряжения, и в его пляшущем пламени какое-то время еще можно было различить живой силуэт некоего существа; увы, догорев и обмякнув, оно не оставляло по себе ничего, кроме

исходного костяка, на который в начале я принимался лепить мякоть своего воображения.

Но, казалось бы, какая тут может быть загвоздка – Дом на первый взгляд вполне обыкновенный: громадный бетонный пень – круглое здание в пять этажей, на каждом – кольцевая система коридоров, вдоль которых комнаты расположены в шашечном порядке; кольца в пяти местах соединены радиусами, – в некоторых их отрезках устроены холлы с креслами и телевизором; из каждого коридора имеется по четыре выхода на лестницы, обеспечивающие вертикальное сообщенье; система лифтов, балконы и указатели направлений отсутствуют как классы. Коридоры вдоль стен освещаются потайными светильниками, имитирующими дневной свет: он якобы проливается из переполненного желоба, подставленного под световую, ведущую наружу щель в стене, которая тянется на уровне выше среднего роста.

Вроде бы все просто, даже несмотря на некоторую мутящую понимание аляповатость. Загвоздка обнаружилась уже на третий день моих все менее осторожных вылазок. Она, как выяснилось, имела два таинственно сообщающихся источника, – все мои последующие попытки представления устройства нашего пространства рушились как раз именно из-за того, что мне никак не удавалось понять, где же эти источники сообщаются.

Во-первых, самый центр Дома оказался недостижим: вдоволь накружившись по скучной обилием жилых помещений периферии, я решил-таки рискнуть отправиться к центру и, дойдя, как мне казалось, до упора, остановился – как муравей перед корабельной сосной – у ствола грандиозной шахты. Через обегающие ее по кругу круглые, напоминающие чердачные, окошки можно было головокружительно заглянуть вовнутрь.

Пространство шахты оказалось не пусто: оно все – от невидного сквозь буйную зелень дна до только предполагаемой взглядом верхотуры – было насыщенно какими-то ажурными и кружевными, как бы произрастающими из воздуха и самих себя конструкциями – перетяжками и лучами, лестницами и трапами, хорами и антресолями, висячими площадками и балкончиками, террасами и верандами. Вертикальное нагромождение этих деталей места одновременно усложнялось и оформлялось еще и тем, что все они тем не менее находились в обрамлении некой невероятной, прихотливо составленной, как букет, садовой композиции.

Среди аккуратных кудрявых островков яблонь, груш, слив, гнезд омелы, облепившей ветки акаций, олеандров и миндаля, ковров плюща, бамбуковых рощиц и высаженных розовыми подковами чайных кустов кое-где попадались крохотные прудики с кувшинками

и ирисовыми сине-желтыми островками, зарешеченные цоколи и легкие инкрустированные беседки; на ближайшей ко мне площадке размещались несколько ульев, – цветущее рядом облако шевелилось от пчелиного гула.

Все это было густо пронизано светом и тенью, заткано вьюнком и лиановым лимонником и походило то ли на медленный взрыв, взметнувший и теперь несущий, кружа, в поднебесье дачный поселок горной Аркадии, – то ли на громадную в о з д у х о р о с л ь, которая, подобно не укорененной в почве водоема водоросли, произрастала непосредственно из воздуха и несла на себе уютные места-прибежища, словно серебристые воздушные пузырьки, выделяемые фотосинтезом.

Растительное зрелище, располагаемое внутри шахты, притягивало невероятно. Я внимательно поглощал детали. Вскоре решетчатые цоколи разгляделись голубятнями.

Я прикинул, что, выпав из окошка, даже слегка планируя, до площадки не дотянуть. Не в силах оторваться, я стал с завистью думать о прыжках Тарзана. Неужели нет входа откуда-нибудь с внешней стороны шахты?!

Высунувшись по плечи, я вывернул шею так, что усмотрел вверху веревочный мостик, ведущий от стенки к берегу висячего острова.

Пока меня не спугнул очередной часовой обход, я завороженно наблюдал, как невидимые передаточные механизмы с растительным шуршанием плавно перемещали кучеряво-барочные внутренности шахты: движение, по всей видимости, не было периодическим, – я так и не смог дождаться, пока весь этот висящий в воздухе мир, пройдя сложные витки своего цикла, вернется на прежнее место.

Постепенно исчезая по мере приближения шагов обхода, я вдруг заметил, как, выпорхнув из цоколя, на смещающуюся все дальше площадку спустился голубь. Пчелы сначала взбудоражились и было плеснули в сторону, чтобы защитить улья, но, увидев, в чем дело, успокоились, и рой притянул свой рукав обратно к яблоне.

Я не вовремя залюбовался чистым опереньем, изящным, с рыхлым наростом на переносье, клювом. Снуя проворной головкой, голубь кругло смотрел на меня то одним, то другим розовым глазом.

Шаги приближались. Я обежал шахту и рванул по радиусу к лестнице, чтобы на следующем этаже отыскать дверь, ведущую на мостик.

И вот теперь начинается «во-вторых», по причине которого никакой двери на мостик я не нашел. На следующем этаже, снова жадно приникнув к окошку, обнаружил, что площадка с ульями за время моей беготни сместилась вверх и теперь находится на том же расстоянии.

Голубь встретил меня с прежним любопытством. Я обежал стену шахты, но дверцы, ведущей на мостик, не нашел.

Чертыхнулся. Высунувшись, вижу, что мостик тоже странным образом сместился чуть выше, и теперь надо бежать уже на следующий этаж.

Еще три раза с тем же результатом взметнувшись по лестнице, я на последнем, пятом, выглянул в шахту... и подмигнул голубку. Тот, казалось, теперь смутился, повел шейкой, сделал шажок, вдруг заворковал, забулькал и, пойдя, пойдя белоснежным увальнем к краю площадки, как пингвин, не раскрывая крыльев, ринулся куда-то вниз.

Пчелы вскипели снова. Легкая пригоршня белого мелька, задевая листву, долго скользила вдоль крон, огибала внимательно крыши построек и наконец исчезла.

От беспомощности я закурил. Поразмыслив, понял, что надо искать еще одну лестницу.

Сунув окурок в пачку, выглянул в шахту, чтобы напоследок еще раз взглянуть на мостик. На одной из его перекладин сидел голубь. Круглый розовый глаз плоско смотрел на меня. Я достал еще одну сигарету.

Разумеется, выяснилось, что основная система лестниц имеет ответвления. Ни одна из исследованных лестничных отдушин не привела ни на один из этажей. Их функция в перемещении по дому для меня так и осталась неясной. Первая, очевидная догадка, что лестницы эти предназначены для эвакуации в случае пожара, исчезла после того, как я миновал тридцать шестой пролет.

В свою очередь, эти ответвления имели самостоятельные отростки. Входы на них располагались в странной последовательности – через 2, 3, 5, 8, и последнее, куда меня хватило забраться, – 13 маршей.

Все выходы с основных и побочных лестниц выглядели вполне служебно, но ни один не был заперт. Было странно и немного жутко бродить то по очень пологим, то почти вертикальным, наваливающимся на грудь мраморным эстакадам.

Я взмок. Шея, из-за того что лицо все время приходится держать приподнятым, занемела. Я растираю ее ладонью. Слабый синеватый свет стрелкой наслаивающихся зигзагов взмывает вдоль перил в непредставимый верх.

Ничего, кроме его, света, утраты, там, наверху, не видно. Вдруг я пугаюсь, что этот громадный световой моток может обрушиться мне на голову...

В общем, все это было похоже на побег муравья в облачной кроне распустившегося почками пустоты кизилового куста.

Каждый лестничный тоннель имел свою череду изгибов. Ни одно из ответвлений за время моих плутаний с ацетоновым маркером

в руке не пересеклось с другим, хотя на каждом 3, 4, 6, 9 или 5, 6, 8, 11 пролете находились входы на следующие, точно такие же лестницы, которым было бы логично – ну хоть раз! – оказаться мною уже посещенными.

Наконец, набравшись вдоволь впечатлений от моего ступенчатого похода, которые тугим клубком всевозможных углов, поворотов, входов и возвращений засели у меня в голове, я по меткам, тщательно их стирая, вернулся обратно, к одной из основных, имеющих входы на этажи, лестничных магистралей.

Совсем скиснув от головокружения и усталости, сажусь на ступеньку. Засыпая, смотрю на прожилки, испещрившие мраморную поверхность у меня под ногами, и чудится мне, что они повторяют кривые лестничных тоннелей, пройденных мной в бетонной толще здания. Они извиваются и путаются на дне моих глаз, временами совмещаясь со стеклянистыми глазными мушками. Как на не прикрытый крышечкой сахар, севшие на истончившийся от долгих сумерек слой зрения, мушки проворны в своих поползновениях, и движением глазного яблока никак не удается их ни согнать, ни удержать...

Я стремительно засыпал.

Вдруг что-то пролепетало у меня над головой. Воздушное движение коснулось моих волос.

Я уже погрузился по плечи в сон и встрепенулся только чуть позже, когда вновь что-то легко прохлопало над теменем.

Я посмотрел себе под ноги, на лестничную площадку.

Чубастый голубь подморгнул мне полупрозрачным веком. Закрывшись, мутное веко сделало глаз на мгновение мертвым. Его подруга, кротко переминаясь, подошла и потерлась о зоб муженька головкой.

Теперь она тоже смотрела на меня.

Откуда ни возьмись – сверху раздался пронзительный, вихрастый свист. Звонкий гон и резкое хлопанье крыльев, как напор, заполонили столб воздуха над лестницей.

Надо мной, ринувшись вниз, хлопоча и кувыркаясь, проносились один за другим голуби.

Мой испуг был велик – больше, чем я сам...

Пытаясь втиснуться в стену, я почему-то считал их.

Как велогонка вниз по серпантину, они верзились по лестничным пролетам неравными группами. В самом начале еще успевая схватить их летные порции взглядом, я от страха по нарастающей выкрикивал числа: 2, 3, 5, 9, 13, 21!..

Я сбился, но поток голубей вдруг иссяк, и загремели шаги санитаров. Топоча, лопоча и подсвистывая, они спускались сверху.

Безумье грозило разнести мне голову. Я обхватил ее ладонями и

помчался на свой этаж... Стукнувшись в дверь всем корпусом, я сполз на порог, бормоча:

– Двадцать два, одного не хватало, двадцать два...

Стефанов открыл дверь и чуть не рухнул, подхватив меня на руки:

– Что такое, что такое...

Очухавшись, я подумал, что, конечно, было бы заманчиво сейчас же вернуться и тихой сапой выяснить, для чего этим птичьим пастухам понадобилось гонять или перегонять куда-то, по лестнице голубей. Но приближалось время дневной анестезии, и нужно было находиться на месте, хотя бы для того, чтобы отметиться в перекличке.

Вечером я рассказал Стефанову о саде в шахте, лестницах и голубях. Стефанов вновь, как у нас с ним повелось, был невозмутим и отвечал, что, в общем-то, ничего удивительного: что касается лестниц – так это я, оказывается, всего-навсего заблудился:

– В главном здании МГУ со мной не раз случалось подобное. Особенно этого следовало ожидать после того, как с утра и на всю катушку, без обеда, проторчав на занятиях, чуть не за полночь возвращаясь с семинара – вы вновь, как открытие, обнаруживаете, что лифты уже отключили, и, чертыхнувшись, время от времени испуганно чиркая спичкой, начинаете спускаться с двадцать третьего этажа вниз, как в пропасть. И вдруг встаете в полной тоске на тупиковой, неизвестно откуда взявшейся площадке – перед тремя подозрительнейшими дверями, каждая из которых ведет, как в пасть, на свою, самостоятельную лестницу...

Насчет происходившего в шахте и голубей, тут я со Стефановым тогда почти согласился: старик, предполагая, разъяснил, что это, возможно, прихоть Кортеза. Прихоть, предназначенная для его частного пользования, что-то вроде замысловатого зимнего сада, который только для обозрения, для зрительного, так сказать, уюта, а не для общей пользы, был устроен им в Доме; вообще, он вправе обустраивать свою резиденцию как заблагорассудится, – воображению ведь не прикажешь...

Месяц назад закончились места с двух сторон в стене колумбария, и теперь хоронят под мраморными плитами – на лестницах и в коридорах. Разворотили для начала первый этаж. Я был удивлен – этажа едва им хватило на неделю. Нынче перебрались уже на третий, видимо, дела действительно идут в гору. Не поразило ли еще и чумой наше население?!

Некоторые плиты при выемке лопаются, и им спешно приходится заказывать в городе еще. Слышал разговор: беспокоятся, удастся ли вновь достать вдоволь камень того же оттенка.

Стефанов сказал, что когда и пол закончится, станут хоронить прямо в стенах. Я обмер от его слов. Я и так теперь не ходок по коридору – не могу себя заставить н а с т у п и т ь, хотя и понимаю, что в этом нет ничего такого. Теперь, если мне по дороге встречаются участки захоронений (а устраиваются они нынче настолько густо, что уже нельзя меж них на одной ноге, как в классики, пропрыгать), я становлюсь на четвереньки – и так двигаюсь дальше.

Иногда силы меня покидают, и я ложусь, чтобы ползти. Если на некоторых лестницах встречаются потревоженные ступеньки, то это сложнее – острый край режет колени.

Позже я понял, что более всего меня смущает не то, что могу попрать подошвой прах, а что тогда наступлю на имена...

Проползая над ними, я все их читаю. Все. Я задерживаюсь на каждом. Стараюсь читать не спеша и внятно проговаривать про себя даже очень сложные фамилии. Иногда, очнувшись, я слышу собственное бормотанье.

Недавно я обнаружил, что в некоторых местах, в тех, где мне чаще всего приходится переползать, я понимаю надписи на ощупь. Их кривые желобки вдавливаются мне в ладони. Поднявшись, вижу: мои папиллярные линии изборождены буквами. Конечно, потом они исчезают, но еще какое-то время можно чувствовать их прохладный саднящий оттиск. Дошло даже до того, что имена мне стали сниться. Их список день ото дня все быстрее, словно я не успею дочитать до утра, бежит по изнанке век, словно титры в конце киноленты. Проснувшись, я стараюсь еще полежать с закрытыми глазами, чтобы повторить про себя свежие записи.

После завтрака и анестезии отправляюсь на работу в офис пораньше, потому что нужно успеть исследовать новые поступления. У меня уже есть свой метод разведки. По строительной возне санитаров я легко определяю, в каких местах они были накануне. Дело в том, что теперь они прекратили вести беспорядочные захоронения и чередуют направления: нынче движутся строго крестом – сегодня на север, вчера на восток, завтра на юг, а послезавтра – на запад. Так выходит рациональней, – они не загромождают сразу все перемещения по коридорам: раствор должен схватиться – ведь по свежим плитам нельзя ходить аж двое суток. Да и пол выглядит так поприличней, – похожим на крупномасштабный паркет, а не на зернистую кляксу.

Думаю, это Кортез им так делать велел, сами бы не доперли.

Если я все же ошибаюсь, так это не беда, – я все равно нахожу новые плиты по свежим следам раствора: грязнули-санитары ваяют могилы тяп-ляп – надежно, но не аккуратно.

Бывает, из-за пятен раствора имя читается трудно. Тогда я счищаю рукавом и прихожу на работу весь грязный.

Наташа смотрит на меня и говорит:

– Опять ты вымазался.

Санитары давно пристают ко мне, чего я там вынюхиваю. Но ничего, я терплю. Если я стану бузить, меня снова посадят в одиночку, а кто тогда читать будет?

Сегодня ночью в блужданиях сна я набрел на широкое устье, через которое в сон отправлялись умершие этой ночью.

Они падали вверх, как снег на фонарь, и там, наверху, исчезали.

Падали они сосредоточенно, не отвлекаясь, словно ныряльщики, у которых кончился воздух.

Одного я попридержал, спрашиваю: – Куда ты?

Выпростав снежный прозрачный рукав и отлетая: – За собой, – говорит, – ты не знаешь?

Я удивился. Постоял.

Еще постоял и вновь удивился.

Хватаю следующего с криком: – Зачем вы туда, что там делать?

Второй не ответил. Посмотрел, сожалея, и руку свою к себе тянет. Оторвался и стал, поднимаясь, медлить. Исчез.

А я вот так стоял и видел.

Глава 19

КОРТЕЗ

Что делает человек, если голод, обглодав тело до кости, принимается за душу и разум?

Что делает человек, когда страх становится больше его самого и встает на место зрения? Когда из глаз исходит не выраженье, а ужас, который, как убийца, промышляет отражением в зеркале...

Чем похож голод на страх? Действие голода – желание. Обстоятельство – предвкушенье. Качество – зависть.

Действие страха – н е ж е л а н и е. Обстоятельство – предвкушенье того, чего боишься, не желая. Качество – та же зависть. Зависть к тому, кто свободен от страха, с кем страх у ж е случился. Зависть зашкаливает, и нежелание превращается в тягу.

Таким образом, голод и страх – родственники. Качество крови, по которому выводится сходство – стремленье к развязке.

Голод бредит насытиться. Страх бредит случиться.

В стадии удержания и здесь и там пышет завистливая похоть: голод обожает сытых, страх – совершившихся.

Голод манит голодаря к окнам ресторации.
Страх смерти тащит за шкирку труса к окнам хосписа.

В самом начале шестидесятых отец Леонарда Кортеза, Кортез Леонард, сразу по получении степени в университете Барселоны, пренебрегая всеми шансами начать хотя и неказистую, но самостоятельную практику, с трудом устраивается волонтером в экспериментальную клинику знаменитого танатолога-первопроходца Розы Стюблер-Кросс в Лозанне.

Спустя год более или менее успешной работы в качестве ассистента его все-таки принимают на ставку, но еще через год со скандалом удаляют от деятельности.

Скандал был связан с преступлением норм врачебной этики. Торговля исповедями умирающих больных и махинации с завещаниями так и не обнаружили судебных доказательств. За недостаточностью улик уголовное дело наконец повисает, и внезапно разбогатевший в Европе молодой психиатр аргентинского происхождения срочно оказывается в Калифорнии, где поселяется в унаследованном от таинственной родственницы доме в Сакраменто.

Там он в течение нескольких лет старается не отсвечивать, а потом реанимирует свою лицензию, открывает частную практику, преподает в местном колледже пионерский курс танатологии – и женится на Елизавете Бочек, дочери одного из своих коллег, эмигранта первой волны из России.

Вскоре у Елизаветы рождается сын, которого он называет в честь своего деда Леонардом. Мальчик живет недолго и по недосмотру умирает в восьмимесячном возрасте от кори.

Второй Леонард рождается через год.

Психоаналитическая практика еще не стала в Америке частью масскульта и только набирает очки спроса, который, впрочем, имеет все основания стать за несколько лет ажиотажным. Число клиентов Кортеза множится, количество приемных часов в неделю достигает тридцати, и, открыв службу «телефона доверия», он становится первым врачом-рационализатором в Калифорнии. Вольнонаемные студенты, помимо консультативной деятельности, осуществляемой под его диктовку, занимаются еще и сбором статистических данных по хронологии самоубийств...

Результаты этих исследований Кортеза производят публичное впечатленье. Оказывается, пик суицида приходится не на зиму – наиболее унылое время года, а на весну, когда, казалось бы, солнышко и цветенье должны вселять надежду. Не столько проницательность выдвигаемой Кортезом гипотезы, сколько его деловая настойчивость заслуживает удивления оригинальности мысли исс-

ледователя. Городскими властями организуется специальный отдел при муниципальной службе выявления общественного мнения. Проводится масштабный, двенадцатиступенчатый, социопсихологический опрос населения – для выяснения календарной динамики ощущений.

Братья-месяцы звонят-бродят по домам и выпытывают у устрашившихся жителей (по доллару за штуку) про их самочувствие: мол, ну как она, жисть-то, не хотите ли вдруг... это самое... копыта кинуть? Назойливые опросчики то и дело конвоируются особенно решительными жертвами в участок, и Кортезу приходится побрататься с начальником полиции. Наконец выясняется, что, как и предполагалось, причина скрыта в разочаровании, приканчивающем весной последнюю надежду радости: вот, мол, и природа уже от земного сна свежей порослью привстала, цветением принарядилась, а внутри попрежнему пасмур, да и вокруг – на откосе жизни – все та же ржа...

Увесистое финансирование этого бессмысленного проекта окружными властями вызывает понятное раздражение в правительстве штата. Кортез сам берется разъяснить всю подспудную важность деятельности его группы. Это ему удается блестяще, и вскоре исследование по усовершенствованной схеме проводится в масштабах Северной Калифорнии...

Следующая акция Кортеза явно преследовала цель завоевать авторитет в университетской среде. Он чувствовал – ему недостает академичности. Бороться с этим недочетом в чисто научном плане было поздно и сложно. Поэтому его запрещенный ход конем должен покрыть поле какой-нибудь более доступной области, например, популярного тогда битнического варианта экзистенциализма.

На университетском кампусе в Беркли уже девятый месяц умирал поэт Томас Кирк. Все об этом знали, но болтать считалось западло. Ничего дурного в том, конечно, не было, если кто-нибудь скажет, что вот, мол, бедный парень... Но устраивать по этому поводу слезогонку – за это можно было и схлопотать.

И вот Кортез вместе со съемочной группой заявляется на кампус. Берет у Кирка интервью, выпытывает ощущения поэта. Тот сначала огрызается, потом недоумевает и, хотя и неохотно, все же начинает раскалываться. Под конец соглашается почитать... Вытянутое бородатое лицо в кадре. Длинные волосы. Брюки клеш и бамбуковая дудка в руках. Вполне здоровый, но несколько утомленный вид. В мужественных стихах – светлое признание в любви к остающимся и мудрая горечь приятия. После чтения Кортез умно помалкивает. Кадры скачут дальше: жена поэта – японка – напрочь отказывается разговаривать и уходит; на балконе жарится крылатое цыплячье барбекю; друзья Томаса глушат пиво в бело-красных банках; где-то,

нагоняя тоску, хрипит и воет Дженис Джоплин; вдали за рваными всплесками дыма ползет башня с часами...

Недели через две Кортез приезжает снова. Все примерно то же самое, только более вяло. В следующую пятницу жена Кирка не пускает Кортеза на порог.

Однако отснятых материалов все-таки оказывается достаточно: фильм «Последние строки» несколько раз демонстрировался местным научпоповским каналом и был разослан в десяток университетов в качестве учебного пособия по курсу «Pshychology 9». При содействии университетского издательства был посмертно издан небольшой сборник поэта.

Однако какого-то особенного впечатления все это не произвело. «San-Francisco Chronicle» ни на фильм, ни на сборник так и не отреагировал. Кортез объяснял неудачу композиционной незавершенностью, недовоплощенностью задуманного драматизма...

Тем не менее серия репортажей о суицидном проекте и глубокомысленная огласка его результатов в «Sacramento News and Time», организация разветвленной службы телефонного доверия и оказания срочной психологической помощи («Cortez-Psycho Inc.», на деле поднаторевшая не столько на выемке из петель и полоскании желудков, сколько на дешевой транспортировке трупов), а также личное психоаналитическое консультирование особенно замечательных жителей города, – все это планомерно делает Кортеза едва ли не самым известным психиатром в Сакраменто и его пятиокруговых окрестностях. И вот на такой базе уже нетрудно приступить к задуманному в самом начале: х о с п и с.

Легко заполучив у муниципалитета немного стартовых денег, Кортез разворачивает программу социально-психологической помощи одиноким умирающим больным. Для начала создается что-то вроде нестационарного приюта: утром смертельно больные приезжают сами или доставляются на специальных микроавтобусах, а вечером удаляются восвояси. В течение дня с ними возятся, создают атмосферу участия и проч. Все очень сусально и милосердно. Церковь недалеко, туда можно при желании выехать отдельной труппой. Здесь же, в похоронном бюро, если кому нужно, можно уточнить свои пожелания, а также сразу выписать чек. Тем более что деньги на похороны всегда найдутся – это как приданое, НЗ. И к тому же, очень удобно – « и нашим и вашим»: «вашим» – понятно, сервис; а «нашим» – потому, что никто не узнает, какими именно похоронными услугами вы хотели воспользоваться. Ведь вы одиноки, да? иначе бы вы предпочли поручить себя своим домашним.

Так что часто все очень славно складывалось. Например, с индуса, пожелавшего, чтобы прах его был развеян над Гангом, выручка сос-

тавила около полутора тысяч, – раджу на самом деле просыпали с моста через American River... Но самый крупный куш срывался Кортезом, ежели ему удавалось какого-нибудь особенно умильного пациента обработать своей заботой так, что тот успевал отчеркнуть в завещании дополнительный пункт, упоминавший «Cortez-Psycho». Для такого благого дела Кортез завел себе подручного нотариуса.

Спустя полгода окружная ревизионная комиссия неописуемо приходит в восторг от увиденного. В новостях местного телевидения всю неделю крутят ролики благодарственных интервью с терминальными пациентами.

После чего субсидии утраиваются, пожертвования увеличивают составленную сумму госинвестиций вдвое, и Кортез с воодушевлением приступает к созданию стационара.

Как раз в это время из Швейцарии приходит запрос Интерпола на его милость...

Леонард Кортез-младший рос, как копия, во всем под стать папаше, но на целый рост переплюнул его по части трусливости. Страх смерти стал для него не только наваждением, но даже, как бы материализовавшись, его двойником. Он всегда был с ним рядом, как химера, но химера дружественная: настолько он с ним свыкся. Когда он случайно порезывался при бритье, двойник не давал ему окончательно упасть в мохнатые лапы обморока и, поддерживая на поверхности сознания, сам заботился о пластыре и дезинфекции. То же касалось и до тошноты дотошного слежения за антихолестериновой и прочими диетами, за регулярными занятиями физкультурой, заботы об устранении любого шанса стать вторичным курильщиком и тысячи прочих мероприятий, предназначенных потрафить его материалистической похоти существования. (Организм Кортеза был настолько обезжирен, что он вынужден был регулярно пользоваться наружной кремо-жировой подпиткой кожи, чтоб та не шелушилась.)

Все эти обязанности, брызжа чрезмерным рвеньем, как дезинфицирующей слюной, брал на себя его страх и справлялся блестяще. Однако Кортез все же отдавал себе отчет, что такое дружелюбие двойника поистине чудо. Ему было прекрасно известно, что приятель его непредсказуем, и, только взбредет ему его сожрать, он обсосет егойные косточки через минуту.

В результате исходная трусливость Кортеза обусловила то, что он вырос меньшим, чем отец, мошенником, но зато подвигла стать несравненно более пытливым исследователем, для которого нечистоплотно конъюнктурные предприятья являлись не самоцелью, но чем-то вроде хорошо оплачиваемого хобби.

Но и здесь имел место закон сохранения: будучи почти бескорыстным мошенником, исследователем он был корыстолюбивым вплоть до брутальности, – один вид умирающего человека, который по брови, как куколка, укутан в его манипуляторские сети, распалял в Кортезе пламя внутреннего ликования. Пламя это, угрюмо поплясав в области убежденности в том, что смерть как таковая сейчас, хотя бы на время, находится в его руках, постепенно перекидывалось в пределы полуподдельной любви и жалости к умирающему; находясь там, оно правомерно разогревало охоту к дальнейшей деятельности и, наконец, остывало приятным чувством полнокровного удовлетворения.

Памятуя о печальном опыте своего родителя, чей «проект жизни» рухнул безмозглой, как курица, жертвой на алтарь законопослушности, Кортез решает быть смышленей и планирует развернуться в одной из стран третьего мира, где поведение общества менее лицемерно: т.е. более естественно в смысле неопосредованности всякими надуманными условностями легитимизма.

Ему приходит в голову Индия, он всерьез планирует кумулятивное расширение и перевод своей крупной функционерской деятельности в Международном Красном Кресте в Бомбей, но тут в России разражается Перестройка.

Те из его знакомых бизнесменов, кому не лень, рвут в Москву – «съибить по лекому бабулик», а вернувшись на очередную побывку, козыряют попугайской смекалкой, с каковой они выучили две-три русских идиомы, и взахлеб распускают смачные слухи о Новом Клондайке. Очень быстро «те, кому не лень» распространяются до «всех, кому охота», и в результате меньше чем за год Кортез срочно укорачивает и поправляет вектор своего курса к северу. Вскоре он совершает разведческую вылазку, во время которой не только легко выуживает понимание и участие у нужных людей, но и под конец не знает, как от них (от понимания, участия и людей) отбиться – и, вернувшись, еще раз уточняет координаты перенамеченного курса.

Наконец все готово, осталось только набрать управленцев, запустить строительство, и тогда можно будет спокойно заняться доработкой собственно научной части проекта.

За управленцами дело киснуть не стало – перевез двух проверенных с собой, а прочих набрал уже в Москве – наобум; впрочем, как выяснилось, очень удачно. Стройка сама по себе не представляла для него живительного интереса, и Кортез, выбрав место поглуше, пустил ее на чуткий самотек.

С научной же частью неожиданно, как шило из сена, возникла проблема: карты спутала и подожгла чисто русская специфика.

Все имевшиеся у Кортеза психотипические шаблоны, как бы он

их ни тасовал, пытаясь состряпать из замысловатой нелинейной комбинации требуемое, не годились для выделения и описания того необходимого инварианта, который кровь из носу нужен был для отслеживания чистоты эксперимента. Предприятие не то чтобы оказалось под угрозой срыва, но алчно требовало инноваций.

Трудность решения этой головоломки главным образом состояла не в том, чтобы найти такую свежую и толковую голову, которой было бы по плечу решить перед ней замышленное, но в том, что личность этой головы должна была стать со временем лицом отчасти доверенным. То есть – быть не только талантливым исполнителем, но и по природе своей годиться в сподвижники, так как Кортез был бы вынужден доверить ей сокровенное. Вскоре выяснилось, что и предполагалось: найти такую изюминку оказалось невозможно.

В поисковом отчаянии Кортеза занесло на университетский факультет психологии.

Чутье привело его туда случайным – неведомым ему самому способом. В пятницу утром, спустившись из номера в «Национале», Кортез вошел в ресторацию на втором этаже – позавтракать. Он сел за столик и, пока подавальщик нес ему нужное, снова подумал то, с чем засыпал накануне: ему некуда больше идти. Уже целый месяц прошел насмарку, а новостей – «с гулькин носик». За прошедшую неделю он переговорил впустую с четырнадцатью кандидатами – людьми психиатрического ремесла, и его мутило: все оказались жадными зазнайками.

Подавальщик ему принес кое-что, сонно послонялся вдоль окон, поправляя шторы, и протяжно пропал, как долгий корпусом таракан, всочившись в какую-то щель.

Тут за столик к Кортезу подсел небольшой седой старик, похожий на серебряного льва.

Старик поболтал в воздухе графинчиком с коньяком и подхмыкнул.

Кортез раздумчиво поместился взглядом в покачивающееся озерцо, в котором вспыхивало и начиналось хрустальное утро, – и оглянулся за помощью.

Львиный старик грозно сказал непонятное и, рыкнув точным взглядом, исчез.

Кортез «поклевал» завтрак, но аппетит так и не появился.

Посидел еще, глядя за штору.

На площади велись раскопки. Группы археологов и рабочих, отстояв в очереди, ритмично спускались на лифте в котлован, на невидимом дне которого, как далекий набат, била что есть маху свайная баба.

Впрочем, что такое «набат» и «свайная баба» – Кортез не знал.

А знал бы, то все равно не понял, зачем археологам забивать в гроб своего труда сваи.

Но необъясненные слух и зрение тревожили его и заставляли соображать на этот счет разные картины. Среди них не было правдивой, но зато имелась следующая.

Лифтов на самом деле было много, и каждый раз поднимался и спускался новый. Порция археологов заходила, и трос отпускался не в натяг, а вхолостую сопровождал свободное падение лифта. Получался ухающий звук, и новые трупы археологов выгружались мертвецами из обломков клети...

Также заметил Кортез, что в окне пятого этажа серого здания гостиницы, что на противном углу перекрестка, длинно трепалась, моталась и закидывалась сквозняком штора.

Наконец из окна высунулся по пояс обнаженный человек, швырнул вниз бутылку и захлопнул раму, прикусив кончик болтливой шторы.

Тогда Кортез встал.

Старик, похожий на серебряного льва, вырос перед ним.

Его красноречивое презрение испугало Кортеза.

Оглядываясь, он бежал рычащего старика вниз по лестнице.

Его топот был шорохом по сравнению с гневной зычностью, с какой старик поносил его вдогонку.

Выйдя из гостиницы, Кортез отправился, куда глаза посмотрели – направо: побродить, бередя свою безнадегу...

Вдруг впереди за спинами пешеходов появилось спасительное наитие.

Как воздушный шарик, оно маячило и влеклось над тротуаром.

Вскоре он обогнул газетный киоск, бегло скользнув, как по телеграмме, по заголовкам и свернул как бы вслед за самим собой еще раз направо.

Тут наитие замедлилось и совместилось с ним, нагнавшим; Кортез огляделся и, увидав стайку курильщиков в белых халатах, остановился.

Судя по вывеске над крыльцом, – это были юные вивисекторы, студенты, вышедшие в перерыве между лабораторными работами перехватить никотину. Запись агонических симптомов при наблюдении собаки, отравляемой в застекленной камере хлором, давалась им непросто.

Кортез что-то почуял и тронул дальше в глубь переулка.

Соображая, что уже «горячо», срочно прибавил шагу.

Через сотню шагов и минутное замешательство в коридоре он сидел в кабинете декана психологического факультета и беседовал с ним и заведующим кафедрой бихевиористики.

Хотя Кортез был довольно толков в своем вычурном объяснении, оба ученых казались исполненными настороженного непонимания; но дружелюбны.

Наконец они неуверенно стали обещать содействие. Не успев сформулироваться, декан сердито отвлекся: отворилась дверь, и в нее заглянула девушка.

Вновь объявившееся наитие покачивалось над ней...

Уступая разговор, Кортез вежливо потупился и отошел к окну. На подоконнике стоял горшок с болгарской геранью, «здравчик». Он потер в пальцах вонючий листик и с удовольствием провел рукой у лица.

Девушка вошла.

Извинившись, она наспех сообщала, что хотела бы переоформить диплом магистра на латиницу, и просила разрешить резолюцию.

Декан вяло протянул руку, но, подписывая, вдруг нашелся и оживленно повернулся к Кортезу.

– А вот кстати, разрешите представить – Королева Екатерина, – заглянул он в лист. – Одна из лучших выпускниц этого года. Вполне, между прочим, может оказаться вам полезной...

Когда иностранец и студентка вышли, декан ласково посмотрел на завкафедрой и помахал у виска авторучкой.

Глава 20

КАТЯ

С первых дней испытательного месяца Кортез исподтишка штудировал Катю.

Он изучал ее, как изучает энтомолог письмена узора на крылышках очередного экземпляра, прежде чем, вычитав до конца, решить, стоит ли заполнять новую ячейку в каталоге...

Поначалу читать было несложно – Катя казалась поденкой. Скользнув по приятному оттенку ее бархатистого нрава, Кортез вскоре наткнулся на то, что искал: дефект, сингулярность, особую точку среди ровных кажимостей поведения. Мнимое существование этой особенности, уловленное чутьем при первой же встрече, подвигло Кортеза пригласить ее к участию в проекте.

Катя действительно случилась выдающимся экземпляром, а мимикрировала под поденку случайно – благодаря инерционно действующим (в силу биографического штампа) обстоятельствам маскировки: воспитание, образование, друзья и книги. Несимметричный дефект на крылышке благополучной кажимости ее образа был похож на воронку и вел в суть. (Кажимости всегда порхают в жидкой,

как воздух, реальности.) Он отыскивался внезапно – и мимолетному наблюдению виделся незначимой темной соринкой на фоне ясного коврового рельефа из бежевой крылышковой пыльцы. Но медленно спускаясь через сильную лупу внимания к продолговатому окончанью, можно было видеть во всем драматизме, как внезапные сумерки оттенка начинали слоисто сбираться в фокус, постепенно иссиня сгущались и вдруг взвинчивались в жуткой метеорологической карусели, и далее – стоп – следовал торнадный провал, некий выкалывающий зрение вихревой зрачок – взгляд, в котором, как в самом Начале, дико роилась душа з в е з д ы м о р е й: это Катя, оторвавшись ли от чтенья, от слеженья за кипящей ватагой голубей за окном, от городского пейзажа – где сквер, скамейки, липы, няни, дети, и где поверх пикирующий в пламени облак был похож, был похож... но неважно, – просто смотрела совсем в н и к у д а, смотрела, смотрела, и это было так страшно и важно, – и это было тем самым, за что Глеб, еще не смысля, с ч е м имеет он дело, был готов пропасть ни за что...

Когда Кортез узрел это впервые (конец рабочего дня; Катя, смиренно склонившись, смотрит сквозь кипы бумаг на столе; спина наконец устало расслаблена, перед ней – опостылевшая клавиатура, в которой, как в шрифте Брайля, с непривычки вязнут пальцы; на экране – полный разброд в тезисах: заканчивается день двенадцатый ее испытательного срока), он застыл.

Дабы не вспугнуть («цветок кивнет – вспорхнет кусочек лета»), тут же вбежал туда, куда шел от входной двери в офис – к себе в кабинет, и там еще радостно прохаживался, от удовольствия щелкая пальцами и причмокивая губами: появись ему сейчас навстречу его воплотившаяся интуиция, он бы исцеловал ее в обе щеки от самодовольства.

Тогда же Кортез про себя сразу зачислил ее в команду. Решенье его было Кате невдомек, и остаток срока она впустую провозилась с тезисами, изводя себя прилежаньем. Наконец принесла Кортезу. Тот как-то неопределенно, округло, кивнул. Пробубнил, что, мол, посмотрит, стоит ли ее предложение по субпроекту выделки... Катя посмотрела в окно и тихо сказала: «Уверена, стоит». Кортез отвечал, что в случае положительного решения ее известят и что самой ей интересоваться не след.

Отмучившись – и допустив, что напрасно, – Катя обрадовалась предложению Глеба съездить куда-нибудь на две-три недели к морю... Вернувшись, не ожидала звонка Кортеза. А уже на следующий день, наконец попутно бросив Глеба (с долгожданным облегчением и все-таки необъяснимо), отправилась в свою первую служебную командировку: сначала ознакомиться с Домом как с полигоном

проекта и далее – по городам с онкологическими центрами, занявшись тщательным подбором кадров для организации населения.

Нельзя сказать, что Катя была очарована личностью Кортеза. Напротив. Взять, к примеру, одно из первых ее впечатлений, ставшее главным: вторая встреча с Кортезом.

Прощаясь у дома Пашкова, он зовет ее в сад «Эрмитаж» – в воскресенье, в два часа на Каретном, у входа.

В саду они слоняются по дорожкам, и Кортез выговаривает ей комплименты. Кате это неприятно, но лесть маскируется затрудненным – с непривычки – пониманием американского акцента, и она пока что терпит.

О, выходит, что он отлично знаком с ее курсовыми работами. Оказывается, Катины дипломные изыскания – лучшие на факультете за пять последних лет... Оказывается также, что декан (с которым ей не случилось за пять лет обмолвиться хотя бы словом) обильно ей благоволит... Кортез, безусловно, доверяет декану, но вдруг заявляет:

– Будете слушаться меня, сделаю вас настоящим исследователем. Я многих сделал учеными, но нужна дисциплина. Как в монастыре. Шаг влево, шаг вправо – самоуправство. В науке то же самое, и даже еще строже. В моем предприятии – я царь, все остальные – послушники.

В Кате начало расти смущение. Она едва сдержалась от улыбки. Потом ей стало противно. Но тут же оборвала себя: «Терпи. Он идиот, а ты здесь ни при чем».

Она слушает его, и вязкая стена менторства, сомнительной самоуверенности и совершенного отсутствия чуткости делает ее немой. Ей хочется домой.

Катя решает закурить. Кортез чуть не выбивает у нее из руки зажигалку. Он ведет ее в бар «эрмитажной» ресторации, из-за стойки к пуфикам им приносят декофеинизированный кофе и пирожные. Ее мутит от набриллиантиненного бармена (развязный холуй со сползшей набок бабочкой) и помятой кремовой корзиночки: пирожное ей кажется похожим на игрушечную корзину с грязным бельем.

Кортез, подставляя под крошки ладонь, смачно откусывает и, глотнув постной бурды, вещает:

– Я в своем деле главный, все прочие – мои руки, ноги, глаза и уши. Если захочу, я сделаю вас похожей на меня, моей приближенной. Но вы должны слушаться. Беспрекословно. Делать, что сказано.

Кате жутко хочется курить и, стараясь отвлечься, она мысленно переводит Кортеза дословно («я сделаю вас похожей на меня, моей приближенной»), чтобы было хоть немножко забавно.

Становиться похожей на Кортеза ей совсем не хочется. Зато тоскливо тянет исчезнуть.

Но тут Кортез приступил к делу.

Он отодвинул чашечку – и вместе с ней свое чванство. Преображение, случившееся с ним, могло бы сравниться быстротой и разительностью с театральным. Его прежний облик канул так проворно, будто его с ног до головы слизнула языком огромная прозрачная корова: взгляд стал мягким, тон – участливым, осанка и жесты оттаяли от чопорной надменности. В его изъяснении учтиво развились риторические фигуры, а речь внезапно стала ясной, облагородившись невесть откуда взявшимся чистой воды, как на лингафонной пленке, произношением...

Внезапное изменение облика Кортеза показалось Кате столь же приятным, сколь и необъяснимым, но приятностью своей отложило ее удивление.

Услышанное сначала ее поразило, потом смутило. Предложение Кортеза своей тревожной заманчивостью, словно ее приглашали сделать шаг к полному вспоминанию предыдущего воплощения, затрудняло осознание возможности осуществления тайны...

Наконец вняв предложенью Кортеза, Катя не поверила удаче: жгучему ощущению, что это то, ради чего она готова на все.

Не столько для виду, сколько чтобы оправиться от потрясения, она попросила дать ей время решиться.

Вечером Катя сообщила Глебу, что у нее болит голова и что ей надо бы прогуляться. Одной.

Она дошла до метро, вернулась обратно и снова направилась к метро.

У ларька к ней обратился пьяный человек. Он был пьян до немоты, но уверенно, как капитан при качке, держался за равновесие своим исполненным достоинства видом.

Она вручила ему десятку и купила сигареты.

У человека была роскошная серебряная шевелюра. Покачиваясь, он невысоко понес ее в сторону от ларька. Как фонарь, как светоч.

Спустилась в подземный переход и со второго жетона дозвонилась к Кортезу. Связь после трех щелчков и писка неожиданно установилась – громко, ясно, в полную меру присутствия по ту сторону. Кортез тут же попросил ее подождать, и какое-то время она слушала квартет Майлса. Труба на мягких цыпочках терций пробиралась сквозь чарующую «Bag's Groove». Вдруг кто-то вскрикнул и разбилась посуда... Дребезг собираемых осколков вмешался в музыку. Стукнуло распахнувшееся окно. Прошелестел сквозняк. Всхлипнула женщина... Музыка стала тише. Осколки закончились. Катя по-

думала, что у нее больше нет жетонов. Майлс с новой ясностью вкрадчиво перешел на «Kind of Blue». Кто-то взял трубку и подышал... Отложил со стуком. В боковом зрении появился тот же пьяный старик. Он отчаянно жестикулировал – скрещивал руки и мотал головой. Катя отвела трубку и спросила, нет ли у него жетона. Он замахал руками, но потом, гримасничая, протянул. Раздался писк. Катя скормила автомату, как вороненку, жетон. Человек был в отчаянии. Он присел на корточки и обхватил свою большую голову руками. Подвалил мент и потянул его под мышки. Катя крикнула, чтобы милиционер не был грубым с пожилым человеком. Толпа хлынула от прибывшего поезда, и стало не видно. Тут Кортез оказался у телефона. Извинился.

Держа пальцы крестиком, сообщила, что согласна.

На следующий день, стоя в проходной академического института, в одном из опустевших зданий которого арендовало площадь благотворительное предприятие Кортеза, пока дебил-охранник, зачем-то слюнявя шарик авторучки, выписывал ей пропуск, Катя поклялась себе, что справится.

Глебу решила ничего не говорить, чтобы не сглазить.

В коллективе московского офиса Катя объявилась, как в чужой тарелке. Сотрудники его странно напоминали очеловеченных зверей, чьей предыдущей жизнью была трюкаческая работа в цирке.

Они были почти немы и чрезвычайно, вплоть до ловкачества, исполнительны. Взаимопонимание и слаженность иногда превосходили возможности телепатии...

Чуть не во всех их действиях имелся придурковатый акцент эксцентрики. Обрывистые команды по нисходящей передавались вроссыпь и по цепочке сразу на четырех языках: английском, немецком, русском и на усеченной до простого взмаха и мановения жестовой фене; так – со свирепой молниеносностью – работает свора карманников: «щипач» кудрявит, «друг» пуляет, «бегун» сливает.

Царствовало повелительное наклоненье. Сослагательная и сложноподчиненная, рассудительная формы высказываний отсутствовали: как в жизни счастье.

Кортез, казалось, не принимал очевидного участия в работе своего офиса. Он был Наблюдателем в засаде обобщенного воображения своих подчиненных. Деятельность Кортеза, как фигуры умолчания, состояла в незримом, но влиятельнейшем присутствии. Имя его, надзирая, весомо и беззвучно слонялось в воздухе, целительно поражая мысли, как жестокий, но необходимый вакцинный вирус. На его особу, кроме как кивком исподтишка куда-то в сторону его кабинета, никогда, даже иносказательно, не ссылались. Если кому-

то приходилось впечатывать или писать в бумагах его несложное имя, делалось это чуть не с высунутым от старания языком, с замиранием и тщательной – взад-вперед – буквальной сверкой...

Наиболее исходные команды подавал, распределяя между менеджерами отделов, горбатый доктор Воронов. Он был главным на этой сложносоставной арене, где одновременно в нескольких ее секторах шла постановка разных, но связанных сюжетным перекрестьем номеров. Его вездесущая пронырливость, манера то и дело возникать на совершенно диаметральных рубежах деятельности, наводила оторопь на подчиненных и заставляла их всегда быть в напряженной готовности сполна ответствовать за свой участок труда.

Подвижность горбуна (также и умственная) граничила с подвижностью персонажей театра теней. Почти карлик, он никогда не сидел на месте, избегая стульев и кресел, слезая с которых, становился еще мельче. Мельтеша, чтобы сгладить уничижительную забористость взгляда снизу вверх на подчиненного, обычно возникал в некотором отдаленье и оттуда выкаркивал приказания...

Воронов раздражал Катю до отвращения, хотя не обмолвился с ней – и ни с кем о ней – ни словом. Он не касался области ее изысканий и никак не относился к ней в субординационном порядке. Поэтому то, как он взыркивал, казалось ей еще более оскорбительным, чем если бы она находилась под прямым его началом. Она специально наваливала на стол рыхлые башни бумаг (пачки клинических отчетов, стопки разноплановых обзоров по «Pschycology 9» и папки тематических докладов о социальных проблемах хосписной практики) повыше, устраивая себе бруствер... Горбун не мог прошнырнуть мимо, чтобы, отскочив на два-три шага вглубь, не вперить ся на три–пять тяжелых мгновений. Если Катя, заслышав его высокие каблуки, успевала пригнуться, зырк горбуна приходился на темя и переваливал жуткой волной мурашек дальше к лопаткам, и она едва сдерживалась, чтобы в ужасе не провести рукой по волосам...

Причем взгляд его менялся. То он был слепо холодный и плотный, как слизень. То едкий и узкий, как стручок перца, как игуаны прищур. Чего он пялился, было ей не интересно, но от омерзения хотелось пустить в него клавиатурой...

Что однажды и стряслось. Горбун и не думал реагировать и тем более уворачиваться: предмет метания по обрывистой дуге вмазался в пол, удерживаемый пружинистым проводом. Две клавиши выпали и, простукав игральными костяшками по паркету, навсегда затерялись в окрестностях бумагоуничтожителя. Горбун чинно кивнул как-то набок, двинул рукой от запястья и канул, куда шел. Прохлаждавшийся при этом на диване расхристанно-кудрявый офисный водитель от ужаса дрогнул утробным, селезеночным

еком. На удивление, единственным следствием этого бенца вышло, что в окончательном варианте тезисов отсутствовали буквы «щ» и «ч», отчего текст только выиграл.

Организационно-техническими задачами верховодила косая, как повернутая камбала, Элизабет Крахтенгольц. На первый взгляд, обладая отличными деловыми навыками, выражавшимися в хладнокровности и системной внятности, с которой она подходила к устранению всяческих проблем, на поверку Крахтенгольц была диковатой кликушей. Когда ее стервозность вдруг перекипала в область абсурда, от негодования она скакала по всем языкам сразу. Нормальный глаз ее метался вкривь и вкось по пределам орбиты и на мази был выпасть. Успокоившись, она ожесточенно протирала его большим пальцем, после чего прятала палец за краешек пиджачного кармана и, там им поводя, мучительно старалась казаться хладнокровно готовой к дальнейшим дрязгам по закупке медикаментов и набору медперсонала... При этом она дышала так, словно до того ее душили до смерти и только что отпустили, а косивший глаз вдруг начинал дергаться вбок и застывал на время в естественном, параллельном здоровому направленье. Видя Элизабет в таком состоянии, Катя презрительно сравнивала ее в уме с припадочной ослицей. Про себя она дала ей прозвище: Лизка-прозекторша.

Катю посадили в партере – в приемной у окна. Будучи всегда на виду, сосредоточиться было затруднительно. Поначалу она не столько занималась делом, сколько внимала некому сложно смонтированному представлению. Первую неделю голова у нее, раскалываясь, кружилась от центробежной интенсивности впечатлений и напряженного поиска целевой связи эпизодов. В начале второй она принесла с собой плеер и темные очки и попробовала отключиться... Благостное действие отстраненности, как бывает всегда, протрезвило наблюденье и прибавило осмысленности наблюдаемому. Теперь, время от времени отрываясь от сочинения тезисов, Катя взглядывала поверх стеклянных, мягко тонированных средиземноморским закатом сумерек и почти уже без труда могла себе уяснить, что происходит в офисе в данное время. Картинки, которые она могла видеть, были из следующего ряда описаний.

Три медсестры-секретарши были похожи на заведенных валерьянкой кошечек, которые, обалдев от оказанного доверия и невиданной – в 200 долларов – зарплаты, вдруг обрели дар (также и английской) речи и, не в силах остановиться, с забубенной вежливостью хватали телефонные трубки.

Будущие санитары хосписа Св. Михаила, все как на подбор – словно взятые из спецназа, гурьбой шли вразвалку на подготовительные семинары: как медведи, полураскрыв от избытка мышц

объятья, они шатко вваливались в двери конференц-зала вслед за преподавателем дрессуры пациентов. Легко было представить, как они со смиренной тупостью сидят на этих семинарах, тоже как медведи – на задних лапах.

От снования неотличимых друг от друга курьеров, похожих на пуделей (помесь фокса и мартышки), скоро становилось дурно. Они бесили Катю тем, что всю дорогу вежливо здоровались, и в первые дни возникало подозрение: над ней измываются. Их тревожно хотелось подсчитать, чтобы быть уверенной, сколько из этих сволочей вошло и сколько вышло...

Размером с таксика верхом на пони, менеджер по закупкам был на вечном подхвате у Крахтенгольц. Его профессиональная виртуозность граничила со сноровкой иллюзиониста. Секретарши поговаривали, что, пошептав в свою переносную трубку, он мог материализовать на складе все что угодно – от зенитной установки до миллиона сторублевыми купюрами 61-го года выпуска... Как конек-горбунок на поводу, он сутуло слонялся за Крахтенгольц по офису.

Ежеминутная востребованность закупщика вызывала зависть товарного координатора, тем более что он только отвечал за проворность сотворения чуда последнего. Почти всегда находясь на грани припадка от какой-нибудь в очередной раз откладываемой поставки, он страдал комплексом ложной вины. Ужас начальственного возмездия гнал координатора с его рабочего места, и он то и дело, как дрессированный суслик, препинал своими оправданиями дефилирование закупщика и Лизки, возникая столбиком перед.

Стайки оптовых фармацевтов и торговцев медицинским оборудованием, системных интеграторов и рекламных агентов, командиров охранных агентств и поставщиков строительных материалов, словно ходоки к губернатору, день за днем торчали в приемной, тревожно надеясь на заключенье контракта. Они засиживали кожаные диваны и кушетки, опустошали запасы печенья и кофе, то смуро молчали, то деловито галдели, всякий раз вскакивая в стойку при проходе Кортеза мимо.

Архитектор и начальник строительства были похожи на Тонкого и Толстого. Только неспешный Толстый был раза в два выше бойкого Тонкого. В движении их парочка напоминала планету и ее спутник. Или – пожилого скотчтерьера на поводке и его хозяина на прогулке. Они отличались особым доверием у Воронова. С ними он разговаривал из близи. С заговорщицки смышлеными выражениями эта двоица, добавляясь время от времени стремительным зигзагом горбуна до троицы, то тихо проплывала, семеня, то мгновенно исчезала, как шайка карманников, растворяясь в офисной сутолоке. Строитель и архитектор показались Кате наиболее интересными

из всей галереи сотрудников. Тонкий часто был творчески возбужден и, то сдирая, то снова цепляя на нос очки, что-то чертил в блокноте. Иногда, подозрительно оглянувшись, показывал нависающему над ним, как обвал, Толстому...

Менеджер по связи с общественностью Наташа сидела напротив и, напрочь пренебрегая некой таинственной связью с еще более скрытной общественностью, по целым дням мучилась зевотной напастью. Катя сначала опасалась, что когда-нибудь Наташа вывихнет челюсть, но вскоре перестала. К тому же следить за ней было рискованно – в полсчета можно было заразиться самой.

Время от времени объявляя войну скуке, Наташа бралась за чтение. Тогда Катя оживлялась и охотно поглядывала, следя за стадиями Наташиного проигрыша. Это потому было уморительно, что раз за разом проигрыш происходил по единственному сценарию: «Наталья Павловна сначала его (роман, журнал, газету, конфетную коробку) внимательно читала, но скоро (от минуты до получаса) как-то развлеклась (случайно взгляд спросонья бросив) возникшей дракой (словесной потасовкой, болтовней, чинным обменом мнениями) перед окном (за фикусом в приемной) козла с дворовою собакой (скажем, фармацевта с еще одним фармацевтом) и ею тихо занялась». Занявшись, Наташа вновь неизбежно покорялась зевотой, как тиком...

Будучи доброй и глупой вплоть до попустительства и неведения, Наташа была самым человечным существом в офисе. Своей анемичностью она походила на кувшинку. Кажется, не случайно именно с ней однажды стряслось то, что Катя про себя назвала «аттракционом великодушия». Как-то раз Кортез вернулся в офис с огромной охапкой королевских тюльпанов, мясистых, прохладных, скрипящих в пальцах. Приглашая с ним поужинать, он напористо вручил их Наташе. Та смутилась и хотела подарить один цветок Кате. Так и не сумев объяснить, что нечетное число никак не разделишь на два нечетных, Катя благодарно отказалась.

Внятное ощущение посторонности «коллегам», вытекающее не только из практикуемой отстраненности, но и из простой брезгливости, не исчезло у Кати и после: для нее они все были и остались тамбовскими волками. С самого начала утвержденное уверенностью в своей профессиональной и творческой основательности, позже это чувство смягчилось привычкой. (Впрочем, удобство привычки, касаясь только делового общения, спасало не полностью. В долгий прок уничтожив любые попытки сближения, Катя, хотя и довольствовалась в полной мере свободой своего пространного одиночества, все-таки временами испытывала острую нужду в питающем кругозор общении. К счастью, вскоре после переезда в Мещеру нашелся выход: разговоры с наиболее замечательными паци-

ентами, с помощью которых ей приходилось преследовать некоторые пункты эксперимента.)

Постепенно Катя заметила, что, хотя Воронов и Крахтенгольц были главными тиранами в этом шапито, но и они в крайне уничижительной форме подчинялись Кортезу. В чем состояло подобострастие их подчинения, было не совсем ясно, так как на людях Кортез никогда не обнаруживал свое отношение. Очевидно, ни о каком варианте более или менее равноправного соратничества не могло быть и речи. Например, когда он звонил и требовал явиться, видно было, что в это мгновение жизнь для них, как коврик, выдергивалась из-под ног. Лицо опрокидывалось и застывало слепком. Походка исчезала, превращаясь в упирающееся перемещенье лунатика...

Обычно после таких приводов то Крахтенгольц, то Воронов исчезали на несколько дней и вновь появлялись как ни в чем не бывало. По-видимому, Кортез давал им особые поручения на стороне, на которые никто, кроме них, не был способен.

Уже после переезда в Мещеру всего предприятья и 15-ти месяцев полномерного там функционирования – Кате самой случилось выяснить, что так оно и было.

Сразу после испытательного срока она отправилась в поездку по стране. Ее задача состояла в подборе наиболее ценных для исследований терминальных пациентов. По выражению Кортеза, прежде всего необходимо было позаботиться о «плодородности экспериментальной почвы». В силу долгосрочности проекта Кате также вменялось в службу наладить отношения с главврачами онкологических центров. Нужно это было, чтобы впоследствии, руководствуясь оставленными в их распоряжении алгоритмами, они сами регулярно поставляли для Дома материалы на прошедших предварительный отбор пациентов. (Была установлена тарифная сетка. Пациенты с особенно высоким тестовым результатом сначала оценивались в 50 долларов. Это произвело бум, особенно в провинции. Число успешно прошедших тестирование троекратно превышало полученный лично Катей прогноз. По самым примерным подсчетам, статистика отборных заболеваний после ее турне должна была подскочить в стране раз в десять. Поэтому срочно пришлось ополовинить вознаграждение.) Далее копии медицинских карт и результаты специальных тестов просматривались и по мере надобности в пополнении утверждались. Составленная заявка передавалась в службу доставки, и пациент, если был еще жив, эскортировался на полигон.

И вот однажды весной на ее столе появилась медицинская карта Глеба.

Почему-то Катя сразу заперла дверь.

Неподвижно просидела за столом до вечера.

Очнувшись, несколько раз обвела карандашом дату рождения.

Перелистнула диагноз. Нетривиальная форма ретинобластомы. 15-процентное коаксиальное поражение зрительного нерва. Вторая степень. После терапии – стагнация. Комментарий сомневается, что это именно ретинобластома. Возможно, мутация нервных окончаний вызвана перенесенным направленным облученьем...

Катя швырнула карту на пол.

Подошла к окну.

Внизу, в серебряных сумерках затмения черная точка зенита напористо влекла курс теплохода под свой отвес.

Катя вскрикнула.

Глеб оглянулся с бушприта. Махнул рукой, убеждая, что все в порядке.

Отчаявшись разыскать Глеба естественным методом (через клинику и эскортную службу), она обратилась к Кортезу. Тогда, полоненная горем, Катя хотела отправиться в Москву сама, но оказалось, что об этом не может быть речи: к Глебу будет командирован горбун.

Сложное это дело, чуть не закончившись провалом, непредвиденно затянулось, и Воронов, едва оставшись цел, вернулся в лес через месяц.

Заполучив Глеба к себе, Катя немного успокоилась: главное – он был при ней.

Чтоб было чем заняться, устроила его в бюро к Наташе – по требованию заниматься разной мелочью: переводами, составлением еженедельных сводок общественной жизни, быть в помощь на подхвате при подготовке к «дням варенья» – когда вечером последнего воскресенья поздравлялись скопом все рожденные в текущем месяце пациенты, и т.д.

Однако она совсем не была уверена, что он скоро обвыкнет в Доме. Так и вышло – много он ей доставил мороки. Кортез даже настаивал на устранении, и Кате едва удалось уладить. У Леонарда же вырос зуб на Глеба, и было понятно, что все равно так просто ему он не спустит.

Однако же Глебушка ведет себя как маленький, блаженится, и непонятно, что с этого будет. Письма его совсем сумасшедшие стали. Вот, например:

«Здравствуй.

Сегодня я решил взглянуть на нас со Стефановым со стороны.

В конце концов, это полезно – посмотреть извне, может, все совсем по-другому, чем снутри кажется. И вот что из этого получилось.

Что получилось из этого, снова оказалось связано с числами. Так вышло не нарочно, я сам удивился. Стоило только начать думать, как тут же возникла заминка. Честное слово, я отталкивался от самого простого. Просто подумал для начала, а что прежде всего известно о нас миру? Конечно, прежде всего то, что нас двое. Ага, подумал я, вот оно что. И стал рассуждать – будто с горы покатился. Просто-таки себе же на голову...

Допустим, стал я думать, в тридцать седьмой живут двое. Впрочем, если честно, я не совсем уверен, что и х там ровно двое. Но, по крайней мере, двоих, что появляются из 37-й и в ней же исчезают, я различаю наверняка.

Так вот, положим, в 37-й живут действительно двое. А может, и несколько. Возможно также, что один. Впрочем, не исключено, что там вообще никто не живет. Между прочим, 37 – странное число. Оно составлено из 20 и 17. Двадцать, конечно, не в счет – ничего необычного 20 собой не представляет. Подумаешь, дважды отрубленные пальцы рук... И вот именно потому, что в нем нет ничего особенного, его запросто можно взять за точку отсчета. Как это? А например: человек родился в свои 20 повторно, и действительный возраст сознанья таков – 17. А вот 17 – это уже вполне странное число. Много дурного исчислено им. Чтоб далеко не ходить, именно на 47-м километре находится та дача, где ночью я впервые встретил горбуна...

Можно множить примеры. И все они будут зловещи.

Итак, в тридцать седьмой палате живут какие-то двое, но я уже говорил. Живут странно, хотя мне не с чем сравнить. Впрочем, если их жизнь действительно, как мне кажется, странна, то и пусть, все равно, лишь бы были бы живы.

Да, сейчас я еще раз подумал об этом, и вот что: может, их вовсе и не двое, а трое, пятеро, сколько влезет, но только в двоих я уверен, что они выглядят более или менее неодинаково и настолько все же друг от друга отличны, что, различив, я могу сосчитать.

До двух, как и сказано.

Потому я и говорю, что в 37-й живут двое.

А не семеро. Было бы семеро – я бы так и сказал.

В то же время и семеро не исключено. Например, прочие пятеро могли бы быть почти одинаковы и, в целом, неприметны, как санитары... Но тогда вряд ли бы я догадался отождествить их всех вместе с неким собирательным третьим и подселить в своем представлении в 37-ю. В самом деле, мне ведь не приходит в голову поселить туда добрый десяток медбратьев, которые тоже вполне регулярно появляются и исчезают... И это при том, что появляются они куда как чаще, чем исчезают.

Вот если бы вдруг в дверях объявился Кортез, тут уж, конечно, его не с кем спутать. И тогда его точно можно было бы туда подселить, невзирая на странность: казалось бы, чего уж ему там делать, не жить же?

(В том-то и дело, что н е ж и т ь.)

Кстати, спутать Кортеза не только не с кем, но и опасно. Спутать его можно только с ним же самим. И это рискованно. Например?

Например, со мною такое случилось. Ты, кажется, знаешь эту репризу со слов Крахтенгольц. Но, увы, она врет всегда, даже когда говорит чистейшую правду. Теперь послушай, как оно было по правде.

Однажды я забыл про все на свете и пошел к Кортезу на прием: попросить выписать меня отсюда подобру-поздорову и к чертовой бабушке, поскольку я вроде бы нынче здоров и уже надоело. Поболтав в приемной с Наташей (была занята, но весело отвлеклась и даже чуть-чуть пококетничала; ты знаешь, мы вообще с ней друзья, хотя непонятно, чего у ней с этим извергом общего?!), – захожу. Потом – сам не помню, но мне рассказала Наташа. Через мгновенье, а может, и меньше, неведомая сила выбрасывает меня из-за двери, дверь, стукнув, пружинит обратно, я, буравя воздух, кувыркаюсь и, приземлившись о диван, лежу – не дышу, и обидно мне так почему-то, что даже как будто бы плачу...

В результате нехитрый вывод: выходит себе дороже – забывать, с кем имеешь дело. А ежели все же забыл, то нечего лезть на рожон без спросу, – сначала спроси, кто и что там – за дверью, а уж после и лезь; или – не лезь совсем: передумай.

После того, как Кортез так жестоко меня отфутболил, долго во мне закипала досада. Хорошо не вскипела, а то бы я вновь отличился. Тогда же я понял – у Кортеза отличная память: однако ж меня он не спутал, а я – еще как. Я понадеялся все же: он – добрый, он меня выпишет, хоть немного жалея. Я спутал его с его доброй ипостасью. Таковой же не оказалось. А вот меня он не спутал, поскольку помнил все время и счесть за выздоравливающего никак не мог.

И вот с тех самых пор я начеку, и уж кого-кого, но Кортеза даже с ним самим ни за что не смогу перепутать. Следовательно, я и говорю, что в 37-й живут только двое: я и Стефанов. Потому как Кортез к нам не может никак быть подселен, а невидимки не в счет.

Вот такие странные посторонние рассуждения у меня сегодня получились.

Закругляясь, хочу еще раз повторить свою прошлую просьбу: вернуть мне письмо. Его существование, от которого мне слишком долго не по себе, должно быть прекращено. Знаю: так просто ты не отдашь. Поэтому сообщи условие. Терять мне, кроме тебя, нечего – я буду сговорчив. – Твой Глеб.

P.S. Забыл рассказать. Это забавно.

Третью ночь мне снится день, в котором я умираю, мучительно просыпаясь. Измотанный этим сном, нынешним утром я постарался припомнить, в чем было там дело. И было ли в самом деле? Слова припоминания лопались во мне, словно воздушная кукуруза: твердый, как жернов, глянец зерен, раскаленный моим напряжением, раскрывался мягким свето-пухом, белым, словно соцветье хлопка. Белизна есть сгущенье света, в то время как потемки есть сгущенная пустота. И вот что там мне приоткрылось. Берег Мертвого моря. Кумран. Мы с тобой ночуем в раскопе. Ломаем на пенке овечий сыр, запиваем белым сухим. Духота. Комары. Кругом бездна, ни зги, хоть коли глаз навылет. К краю крадусь по малой нужде. Струя зарывается в темень беззвучно... Всходит луна. Светом огромный воздух заливает ландшафт, как софиты футбольное поле перед кубковым матчем Армагеддона. Серп моря внизу цвета медного купороса, цвета арака – арабской анисовой водки. Мы взбираемся на заветный пригорок, где искрящийся столб: жена Лота. Во сне говорит рабби Биньямин: «Хотя протекающие мимо стада и облизывают этот столб, но соль вновь нарастает до прежней формы». Я встаю на четвереньки, и язык мой немеет ослепительной белизной, прощеньем... И вот пробуждение. Ржавый баркас. На палубе мне надевают колпак водолаза. Поднимают лебедкой за шкирку. И спускают за борт – в плавку соляных копей. Я шагаю по дну – от Гоморры к Содому. Но на середине кончаюсь дыханием яви».

Глава 21

МЕСТО СТЕФАНОВА

Катя любила лес еще и за произрастающую в нем невидимость. Только в невидимости, считала она, можно по-настоящему оказаться одной.

В детстве она обожала играть в прятки. У нее был отчетливый дар исчезновения. Часто выигрывала «в сухую», когда все, уже отыскавшись, вместе с водящим принимались искать ее, крича беспокойно, чтоб наконец открылась. Пряталась она лучше всех не потому, что была самой удобной для исчезновения. В ее компании были девочки и покомпактней. Например, Светка Дроздова – сущая мелочь, хоть под «лисичкой» спрячется, а найти ее – проще простого. Даже в кромешках Светика выдавал мышиный блеск глаз: от любопытства.

Катя всегда в игре старалась полагаться только на слух и осязанье, которые при достаточной глубине чуткости превращались в интуицию: прячась, она прикрывала свои большие светлые глаза, чтобы зрение ее не отвлекало. Она никогда не старалась выбрать самое укромное местечко-невидимку. Зачастую ей удавалось спрятаться просто у всех на ладони. Однажды была осень в парке. Катя спокойно отошла за недалекое дерево, набрала охапку кленовой листвы, села на корточки, прислонилась поудобней к стволу, надвинула на глаза берет и подбросила над собою листья. Осторожно втянула в рукава мерзнущие руки. Этого оказалось достаточно, чтобы битый час одноклассники искали ее по дорожкам и врассыпную – с ауками и расспросом прохожих.

Играя в прятки, Катя открыла свой собственный метод исчезновения. Хоронясь, она с внимательной уверенностью бродила в поисках места по полю возможного зрения и что-то, прикрыв глаза, представляла. Меняющаяся степень исчезновения руководила ею, как искомая глубина на долгой отмели, при выборе перемещения лодки. Наконец, выбрав самое глубокое – иногда по глаза – место, она примерялась к нему, внутренне помещая в свое представленье округу, и если удавалось в ней раствориться, на этом и останавливалась. «Если сама себя не вижу, – думала она, исчезнув у себя в голове в пейзаже, – то и меня другим должно быть не видно.»

Живя в Доме, Катя любила гулять по лесу, особенно зимой. Дремучая бескрайность леса успокаивала ее, оделяя чувством безопасности. В лесу она считала себя своей и, глядя в окно, всегда думала о нем, как о близком убежище.

Гуляла она исключительно в одиночку. По ее просьбе раз в неделю дежурный санитар на снегоходе обновлял семикилометровую петлю лыжни. Кривая петли напоминала гуся и, проходя в основном по мшарам, в трех местах – у клюва, лапок и гузки – пересекала дугу оврага. Третий спуск был особенно крутым, почти падение. На нем возникала внутри восхитительная пустота, и за какое-то свистящее в ушах мгновение у ног вырастали и громоздились в верхотуре большие деревья. Спинка «гуся» имела легкий уклон, и по ней можно было долго катиться, спокойно приподняв лыжные палки. Прямолинейное движение ландшафта, как на фуникулере, не спеша продвигалось за спину на целый километр. Вся петля занимала не больше часа.

Иногда Катя сходила с лыжни и заходила в лес так далеко, словно, пробуя заблудиться, хотела проверить, не оборвется ли растягиваемая длиной пути обратно ее тяга к жизни в том месте, от которого она удалялась. Ей хотелось, чтобы тут же пошел сильный снег и скрыл следы на насте.

Наконец остановившись, Катя долго стояла между розовыми стволами сосен и медленно следила за их прямой высотой. Она смотрела вверх и думала, что лес вверху – это избыток прозрачности неба, выпавший вместе со снегом на вертикальность роста деревьев. Спускаясь взглядом: что куст в снегу похож на пещерный город, выпиленный из соляной горы, а искры на нем – выскакивают из-под пилок прозрачных человечков, которые, живя постоянно в глазу, неожиданно решили построить и переселиться в новые жилища. Катя радовалась за человечков, но тут же пугалась, что еще не известно, какие чудища замерли на время зимы под ногами, в глубине жуткой топи, скованной морозом.

Отправляясь на лыжную прогулку, Катя надевала унты, спортивный пуховичок и шапочку из шкурки белого зверька, нечто вроде облачка, которое можно потрогать и сжать руками. Затем она брала лыжу и, ощущая, проводила по скользящей поверхности ладонью. Если недавно была оттепель, она жалела, что лыжа будет страдать от свежего наста, и тогда слой мази напрасно наносился ею толще, чем обычно. Лыжи были специального изготовления, наподобие охотничьих. Будучи выпрошенными, они достались ей от одного геолога, приятеля Глеба, который забросил таежную разведку и подался в составе международной экспедиции бурить шельф Белого Тигра у побережья Вьетнама; где и канул. Недлинные, они расширялись кверху и были похожи – также и цветом – на расплющенные бивни.

Катя вернулась с прогулки и ставит лыжи на место. Она устала и не глядя сбрасывает на столик вытащенную из-под двери почту. Включает чайник, сыплет кофе, кладет лимон. Лыжи устойчиво устанавливаются между вазонами в зимнем садике, который пышно устроен у окна и занимает большую часть комнаты. Комнатная зелень и цветник – Катин каприз и всепоглощающий предмет досуга. Здесь цветут флоксы, бегонии, фиалки, зеленятся аккуратной сферической стрижкой самшит, барбарис, можжевельник, зимуют на противнях луковицы тюльпанов, ирисов и георгинов, вьются обильно барвинок, каллиопис, виноград. У камина экономно – из двух матрасов и низкой тахты – сложно составлена постель, с изголовья одолеваемая буйным полчищем повилики, сползающей набегом с отцветших кустов олеандра. Катя раздевается, наливает кипятку и забирается под одеяло – холодно. Ежась, дотягивается и разбирает почту. Среди прочего отыскивает пакет от Стефанова с его долгообещанными записками. Вскрывает и просматривает его беглый, но пространный опус. Превосходный прямой почерк читается, как печатный. Она торопливо прихлебывает кофе и, проведя по губам от еще не опустившихся на дно крошек, пробует начать не сначала:

«<...> Мне кажется, вы уже решили, что я отвлекся. Более того, подумав, я понял, что вы были вправе решить так с самого начала. Уверяю вас: я пишу только о важном. Надеюсь, скоро это станет окончательно ясно, а если нет – то и ладно, в этом не будет ни моей вины, ни вашей, поскольку мы оба совершенно свободны относительно данной эпистолы: я в выборе адресата, вы – корреспондента.

Но в самом деле, может ли человек, помещенный в фокус столь тягостной ситуации, говорить о вещах, совсем, казалось бы, не отягченных этой самой тяжестью, т.е. попросту легкомысленных. Не может ли это вызвать, по крайней мере, недоумения? Конечно, задуманный вами жанр «свободной темы» не вполне является свободным. Он, хотя и с точностью до упорного молчания, или же крика, все-таки определяется своим контекстом. Контекст в данном случае – наш Дом и суть нашего в нем пребывания. Будь это школьное сочинение, им было бы то, что интересно подростку, но с непрекословным, хотя и умалчиваемым, уклоном в сторону школьной жизни. В том-то и дело, что плоть нашей жизни в Доме – расставание с жизнью. Данное обстоятельство расширяет контекст до предела, по-настоящему выпускает порезвиться на волю тему и жанр, – с тем чтобы они насобирали, как цветочную пыль, как мокрые пятна от травы на локтях рубашки, как ссадины, подбитые коленки и чернильные синяки, – вдоволь всего, что только важного и интересного имело шанс приключиться. Я убежден, если «свободная тема» и имеет свойство какого-нибудь жанра, то только такого, взявшись за который пишущий должен поместить свое воображение в представление о близком конце и писать так, как если бы был уверен, что, закончив, помрет. Это, разумеется, влечет за собой определенные композиционные сложности: обостренный симуляцией опасности инстинкт самосохранения исподволь лишает такие записки законченности. Что, впрочем, едва ли умаляет их общее достоинство остросюжетности: захватывающей цепкости последнего припоминания.

Однако хочу подчеркнуть – в моем случае эти записи, к счастью, лишены «комплекса незавершенности»: они оборвутся там, где надоест, или – что, впрочем, то же – где уже больше не буду способен писать, – никакого искажающего смысл напряжения я по этому поводу не испытываю. Единственным дисциплинирующим условием остается внимательность, каковая обязывает н е писать со скучным смыслом расставания, но просто п и с а т ь, не допуская ни одной детали, с которой мне было бы не жаль расстаться.

То же касается и того, что я собираюсь сказать здесь о Глебе: он с полным – чуть не с большим, чем я сам – правом входит в мою «свободную тему». Я даже считаю просто-таки необходимым представить вам свой сторонний взгляд на него – в надежде, что тогда ракурс ваше-

го мнения приобретет хоть какую-то составляющую объективности. Поверьте, здесь нет и примеси сводничества! Мое намерение рассказать о Глебе обусловлено тем же стремлением уберечь хоть в чьем-нибудь, пусть совершенно равнодушном сознании то, с чем я расстаюсь.

Мне очень полюбился этот юноша. Трагичность его случая, его истории, столь же бессмысленна, сколь бессмысленны и все мы, но мне все-таки очень трудно думать, что и он пропадет зазря. Надо сказать, мое чувство о Глебе свободно, в нем нет ни доли сомнительного отеческого благоволения, ни придури старческого сожаления о «рано ушедшем». Я знаю его историю. Возможно, я знаю ее далеко не полностью. Но мне все же известно, что его история в некоторой степени также и ваша. Поэтому я собираюсь не допустить в свои записи оттенок апелляционного тона, а так как они – хотя бы потому, что вы их читаете – к вам обращены, то впредь любое упоминание о вас будет следовать в третьем лице.

Обещаю быть далее, как и прежде, внимательным и еще сильнее сосредоточить себя на том, чтобы не допустить ни одной по отношению к моему, или Глеба, контексту случайной детали. Вам же я предлагаю взять все это так, как оно есть, а вот сможете ли вы вывести в результате актуальное для себя содержание – зависит только от вас, я же утверждаю: его там вдоволь».

Кофе выпит и лимон задумчиво обсосан – губка. Спустя еще более туманную страницу Стефанов наконец продолжил:

«Я вырос и жил в городе, в котором любят гулять по бульварам.

Это особенное занятие – гуляние по бульварам. В нем нет ничего общего с гулянием, скажем, по парку. Посещение парка – занятие значительно более праздное. В парке глаз слишком уютно обволакивается полутенью, слишком нежно согревается полусветом, чересчур убаюкивается сменой жестов ландшафта, слишком барочным паденьем листа...

В парке глаз рано или поздно безоглядно теряет бдительность: стоит ему только поудобней завернуться в кокон надежной – поскольку выдуманной садовником – растительной безопасности. На бульваре не так. Находиться на нем не то чтобы рискованно, но не безопасно. Хотя бы потому, что бульвар – все еще улица, еще не совсем аллея: идти по нему можно куда угодно – и «от», и «навстречу», а не просто, как в парке – гулять по нигде.

«Неблагополучность» бульвара проявляется, в частности, в том, что на нем запросто можно встретить какое-нибудь происшествие сторонней жизни, например, похоронную процессию, свадьбу, несчастный, или просто – случай. Парк же – это теплица уюта. В парке парочки милуются (ссорятся они – на бульваре), а похоронную

процессию в нем можно встретить, только если покойнику, или его друзьям-родственникам, придет в голову предоставить телу возможность попрощаться с местом, где оно любило быть движимо собственными ногами; самому парку с ним прощаться незачем. В то время как похороны для бульвара – естественное отправление его функции перемещения по городу.

Кроме того, парк статичен – крепежные места его неподвижности: статуи, клумбы, кусты, пруды. Бульвар же похож на неспешную речку – с пристанями скамеек, верхними палубами бистро, плоскодонками мороженщиков и тихими, но ночами тревожными омутами, – которые зыбко расплываются колыханьем теней по возобновляемым спиралям в заводях сквериков, детских площадок, технических площадок, в поймах боковых дорожек и прочих захолустьях ландшафта...

Что касается топологических особенностей устройства парка, то здесь кое-что, намечаясь, проясняется, и уже меньше дивишься различию в своем пространственном восприятии (для меня быть на бульваре или в парке – это странным образом примерно так же, как для солдата быть на передовой или в тылу).

Дело в том, что парковая аллея, в отличие от аллеи бульвара, лишь имитирует линейность, являясь на деле окружностью: и начало, и конец ее сополагаются с одним и тем же, так сказать, место-объектом – парком вообще. Начав и закончив движение, наблюдатель остается с тем же результатом своего местонахождения – в парке (разумеется, в случае достаточной обширности последнего). То же относится и к шпалерам, и к дорожкам, и вообще к любому пешеходному элементу паркового ландшафта.

По бульварам же запросто можно переметнуться на другую сторону города.

Вместе с круговым перемещением в парке мы снова имеем ту же, что и с тенью, светом, ландшафтным жестом, чуть не бронированную замкнутость, утробную устойчивость существования взгляда... В общем, противно теплое, как остывший сладкий чай, болото зрительных чувств, никакой производящей, осмысляющей пространство, – остроты восприятия.

Сквозная перспектива аллеи бульвара тревожна. Она обостряет инстинкт самосохранения: неизвестный фронт будущего и уже изменившаяся обстановка незащищенного тыла подхлестывают зренье на более чувствительный, чем у посетителя парка, уровень. Вот, в частности, почему гуляющие на бульваре оглядываются чаще, чем в парке, и даже чаще, чем на улице. В парке им незачем это делать, поскольку ноги рано или поздно, благодаря вензелевой витиеватости дорожек, сами поместят взгляд в нужный ракурс; да и что непредвиденного, кроме дождя, может произойти в парке? В случае улицы – это

просто неэкономно и не особенно важно: слишком много усилий глазных мышц уходит на обтекание встречных, слишком бессмысленно в кривой, как лабиринт термитника, Москве оборачиваться, – с тем чтобы, как это бывает всегда в Питере, с наслаждением отметить роскошную выверенность городской перспективы.

На бульваре всегда, несмотря, что он исхожен насквозь с рождения, то и дело тянет застыть, оглянуться, встать на бордюр, на цыпочки, чтобы видеть получше – поверх голов, – что там – в не наставшем будущем или в упущенном прошлом, или в том прошлом, которое вот-вот, на мази, готово обогнать настоящее, обернуться – смутить неожиданной встречей. К тому же на бульваре можно запросто встретить себя самого.

Бульвар – это вообще как бы пространственное состояние полупрозрачного, как сквозь кальку, графического предвосхищения, – он как бы вынесен, приподнят над плоскостью, определяемой тремя временными точками: настоящим, прошлым и будущим. Предвосхищение, достигаемое на нем – «короткое замыкание», сверхсветовая хорда, взятая на орбите времени города. Это особенно ощутимо на бульваре ночью, когда обычное, линейное движение прохожих не мешает, увлекая, внять подлинному смыслу своего местонахождения. Отодвинутое городской засветкой небо, с завязшими в облачности двумя-тремя звездами; обступающие, словно неприятельские берега, дома и сквозящая из вечера в утро тоска только усиливают это дикое ощущенье себя – как глазного пузырька, который, вбирая вневременной отсвет, отчаянно всплывает наобум в никуда сквозь стеклянную толщу ночи...

Если же заснуть на бульваре, на скамейке (в юности я пробовал не раз), то сны, странные сны, которые могут на ней присниться, делятся четко на два вида – насыщенные летом птичьи и те, что совершенно бессодержательны, как небо планетария, будто спишь с открытыми глазами... Вообще, ночью на бульваре бывает немного жутко. Иногда за спиной, в височной области зрения, можно почуять любопытные узкие тени, которые, зыблясь гнилушным пламенем у стволов и изредка шмыгая исподтишка от дерева к дереву, никак не решатся приблизиться к дорожке, чтобы, помешкав, забежать и заглянуть в лицо. Постепенно спадающий напор трассирующих автомобилей их не пугает – они равнодушны к дорожному движению, как к ветру, и даже, возможно, испытывают по отношению к автомобилям, как и ко всякому механизму, некое родственное чувство. Или, если не родственное, то по крайней мере чувство определенной благорасположенности, как к представителям того же отряда – «частично живых»: ведь человек, управляющий автомобилем, неодушевлен ровно настолько, насколько неодушевлен его автомо-

биль, в то время как городской призрак, кочующий по бульварам, одушевлен в той же мере, в какой одушевлен сам город...

Однажды, засидевшись за полночь на Страстном, я случайно увидел сцену, впечатление от которой, прозрачно застыв в памяти наподобие линзы (так запечатлевающая капля вишневой смолы, в которой увязли два сцепившихся муравья – я и событие, – закрепляет их навсегда в янтарном хрусталике совместного припоминания), еще более уплотнило мое внимание к бульварам, как к особым местам городского сознания. Там, посредине Страстного, в конце 50-х, находилась довольно пространная лужайка. Была весна, шла подготовка к параду Победы. Под вечер на бульвар с Красной Площади приводили командирских лошадей – на ночевку. Их сторожа, два-три армейских конюха, с полуторки, забравшейся двумя колесами на тротуар, деловито подтаскивали на вилах охапки подсушенного за день прошлогоднего сена. Один, пронося подле, обронил клок, и я услышал ветхий запах, который тут же замкнул припоминаньем все будущее лето, цветенье его трав, луговые окоемы, дачное восхитительное безделье, и я задохнулся... Стреноженные лошади переминались по лужайке, тянулись от ворохов сена мягкими губами к редким травинкам, из-под ленивого взмаха хвоста гуками роняли рассыпчатые шматки помета. Среди них была одна удивительной масти – цвета цветущего каштана. Тех, что строптиво проявили себя перед строем, наказывали, дополнительно объезжая: по очереди гоняли на длинных вожжах по кругу. Но скоро эта показательная кутерьма успокаивалась. Зажигались фонари вдоль дорожек. В отдаленных сумерках плавные силуэты лошадей таинственно кланялись липам. Я сидел на скамейке под еще мелколистной сиренью. Не верилось, что ее такие жидкие сейчас кисточки скоро вскипят пеной пятилепестковой роскоши персидского рассвета...

В ту весну я чуть не каждый вечер сиживал на этой скамейке. Город был прозрачен и почти невесом, дышалось как-то особенно головокружительно и легко. После занятий в университете я сходил с трамвая в Замоскворечье, гуляючи шел до Каменного моста, выбирался по нему на Пречистенку и далее брел бульварами до Страстного, где усаживался – ждать. Иногда она выходила только на несколько минут – если ее строгая бабушка ставила условье: сегодня быть дома. Случалось, она забирала меня с собой. У нее мы выпивали, сидя на подоконнике, шириной с диван, по чашке чаю с абрикосовой пастилой, и скоро я отбывал восвояси под непременное ворчанье Элеоноры Михайловны: что вот как, мол, вредно влюбляться в разгар семестра, неровен час, и влюбленный превратится в бездельника. Маша всякий раз вспыхивала и скороговоркой оправдывала меня, как лучшего на курсе; правда, безрезультатно.

Выйдя на улицу, я не спешил домой (жил я неподалеку – в Телеграфном переулке), а снова усаживался на ту же скамейку, и сидение мое было похоже на полет.

Однажды я действительно долго отсутствовал в своем воображении, и когда очнулся, то понял, что уже сильно за полночь. На бульваре никого. Фонари над дорожками погасли, и жидкий дальний отсвет едва добирался от тех, что над тротуаром. Я услышал похрапывание и гулкое взбрыкивание. Каким-то образом лошадям удалось выпростаться из стреног, и теперь они воинственной гурьбой смутно толпились на лужайке. Видно было, как время от времени Белая яростно взлетала на дыбы, и тогда в округу взметывалось ее торжествующее ржание...

Я почуял неладное. Вдруг, будто сговорившись, они все разом понесли по кругу. Я вскочил и двинулся ближе. От ужаса – чтоб не смело – присел на корточки. Привидевшееся мне если и поддается описанию, то только многоточьем. Как бы отсутствующий во сне город, совершенно пустая тишина, и дикий сосредоточенный в вихре топот, который неостановимым галопом, вея гривами мощный ветер, взвинчивал в черт-те куда Москву, брал этот город в упряжку, силясь сдернуть его, вымести из пространства... Не выдержав, я бежал. За спиной я услышал полоумные крики сторожей, которые, с вечера накирявшись, попадали спать на сено в кузове и теперь, спросонья, попали в панику: стой! куда! тпру, лови, держи!..

После, испытав потрясение этим случаем, я записал его следующим образом:

«Лужайка на Страстном всегда в ухабах, ямках: сюда коней приводят по ночам и, завертев их бег по кругу, на произвол бросают... Мчатся бесы по бесконечному – но только до утра – пути среди теней деревьев, – сами тени, если б не стук глухой и клочья дерна вокруг не рассыпались на дорожки, на пятна от луны и фонарей. И в час, когда случайных нет прохожих, их ржание на миг пронзает город, и, повинуясь, выползают духи из переулков, двориков и чердаков. Одни становятся вокруг, иные, привалившись к стволам, поодаль, – чтобы наблюдать безумие и страх, чьи бег и пляска сокрыты днем в словах, делах, прогулках... Здесь духи ни при чем, они – статисты. Но кто-то должен видеть! И зрение их длится до поры, когда троллейбус первый вот-вот отчалит с Самотеки... Когда-нибудь – никто не знает – те кони бег свой распрямят и, взяв в упряжку Белый Город, исчезнут с ним в тартарары... И мы тогда лишимся места для наших горестей, печалей, бед, а также счастья. Впрочем, станет легче: ведь нам останется не замутненное пространством время. Точнее, вызов: шанс его создать.»

Да, ожидание вечером на Страстном бульваре было в то лето моим излюбленным занятием. Облюбованная среди прочих – и в скверике, и вдоль дорожек – скамейка была выбрана мной не случайно: с нее открывался превосходный вид на всю западную часть бульвара и на дома за ней на Петровке. Выходило так, что я сидел на этой скамье, как впередсмотрящий на носу своего корабля-ожидания. Я обожал предаваться этому таинственному плаванию и мог находиться в нем сколько угодно. Иногда намеренно приходил пораньше (тогда я пропускал Замоскворечье и сходил уже за Каменным мостом); немного позанимавшись, незаметно для себя отрывался взглядом от книги, и тогда паруса моего ожидания, наполняясь тугой тягой воздушного воображения, выносили меня над бульваром, и, чувствуя под собой мягкие, остывающие от дня перья воздушных токов, я невидимкой упивался напором взлета, напором своего неостановимого движения, которое, по сути, и не являлось простым движением как мерой пространственных событий, но – неким становящимся устремлением, парением, чьей воздушной опорой было упругое усилие осознания смысла этого города, этого лета, погоды, ландшафта округи, зрения, – всего, что вливалось в мое существо и осознанием его переполняло и вытесняло: под конец меня самого в моем плавании не было, я был лишь его направлением, медленным ветром. Потом, задним числом, мое отсутствие в таком состоянии мне представлялось невероятно важным: размышляя об этом, я пришел к выводу, что, вероятней всего, в такие минуты я исчезал, растекаясь по оболочке видения, и целиком воплощался в мысль моего города; что именно тогда сознание Москвы, наиболее полно исполнившись в моем собственном, вдруг расширяло его до пределов городского окоема и выплескивало меня своим произведением вовне, устраняло, стирало, замещая зрящим бликом, зависшим в плавании по его прозрачному куполу...»

Страница только началась, но Катя поняла, что ей становится скучно и, не удержавшись, скользнула глазами в сюжетных поисках дальше:

«Маша жила в угловом доме на пересечении бульвара и Петровки. Она жила в нем в коммуналке с бабушкой, в последнем этаже. Отец остался на поселении под Челябинском. Мать умерла в Хабаровске в сорок девятом. Отец писал, что в Москву не вернется. В начале апреля мы ходили на Воздвиженку – забирать документы по реабилитации ее родителей. Маша потом рассказывала: вернувшись, она протянула конверт Элеоноре Михайловне. Та его тут же изорвала и сожгла в пепельнице. Горящая бумага, корежась, вывалилась на стол и подпалила скатерть. Бабушка сидела неподвижно. Скатерть после пришлось заштопать крючком, стянув обрезанные края кружевной ромашкой...

С бульвара я видел окна их двух комнат. Когда гасли оба, ждать мне оставалось мгновенье. Бабушка-фрейлина, из «невыясненных», была своенравна, но парадоксально демократична, и следовательно, вполне нравственно прогрессивна. Уложив ее спать, но не раньше, Маша была свободна. Вовсю шла подготовка к летней сессии, и днем нам не хватало минутных встреч в универ-...»

Она делает вылазку, чтобы заварить себе еще кофе, и срочно забирается в постель обратно. Судя по нумерации, следующие пять страниц выпали, и Катя с некоторой досадой, наскоро пролистав весь опус Стефанова, смиряется с пропуском:

«Да, я вырос и жил в городе, в котором любят гулять по бульварам... Весной их дорожки посыпают крошкой розового мрамора. Еще не затертые подошвами, грани крупинок породы вспыхивают где-то у самых глаз пешеходов, там и сям мигая под изумрудными брызгами раскрывшихся почек. Этот кремнистый салют, перепархивая по конусу зрения, растворяется в конце аллеи – там, где фигуры людей, перемещаясь в глубь солнечной перспективы, вдруг охватываются лохматыми охапками света и, вспыхнув, мгновенно чернеют и исчезают. Они исчезают там, где небесная колея аллеи вливается в запруду, опрокинутую на площадь. Площади – звенья цепочки, составленной бульварами...»

Катя поняла, что старика, как всегда, повлекло еще на один круг по новой, и перестала читать. Пошла в ванную комнату, пустила воду, чтобы залечь – согреться. Разделась и зябко посмотрелась в зеркало. Подобрала волосы и, зачерпнув пенную пригоршню, плеснула в отражение...

В ванной Катя решила досмотреть записки Стефанова и неожиданно наткнулась на интересное. Это была попытка рассказа. Пришлось подбавить горячей. Алексей Васильевич, предусмотрительно извиняясь за неловкую и неуместную художественность этого отрывка, писал:

«По некоторым причинам, касающимся моего отношения с пространством, я часто оказывался на грани бездомности. Случалось, когда подпирало, я выбегал из квартиры, как из пожара, и долго, не в силах прийти в себя, слонялся по городу. Это могло продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Тогда меня было бесполезно разыскивать. В такие загулы со мной происходили разные истории, иногда очень забавные. Вот одна из них.

«Попутало меня однажды оказаться в метель на бульваре голодным.

Февраль. Стемнело еще вчера, и погода такая, что хороший хозяин... В общем, валит снег по колено, по горло, по разум. Ветер кроет наотмашь. Жить нельзя.

Ночь. Белый зрачок великана всматривается в город-соринку и ни черта не видит.

Четвертую ночь я ночую в подъездах. И сегодня мне не хочется возвращаться. Но я говорю себе: тебе надо домой хотя бы потому, что ты голоден...

Ночь. Никитский пуст. Серая река вспучивается напором темени и наваливается на грудь.

Ночь. Ветер норовит ее опрокинуть и ворочает что есть силы.

Я бреду по бульвару. Меня швыряет, как мусор.

Мне нужно к метро – позвонить. Есть хочется так, что и не хочется, но ослаб, и надо срочно что-нибудь съесть. Но прежде я должен дозвониться.

Ночь будто в брюхе мертвой рыбы. Хлопья мги – чешуя – порхают, кружатся, бесятся. Свет фонарей едва продирается между их толкотней, словно творог, откинутый на марлю.

Ночь. Голодно так, что ноги чужие и в висках пищат мыши.

По бульвару бреду ванькой-встанькой... И ни разу ничком, все навзничь.

Зима, не зима, – но ночь – будоражит своим дыханием снежных духов. Не хочется вставать, еще раз упав. Но духи гудят и топочут по лицу, и становится страшно...

Наконец площадь. На том конце светится кинотеатр. Еще теплый манекен в разбитой витрине. Осколок вкроился в череп и косо торчит, как парус. Снег захлестывает и тает на виске неоновой бледной кровью.

Постовой стоит и пишет. Время от времени трясет планшетом, сбивает ладонью снег.

Забираюсь в телефонную будку, звоню. Не отвечает.

Постовой заглядывает мне в лицо. Отходит.

Мне надо дозвониться. Я должен знать: ее больше нет.

Милиционер пристукивает каблуками и трясет рацией у уха.

Я дышу на пальцы, но они мертвы. Как прутиком, набираю номер.

Вдруг кто-то хватает за плечо. Испуг, вопрос, мучительность ответа, все – в медленном взрыве – вместе:

– Ты праведный?.. Тогда доведи до дому!

Она берет меня в оборот под локоть и тут же падает, обмякнув.

Я пробую поднять, но шуба стаей норок выскальзывает из рук врассыпную.

Смотрит в ногах – и страшно: меня больше нет.

Она пьяна, и я сам падаю дважды, прежде чем, наконец поднявшись, нас полтора пошли.

– Куда идти? – спрашиваю.

– Она покажет.

Вижу, впереди сквозь стену метели вышагивает карлик в шапочке с помпоном, в резиновых сапожках. Машет рукой, мычит, кривляясь.

Снег валит, как из-под лопаты. Дорожное движение, уже было иссякнув, вдруг сорвалось с цепи: две «Волги», криво-косо выруливавшие с проспекта, размашисто вихляют и, не выбравшись из заноса, колотятся друг о друга, о бордюр, об столб, застывают враскоряку.

Мы чудом возвращаемся на бульвар, и снова глохнут в снеге фонари...

Мы падаем так часто, что проще б нам ползти. У нас составилась совместная походка – медсестра тянет раненого с передовой. Медсестра и отчасти раненый – это я. Передовая – Москва, погода. Впрочем, думаю, когда т а к а я погода, то Москва отходит в тыл...

Карлик стойко топает по бульвару, и хоть раз бы грохнулся!

Чтобы не сбежать, я тупо считаю паденья.

Она обронила где-то шапочку. Волосы выпорошены снегом. Вид восхитительно дикий, как у выкупанной в серебре лошади. Огромным влажным блеском мечутся крупные капли в серьгах.

Мы возвращаемся и, ползая, безнадежно ищем шапочку... Шапочка мне кажется потерявшимся снежным котенком, и я почему-то говорю ей об этом.

Вынимает руку по локоть в сугробе. Пальцем в перчатке сдвигает полоску снега с брови и отбрасывает волосы за спину. Смотрит.

Сначала была бессвязно пьяна и болтала без толку: банкет в «Национале», «Ахашени» и две бутылки «Брюта»; подруга взялась проводить, но куда-то пропала...

Поняла, что так не дойти, и замолчала. Инстинкт самосохранения подействовал, как нашатырь.

Внезапно мне становится страшно, и я боюсь идти дальше.

Она притворяется и снова врет: «Национаь»...

Вдруг запершило в горле от «Брюта», я вспомнил и «Ахашени» залпом, и полкило паюсной икры, обложенной светящимися лепестками лосося... Закружилась голова, и в 14-й раз упал первым я, ее увлекая.

Бульвар, как кошмар, кончился, и минут двадцать мы препинаемся по переулкам и подворотням. Теперь карлик припустил вприпрыжку.

Мы снова что-то потеряли и снова плаваем в сугробе. Не нашли. В подворотне вроде как светает и нет ветра. Я уже встал и было хотел поднять, но, смеясь, потянула за рукав и поцеловала так, будто хотела пить.

Карлик рассердился, залопотал и бросил в нее варежкой. Она еще раз бессмысленно рассмеялась.

О, как мне впору пришелся этот поцелуй!

Ночь подалась вспять, налетели облака поющей серебряной пыли и окутали сиянием – голову, воздух...

И тут произошло непредвиденное. Поднявшись косо о стену сама, она задирает вдоль блеска чулок подол шубы и сосредоточенно усаживается на корточки.

Светит фонарь из глубокой подворотни.

Снегопад густо скрывает облак света.

Я вернулся. Она стояла, прислонившись к желтой стене. Карлик рыдал, уткнувшись в расстегнутую шубу. Она гладила больную дочь по голове и блаженно улыбалась.

Валялась варежка. Из кратерка в снегу шел легкий пар.

Мы обнялись втроем и больше не падали.

По дороге девочка куда-то исчезла. У самого дома она шнырнула за угол и более не являлась.

Мы входим в пылающий электричеством подъезд. Медная табличка размашистым курсивом сообщает, где мы.

Бездонной белизны потолок. Громадное, во всю стену, зеркало. В нем консьержка, причитая о погоде, счищает с нас снег.

Странная длинная щетка похожа на горжетку.

Консьержка называет ее Натальей Сергеевной. Я взглядываю в зеркало и в огромном кубе света никого не узнаю.

У лифта Наталья Сергеевна протягивает 25 рублей за услугу.

Я отворачиваюсь, чтобы идти.

Тогда она втягивает меня внутрь и нажимает горящую кнопку 7-го этажа. Нажимая, она выключает мне сознание».

Катя, начиная дрожать, наскоро обтирается полотенцем, поверх махрового халата надевает два свитера, натягивает шерстяные носки, отыскивает на вешалке лыжную шапочку и тянет за собой на тахту из стенного шкафа плед. Еще через несколько страниц Стефанов заканчивает:

«Теперь – раз уж просили – почему я здесь.

Не беда, что мое объяснение покажется вам странным.

Плохо, если вы в нем ничего не поймете и решите, что старик спятил: тогда это будет только часть правды – если я и спятил, то очень давно.

Начну издалека – с самого начала. С начала, которое в моей истории, как «решка», кувыркнувшись через всю жизнь, упало в конце концов той же «решкой». Сейчас эта «решка», время от времени размышляя об «орле», сидит в 37-й палате и пишет разбор своего полета. Мне одновременно и жаль ее, и смешно.

Так вот. Все началось с того, что еще в юности я обнаружил: в пространстве жизнь невозможна, если ничего не предпринимать с пространством.

То есть, я хочу сказать, что однажды в университете на лекции по дифференциальной геометрии меня осенило: «плоские» выдумки Евклида и Александра Великого, «сферические» – Лобачевского и Магеллана, «временные» – Минковского и Мюнхгаузена, и прочих великих путешественников – есть прямые следствия инстинкта самосохранения. Что гнетущее частное недоверие к устройству понятия места, в которое вынужден быть вписан, или, напротив, которого трагически лишился наблюдатель, неоднократно в истории приводило к изменению его, места, общезначимых свойств.

И что, скорее всего, это говорит о наличии обратного мимикрии механизма: если оказывается невозможным умилостивить враждебную по(ту)сторонность своим уподоблением ей, то возникает вполне естественное – потому что спасительное – стремление срочно покорить ее своей выдумке. Причем удача тем вероятней, чем чудесней оказывается выдумка. Выдумка же только тогда чудесна – не когда она истинна, – а когда восхитительна и нова. Истина, отчасти, всегда – старое и неудивительное и в меньшей степени способна своим открытием что-либо изменить.

Действительно, думал я, идеи Евклида, о волшебной новизне которых нам давно уже ничего неизвестно, были ничуть не менее сногсшибательны, чем в конце концов завоевавшие реальность предположения Минковского. Неограниченная линейность пространства, в котором – хотя и мысленно – возможно перемещение наблюдателя до самого до-без-конца, для древних греков была идеей, рожденной бредом, но именно она привела Александра на место Дария. А учитывая базисное положение трезвого отношения к жизни – «не наблюдаемое не существует», можно утверждать, что, собственно, поход Александра и был тем ратным импульсом, спровоцированным выдумкой, в результате которого пространство раздалось, развернулось по осям – и стало впервые Евклидовым.

То есть, я хочу сказать не только то, что уже давно известно: реальность куда более податлива умелому воображению, чем опыту, но и то, что, по крайней мере, половина всей нервотрепки, которой мучается человек, стреноженный идеей места, имеет своей причиной б е з д о м н о с т ь.

Бездомность – это тот непреодолимый зазор – простор – между посторонностью и порождающей место мыслью о ней, что никак не может покрыться спасительной выдумкой Дома. Человеку всегда то мучительно тесно, то вычурно просторно, то пространство вообще норовит то там, то сям дать течь пустотою, или обморочно опрокинуться из-под ног – в немыслимый верх, или вообще темно выколоться из глаз исчезнувшей точкой схождения перспективы... Вот тогда-то и принимаешься страшно думать: где я, зачем и куда податься, – и думанье это почти всегда – судороги.

Тут, пожалуй, стоит отвлечься и предварить это введение в теорию тоски по м е с т у одной счастливой аналогией.

Удачней всего, на мой взгляд, ведут свою тяжбу с пространством пчелы: они его не покоряют – поскольку недальнобойны, и не выдумывают – поскольку нечем; они его с о б и р а ю т.

То, что получается в результате их сборов – соты – являет собой устройство личного представления пчел о пространстве: оно у них – такое, кристалловидное, с шестиугольной упаковкой. (Если же учесть, что свет – это «сок созревших для зренья пустот», то, намазывая хлеб на завтрак медом, мы должны отдавать себе отчет, что на деле собираемся вкусить: теплое пчелиное зренье.)

Известно, что пчелы таинственным образом связаны с поэзией, Словом. Не помню кому – кому-то приснилось, что во рту его поселился пчелиный рой, а наутро – стоило ему только открыть ставшие сладкими уста – они вылетели в строчку – стихами, стансом, – и с тех пор счастливец обрел пророческий, подкрепленный эвфоническими достоинствами дар.

Эта связь еще более укрепляется наличием «велящих просодии пчел Персефоны»: увы, только укрепляется, приумножая пространство тайны, но не проясняется.

В связи с этим рукой подать – по пословице: чем дальше в лес, тем больше чуда – до следующей не менее смутной догадки. Не в пчелах ли кроется эта улавливаемая где-то на самых антресолях сознания сложно-перекрестная связь двух пар: м е с т а – в р е м е н и <=> з в у к а – с м ы с л а?

Хотя и поверхностно, но в общем-то внятно валентные связи этих пар обнаруживаются в следующих сентенциях:

«Совпадение вещи и места – и только это – делает их значимыми в области смысла»;

«Место есть ловушка смысла вещи в пространстве: смысловая линза, через которую разглядывают тайну вещи»;

«Смысл есть понимание в звучащей ауре тайны»;

«Звук есть место смысла вообще и в пространстве в частности»;

«Время есть мысль о месте вещи» (см. 1 и 2);

«Звук, просодия есть время, которое проистекает – как квантовая волна из элементарной частицы – из смысла и которая в него же – через понимание – возвращается»; а значит:

«Звучащее слово есть временная составляющая пространства, оно разворачивает его осмысление.»

(Сходные соображения, между прочим, гениально изложены Хлебниковым Велемиром в его «Топологии звукосмысла».)

Да, пожалуй, без пчел здесь точно не обойтись. Их медиумические функции между пространством и смыслом особенно прозрачны. Подобно словам – летом в конец стиха за взятком смысла, они покидают сознание-улей и кусочками понимания возвращаются в него, облетев окрестность произрастающей, как на кипрейном лугу, в месте-времени тайны. Вот отчего уста, владеющие даром просодии, – сладкие: потому что лакомы пчелам, – а златоуст – это, очевидно, медоточивый, и следовательно, золотистый образ.

Все, что касается пчел – и смысла, и времени, и звука, и места, – конечно, ужасно увлекательно, но не менее – страшно поверхностно. То есть, отметив их такую явную связь, совершенно неясно, куда податься дальше. Это похоже на беготню по льду за зайчиком от стекол собственных вымазанных солнцем очков.

(Размыслительный зуд, однако, никак не сдержать, и он упруго мечется – хотя и в скобках – по этой теме вокруг Самсоновой загадки: «Из ядущего вышло ядомое, и из сильного вышло сладкое». И не третий, и не седьмый день я морочаюсь этой тайной, – одно то хорошо, что взятки с меня, как со скопца, гладки: ни тридцать синдонов, ни тем более столько ж перемен платья не имею, да и брачный друг из меня никудышный: не едок, не пьяница и косноязычен, как ворона, настолько, что речей застольных и полминуты сдержать не в силах.)

Так что пчел мы пока, как числа, поместим в уме и займемся, вернувшись из отступления, одним только местом: тем, как оно, ставя жизнь на попа, норовит распахнуться пылающей пустотой, от которой, как от скользящей в ногах высоты – карусель и обморок.

В молодости я нередко бывал до тоски бездомен, чаще, чем это формально выглядело со стороны. Причиной моей бездомности не было физическое отсутствие места жизни: никуда не переезжая, я мог запросто сменить раз десять сряду область своего умозрительного помещения.

Это можно назвать метафизической неусидчивостью – когда сидишь на стуле в кухне и смотришь в окно на звезду на самом краю чернильного облака, и непонятно, то ли ты там, то ли здесь, то ли в облаке, то ли размазан широкой дугой меж эмпиреем и градом.

Когда особенно припекало, я с завистью думал о пчелах.

До сих пор я считаю, что есть мед – кощунство, что-то вроде каннибализма.

До сих пор, хотя, казалось бы, уже пора на боковую, я мурашками по коже вспоминаю об одном из полигонов своей бездомности, где впервые со мной случился приступ м е с т а.

Но прежде чем вспомнить, следует сделать несколько пояснений относительно обстоятельств этого воспоминания.

Итак, все началось с острого чувства отсутствия собственного места-времени, его невозможности. Существенно еще то, что об ту пору я был чрезвычайно поглощен одной научной темой, связанной именно с попыткой разработать принципиально новый подход к топологическим свойствам Вселенной. Тут трудно отсечь причину от следствия, но связь с моей более ранней идеей – о податливости свойств места идее о нем – очевидна. В трех словах, новизна моего так и оставшегося на полдороге научного метода состояла в допущении не-континуальности пространства-времени, в допущении, что во Вселенной не только присутствует явное нарушение фундаментального принципа изотропности, со всеми вытекающими отсюда последствиями – неполного соблюдения законов сохранения на очень мелких – десять в минус тридцать седьмой порядка – масштабах и т.д., но и как причина этого нарушения – самая настоящая «дырчатость» пространства-времени... Что Вселенная – это не однородный кусок мыла, а мелко-дырчатая губка, не плавленый сыр, а «Российский», не «вода без газа», а самая настоящая «газировка», начиненная пустотой-взрывчаткой, как углекислотой: ее вроде бы и не видно, но стоит только, взболтав, открутить крышечку опыта-восприятия, как – так долбанет, что... Короче говоря, если без тупых, предназначенных облегчить неискушенное понимание аналогий, – пришло мне однажды в голову, что место-время в нашей Вселенной начинено необнаружимыми обыкновенными средствами пузырьками самой настоящей пустоты, т.е. такими мелкими областями абсолютного ничто (где ни материи, ни вакуума, ни даже черта с рогами и духу быть не может), что за счет своей всепроницающей мелкозернистости она, пустота, оказывается повсюду.

Вот и все. Пустота, получалось, всегда на мази, и все что ни на есть живого – теплого и влажного, – все оказывалось пронизано ею.

Вот и все. Не знаю, как вас, но меня от одной только мысли об этакой возможности забирало так, что я и вздохнуть от ужаса не мог два года.

И вот меня угораздило именно эту тему сделать предметом своей диссертации. Что, в общем-то, меня – и, собственно, тему – как раз и погубило. Погубило нас с темой не то, что мы были выдумкой вызваны к жизни, но наша вынужденная публичность. Вместо то-

го, чтобы, втихомолку лелея друг друга, не спеша, с толком и осмотрительностью двигаться к неуязвимому обоснованию, я, вместе с темой в охапке, трепеща и смертельно боясь упустить, заявился к своему научруку, а он возьми и скажи, что это ужасно, мол, все интересно.

Тогда я не знал, что мой научрук уже, так сказать, не в себе лет десять, то есть попросту сумасшедший. Так бывает. Живет-живет человек и ни черта про себя не знает. Зато знают другие, но молчат из такта. Так вот, профессор мой (да будет благословенна память об этом добром человеке) стал мне раз за разом поддакивать при обсуждении, а я и воодушевился. Но кто же знал, что он не особенно-то и вникает в суть дела, а интересуется лишь голой метафизикой следствий! А остросюжетности этих следствий поистине хоть отбавляй. В результате я стал гоношиться, набрал целых два прокола и впопыхах зарвался: вышел в одном месте из заковыристой, но абсолютно на поверку ложной предпосылки. Все. Это был конец. Меня отрецензировали так, что для иносказания и слов подобрать не удается. Угробив в результате в с е время, я защищался по совсем другой теме, тяп-ляп состряпав ее в две недели. После, ясное дело, в результате нервного срыва сыграл, как в ящик, в психушку и там отмокал с месяц. По выходе стало легче. Но тема «дырчатости», оказалось, уже намертво пустила меня в оборот и стала требовать реального апробирования, – на собственной шкуре то есть.

Так ли, иначе ли, но дело неизбежно стряслось как раз после моего возвращения с улицы 8-го Марта – в комнату в Телеграфном переулке. Примерно спустя месяц после повторного новоселья, я вдруг ни с того ни с сего стал чувствовать себя в ней примерно так же, как хвост волчий в проруби... (Господи, если бы Ты дал мне тогда чуткости предвидеть!)

Теперь я понимаю – комната, как и вообще любое жилище, ложно претендующее на святое понятие Дома, была только поводом для того, чтобы мысленно разнести в пух и прах вместе с ней, самозванкой, само привычное понятие места. Но не только в этом, конечно же, дело.

В общем и целом, ничего особенного эта комната – в коммунальной «двушке», но с отдельным входом – собой не представляла. Я снимал ее у одной дамочки-портнихи, к которой, бывало, приходили вполне замечательные клиентки (например, однажды к ней пришла на примерку моя жена). Ничего гнетущего на первый взгляд в этой комнате не было: высокий потолок с аляповатой лепниной и большим облачным пятном от сырости, которое пульсировало в зависимости от времени года – от лысого Аю-Дага до лохматой Карлы-Марлы; немного мебели, самой безобидной; карамель-

ный бок бездействующей «голландки», где на облупленных изразцах мне отыскался любимый персонажик – залихватски вышагивающий в скороходах мальчик с пальчик; и висело у входа большое, до пола, зеркало с ржавой, облупленной амальгамой, в котором плавала ряска и в которое иногда заходили окунуться клиентки моей хозяйки...

Да, вроде все было в норме, никакого подвоха... кроме меня самого. Беря разбег перед приступом, моя выдумка для начала мудро принялась за сны. Спаться мне в этой комнате стало ужасно: ночью бессонница, перемежаемая страницами Чехова, долго пряла в глазах слепые сети, – в них барахтались полуживые остатки дня; а по утрам я просыпался как-то особенно мучительно, словно всплывал, задыхаясь, из страшной глубины... Если случалось проснуться затемно, то я почему-то боялся, что проснулся совсем не там и до нужного м е с т а нужно еще доспать. Срочно заснуть не всегда удавалось. Силясь вновь окунуться в дрему, я представлял себе, что вот как расхрабрюсь, встану, выгляну в окно, а там ничего, кроме отражения и одной звезды, не узнаю. Я ежился и, втягивая голову под одеяло, как в сон, засыпал снова.

И тогда мне могли присниться птицы. Белые, в темноте они, вспархивая и перелетая, размешивали цвет утренних сумерек. Он становился все более светлым, и вот уже можно было различить двух голубей, припозднившихся на книжных полках: поискав в оперении, как за пазухой, они постепенно становились прозрачными и, снявшись с края, шумно взлетали в невидимость – туда, куда прежде – по мере того как светало – исчезали один за другим остальные.

Помню, окончательно проснувшись, я брел в ванную. Кран протекал, и вся раковина была усыпана линзочками брызг. Мне было жаль включать воду. Я думал о росе. Я вспоминал, как она выглядит на осоке и, наклоняясь, искал угол зрения, под которым бы блеснуло капельное серебро. Угол не отыскивался. Он и не мог отыскаться, потому что эмаль – гладкая, и не способна, в отличие от жгучей шероховатости листьев осоки, дать серебряный дребезг света на несмачиваемых волосках.

Затем я мылся холодной, остывшей в трубах за ночь водой. Я ждал, когда она наконец потеплеет, и только тогда чистил зубы...

Как ни странно, причина жутких ощущений в этой комнате меня никогда не интересовала, как не интересует лягушку, попавшую в кувшин с молоком, – откуда, собственно, молоко. Я с диким, скачущим на отметке самоуничтожения любопытством наблюдал за тем, что со мной происходит. Это напоминало страшно увлекательную игру «холодно-горячо», где спрятанным сюрпризом был, скажем, пузырек с жидким нитроглицерином.

Постепенно, питая свою депрессию отзвуком трагического конфуза, сразившего мою диссертацию, я закономерно загнал себя в угол. Следствие, подготовленное соответствующими обстоятельствами, было ужасно: я стал мучиться своей бездомностью, как мигренью.

Когда она случалась, как приступ, я, сидя за столом, мысленно не находил себе места за спиною в комнате, начинал ерзать, екать, оглядываться, и вдруг, подскочив, принимался мотаться из угла в угол, не в силах не только работать, но и просто находиться в усидчивом положении. Я вел себя в такие моменты мучительно малодушно, как домашнее животное, взаперти предвосхищающее землетрясение. Я то срывался со стула и садился на корточки, пытаясь разглядеть ладонью подлые вспучивания пола, то снова садился на постель, то подходил к двери и, прислушиваясь к внешнему рокоту, застывал, не слыша ни мысли от гула. Вдруг что-то внятное начинало оформляться в сгустках этого стороннего шума, слышался хор, шаги и какие-то прокрадывающиеся разговоры, степень страха зашкаливала, и, от ужаса хохотнув над собой, я вновь, стараясь заглушить прислышавшееся, принимался вытаптывать ковер, с особенным удовольствием разбега наступая на звонкие открытые по периметру участки паркета. Иногда с замиранием чувствовал, как подошвы начинает жарить жар, как тапочки липнут и вязнут горячей резиной – и, метнувшись в сторону, менял траекторию на более прохладную, но вскоре вновь начинал подскакивать, как на раскаленной гальке пляжа, и бежал, как к воде, к порогу, чтобы влезть поскорей в ботинки.

Но, влезши и оттопав какое-то время еще, я вдруг застывал, до слез пораженный возникшим взглядом со стороны... Внезапно очнувшись, я видел – из громадного, уже раздавшегося над коробочкой комнаты пузырчатого, бурлящего и з в н е, как крохотный, с мизинец, человечек вышагивает в толстых ботинках, высоко поднимая ноги, и незавязанные шнурки, цокая жестяными кончиками по паркету, мотаются из стороны в сторону, мотаются...

Или – сердце сбивалось с ног, отыскивая нужный волнению ритм, и я раздирал ворот рубашки. Палящее дыханье безумья выдавало испарину на холодном лбу, и я в ожесточении бросался двигать мебель: казалось бы со стороны, наобум, без плана, но на деле с каким-то изощренным, развиваемым на ходу порядком, словно в блице ставя шахматные фигуры, распихивал по невидимым квадратам стулья, судорожно пытаясь задвинуть ими в обороне места какую-то пучащуюся зевком прореху; стол от окна ставился зачем-то торцом к двери, кровать изголовьем в угол взгромождалась на диагональ моих 18-ти метров, а книжный шкаф и жидкая этажерка, осыпаясь, будто яблони, книгами, трудно пристраивались к ней в

виде крылышек буквы Т; но вскоре, не успев продышаться, снова кидался все переделать, потому как мерещилось вдруг, что я, лежащий головою в угол на этой букве, ужасно кажусь вверх-ногами-висельником, – и темная путаница пролитого под подошвы неба бросалась мне набегом крови в разум и долго там еще качалась, наливаясь темным обмороком зрения, покуда я, неумело, но молитвенно матерясь, рывками сдвигал этажерку и шкаф, вновь обтрясая с них книги, теперь куда-то вбок, к подоконнику, не соображая, что свет из окна так едва сможет проникнуть, но было наплевать, – лишь бы снять поскорей себя с виселицы...

В общем и целом, поверхностное описание комнаты в таком моем эксцентрическом состоянии – и меня в ней – могло бы быть таким: «картезианский водолаз» – эластичный пузырек с подвешенным грузом – во взболтанной бутылке с шампанским.

Поздно или не очень я спасительно уставал, или хозяйка за стенкой, совсем изведясь гвалтом и грохотом моей очередной перестановки, беспокойно стучалась, интересуясь, в чем дело. Опрокинутый отчаянием, открывал. Милица взглядывала сквозь меня с порога воплотившейся укоризной. Я разводил руками и, отделываясь от постыдности, снова сетовал, что, мол, неуютно и сил моих больше нету. (Уже год хозяйка представляла себе меня сумасшедшим, но ценным научным работником какого-то секретного института и, любя, время от времени обеспокоенно советовала оженитьcя.) Нелегко протиснувшись в щель упертой в торец стола двери, она усаживалась на островке моего кошмара и со знанием дела, внимательно закурив, начинала излагать свой собственный вариант обустройства. Я, постепенно отходя, едва слушал и злобно поглядывал на стул, на котором сидела Милица, соображая, куда бы еще его можно с пользой из-под нее приткнуть, чтоб предупредить очередное вспучивание места...

Однажды я так изнемог, что сел на пол и заплакал. Слезы брызнули по щекам, как ручейки сока из сжатой горсти винограда. Я размазывал их кулаками по скулам, размазывал с силой, словно наказывая себя. Увы, сколько бы я ни плакал, облегчения не наступало. Но все-таки плакать было лучше, чем беситься от страха, мечась сломя ум по комнате. Я ревел от души, сидя на полу по-турецки и несильно раскачиваясь. Плач не мешал думать, особенно вспоминать. Вспоминалась всякая всячина. Например, как мама когда-то сердито возражала моим детским слезам: «Ничего, побольше поплачет, поменьше пописает...»

Я вспоминал эти ее слова и улыбался.

Время от времени я оглядывал плывущую сквозь слезы комнату, и она мне казалась чревом большой рыбы. Я думал о Ионе, о том,

как ему, должно быть, было странно находиться в брюхе кита. Мне было интересно, чувствовал ли он, как и я, свое место живым? Насколько мужественно он себя вел? неужели, как и я, слабоумно метался и пробовал что-нибудь изменить...

Далее я таинственно думал сквозь слезы: почему рыба? Почему Иона оказался именно в сердце морей, а не, скажем, под землей, или того еще хуже – в воздухе? Я думал об этом напрасно и не находил ответа. Потом вспомнил, что суть в пустоте. Что именно в сердце морей всего ясней пустота...

И тогда рыдания еще сильней захлестнули меня. Я поднялся с пола и стал оборачиваться во все стороны, чтобы повернуться лицом.

Место мешало мне.

И я понял, что не могу обернуться лицом в этом месте...

И тогда как ошпаренный выскочил наружу.

Позже я, конечно, научился экономить свою нервную деятельность, проверив еще раз попутно, что инстинкт самосохранения – подлинный источник прогресса. Теперь, только завидя, как с темени и затылка, спускаясь ниже к шейным позвонкам, накатывает первое прикосновенье пучины, я, обхватив себя руками и не позволяя им ничего в комнате трогать, в чем был выскакивал в коридор и выстреливался им в кухню. Там, приходя в себя, без нужды ставил чайник и, заламываясь, как от мышечной боли, минут пять наворачивал петли шагая. Жилички шептались: «Надо ж, думает как, малахольный!» – но постепенно выдворялись, туша плевком керосинки, незлобно и даже с некоторым уваженьем...

О, сколько кипятка я выхлебал впустую, глядя в окно – и ничего не видя – на угол Телеграфного и Сверчкова, пока не догадался часть запасов сахара и заварки всегда оставлять в шкафчике Милицы!

Иногда, не имея сил дольше глохнуть от ужаса в комнате, я – вместо кухни – выскакивал в хорошую погоду и, вывалившись вложенными дворами на улицу, долго и со вкусом слонялся по бульвару... Бывало, чуя, что приступ может запросто вновь повториться, как бы невзначай вскакивал на подножку тринадцатого маршрута и прикатывал в университет, где, отсидевшись в библиотеке, поднимался в кафедру и допоздна резался с безруким сторожем в шахматы. При этом, двигая за себя и за него фигуры, я все еще чувствовал в кончиках пальцев неясную, мешающую дрожь, словно план моей комнаты, незримо проступая сквозь клетки доски, налагал свои искажения на силовое поле игры, вмешиваясь в пучки линий возможных атак и защиты подлой угрозой возникновенья провала – то в центре, то на флангах, то в абсурдно разверзающемся потолке...

Михалыч обычно проигрывал и канючил: «Вот вам бы, Лексей Василич, вслепую со мною сыграть, или форой какой потрафить, а то самим, поди, не интересно уж боле...»

Я уступал ему ферзя, но тогда как-то особенно легко выигрывал.

Вернувшись домой после таких катавасий, я непременно – на случай повторного сюрприза – ложился спать не раздеваясь. С тех пор, кстати, у меня осталась привычка: надевать на ночь не пижаму, но что-нибудь, в чем не слишком жарко, и в чем было бы сподручно срочно оказаться снаружи...

Такие особенно острые приступы места у меня продолжались довольно долго – до тех пор, пока, по странному предсказанию Милицы, я не женился. Но до конца они, конечно, не исчезли. Конечно, стали реже случаться – и не то чтобы в более мягкой – но уже осмысленной форме. Стоило, однако, мне наконец основательно окунуться во всегда вожделенное одиночество (а ради работы это совершенно неизбежно) – как рано или поздно, предваряемые сладкой потусторонней тоской, приступы разверзающегося места вновь принимались за меня.

Однажды, загремев по какому-то сложному недомоганию в санаторий, я два дня, задыхаясь от желания вернуться в свой домик, ночевал на гурзуфском пляже, у каменоломни, поджидая приезда жены, срочно призванной мной из Москвы на спасенье. Причем надо отметить: открытое небо всегда действовало на меня как холодный компресс – и все бы ничего, – раз, и выскочил, как из пожара, наружу, но искус в очередной раз сразиться с дышащим провалом местом был настолько велик, что я, случалось, до полусмерти запирал себя в адском месте своего воображения.

Так вот, вернемся к «решке». Что же она хочет нам рассказать?

Хочу рассказать, как обернулся жертвой собственной выдумки – болезни места.

Хочу рассказать, как болезнь, по принципу отдачи импульса воображения, наконец реактивно и необратимо вошла в меня. Как тело моего воображения, распинаясь в долгих – во всю жизнь – муках, так и не доносив свою выдумку, прянуло обратно сквозь «детское» – у мозжечка – место и превратило мое тело в себя: запущенного к смерти недоноска.

Впоследствии, после этой истории с диссертацией, тема пронизанного пустотой – пустого – места не оставляла моих мыслей ни на минуту.

Я тщетно бредил ею, и она бредила мною, как умершая возлюбленная. Ради нее я пожертвовал научной карьерой, зарекшись от какой

бы то ни было публичности. Вскоре после женитьбы я перешел на преподавательскую работу – чтобы выкроить время. И я его выкроил.

Оно оказалось размером с жизнь.

Удостоверившись в диагнозе и собираясь переехать в этот Дом, я решил уничтожить свою тему.

В три приема вместе с сыном мы перевезли ее на дачу.

Беловые варианты горели целый вечер.

Черновики – всю ночь.

Итак, либо ты успешно выдумываешь свое место и, поселившись, владеешь им как Домом, либо оно, уродливое и недоделанное, выдумывает тебя по своему отвратительному образу и смертельному подобию.

Злокачественность сарказма, с которым природа посредством моей же выдумки обошлась со мной, не кажется мне чудовищной.

В конце концов каждый владеет тем, что заслуживает.

Даже если он заслужил ничто.

Процесс гниения на деле – кислотное разъедание пустотой. Пустота сейчас разъедает меня, я исчезаю, колеблясь и трепеща, как когда-то исчезала, разъедаемая выпученностями провала, моя комната-место.

Зародыш – это тоже как бы опухоль. Все дело в удаче – или провале – рождения.

В моем случае – в провале».

Ничего обещанного о Глебе здесь не было. Катя сбрасывает на пол листы, снимает шапочку и со всхлипом заныривает под подушку.

Глава 22

САД

Так, или совсем не так, а может, и так, но немного иначе, – и кто его знает, вряд ли было бы по-другому, а если б и было, то – пусть и ладно, как ты бы сказала, «живы мы, как ни крути, все равно б не остались».

И смекнул я тогда втихомолку: ага; и мысли своей не поверил.

И то: как можно поверить чуду, да еще такому, которое сам делаешь? Чужому чуду, конечно, проще не удивиться: подумаешь – мастерство, фокусы. А тут нате безвозмездно: творишь невзначай такое, отчего мурашки со спины аж повсюду – и с рук, как искры, прыгают.

Ну, пока суть да около, пришел я в себя и решил догадку свою проверить.

И проверил: Стефанов поправился от моей проверки.

И продолжил. На все про все совсем немного, мне казалось, надо. Ведь только нужно было выдумать какой-то срочный повод, который стал бы внятным оправданьем для встречи ежедневной с каждым из пациентов нашего вертепа. Но как исполнить это незаметно, ведь все передвижения по Дому на примете, кругом охрана, камеры, и персонал снует повсюду...

Тут думать в одиночку было бесполезно.

И все-таки подумав, ринулся к Наташе.

Так, мол, и так, работы не найдется? Мол: сиднем засиделся, жажда появилась, чтоб делать что-то, кисну, понимаешь?

Она, конечно, удивилась тут же.

– Ты, говорит, ко мне в бюро на постоянку хочешь?..

Тут снова я задумался. Понятно, выход здесь один – стать санитаром или на кухне на раздаче подвизаться на ежедневные разносы завтраков-обедов. Но кто меня возьмет на эту должность?

И я застыл в приемной на диване. Стал думать, думать, думать – все впустую.

Вошел Кортез, не покосившись даже.

Спросил Наташу с ходу строго:

– Что он здесь делает, мерзавец?

Наташа: то и то, работать очень хочет. Кортез взял почту молча и исчез. Потом вдруг снова возникает.

– Ну-ну, так в чем же дело?

Я повторяюсь вкратце.

– Ага, понятно. И похвально даже. Что ж, я подумаю об этом позже.

И вроде бы и все. Но сразу приветливость его мне показалась не то чтоб подозрительной, да как-то слишком на руку, чтоб оказаться правдой.

«Ну, как бы ни было, а если честно, то мне на риск теперь уж наплевать, посмотрим, в чем там дело», – я рассудил, к Стефанову вернувшись...

На следующий день после обеда к нам впопыхах влетает вдруг Наташа и говорит:

– Пойдем, зовет явиться.

Ну что ж, явиться так явиться, хотя, признаться, я не ожидал такого скорого оборота дела.

Приходим. Дверь кабинетная открыта, Кортеза нет как нет. Мы ждем. Беседуем о чем-то. Заходит ненадолго Катя.

Кортеза нет и нет. Вдвоем мы ждем уж третий час, теперь втроем болтаем.

Наташа отправляется Кортеза поискать и не находит.

(Пока Наташи не было, мне Катя на ухо шепнула: «Ты что задумал?» Я – молчок: «Так, ерунда, хочу размяться». Помолчала. Потом сердито глянула и говорит: «Предупреждаю. Что б ты ни задумал, помни... В общем, прошу тебя, будь осторожен, ладно?» Я улыбнулся тихо про себя, но виду не подал. Она еще тревожней посмотрела. Вышла.)

Итак, мы продолжаем ждать в приемной. Я скис и думаю, когда же?

Чтобы развеяться, Наташа сыграть в рэндзю со скуки предлагает.

Играем. 5:0, – в мою пока что пользу.

Заходит Воронов. В руках – бумаги, и он поверх бумаг, как новый заголовок, нас пробегает взглядом. Исчезает.

Является вразвалочку кудрявый наш водитель. Садится, пялится, пыхтит и глушит чай.

Наташа нервничает, косясь на этого громилу.

И наконец он спрашивает:

– Эва, кореш, ты чо здесь делаешь, кантуешь потихоньку?

Я:

– А что такое?

Наташа:

– Ну, ладно, ладно, ты, Петухов, кончай... Давай-ка вон отсюда поздорову. Он здесь по личному распоряженью.

Водила-олух недоверчиво икает и удаляется, смутившись.

Счет: 9-0. Наташа чуть не плачет.

Заходит Крахтенгольц и смотрит рикошетом. Садится подле.

Я встаю и собираюсь выйти, в дверях столкнувшись вдруг с Кортезом. Кортез нам машет всем рукой и приглашает. Мы проникаем в кабинет. «Ну, наконец-то...»

Наташа и сестра-хозяйка садятся, я ж, замешкавшись, вдруг застываю... Я вижу у Кортеза на столе макет громадный нашего хозяйства со всем устройством территории, с шлюзами охраны и подъездом... Макет, безумно точный, филигранный, стоит, как торт, размером с будку, и за ним Кортеза нам почти не видно, пока он возится с плащом и катит кресло, чтоб видеть нас, – на середину.

Из Дома вынут ломтик, и в разрезе я вижу все – все планы этажей, подсобки, комнаты, ходы и переходы, три ярусных кольца системы коридоров и в центре зимний сад...

Я так был впечатлен, что сел не сразу, – когда Кортез уже гремел с довольным видом:

– Вы согласитесь, грандиозно!

– Да уж, ничего себе...

– Привез вчера мой архитектор: говорит – подарок, поскольку в мастерской уже нет места... Потом его мы установим в холле.

Кортез еще раз по-хозяйски оглядел картонно-гипсовую выдумку и переменил выражение на деловое: перестал лыбиться, как ушибленный уж. Обычно такой переход означал, что речь его сейчас наполнится изощренной ломанностью, которая неизбежно у него возникала при служебном изъясненьи по-русски.

– Так вот, для что я вас позвал. Вчера вы сделали известным, что хотите блеснуть нам общественной нагрузкой. Я подумал, чем вы можете быть нужны. Вы станете смотрителем Сада, – Кортез, с вновь мелькнувшим удовольствием, провел рукой вдоль разреза макета вверх. – Вы будете, так выразить, егерем, главным смотрящим этого чуда растений. Мы откроем их для всеобщего гуляния и пребывания. Пусть каждый сможет насладиться отдыхом там. Его восхищающим уютом, целой тишиной, птицами, негой прогулок, краской заката, воздухоносными сообщениями... Согласитесь, чрезвычайная идея. Мы превратим то, что было раньше можно только на внешнее обозренье, – в общий внутренний достаток. Вы выучите все редчайшие растения, которые в нем произрастают, и будете устраивать ознакомительные путешествия. Вам нравится? Но путешествия надо проводить только по строгому маршруту, чтоб не заплутаться. И вы будете следить там по порядку и за дисциплиной. Нельзя допустить этих сюда-туда хождений. Наш Сад будет работать – с 9 утра и до заката. С наступлением темноты там никто не может находиться. И за этим будете следить. Вы также будете помогать нам при регулярных досмотрах. Раз за месяц. Ничего серьезно – легкая работа. Соглашайтесь?

Я кивнул.

Вслед за мной кивнула Крахтенгольц, а Наташа посмотрела на меня с трудно скрываемым ужасом.

Итак, я – егерь.

Теперь часто по утрам меня ласково будит Стефанов словами:

– Вставайте, Лесник, дрозды уже спели!

Завтракаю нынче я всегда в Саду – мне туда приносят, потому что не успеваю: очередь с утра и раньше толпится у входа, а прежде чем впустить, нужно еще на экскурсии их разделить, составить списки. Не разделишь – перессорятся, поднимут гвалт – и ни с места. А делить по 15 душ надо потому, что всем скопом идти невозможно – управляемость, столь важная на горных, высотных тропах, снижается, да и мостики веревочные – не бетонные все же.

Мероприятие это, конечно, хлопотное – разделение: пациенты рвутся в Сад, как на праздник свободы, и сдержать их вначале для

записи трудно. Запись же поименная для меня важное очень дело. Главное. Я ее специально придумал, хотя подумать: какая в ней нужда? Когда вписываю человека из очереди в лист, то смотрю на него какое-то время. Секунду, а может и: миг, морганье. Поочередность получше, чем глядеть вразнобой на лица, когда экскурсия гурьбой стоит. На кого посмотришь дважды, а кого невзначай пропустишь. К тому же я, наверное, неинтересно по ботанике рассказываю, не научился еще увлекательности, потому что многие постоянно отворачиваются, отходят, все норовя на разные стороны отвлечься, а некоторых – тех, что на колясках-каталках – и вовсе за остальными не видно.

И вот, выписав-вписав их всех и с удовольствием вглядевшись, я веду первую группу в свои владения. Переходим вступительный мостик и останавливаемся на первой площадке – для ежедневного инструктажа. (Хозплощадка эта – мой, так сказать, омшаник, здесь я ульи порожние про запас колода к колоде держу, на случай ежели рой где вдруг отроится, и прочую садовую утварь.)

Многие, понятно, давно выучили все до буковки, но предписанье техбеза кровь из носу обязывает повторять всякий раз по новой, да и новенькие могут в группе случиться, а им пока невдомек подробности самоспаса.

Напоследок я наскоро объясняю, как вести себя, если мост висячий начнет волной изгибаться: не нервничать, а спокойно ногами, наподобие пляса, стараться подавить резонанс качания... Наконец отходим. Группа заботится друг о дружке: кто еще на своих, катит соседу коляску или ставит плечо ковыляге; а когда по мосткам, делают сиденье руками и несут с костылями до твердой земли. Тихомедленно, но спешить нам некуда – и, восхищенно озираясь вокруг, мы идем потихоньку в дальнейшее.

После возвращаемся, и я вновь телепаю со следующей группой обратно, а уже впечатленные выбирают из числа своего дежурных и посылают за судками с обедом для тех, кто стоит в ожиданье у входа.

Постепенно я во вкус вошел. Чтоб себе самому россказнями не наскучить, придумал совершать попеременно-тематические, а не заунывно-обзорные походы. Попросил Наташу послать в Москву к главному садовнику за атласом, где гербарий с описаниями. Ну, а после, когда дендрарий весь поперек-наискось изучил по составу, проложил и примерно вызубрил, нанеся на копии карты, 367 маршрутов: штук по двадцать растений на день, начиная непременно с одного из тех, что в цвету в текущую пору.

Ох, нелегкая это была придумка. Сказать лишь, что саму контурную карту в двух плоскостях срисовывал с местности, трудно и рискованно перелезая и карабкаясь, спускаясь и восходя, спрыгивая в

упругие кроны и на «тарзанках» перелетая, – чуть ли не целый месяц. И это – без всякой начальной сноровки геодезиста: с хромым теодолитом наперевес, нашедшимся среди прочего на хозплощадке, путаясь в каракулях параллакса и кривизны, ломя голову над эволютой, сбивая оплошно нивелиры-визиры, прядая от шальных пчел и шарахаясь под голубиным вспорхом.

Да и то – только толику обозримого в столбе за-опрокинутого взгляда пространства удалось пометить. Может, десятую, а может, совсем бесконечномалую часть его. Вертикальная местность, пересеченная воздухом и растительной взвесью, которая к тому же вращается (наподобие карского шашлыка в жаровне), смещаясь вниз-вверх, с неопределяемым периодом, оказалась почти непригодна для изучения. Картографирование, мною задуманное по науке, на деле обернулось от-руки-простейшей, но все-таки трехмерной схемой – мостков, террас, островков, водопадиков, прудов, беседок, чайных домиков, источников, тропинок и перелазов, – схемой, едва выцарапанной мной по смутной кальке представления о – до непроглядности – замысловатом пространстве чьей-то выдумки.

Вначале, с ходу заподозрив негодность макета, что был уже выставлен в холле на общественное обозренье, я все же раза три бегал к нему для сверки, очумленный, после своих геодезических упражнений. Но тщетно: макетист все наврал, а архитектор взял да поверил.

Особенный дрязг в мои вылазки доставляли по воздуху голуби. К пчелам я приноровился, со временем уяснив их взлетно-посадочные коридоры. Даже ухаживать за ними мимоходом вздумал: полюбительски, ясно дело, – где летки в ульях и диким в дуплах поправлю, где матку-самозванку от растерзания спасу, да семьям иным, что по бедности меду собрать на пропит не умеют, рафинаду подсыплю. И они привыкли ко мне в благодарность: мед без дыма давать приучились, а я, выяснив самы-лакомы взятки – с кипрея, гречихи, – брал редко, и то – избытки, стараясь не быть нахалом. Так что пчелиное населенье меня уважило и потеснилось, а я и так встревать не пытался.

Но вот голуби, те никак меня в толк прибрать не желали: откуда ни возьмись, как из засады, неудержимо крылышкуя, вспархивали и влетали прямо в морду, или бесстрашно пикировали с невидимого верху, да такую кутерьму над головой, учиняя, заворачивали, что хоть на землю ложись, ладонями укрывайся, хоть бежи пока цел, пока не склевали: как бы с тропинки не сбиться, или хуже того – с мосточка слететь, с обрыва споткопытиться, как палый лист, ухнуть, кружа и замедленно кувыркаясь.

Казалось, голуби принимали меня за разорителя гнезд, ошибочно принимали, ни за что ни про что клюя и лупя крылами, глупые,

глупые птицы. Иногда чудилось, что догадываюсь, за кого они меня держут, кто был до меня их учителем жизни, к т о им такую настороженность, как болезнь, привил... И я т о г о еще более возненавидел.

Наконец добились они, что выучил их многочисленные и разрозненные места нападения – и перестал шляться мимо. А уж голубятни сами и вовсе, как антимаяки, за три версты косясь, обходить старался. В результате все это сильно ужало свободу моих картографических перемещений.

Замороченный возней с контурной картой, потребовал я у Кортеза через Наташу доставить мне от садовника его собственный план посадки. Что ж, привезли, да вот толку с того ни капли: выяснилось, что высадка шла в точности по нумерованным объектам макета, но с каких-то пор все, как в объемном калейдоскопе, перемешалось: одни слои поднялись повыше, другие канули, появились новые растительные воссоединенья, оборвались и добавились мостки, перевесились «тарзанки», ручейки, скакнув врассыпную по скатам, сменили русла, высохли одни запруды и запрудились иные, какие-то тропки засыпали обвалы, а где-то появились новые, да такие отчетливые, что в некоторых, особенно взвинченных местах оказались неведомо выложены плоским, как досточки, известняком...

Но ничего, наконец справился: Кортез пришел в восторг и вызвал меня жать руку. Каждый маршрут получил свой образец и был утвержден Леонардом.

С утра, нанеся, я размножал карту с выбранной тропкой на ризографе в бюро у Наташи. После, слегка оглохнув от станкового долбежа копировальной каретки, тащил охапкой кипу страниц вдоль очереди к калитке. Сваливал у входа. Отпирал. Хлопотно подбирал и затаскивал. Забирал у столпившихся список. Запирал и, пока присматривая за пчелками, ожидал завтрака. Приносили. Кричали мне, что принесли. Скакал срочно по кручам обратно. Открывал свой дендрарий и, наскоро заглотав омлет, устраивал перекличку. Выкликая по списку и вписывая по группам, вручал каждому карту маршрута. Так начинался день.

Растения удивительным образом все-таки интересовали некоторых, как правило не новичков. Большинство же (покуда я, корча из себя ботаника, восторгался, заглядывая в атлас, скажем, полиганатумом мультифлорумом, или есеницей, или купеной неопалимой, или «соломоновой печатью» – небольшим кустообразным существом с овальными лопушковыми листами и стрельчато-розовыми колокольцами цветов; растет в Крыму и в не очень влажных субтропиках побережья Кавказа) разбредались и бродили вдосталь вокруг да около: заглядывали, вытягиваясь, с краю, запрокидывали голо-

вы, жмурились в нисходящем копьями свете, которые, частью щепясь в лиственной кровле верхних ярусов, вдруг взмывали радужным снопом стрел над соседней площадкой, означая вершиной арки скрытую в зарослях водяную мельничку.

Мне было все равно, что слышат немногие, но все же старался отработать свой курс до конца и, повышая голос, просил обратить внимание на то, что есеница довольно коварное растение, так как листья его начинены жгучими маслами, и что с момента цветения вплоть до августа куст его таинственно окутан, сочась, облачком эфирных испарений: если поднести спичку, то пыхнет полохом, оставшись невредимым; касаться его нельзя – масла настолько едкие, что прикосновение вызывает волдырь, язвочка от которого долго не заживает.

И подумать только, получилось – не зря я все это задумал: не прошло и полгода, как стал замечать, что лица в очереди устоялись и стали знакомыми.

Сначала состав групп экскурсантов был совсем зыбким. Случалось, если кто запоминался, мог исчезнуть через день, через три, а то и назавтра. Рано или поздно любой исчезал. За все время я не смог привыкнуть к исчезновениям, сделать их привычкой. Каждый раз после новой пропажи вдруг чувствовал, что ее пустота вытесняет в душе живое, и оно, сгустившись, туго вваливается комком в горло.

Я стоял, горько глотая, и с опаской взглядывал в каждое следующее лицо, вновь и вновь предвосхищая утрату. Однажды в самом-самом начале, когда как угорелый носился со своей дурацкой картой маршрутов, пропуская чуть не половину пробных сеансов, так случилось, что в некий день я вообще никого не узнал. Тошная пропасть отсутствия ринулась мне в переносье. Я еле удержался на ногах.

После этого случая, виня в нем себя, хоть и отделывался кратким выводом всех на недалекую прогулку, проводил с ними как минимум час – спустя две, а то и три полных – от и до, а то и обратно – переклички. И понял тогда, что нет большего чуда, чем различие лиц: глаза, брови, нос, губы – все примерно того же устройства, те же буквы, но отличие ликов непостижимо...

Бывали и казусы побегов. Это наводило тень и могло порушить все предприятие. Кое-кто во время экскурсии пытался бежать и бежал, хотя деться из Сада дальше Сада – некуда. Я знал, что трудно сдержаться, и сам бы сбежал без сомнения, но не мог подставить всех собственной шкуры ради – и другим разрешить не решался.

Кто бежал – пропадали с концами: ни костей, ни следа. Только раз, спугнув, видел на самом закате, забредши с обходом повыше – в место, что прозвал я Источником Льва (из-за корявого инжира, что растет над блюдцем ключа, разлаписто пригибаясь лохматой фигурой зверя), – как воздушное тело, уплотнившись золо-

тистою светосилой, мгновенно нырнуло с края площадки «рыбкой». Кинулся проследить за летом, и вдруг ногами вверх мимо взмыло, мелькнув по новой. Я прянул. Повисло в зените, качнувшись. Исчезло.

Предупреждение о побеге я внес в перечень зачитываемого в начале прогулки техбеза. Это было потому необходимо, что ко мне доходили от Кати слухи: мол, Кортез раздражен такой бесполезной утечкой экспериментального материала. В этих слухах отчетливо маячила угроза закрытия доступа в Сад, что и вынудило предпринять нечестные меры.

Чтоб совсем неповадно стало, я пугал пациентов дикими зверями, рассказывал о бешеных голубях и врал о злосчастных пчелах. Для правдоподобья раздобыл у Крахтенгольц, что отвечала за всякие затейные мероприятия – вроде Нового года, дней варенья и проч. – магнитофон, усилитель, колонки: время от времени перепрятывал аппаратуру в тех кустистых местах, куда мы ни шагу, и ставил записи с леопардовым рыком, воем шакалов и павиановым визгом. Держа в кармане пульт дальнобойного управления, изгалялся – включая, мотая и снова включая.

Пациенты шарахались, но все равно время от времени исчезали: уследить в таких дебрях за ними нельзя. А я, хоть и рвал и метал для показу, про себя все же думал: что ж, в путь-дорогу!

И вот спустя год-полтора я достиг, чего желал, – свел почти на нет исчезновение пациентов: те, что в Саду пропадали – не в счет, а вот то, что прочие оставались все время живы – и было моей удачей.

И вышло, однако, что также – провалом: Кортез меня раскусил, когда обнаружил, в чем дело. Когда обнаружил, глядя в статотчеты, что почему-то никто в Доме месяц который уже не помирает, что больше теперь не хоронят – ни в стенах, ни в полу, ни в ступенях. Что анестезия простаивать стала. Что вдруг почему-то переезды с этажа на этаж прекратились, и все пациенты из Сада собираются к ночи на пятом: остальные пустуют. А Леонарду только то и нужно: в завершение замысла разоблачения.

Однажды будит меня, как обычно, Стефанов и говорит, что дрозды уже спели. Улыбается. И я улыбаюсь, поскольку давно уже счастлив, как в детстве. Вытягиваясь, лениво ленюсь под одеялом. Настроенье просто ура, и Стефанов такой же счастливый. Старик совсем поправился, и волосы на нем обросли. Все как в жизни теперь настоящей...

Встаю, умываюсь и иду к Наташе в бюро. Запускаю ризограф. Поджидая, пока отстучится, выхожу покурить на пороге. И тут, на второй же затяжке, хватают меня со спины, крутят сюда и туда, пеленают и несут прям к Кортезу. Тот сидит в кабинете довольный и –

только не на меня – то направо на горбуна, то налево на Крахтенгольц – поглядывает хитрованской улыбочкой. Так, мол, и так, говорит: раскусили тебя, гадина, сейчас ты у нас попляшешь. Я – молчок, а потом говорю: – Это еще мы посмотрим.

Принесли меня в Сад. Мимо очереди пронесли, у калитки с той стороны привалили. И увидел я сквозь решетку, как народ мой сейчас разгоняют: тумаками бьют, пихают взашей, руки винтят, костыли вышибают, коляски толкают в разгон, падлы.

– Падлы, – кричал я, – что ж вы такие падлы.

Стал биться и плакать без толку. И снова – плакать и биться.

Наконец разогнали. Провалялся полдня в одиночку, а как – не помню. Потом пришли и потащили по мосткам и кручам куда-то. Смотрю: несут, будто знают куда. Долго-долго шли – так протяжно, что я заблудился. Никак понять не могу, что за местность такая: появились вокруг горки пепла, что, слежавшись во времени, превратился в серую глину. Кругом песчаник и справа ущелье – неглубокое, но в очень крутых изломах. И как будто ручей там на дне, в каменных морщинах. Растительность скудная и высокогорная явно. Вдруг вижу: несут меня в голубятню, что стоит на самом краю площадки, на возвышении из этого самого пепла.

Распахивают пошире дверцу. Я замираю. Голуби белым вспорхом кипят, гулят, гулят, – воинственно и обреченно. Засовывают: я, извиваясь, не лезу. Хрипя от усилья, держат вдоль тела – все то же. Тогда относят в сторону и бьют головой о камень.

Очнулся я на рассвете. Весь обгажен – с ног и по затылок – повезло, что ничком упал: глаза целы. Голуби, похоже, остались довольны такой экзекуцией: вели себя странно мирно, хотя я причина того, что их нынче взаперти держать стали... Розовые от восхода, они умиротворенно ворковали и чистили перья. Я выпростался кое-как из рубахи, скомкал под голову и снова глаза на золотистый рассвет закрыл.

На третий день я обжился с птицами: к поилке пускали и пшено пожевать разрешили. Я был им за то благодарен. Клетка оказалась вполне просторна, чтоб вытянуть по диагонали ноги, но встать было можно, лишь согнувшись в погибель. Чтоб не закиснуть совсем, придумал отжиматься. Голуби поначалу всколыхнулись и стали атаковать с наскока, но упражнялся я плавно, и они привыкли.

Дальше началось странное пребывание. Кругом глубокое поднебесье – голубизна во всю ширь окоема, нигде ни мостка с моей стороны не видно, только там, в самом дальнем восточном далеке, виднелся пустынный остров-площадка, и с него никакого спуска.

Солнце ходило подле совсем близко; медлительно исчезало, становясь с полнеба, за правым флангом. Светило плыло низко нас-

только, что вверху синела темень, куда оно не добивало. Время шло просторно и незаметно. Отметил: луна не появлялась вовсе.

Я привык к голубям, сосчитал их – пятнадцать, и даже троим про себя дал клички; но потом перепутал. Временами впадал в забвенье и ночью, очнувшись, никак не мог вспомнить, что здесь вокруг. Крупные зерна звезд сыпали веером сквозь прутья клетки. Слушал ночь: шорохи, струйки песчинок, журчанье ручья в лощине и легонький гул голубей. Однажды достал из кармана пульт управления и включил кассету. Долго ничего не мог расслышать. Потом поднял до предела громкость и, судя по слабому эху от рыка, понял: теперь я так далеко от мест моего предыдущего обитания, что и представить не мог себе раньше, что можно сюда забраться. Почему-то меня это привело в чувство, сбило обморок, как аспирин горячку.

Дней десять спустя, на закате, пришли ко мне гости: вся бригада полным составом. Подходят. И Катю с собой привели. Вижу: кудрявый водила пихает ей вслед спеленатых: Карелиаса, Сатира, Эрота и Дафну; Стефанов сам последним плетется как миленький.

Синячище во всю скулу только приумножал боевой вид грека. Остальные имели вид вполне обреченный. Карелиас мне подмигнул, улыбнувшись. Что ж, думаю, посмотрим.

Долго копошиться не стали. Расставились в шеренгу на возвышении и подровняли всю компанию к самому краю обрыва. Как футбольный арбитр «стенку».

Кроме старика, одного за другим ударами в грудь опрокинули вниз.

Ни звука.

Стефанов стоит в черном протуберанце, помещаясь ростом в диск солнца.

Катя кидается ко мне. Ее оттаскивают от прутьев.

Вынимают меня из клети и подставляют к старику над срывом.

Вслед за мной вырываются в воздух птицы. Хлоп-хлоп-хлоп – взмывают и кружат в фиолете золотистыми блестками грудок.

Внизу и вверху такая бездна, что смотреть темно.

Стефанов тоже оглядывается, – видно, что и ему поплохело.

Горбун с разбегу бьет мне под дых калганом.

Едва отдышался, сложившись.

Леонард выходит напротив. Преображается. Вроде как хочет нас расстрелять. Соображаю – чем?

Стефанов малодушно шепчет: – Глеб, прощайте.

Я беру его крепко под руку, не отвечаю.

Мне некогда, я слежу, как все будет.

Кортез хватает рукой близкое солнце и вырывает полную горсть. Размером со снежок, солнце помещается шаровой молнией у него

в руке. Метает прямехонько в переносье. Эта штука летит, как планета в объектив телескопа. Я слепну и кричу от боли:

– А-а-ш-м-а...

И вопль мой, от меня отделившись, бьется моей головой по всей округе. И тогда прах отзывается пеньем, на призыв он встает в стенах и ломает мрамор. Прах взвивается шквалом, руша полы, ступени. Гигантская фуга фугасного взрыва сотрясает изнутри Дом. Горячим нутром раздаются мерзлые мшары, и топь, пучась, глотает потоки железобетона. Прах поет и, взвиваясь черной метелью над взрывом, вьется. Кругом черным-черно, и я, обнимая старика за шею, другой пытаюсь на ощупь ползти.

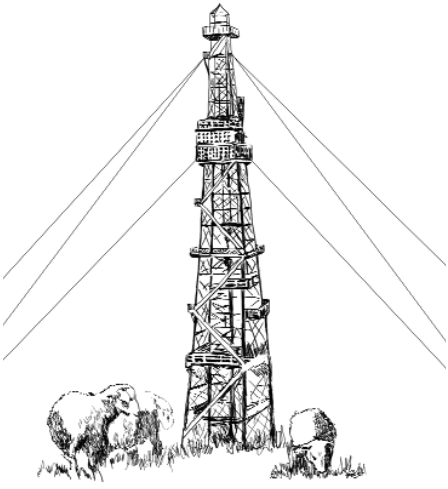
Точка.

Далее тьма, и Катя, склонившись, целуя, шепчет:

– Братик, мой братик.

30 ноября, 1999

нефть



Глава 1

ВОДА

Сегодня гады вот что придумали.

Убедившись, что ничего им из меня не выпарить, выдали стопку школьных тетрадей в клетку, четыре карандаша и точилку: Петя – он принес – молча положил на тумбочку.

И понял я, что дело теперь уж точно швах, и почувствовал облегченье. Вместе с этой мыслью пришел призрак праздности, и я с любопытством воззрился на Петю.

Он попрохаживался не глядя, хмыкнул и подался к двери.

Я хотел было вякнуть, но ступор свел мне челюсть.

Замок прицокнул, и понял я, что это: они хотят, чтоб я начал писать.

Первым встряло – изорвать бумагу.

Но искус был велик: книг я не видел, как прошлогодний снег – полгода. Появись у меня книги, на все б мне стало наплевать. Дать мне книги – все равно что выпустить на волю.

Письмо же равноценно чтению. Однако оно менее свободно, и гады про то знают: это все равно как гулять на привязи.

По крайней мере, письмо ему, чтению, подражает. Неравноценно оно потому, что оставляет следы, по которым есть шанс пишущего отследить, удержать в прицеле: читающий – охотник, пишущий – беляк, мечущийся по белизне забвения бумажного поля.

Вот и решили сыграть ниже пояса. Ведь знают, гады, что люди как раз и берутся за письмо, когда становится невмоготу читать. А когда книжки вообще недоступны, то и подавно писателями становятся.

Потому они и решили поставить на это, и таким – косвенным – образом, выпустив меня попетлять, побродить на свободе – самим

подглядеть: авось приведу их к тому, что вот уж месяцев семь им никак не выкатать еженощными дознаниями.

В общем, не устоял я пред искушением. Тем более – наконец появился шанс повременить с их ночными бенцами.

А ежели придут, то так и скажу: пошли вон, мешаете.

Я осторожно взял карандаш и поводил наискосок по обоям, тщательно заостряя грифель, раскрыл тетрадь и, не задумываясь, надписал:

«К р е п о с т ь. И вот прошло сначала пять лет, потом еще три, и еще два, до грани 90-х. Мне восемнадцать, я живу.

Сейчас я живу в лете, лето жаркое стоит в Баку. Под его горячими ладонями размягчается асфальт, я чувствую это через подошвы сандалий.

В Баку находится дом моей бабушки, где я гость.

Город похож на театр, скина которого – бухта Каспийского моря.

Дома, как виноградинки фруктовой горы на базарном прилавке, лепятся друг к другу по ярусам чашеобразного склона.

На одном из средних ярусов расползлась по холмам крепость Ичери-Шехер, взявшая в оправу шкатулку дворца Ширваншахов; на самом верхнем темнеет тяжелой зеленью кипарисов парк им. Кирова.

После заката опасно гулять по его аллеям. Особенно юношам-чужакам, не владеющим местным диалектом.

Поэтому, став для безопасности немым, я ускоряю шаг.

И еще ускоряю его – мимо компании, расположившейся на последней скамейке аллеи, у самого выхода из кипарисовых сумерек.

Меня окликают.

Я отвечаю по-английски.

Компания выражает сначала смущение, затем восторг.

И смущение, и восторг – варварские.

Меня обжимает гурьба шпаны, усаживает на щербатую скамейку.

Никаких расспросов, мне протягивают сбитую на пятку гильзу «Ялты», за ней вьется нитка анаши.

Недоуменно затягиваюсь, пыхаю с кашлем – на меня пялится хохот.

Как цыгане – мелко теребя и ощупывая – трогают мою одежду, я отстраняюсь.

Отстранение мое резко, оно задевает.

Ощерившись, у меня отбирают: папиросу, часы, кошелек, альбом, карандаш, носовой платок и дыханье.

В карманах оказывается ничего. Вывернутые – жалкие, как обмотки на подрезанных щенячьих ушах, я тщательно заправляю их и по-английски требую вернуть мои вещи.

Невнимание. Про себя вижу, как прорезь в печени от скользкой финки постепенно вместе с кровью переливается в глухоту.

Потеря сознания почему-то мной связывается с тишиной, которой оглушительно накрывает гребень прибоя.

Примерный перевод того, что слышу: «Сейчас мы покоцаем этого фраера и наконец-то поужинаем. Вагиф, сгоняй-ка за фуртухой».

Что такое «фуртуха», мне не известно.

Я ложусь на землю, вспомнив, что собаки на лежачего не нападают.

Мягкий песок под щекой тепел, я вжимаюсь в него, становлюсь неровностью дорожки. Прокатись по мне сейчас велосипед, мой хребет показался бы его шинам легкой встряской на ухабе.

Лежа, я то представляю, как мои части уже движутся по кишечнику хулиганской злости, то – как они еще жарятся, насажанные на эту самую фуртуху. Я ненавижу загадочную фуртуху, хотя догадываюсь, что она ко мне равнодушна.

Я уверен, меня съедят.

Главарь еще что-то деловито наказывает посыльному Вагифу, но мне уже ясно, что мое лежание им вот-вот станет невмоготу.

Вагиф, выслушав и покорно кивнув, воровато шныряет в глубь парка, пропадая за кустами белой, белым прахом цвета осыпающейся акации.

Мне хочется запеть «Интернационал».

Меня снова усаживают. Объясняют: среди них есть художник-любитель, сейчас он покажет свою искусность: он срисует мой профиль.

Своей неподвижностью я выражаю презрение: моя неподвижность ждет, когда ей будут возвращены мои вещи.

Они решают, что я позирую.

Я – позер: вместо того чтоб дать деру целым, жду, когда мне вернут то, что мне ценно.

Ценно: не целлюлоза альбомных листов или углерод карандаша, но Облако. Облако впечатления, которое я повстречал, бродя утром по городу. Как след чудесного уличного знакомства справа-налево я черкнул в альбоме московский телефон. Но прежде – навсегда запомнил. Однако допустить осквернения – оставить в руках неприятеля, хотя и в виде шифра, координаты цели было невозможно. Я ждал.

Тем временем лист покрывался художественными каракулями врага. Слух пестрел задорными комментариями товарищей рисовавшего.

Между стволов кипарисов поверх невидного с этого края аллеи обрыва, у вспухшего высотой горизонта мельтешили стайки морской ряби, подсвеченной уже исходящим силой закатом. Прогули-

вавшиеся заблаговременно покинули парк: пустынная аллея не содержит свидетеля. Столбики пыли (кто поднял ее?) плавно вращаются в пластах мягкого света заката: вытекающая медленно масса светлого тепла, нарезанная стремительными свечками кипарисов.

Наконец издевательство окончено. В потешном смехе мне показывают мое изуродованное лицо. Я зажмуриваюсь. Не глядя захлопываю альбом, вырываю карандаш, поднимаю из пыли носовой платок и, кажется, начинаю дышать. В ответ на улюлюканье по-английски промолчав, удаляюсь.

Вслед мне кричит рисовавший: «Извини, чувак, ты получился – как баба!»

Как бы внутри слепоты наворачиваются обидные слезы. Мой быстрый шаг похож на замедляющийся бег. Под гору миную тревожный распах пустыря, взмыв, перелетаю через мусорную кучу. У помойного контейнера понуро стоит худющая коричневая корова с длинными, будто подведенными ресницами. Поведя рогатой башкой в мою сторону, скорбно промычала. Вскоре напав на дорогу, стремглав опускаюсь в Крепость и путаюсь в ее переулках.

Крепость Ичери-Шехер еще более опасная, чем парк им. Кирова, местность. Негодование и обида делают меня к этому равнодушным. Холмистые улички здесь так узки, что в некоторых винтовых перепадах сподручней перемещаться боком. Немые стены домов, чьи окна, как взгляд под паранджой, поглощенно смотрят внутрь двориков и частной азиатской жизни. Пространство внешнее здесь не существует. Вместо него – теснота. Я знаю, если здесь будут бить вплоть до смерти жену, то это не будет касаться соседей. В этой местности семья – плацдарм невидимой, но нескрываемой – принятой и приятной тирании – шариата.

Крепость – злачная местность Баку. Как в Москве 47-го года Марьина роща или Томилино. Основная деятельность здешнего населения – сбыт ирано-турецкой контрабанды. Даже я, пришелец, знаю в нем две чайханы, где у аксакалоподобного, смакующего свою праздную неподвижность бабая можно купить за рубль пачку солдатского, без фильтра, «Кэмела», – чтоб с тихим шиком выкурить половину за вечер в «Жемчужине» на Бульваре.

В Старом Городе «малины» столь же часты, как и археологические раскопки. На пустыре из-под песочных осыпей извлекаются алтари какой-то разновидности зороастрийского культа. Раскапываются и реставрируются части архитектурного комплекса дворца Ширваншахов: диван-сарай, диван-хане, усыпальница, мечеть с минаретом, во рву с канавками стоков – дворцовая баня, мавзолей Бакуви и восточный портал. Известняк увит и обсыпан алджебраическим орнаментом из витиеватой речи пророка (алгебра – изобре-

тение тирании: от числа к переменной: в уравнение казни подставляется все что угодно – единица или стадо шахских подданных).

Почти все экспонаты дворца, так и не став памятниками, прибираются к рукам здешних дельцов. В банях устраивается базар, в нем – торговая суета, сапожные лавки, парикмахерская, чайхана. Диван-сарай становится рестораном. Здесь неделю тому назад, накануне отъезда моего брата Пети в Москву, мы вчетвером (еще с дядей и отцом) вкусно ели жареные потроха. (Мы ели много еще чего, но ливер помнится особенно: забавно было на шипящей сковороде среди перченых, накромсанных в масло кусочков разбирать – где легкие, где печень, а где желудок или почки, – забавная работа по различению: так же различаются буквы во взвинченной и размешанной борзописи, или капли в море; по тому же принципу различается в точке ничто, из которого, проклевываясь стаей, его взрывая, вырываются знаки, несущие вселенную и Различие. На столе – бутылка вина «Чинар», четыре зеленых столбика минеральной воды «Бадамлы», блюдо с тархуном, рейханом, кинзой и мелким зеленым виноградом – блюдо с возможным кормом съедаемого нами барана.)

Безуспешно пытаясь распутать клубок переулков, я случайно оказываюсь на территории дворца. Густые, влажные, как одышка июля, сумерки; набегающие волны звона цикад; полная звездной пыли луна.

Чтобы осмотреться, я забрался на плоскую крышу какого-то низкого дворцового помещения. Внизу рушился в рое огней город. Озеро лунного света, полоня горизонт, пучась облаком дымки в небо, медленно, как впечатленный взгляд, размещалось в бухте. На юге, за ящеркой мыса Баилова, моргал маяк.

Я почти успокоился. Раскрыл альбом, чтобы до конца вырвать обиду. Но ничего не увидел, кроме чистых листов лунного света, трех неудачных эскизов, каракулей адреса и телефона, – и страницы своего удивления, в котором я застыл...

Очнувшись, еще раз перелистал альбом, но незнакомое изображение в нем было только одно: профиль моего в п е ч а т л е н и я. Лицо ее все время стояло прозрачно передо мной. Только преломленными его чертами я мог видеть предметы, ландшафт, прохожих...

Хулиган польстил моей внешности от неумения, но вышло чудо: каким-то непостижимым образом означилось подобие.

У меня и сейчас хранится этот рисунок. Никакого особенного мастерства в нем не наблюдается. Некоторые линии для пущей точности передачи проведены дважды. Профанство очевидно сразу: так школьник забавы праздной ради, высунув кончик старательного язычка, рисует физиономию одноклассника на крышке парты.

Но в этом рисунке главным был случай. Так в путанице дадаистических траекторий иногда чудом проступает точный смысл. Неумелое старание, немыслимо избежав пародии, проявило случайное подобие образов, которое поначалу было мною принято за сходство. Сейчас то, что изображает этот рисунок, похоже на ничто, но при этом остается мне подобным: на нем изображено мое впечатление.

Заглядевшись на луну и воду, я позабыл об опасности своего местонахождения. В любую минуту я мог бы оказаться в еще более мерзкой ситуации, чем та, из которой только что выбрался. Спохватившись, я расставил в уме вешки ориентиров и вскоре уже вполне представлял, последовательность каких именно поворотов мне нужно предпринять, чтобы выбраться прочь из Старого города: и далее руслом сливающихся переулков прорваться на Кривую улицу и по ней – к набережной, – там, в прибрежном кафе «Ракушка» меня ждал отец.

Но вода поднималась столбом волнистого света в небо и омывала мутный желток луны: зрелище, от которого можно оторваться, только если удастся в него проникнуть всем существом.

Я все же сумел посмотреть на часы и убедиться, что чудовищно опаздываю: вот-вот ожидание отца превратится, минуя наскоро раздраженность, в равнодушие, и он спокойно отправится к Фонаревым без меня.

Напоследок я взглянул вверх: вдруг паутинные линии лунной карты проступили ясней, прожилки медузообразной субстанции, расплывшейся по лунному диску, утолщились и, сопротивляясь вязкому клубящемуся теченью, внезапно стали набухать, смещаться, уменьшая прозрачность, приобретая телесность зрения; и вот уже в них проступил немой и дикий крик зародыша: восхитительный страх, медленно стекая по шее, груди, куда-то вниз к местечку паха, сладко сжал все внутренности...

Потом, происшедшее внезапно, как утреннее беспамятство сна, что-то передернулось в свете, словно в «волшебном фонаре» были мгновенно переставлены слайды.

Я почувствовал, что на крыше еще кто-то есть. Плоскость ее – примерно, квадрат шагов в семь по диагонали – до сих пор служила основанием только для столба теплейшей звездной темноты – стержня моей бакинской ночи, – только основанием моего удивления чудесной случайности рисунка и странному лунному видению, но внезапно весомость этого видения воплотилась в чье-то дополнительное присутствие, которое я стал теперь способен внутренне ясно ощущать и даже слышать, поскольку присутствие это зашевелилось. (Шелест платья, который распускает паутинкой в слухе тело бабочки, выпрастывающейся из кокона сладкого лунного сна.)»

«С в о б о д а. ...Я очнулась, прянув от страха, что он напугался. Лицо побледнело до свечения: он слепо подступал ко мне все ближе, расставив, как для поимки невидимки, руки, развернув ладони. Он был на взводе. Я подала голос...

С этим я и живу теперь.

Он подобрал меня: уже третью ночь я спала на крыше кухни, укрывшись от комаров стянутой у хозяина простыней. В кухне я до прошлой субботы работала – мыла посуду, заваривала чай. Хозяин выкинул меня от жадности: я стала строптива, нечаянно вкусив молодого тела, и перестала приносить самую верную прибыль – ветхие рублевки стариков, – базарных паханов, леваков районных совхозов. Теперь заваривает чай и полощет посуду его придурковатый сынок: вздутая водянкой головка качается, как кувшин на голове, салатовая капля течет, удлиняясь гирькой, покуда засаленное полотенце елозит по тарелке, – не успев шмыгнуть носом, он растирает соплю по фаянсу.

Ресторанщик – сволочь: купил меня у матери на Халстрое, куда обратно теперь я вернусь только мертвой. Три года назад мы приехали в Баку из Карабаха и поселились на окраине Черного города. Папу взяли на стройку: нам должны были этой весной дать комнату в общежитии, но прошлым летом его убило машиной. Когда нам сказали, мать закричала, а я схватила братика в охапку и, обнимая его, укусила себя за запястье. От укуса у меня остались восемь шрамов, как след от часиков на тугом браслете. До стройки далеко, в Халстрое никто не знал, как найти наш сарай: там свалка и люди от бедности и страха – пуганные звери. Поэтому папу схоронили без нас, под забором кладбища. Спешили, чтобы дело в милиции не завелось. Мать потом ходила проклясть эту машину, но ее перевезли на другой участок: мать прокляла только место.

Я уже год в Старом городе. Мать на вырученные от моей продажи деньги уехала к троюродной сестре в Ростов: жена ресторанщика, Азиза, сказала, что – слышала. Я решила проклясть мать, если она бросила брата.

Далеко от ресторана мне уходить нельзя: не прокормлюсь – и страшно. Город я знаю только со стороны – он виден отсюда как на ладони. У себя в голове я гуляю по нему, а пойти на самом деле – жутко: кто я?

Когда я увидела его, я подумала во сне: «Он хороший».

Он испугался, и я виновата: вспугнуть добро – грех.

По-русски я плохо говорю, хотя все простое понимаю. Поэтому я стала тихо насвистывать. Это русская песня, я часто слышала ее по радио. Она как колыбельная, с очень грустным, словно голубым мотивом.

Послушав, успокоился.

Потом мы сидели на краю крыши, смотрели в море.

Луна медленно поднималась в зенит.

Большой, как остров, корабль вплывал в бухту.

Я вспомнил: «Большая, как остров, луна выплывает в небо. От пенья цикад волнуется ткань ее света. Сторож бьет в колотушку. Кого он пугает? Ведь вор – это забвенье».

Азиза вынесла приступ страшного кашля во двор, – чтобы не разбудить мужа, который тогда примется на нее кричать. Она давилась судорогой легких и харкала – густо, с тугим шлепком.

В ответ ей пролаяла собака.

Он взял меня с собой. Мы шли по городу, как по моему воображению. Я почти все узнавала, только твердые раньше стены теперь зыбко дышали, будто поверхность застывающего хаша. У меня кружилась голова, хотелось пить.

Мы вошли во двор, поднялись по круглой лестнице. Я обернулась. Сквозь виноградную листву горело окно; в нем женщина, улыбаясь, наливала мужу чай. Он поднимал к глазам армуд и любовался горячим, терпким цветом.

Мы прошли по дому на цыпочках, но я бы пролетела или проползла – только бы бесшумно.

Глава 2

ЛУНА

Б а б у ш к а. Я постелил ей на балконе, сказал, чтобы ложилась – тихо, как мышь, а сам отправился к отцу.

Ленточка света спускалась вдоль косяка его комнаты и, преломившись о пол, растекалась – не ровным углом, но, как пролитое молоко – расширяющейся в направлении опрокинувшего движения лужицей, с округлой кромкой, исчезала у противоположной стены, впитываясь медленно ворсом ковровой дорожки.

Он еще не спал. На меня не взглянул: когда занят письмом, его ничто не может отвлечь. Мне иногда кажется, что мы – те, кого он любит, – только потому и существуем, что он пишет нас, и существование наше – это жизнь на кончике его пера, и линии наших движений, жестов, мыслей, чувств – суть его огромный почерк.

Наконец, он дописал фразу и, все еще глядя в лист, потянулся к спичечному коробку, чтобы заново раскочегарить простывшую трубку.

Я спросил:

– Что у Фонаревых?

– Тебе нужно в пятницу оказаться в Москве. Спросишь Петра, он расскажет тебе о Фонаревых, чего ты не знаешь. Скажешь – теперь можно, я велел.

Он обернулся и толкнул пошире окно, чтобы выпустить облако табачного дыма, которому уже становилось тесно.

Я ждал.

Большая ночная бабочка наконец запуталась в лабиринте дыма, пробираясь среди плавных сгустков к тесному конусу света настольной лампы, и ударилась в стопку книг. Одурманенный и оглушенный бражник плавно поводит крылышками, будто продолжая свой сложный полет по неторопливому бессознанию, и я странно думаю, что сон вообще всего лишь похож на обморок легкий действительности...

Отец аккуратно, за туловище, берет в пальцы этот кусочек полета во сне и по параболе переправляет в окно. Сипло пыхнув два раза, затягивается.

– Потом пойдешь в «Инюрколлегию» – составишь запрос. Теперь пора. Сейчас иди спать, утром купишь билет. Вот деньги.

Он вытянул из стопки книгу, раскрыл – я подошел и взял заложенные десятки.

Уже в дверях услышал:

– Возьми ее с собой. Пригодится.

В коридоре я столкнулся с Цилей. Она подслушивала, и теперь напряженно решала, в какую сторону ей улепетывать.

Вообще, она часто оказывается в неловком положении – и все потому, что, волнуясь, никак не умеет собраться, всякий раз забывая напрочь сразу все варианты, из которых следовало бы, принимая решение, наконец-то выбрать. Все это от рассеянности, совершенной потерянности в, казалось бы, совсем незамысловатом пространстве выбора.

Часто, проснувшись утром, ей нужно какое-то время, чтобы воссоздать себя заново, поскольку ближайшее прошлое для нее труднодоступно, и она, таким образом, всегда оказывается вне настоящего.

Я верю, что иногда вместо нее просыпается персонаж ее сна, и с ним вместе, с него стекая, сон переливается в действительность, как бы ее разжижает, в силу чего последняя вокруг оказывается разреженной, будто из нее, как из жидкости, резко вынули предмет – сознание, и теперь зыбкая, колышущаяся реальность, схлопнувшись над его бывшим местом, безнадежно пытается заполнить образовавшуюся пустоту, создавая некую увлекающую, как взгляд в

пропасть, тягу. Ощущается это так, словно вокруг нее постоянно поддерживается какое-то удивительное поле вертижа. Приходилось ли вам наблюдать блуждающую по поверхности пруда воронку, сорвавшуюся с траектории гребка весельной лопасти?

Существование Цили является беспочвенным. Это чувствуется безошибочно, внятно передаваясь тем, кто находится с нею рядом. Находя себя в ее близи (даже сейчас, о ней только вспоминая, я испытываю нечто вроде смыслового головокружения), легче всего почувствовать безосновательность своего собственного существования – это, как вирус, передается телу чувств.

Поэтому ее нелегко любить. Но лично меня всегда привлекала именно эта остросюжетная сторона ее личности. Ее беспамятство, которое сродни слепоте, и то непрерывное усилие, прилагаемое ею для борьбы с мороком безотносительности жизни, жизни помимо, каким-то образом абсолютизировало ее для меня, и я догадывался, что вот именно здесь и находится самое захватывающее, самое стоящее.

(Разумеется, физической причиной ее такого состояния жизни было впоследствии выявленное патологическое явление – вполне терпимое заболевание, какая-то слабая разновидность болезни Альцгеймера. Но не в этом, конечно, дело.)

Несмотря на множество неприятностей, состоящих из конфузнейших недоразумений, провалов, следовавших из-за неверного восприятия сути – событий и их поведенческих траекторий (она по два раза на дню разыскивала в кухне холодильник; путала имена подруг, любовников, а потом и внуков; с ней невозможно было иметь никакого дела: вечные смертельные ссоры с матерью и сестрой, не говоря о сослуживцах; она могла сегодня страшно рассориться со сводной сестрой Ириной, а завтра, напрочь забыв об этом, звоня ей по какому-то мелкому делу, озабоченно интересоваться, почему та так долго у нее не была), степень ужаса от непоправимой суммы которых умножалась высокомерной отстраненностью от происходящего и – подобно эффекту турбины – взвинчивала трагическую выколотость из теплого поля заботы близких...

И вот, несмотря на все это, я с самого начала интуитивно чувствовал в ней некую таинственную существенность.

Я даже одно время думал, что ей однажды приснился сон, в котором ей снилось что-то, и когда это что-то наконец смялось и приостановилось, она заснула, и там – во втором вложенном сне – нечто вновь развернулось в медленное событие, и оно, длясь, ей продолжало сниться, сниться до тех пор, пока она не очнулась во сне от второго, скрытого тканью сна, сна, и вот тогда-то она и совершила оплошность, приняв это за настоящее пробуждение, за возрождение подлинной яви, – да так – в первом сне – навсегда и осталась.

Мне довольно рано удалось разобраться – в чем здесь, собственно, дело. Хотя поначалу, в детстве, я, случалось, до слез обижался на ее странности. Например, она могла меня, ребенка, развлекать день напролет, вдруг вывозя на пляж в Шихово, и со мною – наплававшимся до будоражащей сладкой нежности в теле – гулять по бесконечной набережной, разрешая одновременно тир и чертово колесо, парашютную вышку и автодром, гяту и газировку, вдоволь покупая мороженого и сахарной ваты, и вообще позволяя абсолютно все, что обычно находилось под некрепким родительским запретом; она могла целый вечер читать мне Андерсена, или Гауффа, и потом, сидя в сумерках рядом, долго помахивать у изголовья раскрытой на форзаце книгой, так отгоняя от моего лица влажные широкие листья бакинской духоты, терпеливо дожидаясь, покуда сознание мое, наконец, не опрокинется на плоскость чуткого марлевого сна – и его утянет подальше, к утру, тихий ручей сновидений; а на другой день совершенно оставить без внимания, казалось бы, вполне обоснованную вчерашним приступом дружбы мою детскую доверчивую приязнь. Эта подмена, обманная прерывистость тепла, которая в детстве сродни настоящей смерти, поначалу доводила меня до рыданий. Но папа однажды сказал на это: «Так надо. Обижаться в данном случае – пустое».

В пожилом возрасте у нее появилось нечто вроде мании преследования, невероятной подозрительности. Те вещи, которые она по рассеянности теряет, или только месторождение которых забывает, она уверенно считает украденными. Например, за эти три недели я трижды крал у нее кошелек с пенсией и однажды какое-то свидетельство, а также дважды совершал чуть меньший грех – куда-то утаскивая «Степь», – текст которой, кстати, она и так знает чуть не весь наизусть, и текучие цитаты откуда нередко – произвольно, в виде бреда – вставляет в свою пущенную поверх собеседника речь.

Часто взгляд ее вдруг соскальзывает с оси сообщения, и она, отворачиваясь, но продолжая говорить, медленно, как во сне, отправляется в неведомые свояси, и вы внезапно понимаете, что все это до сих пор было предназначено совсем не вам, и даже не ей самой, но н и к о м у вообще, и было только звуком, речью, выборматывающей, заклинающей ее болезнь – ничто.

Потому она и подслушивает: не столько любопытства ради, сколько недоумевая, что никак не отыскивается искомое и что, возможно, от нее просто скрывают причину ее беспамятства, где-то прячут по разговорам, которые при таком подходе оборачиваются заговорами.

Вот и сейчас, повиснув на растяжках выбора между двумя направлениями, или, возможно, их попросту позабыв (куда же подать-

ся, вправо или влево, которых нет?!), она заговаривает эту пропасть решения следующим образом:

– Я, Глебушка, на самом деле в уборную направлялась, да вот конфуз какой вышел – потерялась. Подозреваю, вы с папой снова зеркало в тот конец прихожей перевесили, я ведь просила вас оставить его в покое, оно же путает меня: по ходу повернуть уже следовало, а я все еще напрямик с непривычки норовлю, вот и шишку вчера себе набила, да и сейчас то же б случилось, если б не почуяла сквозняк от балконной двери. Ты зачем ее привел? На что она тебе? Ты хотя бы уж вымыл ее, что ли, прежде чем спать укладывать – белье только пятками замарает, кипятить придется, просто стиркой теплой не обойтись, папу же мне лишний раз не хочется беспокоить, а сама я таз на плиту уже и не поставлю. А зеркало вы с папой завтра непременно перевесьте, с зеркалом вы безобразить бросьте. Это, Глебушка, мой дом, вам не след в нем хозяйничать. Я и так всю дорогу путаюсь, куда что положила и откуда что взять следует. Случается, и не положила еще вовсе, а про себя затвердив, что вот, положила я это свидетельство в верхний ящик комода, оттуда и брать надо, и вот не положив-таки, там же и ищу беспрестанно, все перерыла – а нету, да потом хвать, а оно в кармане халата и лежало все время, а я уж чего только, грешная, не передумала! Ты ее все же с собой не бери. С Фонаревыми она тебе не помощник. Зачем ты эту профурсетку дикую таскать с собой будешь, брось ее, завтра же выпусти. Что за бесполезная жалость?! симулянтикус натураликус, а не сиротское несчастье. Ты ее расспроси, расспроси хорошенько – сразу убедишься, что лжет, как отпетая. А с Фонаревыми будь осторожен. Мы всегда с ними осторожничали, там злое водится. А сейчас спать шагом марш, да не забудь только вымыть ее хорошенько, полотенце чистое в ванной есть – голубое. Кассы в девять часов открываются. Чтобы к открытию не последним поспеть – смотри, не проспи, на завтрак от ужина демьянка жареная осталась, я ее в холодильник убрала, еще яйцо сварить себе можешь. Покойной ночи, милый. Завтра, пожалуйста, помоги папе зеркало перевесить. Сделайте непременно, сил моих нет кутерьму эту всю вынести. Одно помни, что никогда ни в чем ты уверен быть не можешь. Как только уверишься, как станешь в уверенности своей неподвижен, так считай, что в прицел тебя и поймали, и уязвимость твоя вся – как на ладони. Где же я полотенце-то голубое сушиться вывесила? На балконе ему висеть полагается, а не где-нибудь в кладовке. Случается, вовсе еще и не затвердив про себя – куда, а туда уже положила, и позже запомнила я это полотенце на балконе на веревке, и что оттуда и брать надо, но вот не запомнив-таки, там уже и не ищу, все в памяти перерыла – а нету, да

потом наверняка обнаружится, что оно там и висело все время, а чего уж я только про него не думаю!..

Речь ее, обратив ко мне только первые фразы, бродила все это время по дому. То приближалась из удаления, то – еле слышна – вытекала из ближайших сумерек интерьера. Отвернувшись и спросив «Ты зачем ее привел?» – Циля отправилась медленной невидимкой в круговое плавание, пристукивая одной из босоножек – той, у которой (я заметил утром) надорвался задник. Словно боясь вспугнуть лунатика, я прислушивался затаив дыхание, – до тех пор, пока она наконец не скрылась в своей комнате: скрылась – неверно, но стала неслышной ее речь и хромый шаг, так как Циля превратилась, погаснув, в невнятное бормотание, теперь перемежавшееся зевками и вздохами.

Покуда речь ее блуждала, я тоже не оставался неподвижен. Хотя, если вслушиваешься, то замираешь. Но звук, обидно скрадывая юродивый смысл, неумолимо ускользал временами, и мне пришлось, ущипнув себя за запястье, на ощупь двинуться в темноте, медленно пеленгуя ее речь, пока она совсем не пропала в неразличимости.

Исчезновение Цили застало меня в гостиной. Дверь на балкон была приоткрыта, штора отдернута: я стоял на трапециевидной пластине лунного света.

Плотная духота. Комариный зуд, как налет штурмовика на бреющем, внезапно возникал из тревожной темноты у лица, противно приближаясь по спирали слуха.

Я вышел на балкон. Соседский кот метнулся в виноградной листве и мягко спрыгнул на чугунные ступеньки. Она спала разметавшись. Я подумал, что не знаю ее имени. Нет названия – нет предмета. Мне почему-то стало беспокойно.

Милейший подбородок. Серебристый пушок над приоткрытой чуть припухлой губой. И у виска.

Отыскав в глубине темноты кладовку, я вытянул из нее подстилку из мягкого пластика (я всегда предпочитаю спать на полу, особенно здесь, в Баку, где страшная жара, и тонкий воздуха слой у пола в безветрии самый прохладный – «пенку» я стянул на время у брата: он таскает ее с собой иногда на пляж и всегда берет, отправляясь в поход в Набрань), простыню и подушку. Разложил и постелил у балконной двери, где только и возможен сквозняк, дуновения которого я, высушенный бессонницей, буду ловить, мучительно извиваясь, каждым лоскутиком кожи весь остаток ночи. Так рыба, выброшенная на песок, обессилев, напряженно тянется к достигшей струйке особенно сильной волны.

Спустя что-то долгое-долгое я стал забываться, мечась внутри каких-то вложенных желтых зеленых розовых синих квадратов, которые

лопались как мыльные пузыри, как только я оказывался внутри одного из, тут же обнаруживая следующий, вложением которого он был.

Мучение состояло в том, что я никак не мог удержаться в квадрате: как я ни силился, предыдущий, не поддаваясь оглядке, легко выскальзывал из-под сознания куда-то вниз, но прежде содержание его стремительно разжижалось, и только эту стремительность и можно было еще удержать до того, как объем очередного квадрата не лопнет, добавившись к пустоте.

Я – как бы сам пузырек – взмывал в пенном облаке из столпотворения пузырей, своим присутствием пронзая оболочки встречных. Но, может быть, движение мое сквозь было иллюзией – составленное только последовательностью превращений?.. Это было похоже на взлет отдельного отрывка отсутствия – пузырька, прерывисто взбирающегося по стенке высокого бокала, время от времени примыкая к одному из своих неподвижных собратьев.

Как только я находил себя внутри следующего квадрата, в нем начинало происходить некое действие, начало которого оказывалось вполне интригующим, чтобы составить сновидение, которое, однако, никак не составлялось, поскольку события и персонажи внезапно, как подвох, начинали чувствовать приближение пустоты и как-то приостанавливались, застывая в тревожной настороженности. Фигуры вдруг неудержимо принимались сжиматься, экономии ради превращаясь в бюсты, потом в головы, в глаза: зрачки удивленно осматривали свое исчезнувшее тело, плавая в уже разбавленном бледностью цвете этого очередного, населяемого ими квадрата, который вот-вот соскользнет, безвозвратно унося существование тех, кто не успел до конца позаботиться о своем безопасном исчезновении.

Меня невыносимо раздражала и мучила эта бредовая безудержность пульсирующих сюжетов. Дело в том, что к этой круговерти неоконченных повествовательных ходов невозможно было никак привыкнуть – с тем чтобы миновать, выпустить, перестать обращать на всю эту белиберду внимание. Любое начало с новой силой захватывало меня.

Как долго я грезил этими квадратами, понять было невозможно. Я знал, что появление каждого нового – это очередной шанс заснуть, что стоит мне только удержаться в нем, как чуть позже я окончательно забудусь и провалюсь в успокоительную глубину сна, наконец избавившись от этой невыносимой череды бесполезно пугающих наблюдений.

Затем, в промежутках, стала мерцать мысль, что так дальше нельзя и во что бы то ни стало необходимо окончательно проснуться. Я лежал на животе, зажав подбородком комок жидкой подушки. Кон-

вульсивно оттолкнувшись руками, отжался, вскинул голову – и вынырнул из потока этих пузырьковых сновидений, хрипло вбирая в себя влажную вату духоты, – и трудно уставился на расплывающуюся лужицу лунного света. Меня мутило.

Через несколько осторожных мгновений она, подобравшись на корточках, коротко выглянула в балконном проеме: на полу показался четкий силуэт головки – заостренный углом падения лучей носик. Подождав, световая аппликация двинулась дальше – вырос стебелек шеи. Я тупо смотрел на профиль, на блики на плитках паркета. Чтобы вновь не соскользнуть в морок грез, как выбравшийся из воды пес, я тряхнул головой.

Теперь она показалась полностью и уселась, обняв колени, на порожке. Очнувшись окончательно, я сел по-турецки на постели. Мы молча смотрели друг на друга. Мне не было видно лица из-за тени – над ней слепила луна. Я ей, должно быть, был виден отлично. Блеск белков в глубине незрения...

Потом все произошло мгновенно. Вдруг решительно встала, зачем-то быстро обернулась к ночи, наклонила плечо, стягивая тонкую лямку свободного сарафана, ладонью сняла другую и, нагая, перешагнула упавшее платье. Закинув за голову руку, щелкнула заколкой. Обвал волос скрыл острые плечи. Почти ребенок, но полнеющие бедра, тонкие щиколотки, предплечья, которые внезапно разлетелись в водовороте из ласок, объятий: дебри волос и кожа, как поверхность воды, и зернышки сосков, обморок затяжного прыжка сквозь тончайший срез мускусного запаха, и чуть кислая смола желания – все это оказалось неотвратимо и страшно, поскольку, затянувшись безмерно, наконец взорвалось.

Я проснулся оттого, что дыхание ее пропало. Без четверти семь на стенных часах. Утренняя прохлада...

Я слышал, как хлопнула входная дверь. Спустя – беготня босоножек внизу во дворе – пауза: поправила соскочивший задник, и – дальше, пропала.

Пробормотав: «зачем-то быстро обернулась к ночи...», я обвернул голову простыней, чтобы, наслаждаясь прохладой, сладко доспать остававшийся час.»

Глава 3

ЛИНЕЙКА

Нынче утром ко мне бурей ворвался Петя.

Я не успел спросонья даже шевельнуться – хотя бы мыслью: проворно – как попугай из коробки записку-на-счастье – хватанул мою тетрадку и – канул.

Я заторможено умылся и подумал: ну и что. Жаль, нельзя будет потом внести исправления. Решил – буду теперь прятать тетрадь под подушку.

Затем, размыслив коротко над кофе, подточил карандаш, сел на кровать, подобрал ногу и на коленке продолжил:

«У м ы в а н и е. Вода – зубы ломит: колонка еще не разошлась, а ждать некогда. Порошок мятный, прошлогодний, комочками: щетка их не берет – царапают десны. Ментол со временем выдохся весь, потому на соду похоже. Сплюнул. Глянул в зеркало. В паутину трещинок поймался живой блик. Далее в зеркале – зарешеченное окошко: в ячейке шевелится шершавый лист инжира: прикрыл тугой зеленый плод, на его полюсе тужится капелька млечного сока: муравей в ней вязнет усиком – пьет. Застыл. Исчез. Пора проснуться до конца. Еще две пригоршни воды. Блик дергается, как веко, и, медленно перемещаясь, вытягивает за собой паутину: вдавливаю в зеркало палец.

Я сильно загорел – в тон карих зрачков. Белки дико проглядывают, как пятнышки теперь чужой бледнолицости.

З а в т р а к. Полез за кастрюлькой в стенной шкаф. Табуретка подломилась треножником (о, разруха!): и, падая, смел с полки корзинку с овощами. Приземлился в упругую россыпь лиловых игрушечных цеппелинов и помидорное месиво. Собрал, убрал, с коленки стер ладонью сок, слизал с солоноватого локтя и вдруг понял – внезапно и жутко, как пешеход проваливается в коварный люк, что все совершаемые сейчас мною движения не случайны, что в них есть какое-то усилие припоминания, примерки уже однажды бывшего – так ли оно сидело на мне.

Сломил чурек, разрезал вдоль, сложил толщиною в палец жареные баклажаны, сверху веточку рейхана. Поставил на огонь кастрюльку. Вода вскипела. Яйцо, конечно, лопнуло, распустилось белковой розой. Глядя, вспомнил, как в детстве старуха-соседка лечила от испуга: когда меня сбила машина (не сильно, только креп-

ко толкнула). Завела к себе, приставила к стенке, миску с водой уравновесила на макушке, что-то страшное шептала, плавила воск, разом на голову выливала. Потом показала, что получилось: кверху брюхом игрушечная легковушка. Старуха говорит:

– Вот твой испуг.

Хотя я бросался под колеса «рафика» неотложки, поскольку Петя закричал, что видит маму на той стороне улицы. Вот я и бросился от восторга наперерез движению. Отлично помню кривую улыбочку своего братца, когда его привела Циля к нам с мамой в больницу.

Я попросил ведунью поиграть с машинкой. Не дала.

С к а н д а л. Циля случайно проснулась, очнулась, ожила. Выходит босая, сообщает, что кто-то увел у нее босоножки.

Я понял: велики, потому-то задник и соскочил – и звучали шаги не мерно, приволакивала подошву, чтоб не споткнуться.

Глотнул горьким залпом кофе и кинулся опрометью, поскольку якобы опаздываю к открытию касс. Если бы не испарился, был бы обвинен и в босоножках тоже...

Д в о р. Поземка из струек опавшего цвета акации, россыпь сочно разбившихся за ночь ягод тутовника. Благодать утренней свежести, которая через час-полтора истает: небо зловеще бледнеет. В полдень, как слезы на сыре, проступят капельки нефти на недавно положенной на углу нашей улицы асфальтовой заплатке.

О с т а н о в к а. Прислонившись к фонарному столбу, на корточках сидит Сашка Аскеров: плечи на прижатых к груди коленях, прищуренный вид, с сигаретой между большим и указательным. Он по-солдатски прячет ее в ладонь, в общем – натурально, амшара приблатненная, но при этом – взгляд какой-то умудренный, печоринский, что ли. Я ему:

– Давай, в авиакассы сгоняем.

Сашка, мучительно затягиваясь:

– Не, не могу. Сегодня ночью с паханом обои клеил – днем жарко, да-а. Спать хочу – умираю.

Сашка цыкает длинным плевком в сторону и смотрит хитрованом – пойму ли его признание:

– Короче, ночью Америку слушал. Ну там, «47 минут джаза», знаишь?.. «Лав суприм», слышал? Джон Колтрейн, короче. Я чуть не умер, клянусь, да-а. Пахан тоже.

– А я вчера в Кирова парке чуть не умер, – говорю.

– Ай, говорил я тебе, зачем ходишь где хочишь?! Ты, что! жить не любишь?

– Люблю.

– Ну, короче. Потом купаться ходили. Меня тюлень в плечо укусил – зверь, да-а! (Сашка задрал рукав футболки, показывая ободок запекшихся ранок.) – Заплыл далеко, без трусов. Вода-а-а, кейфуй – не хочу. Кругом – космос, как в небе плывешь, клянусь. Верх и низ – одно и тоже, получается. Вода тоже светится. Я на спине расслабился, у меня вот тут, – он горячо ткнул под сердце, – Колтрейн фигарит, и тут – как цапнет! Я думал, умру.

Поболтав еще с Сашкой, дождался троллейбуса – впрыгнул, уселся.

С т о п. Остановка «Кинотеатр Низами». Моторы взвыли и спинка сидения упруго понесла меня по городу.

Через два года Сашка погибнет.

В течение нескольких месяцев двухсоттысячное население Армениканда будет покидать Баку. По воздуху – в Ереван, в Ростов и в Москву, на паромах – в Красноводск. Погромы будут следовать один за другим. Но только в январе десантные части войдут в город, чтобы спасти партийных крыс от виселицы, поставленной «Народным фронтом» у горсовета. Солдаты, по тревоге поднятые в воздух из-под Рязани, после высадки будут очумело думать, что это – Афган. Десантники, ютясь на БТРах, раз за разом будут врезаться в море воющей толпы. Мой загремевший из-за проваленной сессии в армаду однокурсник Миша Бабанов тогда получит три ножевых. Нежные малиновые шрамы, уже дембелем вернувшись с комиссовки, задрав рубашку и спустив джинсы, он покажет нам в туалете на большой перемене. (На бедре шрам окажется похож на след от тугой чулочной подвязки.) Сползая с брони и теряя сознание, Мишка опорожнит рожок в облепившую их машину толпу. Еще раньше Сашка укроет у себя семью своего друга, Гамлета Петросяна. Соседи сообщат толпе. Погибнут все, кроме Эмки, одиннадцатилетней сестры Гамлета – Сашка выбросит ее в окно. Эмка пушинкой повиснет в голой кроне акации.

Т р о л л е й б у с. Я решил, что перед отлетом непременно сам отправлюсь к Фонаревым.

Троллейбус тронулся дальше, и я подумал, что начинаю чересчур пристально относиться к происходящему.

Далее я еще осудил себя за это, и чтобы как-то поправиться, решил для начала навсегда поселиться в троллейбусе. Тут же в салоне, как в театре, объемом налился сумрак, пошел снег, а я оказался снаружи. Прильнув к стеклу и сложив ладони окошечком, я принялся внимательно разглядывать, что происходит внутри. Вижу, как дети возвращаются с горки, которую за пеленой крупнозернистого снеж-

ного праха и набегающих сумерек можно принять за склон неба. Укатавшись за день, они устало тащат за собою санки. Долгий караван уже наскучившего детства. Первые останавливаются у самого окна, остальные еще подтягиваются. Дети чем-то опечалены, у них суровые лица. Я удивляюсь: как странно, ведь они целый день – так что дух захватывало – катались среди белого и голубого! Тихо и ровно идет снег. Вдруг замечаю: на санках лежит голая Оленька Фонарева. Дети тоже ее заметили и спрятали от неожиданности глаза. Я не спрятал, я продолжал смотреть на зябнущую Оленьку. Обняв себя за плечи, она улыбалась. Соски жалобно выглядывали из-под локтей. Видимо, ей было очень неловко. Казалось, взглядом она просила сочувствия к ее положению. Потом дети привыкли и стали сыпать на нее из сугроба охапки снега. Спасаясь, Оленька превращается в куклу, в которую влюбляется мальчик, на чьих санках она путешествовала. В этом мальчике я узнаю себя. У меня сжимается сердце. Темнеет, и мне видно все хуже. Я прижимаюсь плотнее к стеклу и вдруг замечаю, что троллейбус убыстряет ход. Мальчик берет Олю на руки, прижимает к себе... Потом я вижу уютную жаркую комнату, квадрат стола, покрытый упругой белой скатертью, на нем стакан горячего молока, в который кладут с ножа кусочек сливочного масла. Тая, масло плывет дрожащим желтком в ярком тумане. За столом сидит голая Оленька и мажет мне медом хлеб. Я медленно и вкусно съедаю бутерброд, запивая молоком. Она подходит вплотную, дает свою небольшую грудь. Я беру ее голубоватыми от молока губами. Потом она гладит меня по голове, помогает с узким горлом свитера, расстегивает, снимает рубашку, припав на одно колено, стягивает с меня мокрые от снега штаны и помогает залезть на стул, откуда я, обняв за шею, перебираюсь к ней – на закорки. Оборачиваюсь: молоко недопито, его поверхность подернулась морщинистой желтой пенкой.

Она уносит его из комнаты.

Стакан, постояв, вдруг начинает бешено вращаться. Центробежная сила упруго раздирает пленку пенки, воронка на молочной поверхности углубляется до самого донышка. Вздыбившееся молоко вырывается наружу, заливая потоками комнату, попадает на стекло. Я перестаю видеть из-за потеков – и оказываюсь внутри.

На следующей остановке входят два одинаковых типа с красными повязками на коротких рукавах марлевых теннисок. Но до меня очередь не доходит. На развилке маршрутов усик пантографа слетает с высоковольтной колеи, шест пружинит дугою в полнеба, обратно, искрит, осаживая на дыбы троллейбус. Некоторые остаются ждать возобновления движения, но большинство выходит, им уже недалеко. Я выхожу последним из большинства, поскольку какое-то время еще надеюсь навсегда остаться в троллейбусе.

Глава 4

ФОНАРЕВЫ

О ч е р е д ь. К открытию я опоздал, но и до открытия очередь уже существовала. Очередь есть всегда, когда имеется нужда, удовлетворяющаяся только в порционном виде. Время, например, тоже очередь, поскольку события – порционны, то есть по своей природе взаимно исключают происхождение друг друга.

Встал в конец недлинного, но медленного хвоста. Впереди – двое взбудораженных чем-то военных, без фуражек на мокрых, прилипших к челкам лбах; женщина с капризным от недосыпа младенцем – бедняжка, весь в зудящей от комариных укусов сыпи; дядька в соломенной шляпе, из-под полей которой пижонства ради торчит специально не оторванный клочок артикула. Еще дальше: черно-белый хасид (шикарная шляпа – Сатурн) с упакованной в парик женой и детьми, – они азартно перебрасываются кусочками беззаботности, еще чуть-чуть – и хоровод запустят.

Деловитая физиономия кассирши, готовящейся начать торговлю полетами, протирает ветошью окошко. Сзади подходит человек с грустно-наглым, как у какаду, видом: в руках – книжечка стихов Хлебникова. Мне интересно, спрашиваю: где продается? Вместо ответа – небрежно:

– Ты крайний будешь?

Стоя в очереди в кассу, думаю: 1) о том, как вернусь обратно в Москву и чем мне придется там сразу заняться: а) обратиться к Пете за рассказом о Фонаревых; б) составить и отнести запрос в «Инюрколлегию» (это на Тверской, в том же доме, что и Театр Ермоловой: у входа парит увитая стремительным курсивом гравировки латунная табличка, начищенная до прозрачности, в которой – если двинуться справа налево – взбегает от Кремля и развертывается панорама ул. Горького; рядом – бар «Марс», где в буфете вкуснейшие эклеры, а на втором, питейном, этаже – как медсестры, ласковые с симпатичными мальчиками проститутки из соседнего «Интуриста» надменно тянут в соломку жидкое золото из бокала с навешенной на край маслиной); в) начать подготовку к сдаче «теорминимума» по квантовой механике, так как скоро начало семестра и пора бы позаботиться о своем поступлении в теоргруппу, – во время учебы припрет нагрузка; г) на третий день, 10-го, пораньше утром, отправиться сюрпризом в Домодедово, чтобы встретить то свое впечатление, с которым я прошатался вчера весь день по городу, – она упомянула дату своего возвращения в Москву, после которой я мог бы ей позвонить.

Также я думаю: о том, 2) как мне следует себя вести у Фонаревых, и мне кажется, что я уже придумал; и о том, 3) что я сейчас вижу свою ночную гостью, появившуюся из нахлынувшей невесть откуда сутолоки пассажиров: слоняясь, она забрела-таки на вокзал (бродяг к вокзалу притягивает инстинкт невозможной подвижности, как к раме оконной – пылинки) и теперь, увидев меня, подбежала и тянет за запястье.

Поразмыслив, вспомнил совет отца и купил ей билет – со скидкой для школьников. Строго сказал, чтоб ждала меня во дворе моего дома в двадцать два тридцать. Кивнула. Когда мы, съев по половинке гяты в привокзальном буфете, расстались (любопытно вертясь во все стороны, кратко исчезла в толпе), я подумал, что она может и не знать, что такое «двадцать два тридцать».

Ф о н а р е в ы. Фонаревы – наши родственники. Мой прадед приходится родным братом ихнему предку. Фамилии у нас разные, но это отдельная история. (На мой вопрос – «Почему Фонаревы, а не Короли, или Кенарь?» – отец ответил: «Потому что от фонаря.»)

Хотя и родственники, у нас всегда с ними были настороженно прохладные отношения.

Повелось это с давних пор; конфликт произошел из-за эфемерного наследства от моего прадеда. Важные подробности этого столкновения мне еще только предстоит узнать от Пети – моего брата. На прошлой неделе он вылетел в Москву, – так же как и я, получив некоторые указания от отца.

Какие именно – мне неизвестно.

Семейные тайны передаются нам только по достижении какого-то определенного возраста или этапа развития.

Благодаря своему старшинству, Петя меня в этом смысле опережает. Вообще, наши с ним планы и дела с самого рождения были перпендикулярны.

Фактография мне пока что почти неизвестна.

Знаю только, что было де некое наследство, юридическая тяжба о котором в конце 50-х оказалась частично подвешенной, в первом своем раунде решившись в пользу Фонаревых.

Знаю еще, что у нашей семьи есть какой-то важный козырь, который, по-видимому, как раз сейчас пришла пора пустить в дело. (Сейчас, направляясь к Фонаревым, – я вчистую блефую, разыгрываю самодеятельность: мне этот козырь не известен.)

Впрочем, возможно, отец намеренно воспользовался моим решительным любопытством и сам спровоцировал мой выпад, оставив мне в распоряжение целых два дня – вторник и среду: ведь я мог бы вылететь еще сегодня днем, с учетом того, что дело не тер-

пит отлагательства, а вторая половина четверга и пятница – довольно сомнительное время для расторопных действий.

Но, возможно, он лишь хотел, чтобы я этим своим походом к Фонаревым восполнил свое вчерашнее отсутствие при разговоре.

Как бы там ни было, мне ужасно не терпелось самостоятельно войти в соприкосновение с семейной тайной. С тайной, которая время от времени в виде аномальных, зашифрованных непонятностей проступала каким-то полупроницаемым, но притягательно родным облаком, прикосновение к которому четко табуировалось старшими. (То, что Петя с недавних пор к ней причастился, меня чрезвычайно беспокоило.)

Всего только год назад, во время нашего прошлого приезда в Баку на летние месяцы произошла такая сцена. Отец входит на веранду, держа в руке вскипевший чайник, и резко обрывает своего брата, который все же был вынужден начать отвечать на мои посыпавшиеся вопросы, которые я, себе же на удивление, вдруг стал способен, хотя и попадая часто впросак, формулировать. Это было действительно трудно – составить вопрос неизвестно о чем, ответ на который, собственно, и был, по крайне мере наполовину, самим этим вопрошанием. (Впрочем, дядя больше мычал, без конца препинаясь вводными: «видишь ли», «знаешь ли», – и мучительно затягивал фразы, тем временем раздумывая, как бы не плеснуть лишнего.)

В тот раз моим последним вопросом, на который дядя так и не успел не ответить, был такой: «Почему прадеду в октябре 1918 года пришлось уехать в Америку?»

История семьи меня всегда занимала ужасно. Вплоть до восхищенного возбуждения, отдававшегося зудом в кончиках пальцев. Однажды, сквозь такой зуд я пролистывал случайно оставленный на журнальном столике особо чтимый семейный фотоальбом. Обычно он запирался в сервант, потому что рассматривать его полагалось только в присутствии взрослых. Наконец дошел до заветных страниц с дагерротипами Иосифа Розенбаума. Весомая красота, роскошная борода, сюртук, парабола цепочки, плюс какая-то странная смесь, с одной стороны, патриархально жесткого выражения, а с другой – некоего щегольства, которое для меня заключалось в наличии фрака и пышного галстука. На следующей странице открылся портрет его жены – Генриетты Эпштейн. Представьте ужасно красивую женщину, но с выражением лица как у недотепы, что только придавало ей шарму... Вглядевшись, я обмер – и кинулся в гости через полгорода к двоюродной своей бабуле – Ирине. Влетев к ней, чуть не зашиб дверью кошку Масю, пал на колени: «Казни, но расскажи!»

Отсмеявшись, Ирина сначала охолонула меня, рассудив, – что, мол, познание только приумножает скорбь, то есть: много будешь знать – скоро больно и даже мучительно состаришься; но вскоре посерьезнела и обещала поговорить с отцом.

Напоследок, отпоив меня чаем, напутствовала:

– Для начала попробуй вглядеться в его черты, общие для нас всех – его детей. Попробуй их прочитать. Считай, что они – карта.

Я застыл, не смея взглянуть про себя на отложенную страницу.

– Впрочем, – пробормотала про себя баба-Ира, – моя мать всегда была сумасшедшей, вот и бабка твоя в полной мере ее повторяет...

Mr. Neft, friend. Прадед добирался до Америки пять лет. Год прожил в Бомбее, еще один в Шанхае, три – в Иокогаме, ул. Ямашитачи, 87 – «Приют еврейского общества помощи эмигрантам», в ожидании визы. На соседней улице в белоэмигрантском издательстве «Заря Востока» все эти годы – по 1920 г. включительно – под редакцией Д.Уральца выходит журнал «Жиды и большевизм». В Сан-Франциско Иосиф Розенбаум прибывает на «Seyo Maru», в компании с юным князем Абдаллой Ибрагимовым, увязавшимся за ним еще в Тебризе. В кармане у Абдаллы находились 350 долларов против 70 у Иосифа. Паспортист отмечает в книге прибытия рост: «5' 4"», в графе «Сколько времени собираетесь провести в США» проставляет: «Жизнь», а в столбец «Адрес и имя вашего ближайшего родственника в США» вписывает под диктовку: «г. Сиэтл, шт. Вашингтон, Первая Авеню, 1004, Еврейский Приют, Мистер Нефть, друг».

Действия. Военные действия предполагают наличие разведки и контрразведки. Поэтому отношения сторон, какими бы они ни были враждебными, предполагают время от времени возникающие периоды дружественной оттепели, когда состояние – пусть и лицемерной – взаимной любезности должно облегчить обеим сторонам разведывательные действия: без оных любая война рано или поздно превращается в бесцельные блуждания в потемках.

Что касается Фонаревых, один из таких мирных периодов длился, с самого начала тускло затухая после внезапного всплеска дружелюбия, последние четыре года и сейчас вместе с моим походом к Фонаревым должен был оборваться. (Длился – часто остававшимися без ответа формальными приглашениями на дни их рождений и экстраординарными – запросто в гости.)

Я уже начинал бодро чувствовать себя во главе арьергарда (естественно, слишком самонадеянно), который не то чтобы потерял из виду, но вовсе никогда и не видел своего авангарда, – сейчас (уси-

лиями Пети) где-то невидимо врезавшегося в передовые части неприятеля.

Встреча с Петром, как я уже догадывался, будет иметь не только ретроспективно повествовательный характер, но также и характер сводки последних событий. И я, конечно, надеялся удлинить их перечень самостоятельной разведкой боем.

Было ли мне не по себе при этом?

Думаю, что если и было, то не слишком, так как я имел некоторое основание для дерзновенного своего там появления. Основанием этим была Оленька Фонарева, которая четыре лета назад – на вершине последнего пика приступа междусемейной дружбы – оказалась у меня в небольшом долгу, на возвращении коего я до сих пор не настаивал, но сейчас был в полной решимости себе сполна возместить.

О л е н ь к а. Богомол похож на сложносоставной механизм, части которого двигаются независимо друг от друга. Обнаружить это насекомое можно, если внимательно прокрасться вдоль забора, увитого толстым ковром плюща и дикого винограда. Когда разглядываешь богомола, не сразу удается понять, какие веточки являются его частями, а какие нет...

За забором уже две недели живет девочка, родители которой, приятельствуя с моими, наняли две комнаты в соседнем коттедже. Она на целый год старше меня и уже осенью станет первокурсницей местного филфака. Иногда она приходит ко мне, и мы вместе идем на пляж или качаемся в гамаке – или (о, ужас!) мучаемся шахматами.

Шахматами мне с ней заниматься не особенно интересно, потому что я всегда выигрываю. За белых Оленька упорно разыгрывает безнадежную атаку Муцио (которой я же ее на свою голову и научил, разумеется, предупредив, что это острое, но предельно рискованное начало). Играя же черными – как ни подсказывай – она никак не может умудрить контру против одного из моих самопальных продолжений гамбита Бенко. Книжка Ботвинника, которую я дал прочесть ей для победы (или ничьей – что в ее случае та же победа), не помогает уже неделю.

Просто так валандаться в гамаке скучно. Но нескучно, когда кто-нибудь из нас читает вслух Конандойля, Мериме или Шварца.

Мы лежим валетом, провисая легко, как тяжелые рыбы, в ячейках.

Гамак подвешен в саду между абрикосовым деревом, с невкусными плодами, и вишней-шпанкой. Иногда плоды падают на нас. Доставая из-за пазухи увесисто запавший за воротник, цвета остывшего солнца абрикос, до мурашек приятно провести по лож-

бинке ключицы, по шее тугой бархатистой, напитанной солнцем кожицей.

Сочная шпанка, падая то на одного, то на другого, оставляет на коже звездчатые капли сока.

Мы подсчитываем урон: 3:1 в ее пользу.

Рассеянно внимая Мериме, она надкусывает абрикос, неполно накрывая плод припухлыми губами, – и ее близорукие каштановые глаза, застыв в воображении, вызванном рассказом, чуть мутнеют.

Я – в шортах, мое бедро касается ее смуглой икры, и мне становится страшно. Я стараюсь вновь углубиться в чтение.

На загородном пляже мы избегаем загара, так как дальше чернеть уже некуда: в майках играем в волейбол или уплываем далеко-далеко, щедрой дугой огибая пирс.

Плавает она блестяще, в море мне интересно с ней. Наперегонки выгребая до Ленивых камней, мы часами вертимся там – вдоволь ныряя с маской, вылезая прогреться на верхотуру. До берега метров семьсот, сюда почти никто никогда не заплывает. Разве что ранним утром у камней можно застать спасательную шлюпку – с двумя-тремя пацанами, удящими бычков.

Чуть в стороне невероятного размаха крыльев чайка, изредка шевелясь, чтобы уловить уточнившееся направление бриза, плавно срезает пласт покачивающегося во взгляде неба.

У подножья камни покрыты лохмами тонких водорослей, скользкими настолько, что наверх можно забраться только вместе с набегающей горкой волны.

В детстве у этих камней отец учил меня хорошо нырять. Чтобы я не боялся глубины, когда внезапно темнеет и давление водяного столба больно вбивается в барабанные перепонки, он брал меня за руку и утягивал на самое дно. Там, придержав для привычки, отпускал. Яростно взмывая, я выбирался к поверхности, и всплытие, на которое у меня едва хватало дыхания, было мучительно долгим, как рождение...

Однажды отец оставил меня на камнях, а сам уплыл, казалось, за самый горизонт, который с камней, с зоркого возвышения, был раза в два дальше, чем с берега (и обратно: при погружении горизонт, который суть периметр окоема, стремящегося к точке, схлопывается над головой).

Мне не было страшно за отца, но было страшно без него. В тот раз он отсутствовал больше, чем вечность, и за это время, перегревшись, я получил тепловой удар. Укутанный в гулкую полуобморочную тошноту и почти теряя сознание, я обнял за шею отца и так был отбуксирован на берег. На руках он пронес меня к шоссе. На попутке через веер мерцаний каких-то широких и быстрых сереб-

ряных рыб привез домой. Тогда я проспал восемнадцать часов; очнувшись, решил, что солнце, превратившееся где-то под теменем во всепоглощающую воронку, и все эти ворочающиеся в дикой глубине рыбы, все это мне приснилось где-то в самом начале долгого-долгого сна...

Вдоволь наплававшись, съев все взятые с собой помидоры, огурцы, полчурека и осушив запас воды или айрана в картонных пирамидках, мы одевались и напоследок забегали в одежде в море – окунуться: мокрыми было легче идти полкилометра до автобусной остановки, к тому же шорты, майка, сарафан на эфемерных бретельках успевали высохнуть еще на полдороге.

Забравшись в битком набитый автобус, мы прижимались, маскируясь теснотой, друг к другу. Каждый прикасаемый участок кожи каждой выпуклости тела становился проводником наслаждения. Казалось, влитый солнцем, спахтанный движениями свет начинал вязко циркулировать в нас в виде томления сообщающихся тел.

Выпав из автобуса, мы не сразу могли идти ровно, не шатаясь.

Вечером, если никто из нас не отправлялся вместе с взрослыми в гости...

О д н а ж д ы. Однажды мы забрели на заброшенное кладбище военнопленных немцев, которые строили дома и заводы на Апшеронском полуострове сразу после войны. Вокруг – ограда, обросшая ежевикой, прореху в которой было невозможно отыскать, – но обнаружилась тем, что стая бездомных собак устрашающей цепью вытекла из этой прорехи и, покружив, к счастью, не потратила на нас свое свирепое внимание.

Низкие ржавые кресты, без надписей, как фишки, были расставлены на большом прямоугольнике синих глубоких сумерек в точном шахматном порядке. Упорядоченная пустота. Но это только сейчас я способен назвать природу этой жути, – чтобы симулировать взрослое бесстрашие. Тогда же мне совсем не было никакого дела до причины своего ощущения, – мы оказались лицом к лицу с переживаньем и, до конца не распознав, приняли его за невиданное остросюжетное пространство.

Как завороженные, мы петлисто бродили между могилами и наконец решили присесть на одной из, предварительно выдрав кустики верблюжьей колючки и «сладкого корня».

Я пожалел, что мы на кладбище, мне хотелось пить – и «сладкий корень» я отбросил неохотно... Внезапно она схватила меня за руку и, утянув ее под подол, сильно прижала к своему плоскому, плоскому животу, одновременно притягивая мою голову к себе и горячо шепча: – Евходехлиб, ты слышишь, либе!..

Возвращаясь, на соседней с нашей улице мы застали свадьбу. Пульсируя и плескаясь, она вилась по звездной глубине узкими воздушными змейками, запущенными звоном со струн дикого цапучего тара. На потрескавшемся асфальте под фонарными столбами ширились два брезентовых шатра – расставленные отдельно для мужчин и женщин. Мы любопытно остановились у входа в мужской среди плотной толпы. Душераздирающая зурна и бешено монотонные барабаны, вроде индийской таблы, рушились потоком в слух. Воздух огромным звуком ходил вокруг, как прозрачный зверь. Скоро он стал нас, слегка покачивая, пробрасывать между странно усыпляющими набегами модуляций взвинченного ритма. Мелко приплясывая, на середину шатра выходили из-за столов дородные мужчины и, топчась по кругу, вздев одну руку и отставив за поясницу другую, роняли на пол комочки купюр. Их тут же поднимали проворно устроители свадьбы. Один дядька, вышедший с нашей стороны, опьяненный щедростью, сыпал долго и остервенело, – и спираль траектории увлекла его за пределы шатра.

Укаченные ритмом, мы посторонились не сразу. Комок двадцатипятирублевой бумажки ловко упал мне в ладонь.

На следующий день, накупив на эти деньги фруктов, свежей осетрины и две бутылки сладкого, крепкого, как яд, «Чинара», мы отправились вместе с компанией моего брата в Набрань. Там, на пути от шоссе к морю, настоянное на хвойном дурмане солнце, стекая лучами меж сосен, как мед на просвет через долгие соты, как волос прозрачный сквозь гребень, – подняло нас и протянуло на долгий день счастья над граничными пляжами меркнущего в дымке горизонта сознания.

Там, в Набрани, после пикника, купаясь глубокой ночью в теплом, как кровь, Каспии, я приобрел то знание, что впоследствии парадоксальным образом мне долго казалось утратой...

Утрата перестает быть таковой вместе с полным осознанием ее неизбежности. Правильное же осознание любой необходимости (то, которое ни во что не ставит эту необходимость) есть ее преодоление. Тогда, едучи от метро «26-ти Бакинских Комиссаров» на Монтино, я пришел к выводу, что за минувшее время мне удалось проделать эту работу. И сейчас у меня был повод убедиться в этом на деле. С этой – побочной – целью, пользуясь ею как отвлекающим маневром, я решил провести над Оленькой безобидный опыт, длительности которого, по моим расчетам, должно было хватить для моих разведывательных действий...

Дверцы еще на ходу сложились веером и, выпрыгнув на бегущий из-под ног тротуар, я даже прищелкнул пальцами: в предвкушении приключения.

Глава 5

УТРАТА И ЭКСПЕРИМЕНТ

У т р а т а. Мы сидим в кухне, говорить не о чем, а нужно, – и я, от неловкости пикируя в ступор, цепляюсь за проскочившую по дороге сюда мыслишку... (Выглядит это несуразно и хамски – отвлеченный взгляд, полоненное отсутствием выраженье, – но чего токмо не выкинешь, валясь сквозь землю!)

«Человек, располагаясь в невинности, находится в мифе. Мир – если он уютен и замкнут – миф. Миф разрушается в результате приобретения холодного знания о мифе, – который тепел и влажен. (Например, стоит только задуматься о том, где ты находишься, как сразу же это самое «где» и исчезает – вытесняясь «зачем».) Разрушение, разрыв – действуют против замкнутости, целостности. Целостность – это когда добавить или убавить значит: разрушить. Незамкнутую, нецелую вещь вообще невозможно разрушить, ее можно только умалить... или приумножить. Подлинное разрушение необратимо, как необратима картографическая операция перенесения сферической поверхности на плоскость, вносящая катастрофические искажения в географии: образы заблудившегося путешественника и заблудшего адамического духоборца, таким образом, становятся близки. Разрушение, разрыв суть удачное покушение на Непрерывность. В этом смысле потеря невинности – сопровождается переходом от непрерывного существования к трению. Так, палец, до сих пор гладко скользивший по стеклу, вдруг в какой-то критический момент срывается на мерзкий разрывный дребезг, скрип... Наиболее удачным символом прерывистости отыскивается Феникс: сознание, живущее только посредством бликующей вспышкой мысли, любовное чувство, длящееся в пол-искры – от влюбленности до обоюдного обморока в постели...»

– Нет-нет, спасибо, – я успеваю покрыть ладонью чашку, но струйка плещет инерцией, кисть дергается, валю вазочку с вареньем – полный бенц, стыдоба, мама миа.

– Ну что ты, в самом деле, давай налью тебе полчашки, жарко очень, должна же жажда быть утолена, – у нее не говор, у нее частушка, по-другому она не умеет, видимо, даже при зубной боли, когда и рта-то не раскрыть...

– Нет, спасибо, может быть, попозже... Коли в жару начнешь усердствовать в питье, потом не остановиться...

«Так вот, в этом свете различие между поэзией и прозой в том,

что первая главным признаком своего произведения предъявляет условие целостности произведенного на свет мира (при помощи образов, которые – имена), в то время как проза – это осколки разрушенного поэтического сознания, разметавшегося в ретроспективных поисках себя – целого – по избытку пустоты, в которой потерялся. Проза не обладает свойством единственности созданного. Варианты стихотворения – это разные, как «я» близнецов, творения».

– Давай-ка мы в гостиную переберемся, там теневая сторона и попрохладнее должно быть.

Эксперимент. – Ну, что ты такое несешь, милый. Я так рада видеть тебя, а ты с порога умничаешь невпопад и некстати... Ты мне так и не рассказал, как ты живешь в Москве, поди там весело, не то что здесь у нас – в трясине провинциальной, – Оленька развернула карамельку, подлила себе еще кирпичного цвета чаю, забралась с ногами на диван, их под себя уютно подвернула, взяла со столика изящно чашку, откусила конфетку, и теперь улыбка ее усластилась еще больше, но стала менее поддельной – за счет действительно тающей карамели.

Отпила.

– А как учеба твоя, как прошла сессия? От Цецилии Иосифовны слышали, что успешно очень, и папа твой подтвердил, что тобою доволен... А что Петя, как его аспирантура, кто научный руководитель? – вторая половинка была отправлена в сладкий, кривящийся ротик и поместилась под небольшой выпуклостью у загорелой скулы.

Я кратко рассказал Петины дела.

– А вот у меня есть для тебя новость, тебе она понравится, я знаю. Я в марте месяце была в Москве, экстерн сдавала в МГУ, и перевод оформила себе удачно, с потерей курса, правда, что поделать. Так что в следующем семестре ты возьмешь меня под опеку, ведь правда, милый, ты не бросишь меня на произвол, – улыбка ее выжидательно выравнивается, а я спохватываюсь, чтобы не поморщиться, делая вид, что на меня эта новость производит благоприятное впечатление; и уголки губ приподымаются снова.

Я чую – еще немного, и мне крепко придется пожалеть себя, забредшего в эти сомнительные гости...

– Я уже сейчас представляю, как ты покажешь мне, что есть забавного в Москве, познакомишь с друзьями...

– Мои друзья не любят слишком сладких...

– А я не сладкая. Так что, покажешь?

– Что покажу – друзей или город?

– Какого черта, говори нормально!

– Конечно, покажу – Пречистенку и Чистый, Покровку и бульвары, и много, много разных мест...

– Мама! – кричит, на помощь призывая свою мамашу грузную, которой сама под стать, как капелька вторая – инжирового варенья, патоки, или чего-нибудь, сравнимого по приторности.

Ахнув и всплеснув, входит Ада Львовна, крупная, немного похожая на Софи Лорен, но дебелостью своей тут же уничтожающая это сравнение, брюнетка. Уселась тяжко между нами, жару больше принесла, чем «голландка» иная, если входишь с морозу и, распахнувшись, льнешь, щекой блаженно прижимаясь... Но зимой – благодать отогрева, а у Ады манеры предельно душные и неприятные, как влажные ладони: разговаривая, точней – в лицо говоря – и себя, к вашему ужасу, не перебивая, она трогает вас попеременно то за плечо, то за кисть, то в бок щекотно ткнет, или – что всего несносней, – стараясь обратить особенное внимание жертвы на тот или другой отрывок ее речи, тычет длинным, алым цветом лакированным ногтем в колено. Конечно же, – поскольку в шортах – по голой коже больно, – и, конечно – отпрянуть, если б только оставалось еще для дыхания место.

Когда она нас застукала в то лето целующимися у калитки, схватив меня за локоть и отослав в дом дочь (Оленька, ничуть не смутившись, покорно повернулась и, уходя, ловко, движеньем внутрь бедра, поправила потревоженные трусики), так же душно и бессвязно говорила мне что-то о важности первого чувства, которое предопределяет, по ее драгоценному мнению: «Все, вы слышите, Глеб, абсолютно все!» – и она чиркает мне по запястью своими когтями: три белых полоски от легко снимаемых с загорелой кожи чешуек.

– Я понимаю, Ада Львовна, видимо, вы правы, но, к сожалению, я не люблю Ольгу, мы скорее друзья...

– Что?! – ревет она, и я шарахаюсь от нее, как нерасторопный стрелочник от маневрового тепловоза-«кукушки»...

Далее, разумеется, попробовал последовать скандал, она ходила мелко жаловаться к отцу, который, как обиженно рассказывала об этом Ольга, был невнимателен и в конце концов ее выставил. Она приходила еще, извинялась, что, мол, была слишком, слишком разочарована, – «Ах, право, было бы так мило, так прелестно, ведь мы же все-таки, и не все-таки, а самые что ни на есть родственники, и, видите ли, кровь иногда требует реанимационных мероприятий...»

В результате ими был объявлен нам бойкот, который мы за занятостью и праздностью так и не заметили и который, в конце концов, окончился тем, что с их стороны последовал очередной прис-

туп соседской щедрости: однажды был привнесен в виде дара на нашу территорию таз с инжировым вареньем, – но тут же выдворен, поскольку Циле вдруг пришло в голову именно за пять минут до прихода Кадки (Петька кликуху придумал) попытаться припомнить, куда же задевалась ее бельевая веревка:

– Вы, Адочка, вещь принесите обратно, я стирку затеяла...

Та – вся в краску и в фырканье, в общем, унесла сладкое восвояси, а спустя три дня – и за два до моего отъезда – они совсем съехали с дачи.

В прошлые наши приезды мы, конечно поверхностно, виделись с ними, всякий раз со скрипом и оскоминой принимая липкие их приглашения, причем податливей отца и Пети всегда оказывалась беспамятная Циля, но все это было прохладно, формально и, в общем, никчемно.

Теперь она так же тошно дышит своим любезным бредом вполоборота на диване: о том, как я и что я. Оленька ей отвечает усердно – обильно, но талантливо врет, – и я оказываюсь избавлен от ответов, так что получается все довольно ловко, – что это они между собой, для указания кивком имея меня подле, обо мне же и рассуждают...

...И вот мне вновь садится на плечи предчувствие, что меня непременно чуть позже съедят. Со мною такое случается – экспериментируя, я даю послабление безысходности, и оно, ярясь, полонит все вокруг – и не встать, не уйти и не хлопнуть, спасаясь, дверью, и весь этот спектакль оказывается разыгрываемым на сцене действительности одного моего любопытства ради, – чем это все наконец безвозвратно закончится...

К тому же в данной ситуации я в первую голову был сосредоточен на своей разведывательной цели и потому решил, что если скандал неминуем, так уж пусть это будет с к а н д а л, шумом и гвалтом побочным которого можно прикрыться, как маскировкой, и отобрать исподтишка необходимые сведения, – там и сям внезапно доступные благодаря оголенности охраняемых ранее мест. Так десантный отряд в первую голову имеет целью – посев паники и неразберихи в пространстве противника, который, смешавшись с собственным страхом, станет менее разумно-внимателен и, следовательно, менее живуч.

Я решил приступить немедленно, но все же необходимо было вступление, и я спросил-таки чаю. Ольга проворно метнулась с дивана – прочь из комнаты и не сразу в сторону кухни (мы в проходной находились комнате, я это отметил войдя, как предусмотрительно отмечает странствующий ковбой, оказавшись в неприветливом салуне, что скрывает подробностями места задник заведения),

потом шмыгнула через комнату и отчего-то возилась там слишком долго – настолько, чтобы я не мог не заподозрить подвох в виде горстки таблеток элениума, растворенных тщательно в чае – вместе с сахаром для подтасовки вкуса.

Надо сказать, сахар в чае я не переношу совершенно. Я был уверен, что Ольга помнит это, и потому подозрение мое тут же переросло в нависшую опасность, – стоило мне только распробовать, отхлебнув, противный, как таблетка сахарина, вкус жижи. Видимо, это было что-то посерьезнее элениума, потому что вслед за тошнотворным слюноотделением в моем сознании образовалась неуловимая течь, – к тому же усугублявшаяся близостью Адской громады – и плотной, как пакля, жарой, уже обложившей город и набившейся во все его помещения.

Это не было контратакой, но атакой, потому что они явно дерзость мою недооценивали и всегда себя вели, как вивисекторы: не трогали только потому, что не слишком я был им, невежа, ценен. Но, видимо, вчера у них наконец возникло подозрение, что мне что-то уже известно, и сегодня, когда зверь сам пришел воевать в ловушку, они решили меня поскорей оприходовать.

Тем временем воздух в комнате, обложенной персидскими коврами (узоры их, бычась бредом арабских угроз, внезапно стали резки и выпуклы), подернулся жидким маревом (подобно неоднородностям в преломленье, когда сахар на свет размешивается в чае, или – подобно разъеденной зноем ауры асфальтового пригорка), – и в нем, медленно расплываясь, поплыли, становясь все больше похожими друг на друга дочки-материны лица.

Плыли они в сторону рож.

Бабы заметили, что со мной происходит нечто, так как обе, не скрываясь, вскочили, – когда я медленно, чтоб не разлить, поставил армудик с чаем на стол и подался вперед, – но не в силах встать, откинулся обратно на спинку дивана. Сознание мучительно теряло фокус. Дочки-матери, кривляясь, плыли хороводом. Вновь «Интернационал» подступил мне шершаво к глотке, но так там и застрял.

Далее последовало неизбежное.

– Вам что, не нравится наш чай?!

Я (трудно сглатывая гадость, и потому медленней, чем нужно):

– Да если б нравился, так я бы пил. Мне показался вкус его немного странным, как будто бы в него опущено безумство...

– Ну что-о-у вы, Глеб! Всего женьшень в него добавлен был на фабрике – и только.

– Что ж, Ольга, принеси-ка пачку.

Та приносит.

Читаю: Серпухов, чаеразвесочная... Обложка желтая, отросток корня как отросток, и сказано, что добавляет тонус.

Я вдруг почувствовал, что ноги отнялись.

Ковры еще безумней стали, мебель как бы насупилась, высокий потолок стремительно надвинулся поближе и накренился, раза полтора качнувшись...

Две женщины – одна похожей на другую – сливались в третью, а у той, как будто бы означились усы и голос Вениамина Фонарева... – Работает он кем-то в республиканском КГБ, и речь его всегда весома, но некстати, и потому немного глуповата. Взгляд мертвый, как у дворника с похмелья. Похож смертельно на смертельного врага всего подвижного, в общем – на убийцу. И дело то, с которым в комитете отец промучился лет пять в шестидесятых, скорей всего не обошлось без его почерка...

А мне так дурно, тошно, душно, гадко, что стон издал я, мучаясь сознаньем, которое «Титаником» ко дну, ко дну сейчас стремилось, получив пробоину от гнусного коварства, и рыбы крупные серебряной цепочкой, как в детстве после солнечного бреда на глубине достигнутого зренья, лениво огибая силуэт усатый, подались в сторону балкона – поплыли.

Осадок марева степенно поутих и перестал тем временем мутить мне фокус, так что я стал способен разглядеть физиономию допроса пред собою...

Я с самого начала догадывался, что все кончится плохо, но оказалось еще хуже, потому что все еще только начиналось.

Вениамин Евгеньевич скорбно закрыл ладонями лицо, и так сидел напротив долго и протяжно. Сидел, ссутулившись, поставив локти на колени: как сидят над могилой, оплакивая помином человека.

В таком положении он находился слишком долго, чтобы я не пришел к выводу, что он подсматривает меня сквозь щелочку в толстых, как у слесаря, пальцах. От этого я совсем уж чуть не умер.

Дочка и мать теперь разделились и стояли архангелами дознанья за его спиной. Мне захотелось присоединиться к ним третьим, только бы исчезнуть с дивана из-под невидимого взгляда. Но ноги не слушались, словно затекли до бедер.

Наконец Вениамин, проведя мучительно вниз, отнял от лица ладони и протянул мне на них свое лицо. Я взял машинально, но тут же, обмерев, подавившись ужасом, сбросил влажную шкурку на столик.

Хватило сил посмотреть. Лицо оказалось носовым платком, которым он утирался.

– Вы взмокли, промокните лоб, – поучаствовал во мне полковник.

Оленька тоже решила проявить ко мне чувствительность. Она с

готовностью подалась ко мне со своим – свежим – платком, спасая меня от брезгливости. Я же решил, что платок пропитан эфиром, и отшатнулся, защищаясь отставленной рукой.

– Оставьте его в покое, – выкрикнула Ада Львовна.

Вот от нее я сочувствия никак не ожидал... Я тупо-никчемно смекнул, что эксперимент с Ольгой провести мне, увы, не удастся.

– Ну что ж, приступим, – приступил Вениамин Евгеньевич. – Что вам известно о вашем прадеде Иосифе Лазаревиче Розенбауме?

– Только то, что мой прадед носил это имя.

– Ну, для нас это тоже не новость.

– Догадываюсь...

Вениамин поглядел не на меня, но куда-то внутрь – так смотрит удав на съеденного кролика, который попробовал пошутить.

– Хо-ро-шо, – прерывисто произнес он. – Чтобы не утруждать вас-с. И сэкономить время на сличении версий. Я сам скажу несколько слов. О вашем прадеде. Вам же потом при – – – дется дополнить.

«Придется» он произнес таким сложным образом, что «дется» отстояло от приставки на три мучительных мгновенья, и я не сразу понял, что он имеет в виду.

– Прадед ваш был в доле с моим дедом. Они владели тремя ювелирными магазинами в этом чортовом городе. В начале века. Они жили. Не тужили. Так сказать. Были дружны. Но однажды. Ваш предок решил совершить дурной поступок. Весной 1918 года. Он взял большой кредит. Под залог всех магазинов. Вынул особенно ценные предметы и бумаги из сейфа. Заметьте, общего сейфа. Ничего не сказав родному брату. Который ему доверял. Вместе с ценностями пропал один алмаз. Он нас интересует особо. Но об этом позже. Далее – позорное бегство. Вместе с англичанами, спасаясь от поличного. Он якшался с поверенным английской миссии. Спасался он также и от 11-й Красной армии. 11-я Красная тогда накатывала на этот чортов город. Но предок ваш успел ретироваться в Иран. Оттуда – в Англию. Далее – в Америку. В Калифорнии он тоже жил припеваючи. В Апельсиновом графстве. Это под Лос-Анжелосом. Он вновь преуспел. У него завелась ювелирная мастерская на улице Аргуэлло. Занимался скупкой. Владел доходными домами. Тремя. Усадьбой и апельсиновой плантацией в Палестине. Умер в 67 году. Как вы считаете. Хорошо ли он поступил?

– Простите, вы имеете в виду, хорошо ли он поступил, что умер? – неловко парировал я свое потрясение.

Вениамин Евгеньевич скорбно, как Мария Магдалина, но мужественно, как контрразведчик, уставился в потолок.

Видимо, он пытался на нем отыскать варианты моего спасения.

Потолок был чист, как безмолвие. Спасения мне не нашлось, потому что Ада Львовна, как фурия, которой дали повод, не выдержала и выбежала из-за его спины, чтобы влепить мне пощечину. Оленька бросилась ей вслед – удержать, и попыталась повиснуть на ее руке. Рука – подобно хоботу – смела субтильную, но рослую Оленьку и умоляющей куклой бросила мне в затекшие ноги.

Оленька падение свое, как бегун, тянущийся к ленточке, влила в кончики пальцев. Ногти ее жгуче впились мне в лодыжку.

Теперь Аде Львовне добраться до меня было сложнее.

Я испугался не на шутку. К счастью, благодаря ногтям вдруг понял, что ноги снова на месте, резко встал и как ни в чем не бывало стал откланиваться. Это было похоже на то, как сбитая машиной курица, подскочив, бежит прочь с дороги – не зная еще о том, что уже померла...

Вот диспозиция при бегстве. Ольга еще не оправилась от удара оземь; Ада, полоненная собственной инерцией, еще пыталась, нависая над дочкой, хранить равновесие; липкие взгляд и мысли еще не позволили Вениамину Евгеньевичу отвести лицо от плоскости потолка, – а я уже, срочно мямля благодарности за угощенье и гостеприимство, поверх всей этой мизансцены рвусь на бреющем полете к двери, – которая оказалась не заперта – и от прорыва моего долго трепалась настежь, выплюнув мою милость, как пробку из скандальной бутылки – прочь, долой, туда, подальше и так далее...

Глава 6

КОНФУЗ

Время от времени Петя подкладывает мне по утрам ксероксы страниц из разнообразной литературы о нефти. Очевидно, тем самым он хочет усугубить мою заинтригованность этой темой. Две из них меня действительно заинтересовали настолько, что я их подклеил в тетрадку:

1. «<...> Причин тому, что нефть нас интересует в связи с категорией истока, может быть множество. Отсрочив подробное комментирование на последующие главы, сейчас конспективно укажем лишь на некоторые из них.

А) М а г и я: нефть как вариант «философского камня», превращающего что ни попадя в золото – деньги. А именно: превращающего в них путем разложения на топливно-смазочные фракции са-

му нефть, запасы которой по масштабам неизмеримо превосходят количество мусора на всей планете. Также стоит припомнить о нефтеносных алтарях одной из разновидностей зороастрийского культа.

B) Микробиологическая палеонтология: гипотеза о непосредственном участии нефти в генезисе жизни на земле (Pr. Thomas Gold, Cornell University, The Deep Hot Biosphere. Copernicus, An Imprint of Springer-Verlag, New-York, 1988). Совсем недавно было открыто существование на очень большой глубине (6–10 километров) микроорганизмов из широкого семейства Methanococcus Jannaschi, способных к жизни при температуре минус 185 градусов по Фаренгейту и под давлением 3700 фунтов на квадратный дюйм, не нуждаясь в солнечном свете. Найдено более 500 разновидностей таких микроорганизмов. Вместе с тем выяснилось, что доселе неизвестная форма жизни составляет чуть не половину всей биомассы Земли. Это позволяет предположить не только биогенное происхождение самой нефти, но и то, что первые организмы зародились именно под землей и развились в побочном продукте их жизни, а также связать их выход вместе с нефтью на поверхность – с генезисом.

C) Психогенный аспект. Не много нужно воображения, чтобы представить себе тип катастрофического сознания, убежденного в том, что человечество будет уничтожено величайшим геологическим катаклизмом. Уверенного в том, что в геологических пластах сконцентрирована не только чудовищная энергия, носящая материальный характер, но и психическая энергия тех диких эпох, когда создавались эти пласты. Что найдены способы развязывать не только материальную энергию – нефть, уголь, сланцы, руду, но и психическую энергию, сжатую в этих пластах. Что враждебные свету силы готовятся выпустить психическую энергию пластов, лежащих под нами. Да, да – больше всего ее, конечно, в нефти. Нефть – это спрессованная злая воля, сумеречный первобытный мозг, звериная злоба. Чтобы спастись, надо уничтожить нефть, спустить ее в пекло железного ядра планеты. А против известняков нужно выпустить молодую мощную энергию аллювиальных напластований. Именно. Необходимо оцепить кордоном все местности, где есть выходы фосфоритов и нефти. Иначе гибель настигнет человека повсюду. <...>»

2. «Стивен Мак Левкрафт, “Вашингтон Пост”», 11.03.1994

Каспийская нефть могла спасти экономику СССР. Советский Союз, возможно, упустил реальную возмож-

ность выжить экономически, отказавшись от глубинных разработок каспийской нефти. К такому выводу в свое время пришли аналитики ЦРУ, предсказавшие, что под Каспийским шельфом кроется одно из крупнейших в мире месторождений нефти. Эти данные были среди документов, рассекреченных ЦРУ несколько дней назад.

Не исключено, что одна из стран, появившихся на карте мира после распада СССР, унаследовала богатства, которых было достаточно, чтобы спасти советскую экономику и, может быть, и СССР. Богатства эти – каспийская и прикаспийская нефть, о наличии которой было известно советским геологам. Однако Москва не пошла на ее разработку – не было на это средств, война в Афганистане опустошала и без того скудную советскую казну.

Исследования нефтяной промышленности СССР всегда были одним из приоритетов ЦРУ, твердо убежденного, что советская власть зиждется на экспорте нефти. Такая важность предмета изучения и вытекающая ответственность, порой, как ни странно, заставляла аналитиков ЦРУ делать далеко идущие предположения. Например, в 1977-м году разведывательное агентство предсказало, спровоцировав этим серьезнейшие дебаты в Вашингтоне, что Советский Союз из-за истощения существующих залежей нефти и возрастающих трудностей с их эксплуатацией будет вынужден импортировать нефть. Более того, специалисты по нефти предположили, что СССР может даже при наихудшем сценарии вторгнуться в Иран или Кувейт для удовлетворения своего аппетита на энергоносители. Как говорят, эти выводы сделали ЦРУ поводом для насмешек в осведомленных кругах.

Тем не менее в законченном 1 апреля 1989-го года аналитическом обзоре советской энергетики ЦРУ предсказало наличие гигантских залежей нефти, оценивавшихся в 30 миллиардов баррелей и то, что их эксплуатация могла бы укрепить экономику СССР и даже предоставить ему средства на проведение кампаний подобно афганской, но техническая отсталость и бедность СССР станут препятствием к его обогащению – сделало прогноз ЦРУ. У СССР не было технологий и средств для разработки сверхглубоких месторождений.

В свете данной информации становится ясно, почему распад СССР начался именно с прикаспийского региона: Сумгаит, Карабах – и утвердился агонией там же: в Чечне».

Но все это я рассматривал лишь как лирические отступления. Главным для меня было то, что проступало в прямых углах моего неуклюжего почерка...

«И з н а н к а. Выйдя от Фонаревых, я с диковатым удовлетворением уставился на часы. Так дерзкий аквалангист, спасшись, при-

кидывает время своего приключения. Ужас мой длился всего сорок семь минут.

От происшедшего еще не отойдя, пошатываясь словно по ветхой гати, но благодаря инерции побега все же ускоряя шаг, я двинулся прочь. Голова скоро вновь закружилась, и метров через двести меня, мотнув в сторону скверика, вырвало.

Вырвало под кипарис вонючим чаем, половинкой гяты и уже обработанными желудочным соком баклажанами – сквозь тупость странно различил: слой прогоркло кислого в более или менее нейтральном потоке тошноты.

Сорвал кипарисовую шишечку, откусил, разжевал – закусил. Посидел на скамейке. Полегчало.

Тронул дальше, купил с лотка стакан газводы без сиропа и ломтик пахлавы. С аппетитом съел, запил. Стало еще лучше.

Но ненадолго. Шагов на четыреста двадцать.

Прошел их вполне бодро и ровно, однако тревожно прислушиваясь к своему состоянию, и потому его – состоянье – считая, но на последних двух десятках ноги стали подкашиваться, подлая невесомость восстала в желудке, как если бы я шел не по асфальту, а по зыбкому подиуму салона самолета, который, ухнув мною, как кит Ионой – под ложечку, попал в затяжную своей глубиной воздушную яму.

Из ямы судно стало выбираться внезапно и резко, его крепко тряхануло. В результате меня снова отбросило в сторону с тротуара – теперь в попавшуюся первой подворотню, которая тут же кончилась двориком.

Некоторое время меня удерживало чувство стыда и неловкости, и я успел этот дворик разглядеть. Ничего особенного. Обыкновенный бакинский двор-колодец. Ласточкины гнезда балконов, увитых плющом, виноградом и бельевыми веревками, соединенных двумя пожарными лестницами, которыми жильцы пользовались как парадными. Тишина. Только в верхних этажах тасовались короткие волны на спидоле в поисках Би-би-си.

Голос диктора прорвался сквозь помехи, строг и непререкаем...

К счастью, кроме открытых настежь окон – никого, кто мог бы ужаснуться тому, что моя милость собиралась сделать. Разумеется, в смысле общественной гигиены было все равно где: на людной улице или во дворике, но мне казалось стыдно, неловко и проч.

Поводив по подробностям места (отслуживший, напрасно в нескольких местах луженый чан; велосипедное колесо без шины, с «восьмеркой» и щербатым веером спиц; тугой вензель сплетенных стволов винограда у стены), – меня вывернуло на холмик мусора – кто-то утром мел двор, но не вынес, оставив в стороне, собранное.

Тут же снова полегчало, будто кончилась болтанка и стюардесса, обнося и прочих пассажиров, подала мне, как лекарство, стаканчик минералки.

Вслед за облегчением вновь накрыл припадок голода.

И тогда я воззвал к себе и еще к кому-то: доколе?!

Словно завороженный, не себе повинуясь, я выпал из подворотни – через проезжую часть – к гастроному.

Вошел в прохладный высокий зал. Купил целый чурек и пирамидку айрана. Кассирша в стеклянном теремке недодала мне пятачок, пришлось вернуться и получить сполна.

Выйдя, сразу же вернулся и купил еще пакет айрана и бублик. Теперь кассирша, поглощенная зеркальцем, намазывала помадой губы – и взглянула наружу неохотно. Бледно-розовый уголок ее рта кривился, недокрашен. От жары под створками накрахмаленного халатика наверняка ничего.

На этот раз она обсчитала меня на гривенник, но, возвращая, видом была как ни в чем не бывало.

Я хотел спросить ее: «В чем дело?» – и не решился.

Она снова обмакнула личико в зеркальце.

Выйдя из гастронома, стал есть на ходу. Сразу со всем съестным было трудно справиться, пришлось жонглировать.

Еды хватило на целых два квартала, и когда спазм вновь неотвратимо и страшно прянул к горлу, я был уже у входа в метро.

Кругом люди – но делать нечего: в два приема меня опорожнило в урну. В ноги шнырнула собачонка, понюхала что пало мимо, погнушалась и заглянула мне в морду.

Я воровато осмотрелся.

Женщина, говорившая поблизости по телефону, вперилась в меня, как в убийцу.

Слова еще шевелили ее губы.

Мгновенье спустя, выдернув из разговора, ее вырвало.

Вырвало у козырька телефонной будки, прямо под ноги прохожим чем-то отвратительно красно-желтым – неужто яичницей с помидорами?

Лысый человек в дырчатой тенниске, с красной повязкой на коротком рукаве, отшатнулся и, когда спустя мгновенье разобрался, в чем тут дело, мрачно выложил свое содержание на бордюр.

И подумал я в ступоре: «Боже, чем только не питаются люди!»

Изгаженный кусок этого бордюра находился в пределах троллейбусной остановки, к которой как раз в этот момент лихорадочно подпарковывалось маршрутное такси.

Водитель топнул по тормозам, чтобы не задеть выпавшего из себя человека в белой тенниске. К нему, оглушенному, уже подбирал-

ся следующий порыв рвоты, и поэтому, раскачиваясь, ему трудно было сдержать равновесие.

Дав стоп машине, водитель стал со вкусом браниться, выгнувшись по пояс из кабины на лобовое стекло. Пассажиры, придя в себя, стали сердито выходить как раз в тот момент, когда человека в тенниске наконец подмяла под себя рвота и он зашелся в три погибели вторым залпом.

Через затянувшееся в общем оторопении мгновение уже вышедшие и было обомлевшие пассажиры хором прорвались изнанкою наружу, а те, что напирали сзади, поспешно к ним присоединялись.

Я, одновременно очарованный в третий раз наступившим облегчением и накрепко завязнув в ужасе, несвободно все это наблюдал.

Звонившая женщина медленно сползала по стене дома в тяжелые лапы обморока. Люди выходили из метро только для того, чтобы ужаснуться зрелищу и припомнить, чем же они сегодня успели позавтракать.

Меня объяла тоска. Словно неожиданное горе, захватывала людей рвота, и они, согнувшись под тяжестью переживаемого, горько и содрогаясь, пытались справиться с собой. Уже облегчившиеся еще некоторое время оставались неподвижны, слабо постанывая и охая.

Я понял, продолжаться это может сколько угодно: сцена у метро постоянно пополнялась новыми участниками. С каждым приходом поезда они поднимались из недр станции на поверхность, и бдительность их – в радостном ожидании дня – была ниже нуля.

Безнадежность неумолимо расползалась вокруг, как взрыв нервно-паралитического газа.

Скоро уже некуда было ступить.

Но вот нашелся тот, кто передвигался по городу натощак. Оценив масштабы бенца, он огляделся и, прыгая, будто по кочкам на мшаре, проворно подбежал к телефонному автомату – вызвать милицию: в поисках двухкопеечной монеты не мешкал, сразу набрал «02».

Трубка соседнего автомата, из которого звонила брызнувшая желто-красным женщина, свободно болталась на шнуре. Приглушенные разболтанной, дребезжащей мембраной, из нее раздавались интонации бешенства.

Я стоял рядом, вжавшись в стену дома.

Вдруг пошел слепой дождик, хотя погода стояла абсолютно безоблачная.

Я взглянул вверх и понял, что это капает из торца торчащего из окна кондиционера.

Подъехал милицейский патруль. Из «козла», подтягивая ремеш-

ки, поправляя кобуру, деловито просыпались менты, однако, не управившись с собой, стали блевать.

Я понял, что пора завязывать и, поклявшись не брать больше сегодня в рот ни крошки, спустился в метро.

В туннеле эскалатора прохладно пахло нефтью.

Несколько раз глубоко вздохнув, унял в себе дрожь.

Добрался до дома и рассказал все своим.

Отец молчал, а Циля, сказав: «Жить будешь», – попросила папу поставить на плиту кастрюлю с водой.

Я сидел на подоконнике спиной к открытому окну. Слегка накренившись, окно опустило в себя мою голову по горло, но отец спохватился и вернул меня к вертикали.

В согревшуюся воду Циля ссыпала с ножа кристаллики марганцовки. Они блеснули быстрым металлическим блеском, и стайка лиловых осьминожек, закружившись, замутила объем прозрачности.

Взяв литровую банку как черпак, я отправился в ванную промывать желудок.

Пока я возился с собой, умываясь, отец принес кастрюлю.

Мучительно низвергаясь в раковину розовым током, я, чтобы развлечься, представлял внутри себя живительный ручей.

Чуть позже Циля заглянула, чтобы сердито утешить своим обычным диагнозом: «симулянтикус натураликус». Циля была одним из многоуважаемых терапевтов города и – с ее сорокалетним врачебным стажем – являлась средоточием авторитетных референций многих докторов города. В ее терминологии «simulanticus naturalicus» – даже применительно к кори – означал, что болезнь не серьезна и скорей обременительна не для ее носителя, но для заботящихся о нем людей.

Циля также сообщила, что собирается на чай к Тартаковской и вернется в начале двенадцатого.

Отец сказал, что зайдет за ней: «Мама, черкни себе памятку!»

Циля обиделась и напомнила нам о зеркале.

Пока отец звонил Тартаковской – просить не выпускать мать одну, я беспомощно сокращался, ритмично повинуясь спазмам. Мне стало казаться, что, так упорствуя, я могу выплюнуть свой желудок. Хватало меня ровно на одну банку. Вернувшись, отец меня пожалел: «Бедный мальчик».

Циля ушла, а папа сказал о происходившем у метро, что ничего удивительного. Вот когда он учился в пятом классе, одна нервная девочка на уроке географии ужасно волновалась, отвечая у доски: она никак не могла припомнить высоту Пика Коммунизма, – и от волнения ее вырвало прямо в классе.

Через мгновение все тридцать семь учеников частым разнобоем выложили свою рвоту в проходы между партами, а молодая и истеричная учителка, было взвившись в испуге за завучем, как-то очень воздушно брякнулась в обморок оземь.

Потом дети, выбежав из класса, вперемешку беспомощно рыдали и плакали от пережитого.

Вечером в соседнем классе состоялось экстренное родительское собрание 5-го «В». Циля опоздала, поскольку дежурила в приемном покое, но, скоро разобравшись в ситуации, наорала на завуча и, порывисто исчезнув, грянула дверью. Оказалось, завуч собиралась направить родителей на уборку помещения, где днем случился этот массовый конфуз (технички наотрез и со скандалом отказались этим заниматься).

Дома мать объявила отцу, что отныне, пока он учится в одном классе с этой нервной девочкой, завтракать он не будет.

«Бедная Адочка», – пожалела Циля тогдашнюю Аду Фонареву, в девичестве Сандлер.

– С тех пор я отлично знаю, что высота Пика Коммунизма 7347 метров, – закончил отец.

– Папа, а что, если они действительно меня отравили?

– Ты такой же неврастеник, как и Ада, – рассердился отец. – Никто ничего тебе, кроме сахара, в чай не подкладывал. Сейчас поможешь перевесить зеркало и сразу в постель. И не забудь выложить билет и деньги на столик в прихожей, а то посеешь.

Перевешивая зеркало, мы, конечно, его разбили. Собрали и выбросили продолговатые осколки, похожие на лепестки ветряной мельницы.

Я отправился спать в комнату отца.

Проснулся затемно. Сначала я не чувствовал голод, но когда досчитал, что проспал шесть часов, страшно захотелось есть.

Однако я не сразу направился в кухню, а стал припоминать, что мне приснилось.

А снилось мне, что в каком-то темном месте (в степи, на ночном?) собрались у костра пионеры. И я – поскольку наблюдал – был к их кружку причастен. Кратко обсудив, они выбрали одного пионера, чтобы зажарить. Так и сделали. Когда насытились, встал вожатый и с пафосом произнес:

– Теперь мы все повязаны. Но нам повезло. Когда мы вырастем, нам не придется выбирать конфессию, потому что теперь мы – к а н н и б а л ы.

Я также с ужасом припомнил тяжелое чувство сытости во сне, как будто я съел этот сон.

Все-таки надо было поесть. Отца не было дома – он отправился за Цилей к Тартаковским. В одиночестве я вкусно и плотно поужинал фаршированными перцами и вышел во двор.

Вскоре она вошла во двор и медленно побрела кругами, любопытно пялясь в окна. Я понял, что счет ей доступен.

Мы долго сидели на еще теплых ступеньках лестницы и разговаривали.

Волнистое пенье цикад постепенно пропитывало бархат глубокой ночи.

Она вспоминала о своей семье.

Я рассказал ей немного о Москве, о том, что это большой круглый город, большая часть которого находится под землей.

Сашка Аскеров, спускаясь по лестнице, не любопытствуя, стрельнул у меня сигарету и звал прогуляться по набережной. Я отказался, он махнул рукой и лихо съехал в темноту по перилам, по спирали мелькнув огоньком сигареты.

Ей захотелось пить, я принес из дома воды.

Вернулись отец и Циля. Я коротко рассказал им о девочке.

Циля спросила, как ее зовут.

– Ирада.

Циля сказала, что постелет мне на балконе, а Ираде в комнате.

Мы посидели еще и вскоре отправились спать.

Утром отец провожал нас в аэропорт. По дороге мы заехали в универмаг, купили Ираде джинсы и майку, – в них она потом переоделась в туалете аэропорта.

Когда при посадке потребовали от нее паспорт или свидетельство о рождении (ее подростковый возраст не поддавался точному определению), отец предъявил Цилино свидетельство о рождении, то самое, которое куда-то запропастилось.

Бортпроводник не разобрался в цифрах – и пропустил.

Глава 7

КАМЕНЬ

Ночью мне снился день.

Он мучительно длился, длился и плавно, сначала очень легко – стал затушевываться грифелем; постепенно дрожало, смуглело и гасло, незаметно возникли сумерки, – длинные тонкие штрихи распускали сети-пряди по поверхности зрения, все обесцвечивая,

все замутняя, и вот стемнело окончательно, словно я оказался внутри своего карандаша, – и от страха я проснулся.

Сегодня утром ко мне никто не приходил, и после умывания я спокойно продолжил:

«Взлет как посадка. В самолете было холодно и некуда вытянуть ноги.

Я упирался коленками в спинку переднего сиденья, их чашечки уже болели.

Закладывало уши и временами встряхивало салон, как автобус на бездорожье. Скажу вам, то еще удовольствие: ощущать, содрогаясь, колдобины и неровности в жестком потоке воздуха снаружи, когда у самолета под брюхом и у вас под сердцем целых две минуты скоропостижного пике – неизвестно куда и зачем.

Поскрипывала обшивка, и куда-то запропастились стюардессы.

Трясло так, что казалось, сейчас вытряхнет душу.

Мой сосед-азербайджанец, о чье кресло так мучились мои коленки, обернулся и попросил что-нибудь почитать. В рюкзаке мне наугад попался учебник Понтрягина по теории групп, и я сказал, что – вот, мол, а газет у меня нет. Он ответил, что все равно, лишь бы заснуть поскорей, и взял.

Я сосредоточился на тряске.

Стюардесса с бессмыслицей красной повязки на униформенном рукаве, вся в слезах, но с мышечной – через силу – улыбкой, надломившей лицо неприятным оскалом, промчалась в хвостовое отделение.

Зажегся индикатор «Пристегните ремни», и все, кроме тряски, стихло. Пассажиры, кажется, ничего не заметили. В салоне жила тревога уютного спокойствия, как во время тихого часа в яслях в разгар землетрясения.

Мой сосед впереди никак не мог заснуть и все жал меня, ерзая, спинкой сиденья.

Другая стюардесса, с таким же напряженным лицом, но, к счастью, теперь бесслезным, пролетела по проходу обратно, и все стихло уже окончательно.

Самолет подозрительно ровно застыл вдоль своего полета.

Я подумал, что если будем падать, то хорошо бы успеть упасть в море – шанс у нас еще был: мы только полчаса как взлетели. Как открывается спасательный жилет, я знал прекрасно. Тем более в своих способностях пловца я был более чем уверен.

Хотя, по ощущению уклона взлета, поднялись мы не так уж высоко, иллюминатор уже совсем затянуло инеем: густая, как соты, россыпь кристалликов и голубой, рассеянный ими, свет.

Ирада спала. На ее лице медленно жило выражение внимания.

Возможно, внимания к ее совершенно не представимому будущему, которое – непредставимости этой своей благодаря – было похоже на сон и только во сне и доступно.

Я достал из рюкзака свитер и укрыл ее. А то вон уже руки гусиной кожей покрылись зябко.

Самому мне заняться было нечем. Самолет то ли падал, то ли нет, спать не хотелось. И читать не хотелось. Да, в общем-то, у меня и не было с собой ничего еще не прочитанного, а перечитывать без нужды на то особой – чтобы выучить, например – я не переношу.

Чтобы хоть как-то потеснить безделье, я решил написать рассказ. Впоследствии, конечно, выяснилось, что ни черта у меня не вышло. Так что и пробовать не стоило. Но мне давно и очень хотелось попытаться. Конечно, я тщетно пробовал и раньше, но тогда в самолете, у меня возникла уверенность, что я наконец-то теперь кое-что знаю, и потому сейчас шансов у меня больше.

Надо сказать, литература, книги – изначально были для меня увлекательным камнем преткновения. Еще сызмальства, как только столкнулся с чудом букваря, с чудом рождения смысла из послоговых мычаний, я звериным образом почуял существенность, чудо языка: что он, язык, есть самый верный путь в неведомое, что с веры в слова начинается в е р а. Окончательно, теперь осознанно, меня утвердило в этом то обстоятельство, что еще в школе меня потрясло следующее: мне почему-то пришло в голову, что Льва Толстого нет. Есть роман «Война и мир», то есть мое чтение «Войны и мира», а автор «Анны Карениной» и «Кавказского пленника» здесь ни при чем.

Я очень хорошо помню это ощущение. Я рассуждал: вот море, оно похоже на роман – и то, и другое живет само по себе, поскольку и роман, и море – стихия, но ж и в у т они только тогда, когда я в них – вглядываюсь, или купаюсь. Роман и море не имеют автора, потому что если бы он был, мне не было бы так интересно – читать и плавать, ведь, когда читаешь и плаваешь, ты становишься частью, обитателем того, в чем плаваешь и что читаешь, – а быть придуманным автором чтения или моря – участь, я считаю, достаточно отвратительная, чтобы даже и мысли об авторстве не возникало. Потому-то и было заманчиво – прочувствовать, как это происходит – исчезновение пишущего. Вот он, я выдумывал, идет куда-то по пляжу чистого листа, а тот, кто читает, видит только следы – приметы отсутствия, которое ведет за автором в самое интересное и дремучее из мест – в иное.

Тогда же, сраженный «Войной и миром», я попробовал что-нибудь п р о ц а р а п а т ь в тверди пустоты, но, промучившись полдня, так и не добрался до первой точки. С тех пор писательство как

подвиг с необходимостью вызывало во мне сильнейшие потоки девственного благоговения, стоило мне только задеть его краешком рассуждения.

К ремеслу же своего отца мне так или иначе приходилось относиться сдержанно. Ведь невозможно, проживая в одной квартире с титаном, каждый день с ним общаться, им (в основном) воспитываться и всю дорогу мучиться пафосом. Тем более что вообще мне было неподотчетно страшно читать его произведения.

Однако моя сосредоточенная сдержанность по отношению конкретно к отцу ничуть не мешала мне таять от почтения перед писателями вообще...

И все же несостоявшийся дебют сочинителя-семиклассника даром не канул. Зерно преткновения запало тогда мне в душу, зерно, из которого выросла суровая колючка: а что, слабо? Она-то и впилась мне остро и неусидчиво тогда, в самолете – и теперь было не только не усидеть, но и просто существовать невозможно.

Надо было срочно что-то делать. Но о чем же написать? Писать ни о чем сложно. Это серьезное испытание. Я уже пробовал неоднократно и убедился окончательно. Но я был убежден, что нынче мне уже известны кое-какие черты тайны, и это давало мне основания не сразу свалить на попятную, а все-таки попробовать пустоту этой тайны оживить.

По прошлому опыту мне было твердо известно, что если упорно оставаться сосредоточенным на своем ни-о-чем, то ничего в результате и получится – только проваландаешься незнамо сколько в мучительно безвоздушной длительности неизвестного.

Потому с самого начала я решил отвлечься и подбираться к писанию не нахрапом, а косвенно: тихой сапой размышлять, медленно плавая в густом, богатом пониманием облаке припоминания о действительно занимавших место в памяти вещах.

В частности, я стал думать об Ираде, – уверенно предполагая, как всего лучше устроить ее в Москве; о Циле – и о ее таинственном беспамятстве; о вычурной истории с Фонаревыми. Последнее меня особенно интересовало; чем дальше, тем меньше становилось понятно, почему вообще они так рьяно любопытствуют именно насчет камней, а не вообще наследства, каковое, очевидно, кратно больше... Но, может, среди этих камешков был какой-то особенный? А что, если, в самом деле, к прадеду неведомым образом попал какой-нибудь знаменитый камень, – по которому так сохнет полковник?

И тут я вспомнил одну историю. В Южной Африке нашли алмаз, потянувший аж на полтора фунта. Именно из него впоследствии была выделана россыпь – целый камнепад! – Британской короны. Поначалу вели переговоры с несколькими европейскими монарха-

ми, но у одних – казна худа, прочие – торговаться вздумали. Тогда владелец шахты решил подарить его королю Эдуарду. Был тайно составлен специальный конвой. Под видом шайки случайно сдружившихся попутчиков секретная миссия отправилась в Англию, дав зачем-то крюк через Цейлон. Однако в Лондоне конвой этот дальше порога во дворец не пустили. Их, понатерпевшихся в пути, отослали в паршивую таверну на окраине и велели ждать дальнейших помыканий. Ввечеру в сопровождении ночного патруля явился дворцовый офицер, показал мандат от государя и – уже пьяным, скорей от сытости, чем от вина, солдатам объявил, что их миссия закончена и что в ларце, который они бессонно и трепетно, как ковчег, оберегали последние четыре месяца, увы и ах! – находится толстый кусок стекла. В подтверждение он разбил таковой вдребезги – на их глазах, вспухших яростью и ужасом, – палашом наотмашь: предводитель конвоя аж крякнул, присев под обвалом страха.

Каким же способом настоящий камень попал к Эдуарду – неизвестно.

Так вот, пылил я дальше, давайте размыслим следующее обстоятельство.

В 1829 году царю Николаю с принцем Хозрев-Мирзой был отправлен Шах-Надир: в соответствии с восточным обычаем, как увещевательный дар за убийство российского посланника в Тейране. Само по себе посланничество Мирзы на поверку было формально и пусто, словно холостой выстрел при безнадежной обороне. Шах ходом коня порешил – если возьмут юнца в залог (ради дипломатического шантажа), или же на пути его оприходует Паскевич – с тоски по Грибоеду, – то и черт с ним, все равно шахскому двору на руку – только станет одним щенком меньше – в сыновней семидесятиголовой своре.

И давайте выпустим на волю следующую фантазию. Пусть Шах-Надир действительно был официальным способом, вместе с принцем-подростком, якобы послан в виде собственной бижутерной копии, а подлинная его ипостась – настоящий, увесистый и прохладный в пальцах, редкого смугловатого оттенка, с арабской прописью, нарезанной на сочащихся слабой мазутной желтизной гранях, – отправился в Петербург, завернутый в тряпицу, – за какой-нибудь не особенно уютной и телом пропахшей пазухой, где и пребывал всю дорогу среди россыпи крошек пендыра, прикрытый куском чурека и листком охранной грамоты. И вот – кто знает? – может быть этому, настоящему, почтальону, совесть насмерть поразив, закралась обычная вороватая мысль – безвозвратно кануть вместе с камнем где-нибудь по дороге, отклонившись невзначай в только Богу и черту известную сторону...

И в результате канула звезда Голконды, вечное солнце пред шахскими очами, свисавшее с тронного балдахина по пути в Тифлис, отклонившись в сторону Адербиджана: что жизнь и служба, и семья, и сторона родная, когда такая цена за беспамятство маячит?

Ну, а далее камешек возьми и затеряйся в сундуках бакинских менял и ломбардов или где-нибудь еще в складчатых потемках той местности.

Но ведь в сокровищнице российской тоже настоящий алмаз находится? – охолаживаю себя я с пристрастием.

– Да, пребывает, – отвечаю, ничуть не смутившись. Да, помещается, и притом самый что ни на есть подлинный, за который на Сотбисе черт знает сколько отвалить могут, если только сам черт его с подставки из-под носа аукционного глашатая не стянет. А тот, что к Николаю не попал, тот (здесь я совсем уж зарвался) не Шах-Надир и не подделка стеклянная оного, а абсолютно д р у г о й камень, тоже невероятно ценный, но другой, обладающий совсем иной ценностью, нежели та, что у него – как у простого крупного желтого алмаза – была изначально.

Нет, он не был каким-то мистическим сгустком, вроде Лунного Камня. Он был, как книжка «Капитал», материален и обладал совершенно конкретной, вещественно исчислимой, однако абсолютно не связанной с ювелирными качествами стоимостью.

Это был обнадеживающий ход. Оставалось только понять мотив этой двойной посылки.

И здесь у меня поспел на подхвате ответ: мотив этот с л у ч а е н! Случаен – как жизнь – и – как гений любой – произволен! Шах только догадывался о скрытой ценности второго камня, просто наскоро, без доп. изысканий – для пущей надежности продублировали доставку камня, но, не успев состряпать бижутерную копию (стекло, между прочим, у Сасанидов долгое время было такой же драгоценностью, что и алмазы, сам видал в Пушкинском ихние побрякушки из бутылочного стекла, матовые, как морем о гальку обшарканные, оправленные червонными лепестками), ему подобрали визири из сокровищницы другой, похуже, камушек, – за которым, конечно, водилось кое-что в преданиях, но что именно – выяснять было некогда и трудно. Может, и были на слуху какие-то легенды, связанные с жреческой братией Заратуштры, но что делать с ними, шах (то есть – я, уже напрочь охваченный выдумкой и чувствовавший себя в ней упоенно, как шмель в клевере) ума приложить не мог.

В этом месте я задумался – внезапно и глубоко, как рухнул: надо же было пораскинуть вместо перса ленивого над загвоздкой! И, немного повисев, задержавшись в кружащейся путанице раскачи-

вающихся гирлянд из ассоциативных цепочек, я внезапно напал на след, почти случайно выхватив из скопища логик именно то, что было нужно. Я просто задал себе вопрос – задал, чтобы, будучи поражен ответом, все же суметь ответить: а почему, собственно, зороастрийцы были огнепоклонниками? Очень просто! – подавившись восторгом, почти выкрикнул я про себя. Дело в том, что самые древние месторождения нефти были открыты именно там, на побережье Каспия! – того самого моря, в которое, возможно, наш самолет сейчас намеревался рухнуть вместе с этой фантазией у меня в голове. И следовательно, организовать несколько ритуальных «вечных огней», совершенно непостижимым для дикарского воображения образом вырывавшихся, клубясь и устрашая, из какой-нибудь известняковой расселины, не составляло для тамошних шаманов никакого труда, – только бы отыскать – хоть в потемках пещеры по запаху, хоть по жирному блеску потека на песчаном срезе, – источник темного зрения земной коры, – этого чудесного своими свойствами перегноя, выжатого из лесов и моря юрского периода.

Вино Творения живого.

Философский камень, так сказать, жидкий только: сам хлам, а путем возгонки (алхимия!) золотишком оборачивается.

Здесь, опьяненный догадкой, я совсем перестал симулировать поступательное движение рассуждений – и они, почуяв слабину в поводьях, скользнули из-под логического седла и, заморочив, завертели в потоке бреда, который обилию своему благодаря теперь не исходил, а накатывал сверху, пронося, увлекая, и уже как бы и не мною самим порождался, а был внешней средой, внезапной и непривычной.

Среди всей кутерьмы мелькали знакомые блестки: и мое воспоминание о том, как прохладно в бакинском метро пахнет нефтью, и вывески «Шеврона» и «Бритиш Петролеум», и откуда ни возьмись проступивший постулат, под индексом 02.2, из TLFT Ван ген Штейна, гласивший: «Тайны нет»; и кадры немой хроники о приезде Кирова на нефтяные промыслы Баку; и огненный рев оранжевых мастодонтов, вырвавшихся из разбомбленных нефтехранилищ – в небо, в пылающую Волгу у Сталинграда; и кинохроника – неведомой мне тогда, потому что еще не случилась, – войны в Персидском заливе: косяки танков, серпы барханов, буря мглою кроет кадр; и то, как мы с мужественным страхом отсиживали в подвале воздушную тревогу в Несс-Ционе: один раз «Скад» хлопнул поблизости, – идиотски напомнив салют; и резкие снимки моей памяти, как мы в детстве с Сашкой, тайно от сторожей, лазали по сложной требухе насосной станции, построенной Людвигом Нобелем и гнавшей шалларскую горную воду для бакинских нефтяников: на

ампирном фронтоне клеймо принадлежности было выбито дугой латиницы, которая сливалась отчего-то с надписью «DEUS CONSERVAT OMNIA» над входом в собор из пражской открытки – любимой моей книжной закладки; и как там, в насосной станции, было жутко и интересно: стояли мертвые, с расхристанной оплеткой и кожухами, трубные машины – голубиная шайка на них клубилась, и гулила, и хлопала, поднимая кривляющихся призраков из пыли к снопам лучей, бивших из прорех в крыше; и еще мне почему-то вспомнилось, как в нашей детской компании было «за праздник» доплыть до одной из видных у самого горизонта, брошенных буровых платформ (здесь Петя никак не мог со мной соперничать: один мой гребок всегда приходился на его полтора), – и когда им, обезглавленным – так как вышки были уже давно демонтированы, – воображение достраивало ажурные булавки, которыми крепился лист моря к небу, – однажды одна из них мне представилась миниатюрной копией Эйфелевой башни, и с тех пор – в обратную сторону – Эйфелева башня мне всякий раз виделась нелепой буровой вышкой-гигантом, неизвестно еще какие соки вытягивающей из недр Парижа...

Но больше в этом бреде ничего отчетливого не взметывалось. Желание писать, однако, не только не пропадало, но уже зашкаливало. Записывать этот бурлящий бред не представлялось разумным, у него была своя косвенная цель: я должен был в результате написать о своем ни-о-чем.

И я записал:

Глава 8

О-НИ-О-ЧЕМ

«П а д е н и е. Утром я сверзился с кровати и ничего не помню. В течение всего завтрака не помнил, а потом забыл – не помнить.

Перед обедом ходили на пруд. С кем ходил – назвался братом моим Петром. Я не сразу ему поверил и во время купания поглядывал недоверчиво. Возвращаясь, купили к обеду в продмаге грамм триста рокфора. Обед был вкусный (баранья ножка с молодым картофелем, грибной суп из подосиновиков), но чересчур сытный. На десерт подали кусочки чего-то зыбкого в сладком соусе, в котором плавала мягкая золотистая шелуха. Никак не мог вспомнить, что это.

После обеда читал что попалось под руку, оказалось – календарь за позапрошлый год. Прочел о годовщинах смерти Гиппиус, Чехова

и Лифшица. Последний мне особенно симпатичен: физик-теоретик, время от времени писал книжки для студентов. Приятно, если человек о сложном может сказать просто и точно.

Потом я немного помечтал и заснул. Заснул незаметно, непрерывно и сладко. Во сне видел все тот же календарь, только в нем даты теперь обозначались не числами, а фигурками человечков. Человечки двигались и кривлялись, так что я никак не мог определить, когда наступила чья-то смерть. Одного хотел было придавить, приструнивая, пальцем, но тот оказался верток и упруг, как личинка мухи.

Проснувшись, обнаружил, что в календаре все вновь встало на свои места. Сказать, что я этому обрадовался, – неверно. Сказать, что отнесся равнодушно, – неточно. Уточнять впоследствии свое отношение я не стал.

Перед ужином играли с Петром в бадминтон. Играет он лучше, но я проворней. Один раз волан залетел в заросли жасмина. Я нырнул вслед за ним и долго не хотел выходить, хотя Петр беспокоился – бродил вокруг, увещевая. Жасмин пах моим припоминанием. Мне казалось, побудь я в кустах еще немного, и тогда вспомню все до конца и наконец узнаю, кто такой Петр на самом деле. Но не тут-то было: Петр за шиворот вернул меня вместе с воланом в игру. Он оказался настойчив, мой брат.

Ужин я не заметил, скорей всего, не потому, что к нему подали ненавистную, костлявую рыбину, но оттого, что увлекся писаньем этой записки.

Кстати, дописав, чудесным образом обнаружил, что сыт, и решил: буду записывать и завтра. Тем более, запись поможет припомнить, что происходило со мной, если снова забуду.

После ужина играли с Петром и барышней, которая подавала нам и завтрак, и обед, и ужин, в «тысячу». Барышня играла невнимательно, во время игры несколько раз испуганно взглядывала на Петра, то ли будто опасаясь чего-то, то ли чувствуя, что он знает ее карты. Петр на нее не смотрел и выигрывал.

Спать меня укладывал брат. Он хотел мне на ночь прочесть из биографии Киплинга. Я спросил, кто это – Киплинг, а когда узнал, сказал, что не надо. Петр рассердился и решил напоследок спеть колыбельную. Я защищался, но, изловчившись, он накрыл мне лицо подушкой и дико запел что-то тоскливое и нежное, и пел, пока я не задохнулся.

Тогда он отнял подушку, и я, ужасаясь тому, что пение может повториться, постарался мгновенно заснуть.

В результате моего слишком мгновенного старанья я мгновенно же и заснул, и... по инерции умер.

С е г о д н я. Сегодня утром я упал с кровати и решительно ничего не помню. Не вставая с пола, стал разбирать свои бумаги, которые держу, пряча, под матрасом. Наткнулся на записку, написанную, возможно, вчера. А может, и не вчера. Решил, что если и в дальнейшем буду вести записи, то непременно их надо будет озаглавливать: вчера, сегодня, никогда, на Пасху и т.д.

Отыскавшийся листок прочел внимательно. Выяснил, что падал я не однажды. Удивило место, где описывается сон о календаре. В конце и сразу после середины текста нашлось несколько несоответствий. Я было решил их обдумать, но позвали к завтраку.

Я с аппетитом вошел в столовую, но подавальщица из возможно-вчерашней записки объявила, что вызвала она меня еще и для того, чтобы... Барышня запнулась, ей было трудно говорить. Со слезами в голосе она заложила мне за ворот салфетку, поправила и, так и недосказав, стала накладывать в тарелку манную кашу.

Каша оказалась очень вкусной, с корицей и изюмом.

Подавальщица села напротив через стол, умиление теплилось в ее глазах: видимо, ел я с нескрываемым удовольствием. Покончив с кашей, я спросил, как ее зовут: чтобы было удобней с нею потом обращаться в записках.

Назвалась Ольгой.

Затем, вдруг оглянувшись на дверь, испуганно и быстро зашептала: «Вам следует остерегаться Петра, он вам не брат вовсе, он погубить вас хочет...»

На излете ее шепота в столовую вбежал молодой человек стремительной наружности и сдавленно сказал ей: «Вон».

Ольга, поспешно повинуясь, вышла.

Молодой человек стал угловато метаться кругами по столовой, и я в череде ракурсов обнаружил, что он худ, у него злое лицо и красивый профиль, а волосы до плеч и волнистые, карей масти, с рыжеватым оттенком. Глаза – как у Януса: один зеленый, правый – синий. Рост средний. Наконец, встал и вновь, как и в предыдущей записке, приветливо назвался моим братом и Петром.

Что мне это уже известно, я постарался умно скрыть: как мог – искренне и пылко удивляясь его словам. Обниматься мы почему-то не стали, хотя взаимное воодушевление делало это уместным. Петр подсел ко мне за стол, звякнул тарелкой, швырнул себе пол-ложки каши, но есть не стал, а вперился мне в переносицу.

Вдруг быстро спросил:

– Только не валяй дурака, где камень?

Я потерялся. Вид его был грозен, и я тут же вспомнил, что он возможно-вчера хотел меня задушить. Поэтому я поспешно выкрикнул:

– Только никаких подушек!

– Хорошо. Подушек не будет. Где камень?

Я решил, что, подыгрывая, можно потянуть кота за хвост и что-нибудь разузнать.

Вслух я рассудил: «Затрудняюсь».

Разочаровавшись, Петр рассвирепел, в его руках оказалась подушка: «Последний раз спрашиваю, где камень, который украл у моего прадеда твой прадед Иосиф Розенбаум?»

Я обомлел, недоумевая. Я и не подозревал, что у меня, кроме брата, есть еще и прадед.

Последовала мучительная немая сцена, после которой мы отправились играть в бадминтон.

На улице было ветрено, и волан часто и хлопотно угаживал в кусты жасмина. В одно из таких исчезновений мне почему-то вспомнилось, что по-армянски жасмин – асмик. Я застыл, пораженный счастливым событием припоминания. Возможно, именно тогда у меня зародилась надежда, что все еще образуется.

Играть в бадминтон из-за ветра было трудно. Мы все время запинались о его порывы. В конце концов Петр предложил в оставшееся до обеда время поудить рыбу в пристанционном пруду. Я спросил, как называется станция, рядом с которой находится тот пруд, где мы собираемся удить рыбу (время от времени я слышал в его направлении воющий прибой и отбой электричек).

Петр не сразу понял, о чем я. Подумал. Ответил, что станция называется «Шереметьевская», и даже добавил, что направление движения поездов мимо и вдоль платформы – Савеловское.

Мы зашли за удочками в сарай. До пруда оказалось 879 шагов. И еще полшага, но тогда можно замочить ноги. Рыба не клевала. Я подумал, что, наверное, мы удим ее в пустоте. Впрочем, возможно, я был не прав: погода стояла ветреная и время около полудня – условия для клева никчемные.

Во время рыбалки Петр расспросами о камне меня не донимал.

Наконец мы смотали удочки и отправились обедать.

На обед, увы, случилась рыба, и я, спросив чаю, стал записывать.

Сейчас, когда я пишу эти строчки, Ольга и Петр, почему-то заговорщицки переглядываясь, тщательно – Ольга даже высунула от старания язык – выбирают из рыбы рогатые кости. Я подумываю о том, чтобы спросить их, как называется поедаемая ими рыба. Я уже выпил полстакана чаю, и поэтому мне не по себе. Но все же я спрашиваю. Они отвечают, что рыба эта слывет карпом, что бродячих костей в ней – тьма ордынская и что, кстати, золотая рыбка – это, по сути, замученный китайскими селекционерами карп, и что по-гречески рыба «ихтиос», и что отсюда – Ихтиандр, имя героя фильма «Человек-амфибия», снимавшегося в окрестностях крымского

поселка Новый Свет, и что в этом самом поселке как раз и производится бутылочным методом знаменитое голицынское шампанское «Парадиз», бутылка коего – полусухого, десятилетней выдержки – сейчас и распивается ими за столом.

Я допил чай, и мне сейчас совсем худо. Может, вообще пора завязывать чаи гонять?

Состояние слишком муторное, записывание прерываю.

Продолжаю записывать.

После обеда валялся в постели – отходил. Приходил Петр, хотел было петь, но сказал «Как ты бледен!» – и смилостивился: ушел ни с чем. Собравшись с силами, я отправился в ванную комнату – посмотреться в зеркало. В зеркале я обнаружил лицо Петра, он действительно был бледен. Я подумал, что сошел с ума и у меня двоится личность. Меня стошнило в раковину. Я снова взглянул в зеркало. Там все оказалось в порядке, лица я не узнал. Описывать его не хочу, но то был точно я. Лицо на движенье мимических мышц отзывалось вполне охотно: двигало бровями, шевелило одним ухом, потом другим и одновременно обоими; отлично моргало.

Успокоившись, вернулся в комнату и, листая календарь, стал дожидаться ужина. В календаре на обратной стороне Дня нефтяников прочел заметку о месторождении Нефтяные камни в открытом море близ Баку.

На ужин снова была рыба и шампанское. Я с трудом отказался от чая (Ольга была довольно настойчива, предлагая, – раз я не буду рыбу), налил себе шампанского, выпил залпом и еще раз налил и выпил.

Вокруг стало восхитительно легко, я вытянул из-за воротника салфетку и бросил ею в Петра. Увернуться он не успел, и материя, как под сильным порывом ветра, плотно облепила его лицо. Сняв салфетку, Петр обнаружил под ней лицо Вениамина Евгеньевича.

Лицо, которое я вспомнил, и был поражен тем, что вспомнил.

Покуда я был нем и недвижим, заметно было, что Петр привыкал быть Вениамином Евгеньевичем: провел рукой, как после бритья, по щекам, потрогал переносицу, несколько раз моргнул, огляделся.

Наконец произнес:

– Что ж, теперь вы, вероятно, отдаете себе отчет, зачем вы здесь, – и, сведя паузу на нет, рявкнул:

– Где камень?

Допрос затянулся за полночь.

Я ничего не помнил.

От томительной усталости – будто по плечам моим ходили по Волге на ремнях баржи – страшно хотелось спать.

Зевала и Ольга.

В.Е. был не утомим. Хотел меня подушкой придавить, но я увернулся. Несколько раз приближал к моему лицу пламя зажигалки, однако я дул, и пытка его была тщетой.

Наконец ему надоело, и, выругавшись, он вышел из столовой, оставив нас с Ольгой вдвоем. Я вернулся к своим записям.

Сейчас она сидит в кресле-качалке и смотрит в потолок, а может быть, и сквозь. Как приторный ликер, тянет неискренние слова:

– Ну скажи ты ему, где камень, чего тебе сто-оит.

Прерываю запись.

Продолжаю запись.

В промежутке я схватил ее за шиворот блузки и выставил за дверь. Пока я так ее таскал – хоть и кратко, но крепко, – ткань треснула, и шиворот остался у меня в руке.

Зажав клочок белого шелка в левом кулаке, сейчас я умираю.

П о с л е з а в т р а. Сегодня я упал, проснулся и ничего не помню. Падал, видимо, с кровати, потому что на исходе падения под нее закатился. Полежал. Осторожно выбираясь, засунул руку под матрас, где обнаружил свои прошлые записи.

Какой кошмар!

Из комнаты решил не выходить, даже если буду умирать с голоду.

В окно постучала синица. Открыл. В комнату залететь не решилась. Немного помельтешив по подоконнику, вдруг зашлась по-бабьи: «Чего ж ты, милый, кушать не идешь? Обед стынет».

В ужасе захлопнул окно.

Что делать? Решил спрятаться под кровать и там заснуть. Может, тогда – поскольку падать неоткуда – я смогу удержать свою память.

Сейчас записываю под кроватью. Глаза слипаются, жутко хочется спать. Чувствую, что умираю.

Н е и з в е с т н о к о г д а. Сегодня утром я упал, и ничего, что со вчера записать собирался, не помню. Не помню ничего совсем. А может, я забыл, как следует припоминать, то есть – как происходит воспоминание?

Нет, не может быть! Если так – то вообще хана. Но вот почему-то я знаю, что буквы «я» и «ю», это действительно буквы, причем буквы разные. Да, определенно разные, хотя я забыл последовательность алфавита. И писать я способен.

Надо еще раз попробовать вспомнить...

Нет, не могу, все равно ничего не помню. Но что-нибудь записать, раз начал, все же необходимо. А для этого следует выдумать записываемое.

Для начала я выдумаю себя.

Нет, сначала все же – зеркало. В нем я (поскольку не с чем сравнивать) неопределенного роста и у меня немного безумные карие глаза. Я наг и худ и страшно смугл, взъерошенные волосы никак не пригладить ладонью. Ладонь странным образом оказывается бесчувственной: я мучительно не могу распознать жестки ли мои лохмы, или мягки и шелковисты, но только беспорядочно разметались за беспокойную ночь, словно от ужаса. Почуяв неладное, подношу ладонь к глазам и обнаруживаю, что у меня две руки правые. Затем я поднимаю левую руку, теперь у меня три руки, я похож на Шиву. В испуге оборачиваюсь – и вижу девушку: она стоит рядом и, отстранившись, держит свою руку над моей головой.

Здесь я падаю без чувств, выдумка заканчивается.

Надо бы поесть. Иду в столовую, усаживаюсь за стол. Он пуст, как географическая карта.

Еда на столе долго не появляется, и я уже подумываю, а не выдумать ли мне здесь пищу. Наконец я отправляюсь в кухню, чтобы поторопить кухарку, которой там нет. Еды в кухне тоже не оказалось, хотя искал я так тщательно, что сгоряча даже разморозил холодильник. Не нашел ничего совсем, только из-под мохнатого слоя льда в морозилке, словно трупик замерзшей на лету синички из прошлогоднего снега, проступила генуэзская золотая монета.

Корявый профиль одутловатого мужа красовался на ней.

Я подумал: снести бы ее в ломбард – и поесть на вырученные...

Отчаявшись найти съестное, я мрачно усаживаюсь на подоконник. Он прохладен и гладок, и я обнаруживаю, что все еще не одет. Вместе с тем одеться не спешу, так как поглощен текущим голодным кошмаром. Есть хочется так, что кругом корчатся голода рожи. Я даже закрываю глаза на время – надеясь, что, когда открою, наконец увижу в кухне съестное.

Раскрыв их, я действительно вижу новый предмет. Не сразу различив в нем ту самую девушку из зеркала, я сквозь ужас соображаю, что это – моя голодная смерть. Мгновенно размыслив, я решаю смерть свою съесть и – насытившись – ее самую избежать. Я бросаюсь к ней, пытаясь укусить, но укус мой соскальзывает с красивой шеи и оборачивается нежнейшим поцелуем в восхитительную область, чуть повыше груди. Она, как и я, нага – и, ничуть не смутившись, слегка прижимает мою голову к себе.

Далее я умираю.

Никогда. Сегодня я не просыпался, не падал и все помню, поскольку сплю. Хотя помнить нечего. Видимо, я уже умер, и сегодня – это никогда. Но это меня мало тревожит. Здесь, во сне, по-

лумрак, тепло и уютно, и нет ощущения, что я в гостях. Пишу на ощупь. Чем мне придется заниматься впоследствии – волнует мало. Уверен, все образуется. Камень лежит у меня за щекой. Иногда с приятным чувством обладания я нащупываю его языком. Я не боюсь его проглотить, хотя понимаю, что сплю очень крепко. Сон сейчас самый сладкий, и я надеюсь, что теперь меня никто не обеспокоит».

П о с а д к а к а к в з л е т. Я закончил и огляделся вокруг.

Кругом кипела паника. Сосед напротив сосредоточено пытался выбить ногой иллюминатор. Я попросил его вернуть мою книгу. Прервавшись, он страшно оглядел меня.

В огромных глазах его по узенькой улочке мчалось стадо белых быков.

Ирада проснулась и заплакала. Я взял ее за руку – это притупило тревогу. Потуже затянул на ней ремень безопасности.

По салону метались зареванные стюардессы. Настырно, словно толпясь в свальной очереди за дефицитом, они пытались расчистить проход, набитый бессмысленным движением, как конюшня во время пожара.

Кто-то из экипажа защищал собою аварийный выход. Там клубилась дикая свалка.

В динамиках препинался командный голос. Многие пассажиры сидели сгруппировавшись, обхватив затылок руками.

Вопреки перегрузке и тряске некоторые при этом умудрялись мелко креститься.

Уши заложило, крики доносились, как сквозь бронированное стекло. Я через силу посмотрел в иллюминатор.

Мне показалось – в нем мелькнула маслянистая дрожь моря, и вскоре отчетливо качнулась и набежала кучка дрожащих огней.

Мы быстро снижались. Можно сказать (но страшно): падали.

Внизу проблеснула и замельтешила трассирующими залпами посадочная разметка. Вдоль полосы рушилась колонна пожарных машины. Остервенело озирались мигалки.

Я успел подумать, что все еще обойдется.

Потом раздался оглушительный скрежет. Тех, кто застрял в проходе, швырнуло вперед – в пролом перегородки. Самолет, качнувшись, грузно осел, крыло от удара обломилось, и в иллюминаторе было видно, что фюзеляж заносит.

Из-под него вырвался веером сноп искр.

В воздух взлетели обломки. Скрежет сорвался на визг и торможением сошел на три октавы вниз.

Внезапно наступила тишина. Кто-то, протяжно задыхаясь, стонал.

Через некоторое время началась аварийная выгрузка. Мы с Ирадой, обнявшись, по надувному трапу съехали в объятия человека в брезентовом комбинезоне и шлеме, как у пчеловода. У него было испуганное мужественное лицо.

Нас отвезли в здание аэропорта. Там выяснилось, что при отрыве от земли у нашего самолета заклинило шасси. (Вот почему – из-за нарушенной аэродинамики – нас так сильно трясло при наборе высоты.) Попытки устранить неисправность ни к чему не привели. По уставу в таких случаях экипаж не имеет права удаляться от места взлета. Садиться с полным баком означало – садиться на взрыв. Решено было, не удаляясь слишком от аэропорта, двинуться в сторону моря и летать по кругу, пока не кончится горючее. В случае чего – садиться в волны. Попутно выяснилось, что среди пассажиров находится военный летчик – истребитель, – возвращавшийся из отпуска в свою подмосковную часть. Полковник и ас, в чьем активе находились самые сложные фигуры высшего пилотажа, он тайно предложил свои услуги экипажу. Сделали запрос. Какое-то время ушло на идентификацию личности полковника и переговоры с ЦДС. Наконец дали добро. В результате все обошлось. Хотя самолет садился почти на брюхо.

Нас разместили в депутатском зале. Пассажиры пришли в себя, началась стадная истерика. Мой сосед, одолживший у меня Понтрягина, одним из первых стал кричать и месить воздух руками. Он даже пытался наброситься на одну из медсестер. Оторопев, девушка расплакалась. Внезапно человек остановился, сел, обхватив голову руками, и тоже заплакал. Стали разносить мензурки с валерьянкой и новокаином.

Нам объявили, что наш багаж будет перегружен в другой самолет, который специальным рейсом вылетит в Москву поздно вечером.

Я отправился позвонить отцу.

Отец привез с собою две бутылки лимонада и пирожки. Поев, я понял, что был голоден.

Папа дождался посадки и на прощание помахал нам рукой.

На этот раз мы летели без приключений.

Спать мне почему-то не хотелось, хотя было за полночь и многие пассажиры, запрокинувшись на спинки сидений, дремали.

Ирада, накрывшись моим свитером, сначала что-то мечтательно мурлыкала, водила пальцем по моей ладони, но скоро заснула.

И тут я понял: неймется мне, не спится потому, что кому-то требуется, чтобы я еще что-нибудь написал.

Я не мешкал: вынул – решительно, как инструмент, – авторучку и набросал:

Глава 9

МЕСТО

«А л м а з ы в к а р м а н а х. <...> Но вряд ли».

И через некоторое время:

«Если бы у меня было семнадцать карманов, я бы в каждый засунул по алмазу.

То есть – в этом все мое несчастье, что у меня нет семнадцати карманов.

И это, конечно, не значит, что я соглашусь на двадцать три. Или семь. Это не те числа. Так это – вовсе не потому, что мне особенно нравится число семнадцать. Вообще-то мое любимое число двадцать три. Здесь дело в том, чтобы сосчитать именно карманы, а не что-либо постороннее, – и счет оборваться должен точно на семнадцати.

А вот карманы мне нужны как компактные помещения, удобные места хранения. Место за пазухой не годится – слишком просторно: крошечный предмет там существует об руку (моя же тщетно шарит в поисках, хватая то, что было им, – пустоту) с его потерей.

Случай несоразмерности предмета и его места непременно ведет к конфронтации: либо предмет поглощается местом (алмаз в восемнадцать каратов за просторной пазухой свитера), либо он, выйдя за рамки, покрывает место, сам местом для чего-нибудь становясь (тот же алмаз, воплощенный в одержимость его обладателя: ведь бывает, что звезда, вонзаясь в глаз, взрывается диаметром в несколько световых лет!).

Но, может быть, если с карманами никак не справиться, то все же несчастье мое разрешилось бы как-то, если б меня самого не было? Если б не было субъекта, то решилось бы, а? И тогда бы несчастья субъект просто повис, не востребованный, в облачности. Нет семнадцати карманов, и ладно – меня ведь тоже нет. То есть – переживать абсолютно некому.

Впрочем, я не уверен. Я вообще ни в чем не уверен. А люди, обладающие (пусть даже сторонней) уверенностью, вызывают во мне отвращение. Я считаю, что именно эти халатные типы и вызывают к жизни случай.

Я не уверен не только в себе и своих основательных и легкодоступных, как части моего тела, страхах и снах, в своем скоропальном бреде и тем более – в ускользающей из-под носа действительности, но и в фиксации самого себя, – в том, кто я и где я. (Одно из моих нелюбимых слов – «фиксаж». Даже запах его – неопрятного фотолюбительства – мне противен.)

И я настаиваю на своей неуверенности при любых обстоятельствах, в которых я не уверен, спаси и помилуй. Потому как – если ты в чем-то уверен, то у этого что-то тут же появляется возможность перестать быть уверенным в тебе самом, и оно запросто и с ходу может тобою пренебречь.

А до тех пор тебя н и ч т о не может отследить и удержать в прицеле. То есть – уверившись, ты засвечиваешься своей определенностью обстоятельствам, которые тут же, на подхвате и организовываются случаем.

Это как груздем назваться. А кузовок оказывается тоскливо огромным, с пустоту, так что тебе ничего не остается делать, как мимикрировать под нее, в ней растворяясь, или еще хуже – придумывать, зажигая, не существующую точку жизни где-то в воображаемом снаружи-вовне – и, чтобы выбраться прочь, мучительно стараться быть на нее похожим. То есть – в ящик наяву сыграть, в пожизненную смерть облачиться. И тогда – прощай, не пой, пернатый.

Так вот, если нет и меня, и семнадцати карманов нет, то и в самом деле – пусть и ладно – меня ведь тоже нет как нет. И переживать некому.

В том-то все и дело, что переживанию переживаться будет некем. А может, это давно уже так и есть: что, если я двойник самого себя, и меня, как замаскировавшегося под собственное отраженье, не различить: с отражения, как известно, взятки, как амальгама, гладки. Видимо, просто сам не замечаю – от зашкалившего внимания к этим карманам, которых, черт возьми, нет и взять неоткуда. Ведь должен же инстинкт самосохранения работать меня помимо?

И вряд ли поможет моему смятению – моему смыслу – следующее рассуждение. (Нет, наверняка не поможет, как горю слезы не помогают, но может, как после рева, легче станет – вряд ли.)

Что, если «я» стал бы двойником того другого меня, и тогда бы у меня возник шанс, увиливая от этого «быть», сослаться на свой оригинал? Что уж лучше пусть он будет вместо меня – у него, как у главного носителя нашей с ним общей существенности, первородного продукта нашей идеи (которая, похоже, пришла в голову смутьяну), больше прав б ы т ь, чем у меня, у копии.

И если существование вдруг захочет меня припечатать, застав в его облике, в облике оригинала то есть, то у меня будут все основания, чтобы кивнуть на себя, предыдущего, и объявить (кто запретит мне?) – теперь уже его самого – оригиналом, самому же стать и на этот раз копией, той самой искомой не-существенностью, которая не существует, а только присутствует. (Нет более удачливого объекта, чем неравного себе субъекта. Лозунг ловких жителей бреда. В этом, кажется, зерно различия – в возможности наблюдать наблюдение.)

Так бы мы с ним и стояли, как в не очень смешном фарсе на приключенческую тему, перебрасываясь бомбой с зажженным фитилем, вот-вот готовой взорваться осколочным, но убийственным существованием.

Ну, допустим, меня не будет, то как же быть с алмазами? Смогу ли я сам справиться со своим отсутствием? (Слишком много вопросов, а безличных предложений не прибавляется. И вообще, поменьше вопросов. В общем-то, лучше и не спрашивать вовсе: всегда есть риск, что – ответят.)

Ну, хорошо, допустим, у меня есть карманы и алмазы в них, и нет несчастья. Куда идти? За счастьем? Чтобы забросать его алмазами? Для чего идти? (Тише, тише, мы же договорились, никаких вопросов!) Я не в сказке, чтобы не знать – зачем и куда.

Не идти? – я и сейчас никуда не иду. Несколько недель назад я застыл, превратившись в точку. Однажды задержался в прицелочной зоне и тут же попался, подвиснув намертво. Как пескарь на крючке чьей-то удачи. (Знать бы чьей!)

Случилось это, конечно, внезапно и обстоятельствами особенно обременено не было. Обычное дело: остался в незнакомом месте на ночь, а утром слишком долго пил чай, разглядывая в окне тоску. (Таковая косо парила тусклым облачным прямоугольником, кроя взгляд поверх двора-колодца на Покровке.)

А потом не смог выйти. Накрыло. В точку превратился, до нее дойдя. Я всегда знал, что главное – вовремя уйти: неподвижность самое прилипчивое и далее – самое неустранимое из претерпеваемых действий. Риск стать узником страдательного залога всегда огромен, как небо. Стать безлико претерпевающим претерпеваемое: страшная статика горя.

И все же, не то чтобы я совсем не способен эту неподвижность отбросить. Могу, конечно, могу, но только вместе с собою, собою же пренебрегая.

Я теперь весь пропитан неподвижностью. Пронзительная неподвижность, как удар, как обморок, пригвоздила меня, и я обмяк. Она съела меня, мною став. И теперь мне, до такой степени загнанному в угол, что ничего сохранения ради не оставалось делать, как стать вершиной этого угла – точкой, содержащей, держащей мою неподвижность, позарез нужны карманы. (Точка, по определению, это объект, не имеющий размера, не обладающий абсолютно никаким дополнительным местом, кроме того, в которое помещено его собственное существование. Каковое, как было отмечено, тоже весьма сомнительно – и вместе с ним сомнительно его место.)

Потому мне и нужны карманы. Именно семнадцать. Про алмазы лучше не думать: они остросюжетно близки и недоступны одновре-

менно. С ними нужно осторожно. Они – опасная добыча. Они – у брата моего, Пети, благодаря которому я стал неподвижен.

Четыре года назад я дал ему их, он попросил на время, сказал: так – из любопытства. Он их не вернул, увел бесценность. Я потом всюду гонялся за ним с таким отчаянием, что уже сам не понимал, кто мне больше нужен – он или камни. Я даже как-то стал их отождествлять, время от времени забывая об одной из двух целей моего розыска.

Непостижимо, почему он так тщательно скрывался, – я бы ему не навредил, и наверняка он был уверен в этом, он знал, что я люблю его и не могу сделать ничего дурного, просто мне нужно было увидеться с ним, поговорить об этих самых алмазах: мне всегда казалось, что он все, абсолютно все про них знает.

И следовательно, способен ответить на самый главный вопрос: кто мы? (Вчера он, наконец, мне на него ответил: «Я никто», – выдохнул грустно, выпустил дым последней затяжки, за ним на мутное мгновенье исчезая, появляясь, ткнул в пепельницу и, склонившись к кухонному столу, за которым мы с ним сидели, и я сижу сейчас и сидел тогда, когда услышал: дверь, чайник, себя, – увидел: диван, тоску, его, – нарисовал на листке еще одного человечка: пустой кружок, в котором нет рожицы, четыре гибких черточки – его любимое занятие во время пустой беседы. Удивительно, но ничего, кроме этих человечков – все в разных позах (крестик турка, ласточка балерины, сгорбленная обгоревшая спичка) – и стрелочек, по головоломным кривым попадающих в горошинки жирных точек, не встретить на полях его математических черновиков – профилей и головок он не рисует.) Но он так настойчиво и так высоко виртуозно скрывался от моей виртуозной погони, то и дело появляясь, высовываясь на мгновенье, словно дразня, то тут, то сям выглядывал из мрачных углов лабиринта моих поисков, к тому же усложненных обилием зеркал (которых я в конце концов научился не спрашиваться – и смело входил в них, завидев в проеме зрения – его, затем мошеннически мгновенно исчезающего в сутолоке лекционных аудиторий, бедлама пивных и буфетов, густонаселенных стекол институтских коридоров, или – в умопомрачительных топях медового цвета зрачков нашей общей, краткой подруги), что мне спустя время стало казаться: моя затянувшаяся до взрыва поисковая пытка – и есть попытка третьего, за нами пристально наблюдающего лица ответить нам обоим.

И чтоб сполна и наотмашь – так, чтоб наверняка и навзничь. Теперь он появился, чтобы вернуть эти камни: то ли во искупление, то ли чтобы от них, как от проклятья, отделаться. Похоже, он все же натерпелся с ними, бедняга, раз пришел из такого далека и такую жуткую катавасию здесь устроил.

Устроил совсем не к месту и не в том совершенно месте, в этом насмерть вцепившемся в меня месте, откуда, как из камеры смертника, не исчезнуть живым на волю, так как дверь, сумасшедшая дверь, она проросла неподвижностью по всему периметру косяка, обернувшись монолитом, – я осознал это, я стучался в нее, взрывал неприступную, потоком отчаяния, бурным, как Терек под завалом, – но тщетно и глухо: бессильно потрясая, тряся, подъяв себя за грудки – тщась так выбраться из вязких размышлений: врун-Мюнхгаузен, тягающий себя вместе с логической лошадью, – которая теперь, как якорь, намертво и бесполезно...

Петя всегда считал камни чем-то вроде алефа. Когда еще был к прямым и честным словам способен, заметил: «Они – все на свете, самая большая ценность, инвариантный всему символ всеобщего эквивалента; океан, вселенная света, заключенная в зрачке, в булавочной головке; вещь, содержащая в себе все: например, даже мысли того придумавшего нас смутьяна...»

Поговорка прадеда: «Брильянт – мой хлеб и солнце» – стала его любимой. Прадеду алмазы действительно принадлежали, но мне они достались не от него. Про то, собственно, и история. А о поговорке мне моя бабушка рассказала, которая слыхала ее от матери своей – прабабки нашей Генриетты. А я – Пете, и он поговорку эту подхватил – и к тайной мысли присказкой сделал. Скоро он смог, без конца ее повторяя, всколыхнуть у меня подозрение. А с подозрением в моем случае – шутки плохи.

Сколько я себя помню, действительность передо мной всю дорогу осыпалась, как штукатурка. То есть я хочу сказать, что всюду меня обкладывала подлая мыслишка о неуместности происходящего: не то, не здесь, не так, не со мной, не с ней и не сейчас, и уж никак не с ними. И вот тем самым утром Великой Неподвижности, когда я обернулся, чтобы выключить по новой вдруг вскипевший чайник, что-то сдвинулось в зрении, листки изображения передернулись, как карты в руке незатейливого шулера, и я вдруг наткнулся на его протянутую руку: в горсти – лавина алмазов, как горного хребта столпотворенье...

И он меня взглядом спрашивает: есть у тебя, где спрятать?

Ночью его не было в квартире – я это точно знаю. Сраженный, я молчал, чайник кипел, зашедшись свистком, и от растерянности, совсем не к месту беспокойно вспомнил, что та, с которой я провел начало ночи, куда-то ушла, воспарила, слетела, исчезла...

Звук взмывающего лифта. Створки. Короткий стук площадки под толстяком-невидимкой. Лифта падение. Ключ, я знал, у нее один (сказала вчера, спешно роясь в сумочке на пороге – решила, что где-то обронила), а дверь не захлопывается – запирается на

ключ с одной из сторон, такая железная вечная, как надгробье, дверь, замок ее массивно и четко, прошуршав механизмом и выпустив свои язычки по периметру косяка, затыкает тебя здесь наглухо и навечно; дверь, с которой можно внятно общаться только запасшись динамитом.

Я подумал тогда: ладно, вернется вечером с работы – выпустит, у меня сегодня и дел-то никаких нет, наконец-то дочитаю «Eromos», может, даже переведу то понравившееся место, где Ахилл, попав в шторм, пытается спасти шаланду...

И вот ведь, только подумать, как странно – в том месте тоже все на неподвижности замешано: из-за прибоя лодка никак не может подойти к берегу, и в ревущем ультрамарине вскипающего шквалом неба, среди кучи лохмотьев разодранной в перья пены кучевых, солнце веско – гильотиной – виснет на лучах над теменем героя, страшно накатывая солнечным ударом; повисает грузно, как якорь, смертно удерживающий в этой беде лодку: все вверх тормашками из-за шторма, и борьба на деле оказывается подводной.

Но вот Петина рука... Я к ней вернулся, метнулся, бросился, как осажденные мечутся между направлениями осады...

Он отошел и замер. У плиты. Где чайник кипит. Зажал камни в кулак, словно мое вынутое сердце, сложил на груди руки, возвышенно и надменно подбоченился.

Паяц. Взгляд воспарившего пингвина – наверно, именно так смотрел Брюсов на Ренату. Я подумал, что толком еще не проснулся и, видимо, просто все еще нахожусь в области фантазии, то и дело выпадая из яви в сон, в жизнь во сне, в жизнь во сне, в жизнь во сне...

И все же мурашки драпанули по коже, и я вновь, отпив чаю и даже потянувшись к бутерброду с сыром (была мила и оставила мне завтрак), но передумал и еще отпил, – вновь обращаюсь к тоске в окне, но, может быть, для того только, чтобы не видеть, как мне не по себе.

Не-вы-но-си-мо. Доколе он там будет стоять? Смотреть мне на него совсем не хочется. Что-то в этом есть жуткое. И, признаюсь, я ожидал чего-нибудь в этом духе.

Черт с ним – надо отвлечься, например, буду просто пялиться, как из подъезда напротив работяги вынимают тушу дивана. И не оглядываться. Вот жена Лота обернулась, и ничем приятным для ее будущего это не обернулось. А именно – неподвижностью.

(Диван вынесли, и на него уселись. Один отправился ловить фургон.)

Нет, я ничего не имею против чайников. Даже когда они кипят, изрыгая паровой ход. Даже когда они обугливаются, выкипев и хрипя. И даже когда вода в них превращается в соляную кислоту.

Нет, никогда не испытывал – и даже сейчас, после этой истории, отвращения у меня к чайникам не возникает...

Видимо, тогда я лишился слуха, весь в зрение превратившись. Чайник свистел, как труба ерихонская, как локомотив на разъезде, стараясь мою оборону расстроить. А у меня, к счастью, рецепторы в этом направлении осады отказали. Иногда лучше быть в неведении, так экономней...

Наконец, свист пробил меня, и, на миг позабыв о Пете, я снова поспешно обернулся, чтоб снять с конфорки. Снял и понял, что Петя из кухни исчез. Но тревога осталась. Она только превратилась в его временное отсутствие...

Теперь, вот уже которую неделю моей Неподвижности, он, как воображение – совсем рядом (ничего не может быть ближе воображения), его можно видеть наяву – и видеть, если заснуть. И даже если сильно-сильно зажмурить глаза, лицо его все равно проступает на изнанке зрения, – и в то же время он абсолютно недостижим, как мысль, как сильное, навязчивое желание. Руки к нему не протянуть и слов не обратить. Он, как остаток деления – всегда в уме, деления непрерывного, деления меня на него. Ужасно, что он больше меня, так что остаток от этого изуверства – я сам. И никуда мне от себя не деться...

Я неподвижен под его неотступным надзором. Да это и не надзор в смысле ограничивающего действия. Он ничего не делает, он – мой наблюдатель. Как, собственно, и я – его.

Гипнотическое его присутствие неизбывно. Мое – тоже. И неподвижность моя, отчасти – его неподвижность. Мне даже иногда кажется, что я могу говорить о себе «я» только потому, что он меня в и д и т, что я продукт его зрения.

Суть моей неподвижности в том, что все мое – навязанное. О его же судить не способен. Словно мне, как в детской игре, сказали «замри», а «отомри» – забыли и разошлись по домам, чтобы выпить по чашке простокваши с печеньем. А потом случилась война, и все исчезли, а я все продолжаю стоять во дворе у застывших качелей, – вообще, удивительно, что утро все-таки наступило».

В Домодедово мы прилетели глубокой ночью. До города в это время добраться было невозможно. Дождавшись рассвета, сели в электричку.

На Павелецком вокзале у входа в метро попали в суматоху: поймали вора, скрутили, но милиция еще не подоспела.

Вор изловчился, вывернулся, в его руке трепыхнулась из рукава и раскрылась «бабочка».

Толпа прянула, как круги по воде.

– Ну, свидетели, кому зенки расписать? – озираясь спокойно, весело даже.

Не знаю, что мне пришло в голову, но я сделал шаг вперед, и хотя сам момент кражи не видел, негромко:

– Мне.

Вор, ничуть не смутившись, выждал, присматриваясь:

– Не, малый, ты еще позырь маленько.

Я хотел спросить – почему, но менты-дружинники уже заламывали ему руки, гнули за патлы книзу. Вор и не думал сопротивляться.

Дома я весь день отсыпался.

Ирада, прицокивая языком, потрясенно бродила по квартире, любовно трогала обстановку – знакомилась с местностью.

Изучила содержимое шкафов и полок.

Несколько раз открывала воду в кухне и ванной.

Потом, разобравшись, набрала ванну и целый час в ней пела и визжала.

Я продолжал дремать, но заснуть глубоко не мог.

Окончательно проснувшись, я вышел в кухню и понял, что все еще не могу прийти в чувства после аварийной посадки.

Нужно было что-то делать. Завтра я должен был в Инюрколлегии составить запрос, а на следующий день утром снова оказаться в Домодедове, чтобы встретить свое в п е ч а т л е н и е.

Образ ее жил неотрывно где-то вовне, над головой, но размышлял я о ней не предметно, а находился в томящем облаке настроения, обдумывающего произошедшую встречу, предвкушающего следующую. Когда мы падали, я в отчаянии подумал, что никогда ее больше не увижу.

Стало понятно, что я неосознанно сильно нервничал.

Присутствие рядом Ирады мне теперь казалось не то чтобы неуместным, но нежелательным.

В общем, мне не хотелось отвлекаться.

Я решил отвезти ее на Физтех, пристроить в общагу своего факультета, в комнате, где у меня было место: ректорат предоставлял проживание и для москвичей – напряженный график на начальных курсах требовал почти постоянного присутствия в институте; далее место в комнате по инерции, уже без нужды, закреплялось за своим владельцем вплоть до шестого курса.

Там она не пропадет. Люди у нас в большинстве своем добрые и внимательные. Тем более что на Физтехе я смогу что-нибудь разузнать о брательнике. Дома никаких его следов не обнаружилось: наверняка колтыхается где-нибудь с дружками. Возможно, он там появлялся.

Я сходил за продуктами. Мы поужинали. Потом на метро добрались до Савеловского вокзала. Оттуда на электричке до Новодачной.

Выпав на платформу, я вдохнул воздух этой местности – и осознал две вещи: что страшно соскучился по своим друзьям и что, начиная с какого-то момента, стало происходить нечто такое, что впоследствии обернется самым главным.

Относительно последнего у меня была полная уверенность – я это различал по невыносимому волнению, которое обычно у меня бывает перед экзаменом по предмету, который мне страшно небезразличен и который я знаю блестяще.

Глава 10

ИОСИФ

Чудесным образом сегодня утром я обнаружил под своей подушкой ничего.

Ничего это должно было быть тетрадкой, в которой я веду свои записи. От неожиданности я даже не испытал досады и онемело сидел, уставившись в теплую от сна вмятину на подушке. Возмущение меня настигло после, и происшедшее показалось настолько чудовищным, что, мгновенно переполнившись негодованием и злобой, ими как бы сам выплеснувшись наизнанку, я стукнулся о дверь и заколотился в нее, как муха в стекло, – и кричал, и колотил до тех пор, пока не обессилел, и тогда я осел подле и заплакал. Ныли кулаки, и тихо ломило от рыданий тело.

Вскоре дверь открылась, и вошел Петя.

– Ну, какого черта?

– Где мои записи?

– Мы их арестовали.

– Что значит «арестовали» и кто это «мы»?! – Еле сдерживаясь и всхлипывая, поднимаюсь и наступаю на него.

– Они нужны нам для следствия. Мы рассматриваем твою писанину как письменное признание.

– Признание в чем?! Какое следствие?!

– Вот что. Успокойся и сосредоточься на камне. Что это за нюни ты распустил? Думай только о двух вещах: во-первых, где он, и, во вторых, какими он обладает свойствами. И, пожалуйста, не отвлекайся. Если нам не удастся все выяснить – пеняй на себя.

– Ах ты, подлец, я же говорил, что не знаю! Ты слышишь, я не знаю! В последний раз я видел камень у тебя же в руках. Ты же сам

увел его у меня, а теперь хочешь знать – где?! Это я должен спрашивать! И не только это: где она? говори!

Петя, пружиня на цыпочках, заглянул в амбразуру, постоял, раздумывая.

Я ждал. Он взял с тумбочки стопку тетрадок, перелистнул:

– Должно хватить.

Направился к двери и, как бы подбадривая, похлопал меня по плечу: мол, держись, старик.

Я попытался его ударить. Падая, я успел замедленно подумать, что хорошо бы никогда не подняться.

Напоследок он склонился над моим животом – в лицо не глядя:

– С ней все в порядке. Она тоже просит тебя не упрямиться. Ради нее.

Д о м: с о н. «Если Господь все же отыщет себе мою историю, может быть, ему будет любопытно припомнить, чего ради и как он меня в нее втянул. Сама история, если внимательно ее размыслить, не так уж и важна, поскольку она – кульминация и развязка, – и, как и все взвинченное и мгновенное, отчасти бессмысленна; но вот то, что ввело меня в нее и то, благодаря чему она стала возможна как случай, мне самому представляется существенным и вполне достойным изложения. Им я и продолжаю.

Все началось, как вы можете уже догадаться, с моего прадеда, который приключился своим рождением в одна тысяча восемьсот восемьдесят четвертом году – в Баку, в доме, похожем на сон. На сон, который бродит вокруг меня, когда я, пытаясь избавиться от себя, думаю о своем прадеде. Сон невозможно выдумать, он – явление, и если сон состоит из прошлого, то есть бывшего, то это не сон, а простое переживание, всего-навсего глупо удваивающее уже отслоившуюся реальность.

(Я должен был ради правды высказать последнее, так как в доме Иосифа Розенбаума я никогда не был, – хотя примерное расположение в Старом городе мне известно, – и изображений его ни снаружи, ни снутри не видел, а врать я не люблю и не буду. Дело же припоминания мне представляется настолько серьезным, что отношение к нему, полагаю, должно быть столь же подробным и внимательным, как к собственному существованию.)

Да и сейчас, поскольку сон – вещь по природе своей чрезвычайно сложная и существует только, пока длится, я не вполне способен его – применительно к дому прадеда – сколько-нибудь внятно описать. Да и не важно это на самом деле. Скажу только, что дом этот – размером с сознание (ведь то, что принимается нами за пространство сна, всегда не больше сознания, которое не имеет пространс-

твенного качества: если оно населено одновременно несколькими объектами, то между ними нет дистанции, измеряемой усилием осознания их различия, они все находятся в одной и той же точке, которая суть сознание; скорей, сознание само и есть сон, а не содержит его в качестве продукта, – и это особенно становится ясно, если вспомнить, что вещи, сон населяющие, по сути, одновременны и не могут иметь жизнь последовательности: сон запросто и без какого-то бы ни было вреда для общей внятности может начинаться своим концом; в ломанной линии развития его сюжета легко допустимы точки самопересечения, порождающие нелинейность, повторы, – и вместе с тем протяженность его все же оказывается обманчива, так как всегда возникает опосредованно, искажаемая воспоминанием о сне, которое и придает ему длительность, поскольку само – длится; сон – это вспышка, а воспоминание о нем и есть тот пространственный клубок – «случайных схлестов»? – куча-мала, сваленная и разбираемая утренним припоминанием), – что дом этот под плоской крышей приземист и слеп, то есть не имеет окон, выходящих на залитую вертикальным солнцем, теснотой и нечистотами улочку, – а глядит вприщур от жара внутрь дворика, посреди которого растет корявый инжир, вокруг расставлена по земле и на камышовой циновке не убранная после завтрака посуда: с крошками пендыра, коркой чурека и зелеными маслинами, пополам с обглоданными косточками; два армуда с недопитым чаем, блюдце с лукумом; а также разбросаны разные предметы: кипа листов рукописной копии «Что делать?», только что отставленная оловянная кружка с ячменным кофе, кусок какого-то канареечного цвета минерала, который тупо пробует на клюв забредший с улицы индюк; последний через мгновение в третий раз получит тумака от Иосифа, – он вернулся из лавки и теперь, поджидая Миронова, чтобы отправиться вместе с ним перед обедом в английскую миссию – поболтать с Раймоном и Уилсоном, сыграть вчетвером несколько бестолковых, но остросюжетных партий в «шведские шахматы» (и между прочим сторговать им бросового товару), присел, прислонившись к стволу инжира, чтобы еще раз перечитать то вчерашнее место, где смутный Кирсанов и его вычурная сверхчеловечность.

– Кретин, – с досадой вслух заключает Иосиф.

Индюк, за то что раскрошил кусок полезной серы (ею присыпается экзема на локте), получает напоследок шлепок по жесткому пернатому корпусу, кричит мерзко павлином – и, суетясь, влетает впопыхах прямиком в кухню, чтоб далее – через краткие события смерти и ощипа – бултыхнуться в суп: в кухне сейчас идет стряпня, и кухарка (а за нее и Генриетта) очень даже рада, что индюк сам пришел – возни от ловли птицы меньше.

Иссиня-черная роскошь галактик из глубин оперения сыплется под сосредоточенные ноги двух женщин.

З е р к а л ь н а я т е м н о т а. Фонарев поступил с Глебом довольно странно: засадил в психотропную конуру, которую его ведомство раньше использовало как неофициальный застенок – пыточную комнату, в подвальной дворницкой, куда затаскивали колоться уловленных резидентов, или их подручных (явочная квартирка удобно размещается в том же подъезде дома на Покровке, в Колпачном переулке), напичкал какой-то гадостью, от которой мозги разжижаются необратимо и хлещут потоком галлюцинаций из всех органов чувств, а личность обезволивается и расплывается огромной, как сон о морской воде, аморфной амебой. Теперь всякий раз, чтобы проявить хоть какую-то волевую функциональность, ему требуется прикладывать уйму усилий, собирая себя по кусочкам, капелькам, клеткам, и как-то всю эту медузу склеивая.

Я не знаю, зачем Фонарев это делает, я говорил ему: вряд ли Глеб вообще что-то знает. Но тогда полковник поворачивает свои вилы на меня, и я тушуюсь, чуя, что мне самому оказаться на месте Глеба – проще пареной редьки.

Все ж таки иногда мне жаль братишку. Так он долго не протянет. Комнатуха, где его держат – ну, просто труба – паноптикон, тюряга стеклянная: хрень эту еще в конце 18-го века какой-то придурочный академик аглицкий выдумал, – а нынче, как видно, средневековье в моду входит... Ночью в ней шевелятся потемки: стена, что напротив кровати, подымается и открывает полупрозрачное зеркало. Свет включить нельзя: потолок – пустыня, ни ламп, ни светильника. Я даже не представляю себе, как бы я сам реагировал на месте Глеба: ужас, который можно испытать, проснувшись среди ночи и обнаружив, что ты не один, а кто-то темный, тебя повторяя, плавает в накатывающейся глубине темноты, – совершенно непереносим здоровым человеком.

О т ъ е з д. На размышления не оставалось ни мгновенья: нужно было срочно кануть.

Любое сомнение, стоит ли уезжать из города, или лучше перейти на скрытное существование – схорониться с мешком сухарей, забаррикадировавшись книжными шкафами – с тем чтоб, прочитывая книги, потихоньку освобождать себя, выбрасывая по одной в окно: и так переждать смуту междувластия и зверства, царящие в Баку, – отметалось при мысли, что он будет ж и в в городе, где недосягаемо находятся в смертельной опасности жена и дочь.

Генриетта оказалась с головой вовлечена своими босяками-кружковцами во всю эту бучу, сейчас организовывает какую-то коммьюну, рискуя жизнью души его – собой – и жизнью плоти его – их ребенком; и что все это, по сути, измена, да, самая настоящая измена, подлость дикая, от мысли о которой ломит и сдвигает темя, – и что-то розовое застилало его глаза, и он дальше совсем не способен был что-либо соображать.

Для нее он стал местом пустым, призрачным и унизительно бестелесным.

Три года жизни отправились коту под хвост.

Он ничего не мог с этим поделать.

Ничего он не мог сделать и с собой, чтобы стать неуязвимым.

К тому же уродливая неразбериха в городе, безумные турки и чинимые ими зверские погромы, мусаватское правительство, большевистская коммуна, ожидание английской интервенции, несущей, не понять, то ли угрозу, то ли надежду, – все это делало невозможным никакую коммерцию.

Но все бы ничего – средств, при разумном с ними обращении, хватило бы на всю оставшуюся при какой угодно власти: алмазы не обесцениваются, алмазы, как известно, навсегда.

Только нужно было немедля куда-то себя деть – наконец подыграть инстинкту самосохранения: запрятать себя, укрыть, залив анестезией беспамятства.

Жить оставалось только ради камня.

И для этого тоже надо было исчезнуть.

П у т ь. Наконец (уже виднелись рассыпанные по склону известковые улья Тебриза) взяв себя в руки, и тем уняв отчасти их дрожь, он поднял лицо и обнаружил вокруг свое удивленье – времени суток, разливу заката и немного спустя своему последовавшему за взглядом вовне облегченью, движенью вновь возможной мысли о будущем, пусть – о ближайшем (всего о ночлеге в душном, полном воров, как клопов, караван-сарае), – сначала с опаской и чем ближе – страхом человека, которому есть что терять, кроме света, дыхания, но предельно важном самой продолженностью вперед, прочь от оставленной неделю назад жизни...

Горизонт постепенно снимает, слегка накренившись, чалму заката и, аккуратно сложив, мягко кладет под голову: заостренный профиль – кадык, переносица, подбородок – силуэт Бешбармака, переходящий в покатый абрис – в плато, на котором он завтра станет искать Уилсона лагерь.

Горизонт впускает в свой сон движение звездного полушарья; его веки дрожат с частотой мерцания созвездий.

Иосиф с попутчиками въезжают в город и, спешившись, пропадают в клубке спутанных сквозняками проулков. Они прислушиваются к колотушке ночного сторожа, чтобы, его отыскав, расспросить о дороге.

Невидимка-старик ходит кругами.

Иосиф надеется избежать ночлега в опасном месте...

С б о р ы. Было взято два фунта мельчайшей и кругленькой гальки (для чего были прежде взяты до Шихова дрожки, плюс вынут час из спешки сборов для гулянья по пляжу), бритвой вдоль был распорот ремень из гюрзы, чью пряжку также пришлось заменить массивной платиновой брошью.

Как в межу, ракушка через одну с камнем закладывалась в змеиный чулок – жизнь по крупицам с дрожащих ладоней: «все брошу, не брошу».

Он вспоминал не что-то определенное – определенность была ему недоступна, как недоступно переживание страшной боли человеку выжившему, – но только сумеречное, влажное и теплое ощущение прошлой, где-то внутри далекой жизни: вот – он сам и часть его – дочь, вот – жена молодая – достаток взгляда и доблесть отлетевшей души, и где-то там, в мутной – не памяти, но ощупи оглядки – помещался едва живой Дом... Он отчетливо чувствовал уплотняющуюся вокруг пустоту, и она ему, как обнова, – была тесна и непривычна.

И все ради чего? Ради камня, который скоро выпустит, как преломленный холодный луч, чужую, бессонную жизнь, где новой швеей, вторя ритму безумных фокстротов, доносящихся из кабачков, населяющих густо кварталы Сансета, из лоскутков прошлой жизни, поминая и то и это, ночь за ночью он станет шить себе сон, – чтоб укрыться им, как Улисс овчиной, блеющей «это не я»...

Однако его Полифем окажется строже, чем у Гомера: однажды душным августовским утром в пригороде Лос-Анжелоса проснется труп Иосифа Розенбаума – со следами далекого сна на коже.

Г о р о д. Рассказывают. На Среднем Востоке есть притча, где говорится, что негоже завязывать морду ослу, который, идя кругами по гумну, работает молотилкой, – чтоб не жрала животина попутно зерно.

Рассказывает подруга Генриетты, Ольга Шатуновская – Циле:

«В сентябре 1918 года турки вошли в Баку, и город на три дня был отдан янычарам на растерзание: началась резня армян, грабежи, истязания.

Большевики бежали из города. Самый безопасный путь – морем.

Но город горел от бомб, и корабли, подчиняясь приказу военного командования, вышли на рейд.

У пристани стояли два-три судна, вокруг женщины с кричащими детьми, узлы, чемоданы...

Разъяренные, разгоряченные кровью орды накатывались на дома, убивали мужчин, насиловали женщин, девочек, грабили и жгли, врывались в квартиры, и когда нечего уже было взять, злоба всхлестывала еще круче и просто крушили все на пути: столы, стены, мебель, детей об стену.

Разграбленный, изнасилованный город – посреди золотистого спокойного света, над тихим, еще теплым морем.

Двое турок за длинные волосы тащат женщину, живот распорот, и кишки – голубовато-розовые, как переливчатое горлышко сизаря, – тянутся по мостовой: спешат, тащат, видимо, прячут куда-то – зачем?!

На тротуаре дико лежит женщина, с отрезанными грудями.

На высоких воротах вбит гвоздь, и на гвозде за ухо висит четырехмесячный ребенок, ухо растянулось, сейчас лопнет.

Казармы, в которых помещалась команда самокатчиков: они не успели выехать, – турки сбрасывали их сверху на штыки: двести человек, все до одного, огромная груда тел, раздетых, оголенных, ограбленных до нитки; груда белых, ослепительно белых тел – русские, и только одно, два смуглых – армяне...»

Тела потом свезли на телегах на гору, где сейчас парк имени Кирова, и там захоронили.

На чрезвычайном собрании ячейки было решено, что Циля на время уедет из города в Дербент, но вскоре вернется для работы в подполье: тем более что ребенок – отличная маскировка.

На пятый день после вторжения турок Иосиф выехал вместе с Мироновым в Ленкорань – вдогонку подавшейся вспять английской миссии.

М е с т а. Наше с братом генеалогическое содержание с неоспоримым преимуществом осуществляется за счет ветви прадеда.

Так это хотя бы потому, что мы все на него похожи – двух мнений быть не может: лица наши суть отпечатки разной силы и на различной природы поверхностях – его лица.

Черты нашей мамы только добавили, ничуть не смазав, некоторой субтильности, – своей собственной манерой наведя правку – не тушью, карандашом.

То же касается отца с дядей: в их лицах – Цилин метод воспроизведения, заимствованный ею, в свою очередь, у Генриетты, нашей сумасшедшей прабабки. Но суть та же: как если бы она, суть, виделась самой Цилей так, как она п о м н и т (хотя и незримо) лицо своего отца.

Вдобавок у всех нас от рождения тот же необычный дефект: большой палец на правой руке короче, чем на левой, и чуть толще, как бы слегка приплюснут ударом какого-то очень древнего молотка.

Вот только почему-то у Глеба – вопреки закону Менделя – такой палец на левой руке: это отклонение поистине вычурное, как любит определять всякие странности Циля – «не норма».

Вообще же род мы свой ведем непонятно от кого. Все, что старше четвертого колена, припоминается в рассказах Цили очень темно.

Темнота эта, искажаемая нашим семейным воображением, населяется двумя вариантами легенды о некоем гранильщике алмазов, работавшем у одного знатного вельможи испанского двора (по фамилии коего – точно не известно какой – он и стал впоследствии называться). Годам к тридцати господин этот бежал османских гонений – сначала в Польшу, где судьба не нашла ему место для удержания жизни, – а затем в Литву, где тоже благодатного местечка для жизни еврейской не отыскалось, но зато предостаточно было места в пространственном отношении, чтобы судьбе притупиться о колею замысловатых странствий – и позволить ему из-под острия своего выскользнуть: затеряться в пределах обширнейшего Литовского королевства, граница которого тогда проходила чуть ли не в восьмидесяти верстах от Москвы.

Далее в воспоминаниях Цили многократно, как части кораблекрушения, всплывали отрывочные, зачастую относящиеся к разным персонажам, истории, в которых было много всякого сюжетного добра: молельный дом, сгоревший от опрокинутого кишиневским землетрясением семисвечника; сумасшедший вор, укравший из своей синагоги свитки и выдавший их ребе из соседнего местечка, говоря: «У всех наших вместо языков – ветреные ласточкины хвосты, от взмахов которых буквы изнашиваются и становятся легкомысленны»; и некто, кто за счастьем житейским нанялся бурлаком и дошел до Астрахани, а оттуда, с караваном, и до Тейрана добрался, где открыл мелочную лавку и был успешен, превратив ее в подобие ломбарда; и то, как кто-то из наших был полонен и продан в сераль персидский, и как потом он бежал с пленными армянами в Баку, так как им хотели покормить собак – за то что, мастеря безделушки для гарема, однажды во время примерки сережек и браслетов не только не зажмурил глаза, но и пошел на поводу у веселых девчушек куда как дальше предплечья, шейки, бедер...

А вот как именно и вследствие чего – прадед случился жизнью своей в Баку – можно было только гадать.

Глава 11

ГЕНРИЕТТА

Ф о т о к а р т о ч к и. Память похожа на кипу листов, в которой то, что уже не существует, вдруг оживает – если эту кипу разворошить, опрокинуть, выставить на ветер. Сегодня мне в ней открылся наш семейный фотоальбом. Я перелистываю – и внимательно погружаюсь в его взбунтовавшиеся против забвения страницы...

Что касается прабабкиной ветви – Эпштейнов, то здесь ничего, кроме того что Адербиджан находился в черте оседлости, нельзя добыть для обоснования их местожительства. Генриетта – судя по фотографиям – была ужасно хороша. Прабабку нашу в юные годы мы находим склонной к шумной артистической жизни: вопреки отцовскому презрению и даже запретам играла в любительских театрах, выезжала с компанией здешних художников-маринистов на этюды, тщательно и тщетно вбирая в себя невзрачные каспийские виды, стада тюленей, похожих на пловцов, рыбацкие деревушки, возню с уловом, унылые берега пустынных островов, и проч.; а также увлеченной всякого рода народовольческими бреднями, – в общем, была ветрена и, несмотря на замечательный ум, казалась многим – и прежде всего своим родителям – поверхностной.

(Однажды мы с Глебом, роясь на антресолях бабушкиного дома в Баку, наткнулись на развал, толстенную кипу ремингтоновских копий статей Бакунина, Соловьева, Плеханова, Буделяниса, какого-то Николая Стремительного и много еще без подписей – большей частью все того же свободолюбиво напористого и эфемерного толка; шифрованные с помощью греческого алфавита списки кружковского актива и рукописные протоколы каких-то собраний, чью скоропись сам черт голову сломит разбирать; однако, из-под этого вороха извлеклась на свет добыча – соломенная шляпка и альбом с гербарием, магнитофон «Дніпро», ламповый, размером с хорошую шарманку – бандуру эту мы потом успешно оживили, заменив изношенный пассик куском бельевой резинки; под ее крышкой отыскались – коробка с масляными красками и балетная пачка, обернутая вокруг полуистлевших пуантов: пробковое их наполнение оказалось изъеденным жучками типа долгоносиков, что заводятся в захороненных в укромной заначке сигаретах, допотопной, давно исчезнувшей марки, превращая их в цилиндрическое решето, а счастье наконец-то покурить, к тому же с наслаждением помусолив ностальгические припоминания, – в прах; я на грех, любопытства ради, примерил тогда эти туфельки, и при попытке изобразить ба-

летный циркуль подвернул ногу, – и не мог на нее ступить неделю, так что все это время при передвижении по дому – и по дороге на пляж был ведом в обнимку Глебом.)

За прадеда Генриетта долго не шла: морочила голову, выбирая и среди прочих тоже. Но он был самый красивый, основательный и отлично гранил алмазы: и все-таки вышла (хотя жених презирал шабутной образ творческой жизни и не был столь искрометен, как многие из ее поклонников).

Приняла она его предложение ровно в тот день, когда он открыл собственную мастерскую и послал младшего брата, взятого им накануне в приказчики, к ней в дом с увесистым, как горсть картечи, ожерельем. (Кстати, отсюда можно сделать вывод, что претензии В.Е., по сути, бред: дед его не имел пая и не его дело было соваться в сложности частной жизни Иосифа, и пора бы это ему напомнить: меня уже уморило мое нижайшее и двусмысленное положение – одновременно подозреваемого и подмастерья.)

Известно также, что Генриетта была страшно рассеянной и что беспамятство Цили – от нее; дочь-подростка она пугала:

– Старайся запоминать все подряд, хотя тебе это и без надобности: пускай, запомни для упражнения. И всегда старайся вдумываться, к а к ты запоминаешь, потому что я уже едва знаю.

Циля, в свою очередь, бродя по дому в поисках очередной утраты, вздыхая, причитала:

– Рассеянность, мальчики, бич нашей семьи – бойтесь ее и будьте настороже: память, она, как жизнь, текуча, ох как текуча.

Генриетта из рассеянности и недотепства своего и ведать не ведала, что такое хозяйственная экономия: могла повторно купить одну и ту же вещь, тут же забывая, что она уже у нее имеется, и только помня твердо свою заботу, когда ее не было: как это и было с четырьмя мясорубками, одна из которых так и осталась лежать невостребованная, вся в патине, у Цили в кухонном шкафчике...

Потому основным хозяйством на досуге – чтоб только не развалилось – занимался Иосиф. Генриетта отвечала лишь за стряпню и уборку, да и то прибегая к помощи кухарки (хотя держать прислугу было не особенно-то и по средствам).

У нее напрочь вылетали из головы и рецепты, и способы; могла забыть запастись мацой на Пасху и за праздниками не уследить; да и того хуже – была запросто способна с веником в руках пробродить как во сне день напролет по дому в неглиже, как была встав с постели – медленно и отрешенно: непонятно, то ли заглядывая во все потолочные закоулки и бестолково припоминая, как – со стороны ручки или метелки – следует правильно снимать паутину, – и потом уж и забыв, что именно сделать хотела: просто думая о чем-

то, восхитительно далеком и бесценном, что ей сейчас столь же явственно и доступно, сколь и невспоминаемо после...

Иосиф, застав ее в таком состоянии, молча садился у порога и после, когда наконец приходила от его присутствия в себя, расспрашивал пристрастно, нервно, мучаясь. Циля искренне что-то припоминала – с трудом и бессвязно, будто разматывала ход сложного, долгого сна, – и никак, никак невозможно было понять, почему она ничего внятного, чем занималась весь день неодетая, не способна ответить. Он холодел, и снова спрашивал и делал про себя разные предположения, отчаянно размышляя, что это измена, – и веник ему свидетельствовал, что был взят ею впопыхах – сделать вид в оправдание.

Кстати, истории о рассеянности Генриетты носят совершенно фантастический характер. Однажды, года три спустя после отъезда Иосифа, хотя он не дал ей развода, она повторно вышла замуж – за идейного, простоватого и доброго комиссара 11-й Красной армии, лихо вытряхнувшей в Гражданскую мусаватское правительство вместе с англичанами из Азербайджана.

Собираясь ехать вслед за ним, отбывшим по назначенью, в Пермь, она продала за бесценок дом и все ценное, что не возьмешь с собою. Утром в день отъезда в дверь загремел, заорал почтальон: «Телеграмма!»

Генриетта, уже внутренне расставшись с домом, постояла, размышляя, у порога и решила не открывать – все равно не для нее, но для новых хозяев... Почтальон пошел по соседям – сыскать, кому бы оставить. Вырученное от распродажи Генриетта завернула в платок, спрятала на груди, взяла за руку Цилю, обняла тюк с бельем – и, продираясь сквозь уличную неразбериху, как-то все же добралась до вокзала. Ей помогли забраться на крышу битком набитого вагона, и вечером, сидя с ребенком на тюке на перроне станции Баладжары – в ожидании, когда прицепят дополнительные вагоны, неосторожно наклонилась, платочек с деньгами выпал, и погодя увидев какую-то лежащую в пыли тряпицу, окликнула толкавшуюся подле женщину:

– Мадам, не вы ли это обронили?

Та ответила утвердительно и, промямлив благодарности, суетливо удалилась.

В телеграмме, отправленной из Тулы, Кайдалов срочно сообщал, что переезд отменяется: сейчас он уже на пути в Баку.

Отец также вспоминал, что в его детстве, если он приходил к Генриетте вместе с братом, все было в порядке и недоразумений не возникало, – но если они приходили по одному, то у порога она подозрительно спрашивала:

– Стой, ты кто? Первенец или последыш?

Все страхи и бредни, приобретенные и вскормленные ею за свою жизнь, она со временем передала Циле; та же их восприняла накрепко – как проклятие. А страхов этих был целый короб.

Поначалу (и это, мне кажется, на деле послужило подлинной, экзистенциальной причиной его отъезда – меркантильные предпосылки явно вторичны: подумаешь, камень, – что толку в нем, когда вся жизнь кувырком, оттого что любимая насмерть жена легкомысленна, как парасолька, и предпочитает быть увлеченной чем-то для нее самой неосязаемо далеким, и ему тем более недоступным, но не семьей, не домом, – и шор на нее не надеть, и не присмирить никак увлеченность этой бредовой идеей о правде, свободе, равенстве, братстве – и еще черт знает о чем, что нашло такую благодатную почву для произрастания в ее взвинченном романтикой воображении) она страшно, вплоть до отвращения к себе, стыдилась своего мещанского замужества перед т о в а р и щ а м и, в чей круг была затянута подругой и хахалем ейным, художником-маринистом. На восторженных (с гитарой, пивом и стишками) сборищах она выполняла тупейшую секретарскую работу, приходя на них вместе с грудной Цилей – несомой в охапке из одеял и пеленок, из которых головка ее выглядывала, как орешек из венчика. Генриетта оставалась на этих шабашах заполночь, – покормив и пристроив где-нибудь на сундуке в прихожей заснувшую дочь. Вернувшись, молча проходила мимо застывшего у косяка, как темный луч, Иосифа – и укладывалась на веранде вместе с ребенком.

Позже, после их разрыва, стыд этот перерос нервным образом в страх, что откроется ее двоемужество, и как следствие – наличие живого мужа-ренегата: обстоятельство это никак не могло быть правильно воспринято Бакинским ЧК, – куда вскоре после нэпа сметливо подался младший братец Иосифа, взявши себе этот феерический псевдоним – Фонарев.

В 30-х бывший шурин ее дважды являлся к ней по-свойски – толковать о каком-то камне, который якобы увел у него его братец. В результате смутная догадка об угрозе, чья смутность только умножала ее зловещесть, накрепко проросла в сознании Генриетты, и потому имя Иосифа ею произносилось шепотом и украдкой – лишь несколько раз за всю Цилину жизнь.

Вдобавок, страх Генриетты возводился в куб еще и тем, что новый ее муж, комиссар Кайдалов, после гражданской оттрубив лет восемь начальником каменоломни в местечке Гиль-Гиль-Чай, был наконец назначен на какую-то важную должность в наркомате нефтедобычи в Баку: и таким образом дискредитация прошлого его жены стала для него вопросом жизни. (А после расстрела в 29-м его

кореша по иранской компартии – Яши Блюмкина, под водительством которого он комиссарил в Гилянской Сов. Республике, – еще и вопросом смерти.)

В свою очередь и Цилю, лишь смутно догадывающуюся – нет, не о камне, а только о какой-то таинственной разгадке, которой владел когда-то ее отец, – при одной только мысли о Иосифе навылет парализовало страхом. И все же однажды она нашла в себе – разумеется, возникшую не мужеству благодаря, но дикому любопытству – испуганную смелость рассказать об этом своим детям. Однако впоследствии и слышать ничего не хотела, когда отец и дядя пытались что-либо еще из нее выудить.

Наследство. Отец вспоминал, что в начале шестидесятых, очень вскоре после того, как они узнали об этом злосчастном наследстве, вернувшись с занятий, он, во-первых, обнаружил у подворотни две черные «Волги», а во дворе, у лестницы, стайку похожих друг на друга людей, поочередно отвернувших от него одинаково серьезные лица; и, во-вторых, дико мечущуюся по дому Цилю – безуспешно пытавшуюся выставить из дома Фонарева и кого-то еще, мелкого, суетливо-важного и противного, – чей рост был значим только за счет невероятной копны волос, и кто оказался впоследствии Левицким, – делягой их районной нотариальной конторы.

Чуть погодя выяснилось: они подсовывали матери какие-то бумаги из московской «Инюрколлегии», удостоверяющие одновременно смерть Иосифа и наличие Цилиной доли в завещании. Циля, еле успокоившись, вняла их увещеваниям и все-таки решилась, опасливо и не беря в руки, просмотреть бумаги. Далее ей продемонстрировали копию завещания, в котором говорилось, что содержимое ящичка в одном из лос-анджелесских отделений «Well's Fargo Bank» и апельсиновая плантация вместе с усадьбой где-то в Израиле (за сущий бесценок заочно приобретенная Иосифом в начале двадцатых: тогда это было в норме вещей – сионистская политика еврейских общин в Палестине делала все возможное, чтобы хоть как-то увлечь диаспоры идеей возвращения), отныне принадлежат ей, – однако при одном только условии: что ее мать и она сохранили его, Иосифа Розенбаума, фамилию.

«А посему, поскольку сей факт не имеет места быть в реальности, мой клиент, Вениамин Евгеньевич Фонарев, заявляет о своем намерении, в результате иска, оспаривающего данное завещание, вступить во владение означенным имуществом», – подпрыгнул, подмахнув листком, Левицкий.

Циля, как показалось отцу, при этом даже испытала облегчение. Ей тут же подсунули какой-то бланк, подписав который, она отка-

зывалась от дальнейших претензий на наследство. И она уже было собралась это сделать – Левицкий угодливо протягивал ей китайское «вечное перо», – но отец, спохватившись, ловко выбил орудие подлости из адвокатских коготков. Обрызганный чернилами, чумазый Левицкий завизжал что-то насчет хулиганства. Фонарев, потянувшись к невидимой кобуре, стал наступать. Отец обнял за плечи ничего не соображавшую Цилю и увел ее в спальню, где запер. Потом спокойно всю эту делегацию выставил к черту и захлопнул дверь.

Было несколько закрытых заседаний районного суда, на которых каркал и взвывал до хрипоты Левицкий – и сдержанно присутствовал Фонарев. Циля в суд идти наотрез отказалась. Впоследствии, когда возникла в этом необходимость, отец один, как старший сын, отправился в Москву с еле-еле добытой у нее доверенностью – о представлении интересов.

Нравственно отцу очень помог в ту пору малахольный Соломон Гольдберг, тогдашний близкий друг Цили, – добрейший дядька, научивший нас с Глебом играть в шахматы, вымачивать в молоке каспийскую селедку – залом – и есть зеленые яблоки с солью.

В свои пятьдесят зека Гольдберг был старой травленной волчарой. Не то что власть с ее судами-следствиями – сам Комитет ему был по колено.

Будучи в молодости рьяным деятелем польского большевизма, Соломон бежал в сталинское царство от преследования раздраженных его вредоносностью соотечественников. Однако, нелегально перейдя границу, тут же в качестве уловленного шпиона загремел на четвертак на Колыму, где и пробыл от звонка до самого стука сталинских копыт в 53-м.

Освободившись, из любопытства пропилигримил Сибирь и Туркменистан – и приплыл в Баку, думая здесь порядком прогреться на солнышке. Однако семейству троюродной сестрицы удалось от него благополучно отделаться, и ему пришлось, повозившись с получением пенсии, самолично заняться своей реабилитационной программой, – в которую, надо сказать – не совсем счастливым образом, и вошел пунктик попытки жениться на своенравной Цецилии.

Перед судом Соломон Маркович, сидя за разбором очень сомнительного, его собственного изготовления, варианта «силицианской защиты», говорил спокойно отцу, вхолостую попыхивая давно угасшей «беломориной»:

– Ничего не бойся, мы этим сукам еще набьем бока.

Бока гадам набить удалось не очень-то, но все же дело рухнуло не все: спустя два года из Москвы пришло уведомление, что в пользу

Цили была присуждена усадьба и при ней – заглохшая апельсиновая плантация, в 30 километрах к юго-востоку от Яффы. Однако вступить во владение ею она не могла, поскольку никуда уезжать не собиралась. Муниципальные власти по тамошним законам не имели права что-либо предпринимать без соглашения пусть с потенциальными, но еще живыми владельцами – и потому просто заморозили владение, отдав его во власть заброшенности. Прадед за годы своей жизни бывал там редко, приплывая через Италию раз в пять-семь лет на весенние месяцы, чтобы уладить дела с управляющим, ведшим одновременно несколько таких «заочных» хозяйств, принадлежавших богатым американцам. После его смерти усадебная деятельность сама собой свелась на нет, и имущество в конце концов оказалось полностью разворованным. Апельсиновые деревья постепенно одичали, а усадьба стала пригородными развалинами.

В конце 80-х отец почему-то все чаще стал думать об эмиграции, и тем летом (хотя до того в планах его рассматривалась только Америка – и совсем непонятно было, что замечательного мы сможем извлечь из владения полуразрушенным домом, на ремонт которого, естественно, у нас не было ни гроша, и двумя гектарами земли, усаженной низкорослыми деревцами, с мелкими фонариками, сочащимися кислой оскоминой на прикусе) он решил, что необходимо срочно уже сейчас напомнить через «Инюрколлегию» муниципалитету г. <...>, что мы – владельцы и, таким спешным образом, начать оформление своего статуса.

Н о ч ь. На пути в Дербент – керосиновые сумерки над станцией Баладжары. Первый накат маслянистой, как нефть на песчаном срезе, ночи: искристый ломоть паюсной икры.

В ожидании, когда прицепят локомотив, который потянет на Ростов их вагоны, пассажиры, перенеся осаду дневного зноя, стали располагаться на ночь.

Раскладываются тюки, одеяла, подушки, расчищается место для сна от камешков и верблюжьих колючек.

Бабай, бормоча тюркское свое бормотанье лишь с одним знакомым Генриетте словом «ала», разбрасывает вокруг себя клочки овчины – для защиты от фаланг и опасных весной скорпионов. Его заросшая хрипом гортань монотонно и цепко мечет вокруг себя слова – клочки заклинания.

Известное ей «ала» Генриетте слышится сложным, произносимым знаком препинания. Ей не хочется спать, она сидит по-турецки на пледе, держа на коленях спящую Цилю.

Обмакнув взгляд в небо ночи, она проникает в густое и теплое море: вон, та звезда ближе, а эта дальше.

У Генриетты кружится голова от покачивания опрокинутого объема взгляда.

Уже вовсю, как мягкий прибой, разошлись цикады; Юпитер подрагивает, словно маяк, над горизонтом; низкий месяц норовит буйком качнуться на спинку.

Время от времени слышится приближающийся, исчезающий шелест невидимого шара «перекати-поля».

Поезд то ли не вышел еще из Баку, то ли он, вытесненный ожиданием, не существует.

Запах нефти стал пропадать на время, относимый в сторону оживающим ветерком...

В ее огромном сне медленно плыла утлая ночь.

В эту ночь распустился рассветом миндаль. Встало утро. Будущие пассажиры, очнувшись и отзевавшись, стали собираться от сна, паковать тюки овчинами, снедью, вынутыми за время стоянки вещами.

Генриетта, укрыв поплотнее еще спящую Цилю, отправилась за водой к пристанционной будке.

По дороге застыла у деревца миндаля, удивленная цветом возникшего утра.

Неподалеку, на запасных путях, стоял странный вагон, запечатанный пломбами, как елочными игрушками. Еще накануне от него доносились звуки чего-то живого: кто-то хныкал, вздыхал, звенела посуда, слышна была сварливая ругань и смешливая скороговорка девичьей болтовни. Сейчас из этого вагона доносились вопли о помощи и дробный стук.

Сбежался народ, сломали пломбы, взломали замки. Из теплушки высыпали девицы. Ничего не объясняя, с очумелыми плаксивыми личиками разбежались в разные стороны, исчезая за вагонами, насыпью; две, борясь за щеколду, одновременно втиснулись в будку пристанционного нужника. Через некоторое время стали стайками облегченно возвращаться, и тогда выяснилось следующее.

При ретировке некоторые английские офицеры столкнулись с проблемой: походные их любовницы страстно верещали о верности, не менее страстно пугая достаться на поруганье красным. В результате их погрузили в вагон и, поместив его в самый конец состава, по пути отцепили, – чтоб стало кобыле немного легче.

Глава 12

БРАТ

П о м е щ е н и е. Спустя рождение свое, со счастливым любопытством барахтаясь каждое утро в волнах радости, на огромных солнечных колесах катящей навстречу новому дню, я скоро и незаметно добрался до того лета, к которому и относится начало моего рассказа. Добрался, как выяснилось, не столько продолжения ради, но для того только, чтобы вскоре открыть два закона, согласно которым, в результате частично уже разоблаченных в этих записках событиях, теперь полностью определяется мое существование: закона несчастной любви моей к брату – и закона сохранения страха.

Что касается первого, мне не избежать биографических пояснений. Ими вкратце я и займусь теперь; а что до второго, то закон этот имеет прямое отношение к первому моему наблюдению – и по мере продвижения объяснится сам по себе: естественно и непреложно.

На деле, несмотря на вполне невинную формулировку, все это оказалось достаточно мерзко, чтобы в результате насмерть подмять меня под обстоятельства безысхода.

Жестко говоря, вывернуть наизнанку, засунуть в рукав собственной шкуры как шапку, как скальп.

Поразить тугой неподвижностью, в которой ни звука, ни мысли счастливой издать невозможно: всего только два десятка кубометров спертого воздуха, который уже раскален до температуры моей крови, мозга.

Конура, в которой нынче я помещаюсь, стала продолжением, наростом размытого неподвижностью тела, – и границы-стенки ее при каждой мой потуге скрипят, как раковина – от поползновений моллюска.

Единственное окошко – узкое, как прищур, – мой циклопический зрак, фонарь.

Но и то – отдушина зрению: чьи-то чулочные щиколотки, туфли, которые теперь день за днем подрастают бортами в ботики, сапожки, ботинки – лето кончилось, скоро слякоть.

Стекло в глухой фрамуге – бронированное: в первую неделю я сорвал глотку, разбил два стула.

И кажется мне, что в связи с полуподвальным, как бы кентаврическим моим существованием – небо за это время стало ниже, спустившись вслед за помещением моей н е п о д в и ж н о с т и: теперь седьмые небеса начинаются сразу чуть повыше затылка, – а те, кто снуют по ним мимо, суть ангелы, и обувь их – их воздушные лодки.

В последнее время все чаще стали появляться на куске моего асфальта лужи; иногда, выбивая брызги, в них ступают прохожие, – и я радостно догадываюсь: осень.

Недавно под мою амбразуру залетел футбольный мяч: что я испытал при этом, должно было быть когда-то моим восторгом – чувства мои обтесались острым страхом, разъелись его кислотой, в сам страх превратившись, и органы их стали органами страха – его воспринимающими, его источающими.

Слух мой теперь – звук моего страха.

Зрение мое в темноте – цвет моего страха.

Когда я касаюсь в потемках ощупи предметов, я касаюсь кожи моего испуга.

Все эмоции мои, включая случайную радость от воспоминания, – суть медленные волны на зыбкой, как костный казеин, стылой поверхности ужаса: тело мое – размозженная, разжеванная мякоть этого косного заливного.

Я вряд ли способен на плач. И вряд ли смогу когда-нибудь почувствовать голод. Узкая, в пятнадцать сантиметров, щель вот уже семь месяцев моя единственная, дозируемая как невозможные, сухие слезы, порция света.

В моем закутке нет лампы, и с наступлением темноты я чувствую, как тугой влажный слизняк наползает на сетчатку.

Сначала он полупрозрачный, с синеватыми прожилками – они струятся в зыбкой мякоти; затем слизняк, скользя, утолщается, его линза становится плотнее и глуше, прожилки обесцвечиваются, исчезают, густые сумерки выпадают, как стена черного снегопада, – и кажется, что единственное, что я вижу, – это его голое, мерзкое прикосновение, скольжение: так зрение мое превращается в осязанье.

И тогда я вижу перед собою Петю.

Я не заметил, как открылась, шаркнув замком, дверь, как он вошел, на меня не глядя.

Теперь он сердито смотрит в меня.

Сосредоточенное недовольство – его вечная гримаса.

Он приходит ко мне еженощно.

Хотя он давно уже ничего не спрашивает – я знаю: это похлеще допроса.

Поначалу, измученный его явлениями, я начинал вертеть хвостом – выдумывал ответы на непроизнесенные вопросы о камне, нервничал, старался что-то нафантазировать – без толку, никакой реакции. Тогда я опускался до униженья – вспоминал наше детство, совместные забавы, пытался его развлечь, чтобы хоть чуточку смягчить, добыть из него хоть какой-нибудь сентимент – но тщетно.

Время от времени он только хмуро покачивал головой.

Это не то, что ему нужно. Это не то, что он мог бы съесть.

С некоторых пор я просто молчу, но не замечать его – свыше моих сил. Он сидит передо мной, как в зеркале, и старается т а м что-то разглядеть.

Разглядеть то, что я знаю о камне.

Мне не приходит в голову отмахнуться, плюнуть, лечь, заснуть.

Это странно, потому что у всего есть предел, в том числе и у страха. Ведь даже смертники поздно или рано оделяются безразличием – основой их ложного мужества.

Но в моем случае этого не происходит. У меня с весны не ослабевает острый, высасывающий страх перед его присутствием. Страх досуха сосет источник меня самого где-то у солнечного сплетения.

Страх этот – моя вина.

Вина моя в том, что я не знаю, где камень.

Я выучил наизусть его гримасу, все ее черточки: мне известен каждый бугорок лицевых мускулов.

Мне даже кажется, что я узнаю ее на ощупь.

Я знаю, сколько ресниц, сколько желаний он растерял сегодня.

С точностью до последней крапинки я знаю узор его зрачков, мне известно, что он недавно ел, и чистил ли после зубы: нюх мой обострен, как у зверя, – я улавливаю оттенки его дыхания.

Слыша запах той, с кем он был сегодня, я мог бы вылепить из своего воображения ее тело. Ее повадки. Ее масть.

Время от времени мне кажется, нужно пересилить себя, подойти к нему – обнять, открыться, что я его люблю, что суть моего страха – как раз в нежелании себе в этом признаться.

Но иногда мне чудится, что страх этот – внешний, не имеющий внутренней причины: страх, который, как могильный морок, привалил меня, обездвижив тело, мысли.

Безусловно, у Пети есть сообщники, и я готов биться о заклад, что знаю – кто.

Сволочи эти Фонаревыми зовутся.

Что они сделали со мною – весною ранней (я и вдохнуть-то март не успел толком) насильно заперли – заманив, накачав какой-то гадостью желудок, мозг, сознание, – как пьяного под руки спустили лестницей в эту подвальную конуру, в бывшую дворницкую на Покровке, – и кормят здесь макаронами с сыром, которыми давлюсь я, только чтоб не обмереть с голодухи – раз в три дня, – чистой воды уголовщина: но им плевать.

Их уверенная наглость довольно подозрительна: либо они сошли скопом с ума и превратились в конченых психопатов, либо они действуют под чьим-то очень серьезным прикрытием.

Вениамин (после перевода Оленьки в столичный универ и после

событий 89–90 гг.) понял, что ловить ему в Баку больше нечего и что надо сваливать, но вместо того, чтобы как все приличные люди отправиться в Израиль, или в Америку (что и сделали наши родители и почти все родственники; мы же с Петей остались, дабы он успел закончить аспирантуру, а я – покончить с дипломом, – для этого мне нужно было отправиться на военные сборы, которые, кстати, я из-за всей этой заварухи пропустил), – ловко, как эквилибрист, цепляясь за ниточки связей, тянущиеся с пальцев великого марионетчика Али-хана, перевелся по службе в Москву, получил квартиру и вполне освоился в своей непыльной деятельности сотрудника федеральной контрразведки. Тем более что контрразведывать об ту пору в стране было нечего. По совместительству устроился начальником отдела безопасности в каком-то банке и, получая дармовой паек в виде зарплаты, стал вновь исполнен чувства солидности и благополучья. Видимо, тогда-то он и решил, что теперь может спокойно заняться камнем.

Брат. Вообще, я чувствую, мне не избежать дополнительных разъяснений. К счастью, все обстоит более или менее просто и распространяться на этот счет не придется.

Брат мой, Петр, старше меня на год. Мы довольно похожи, почти двойняшки, но если наблюдать нас вместе хотя бы минуту – вопрос о родстве отпадает намертво. Главный различающий нас признак очень простой – в нем я виноват: у меня выражение лица всегда будто я не здесь или только что откуда-то.

Возможно даже, оно выглядит из-за этого несколько глуповато.

Возможно также, что это, часто во мне случающееся состояние отразилось в конце концов и на фенотипе.

Постоянно напряженные мышцы скальпа стали косными и отверделыми, и их немного перекосило (как это бывает при сколиозе с мышцами спины, когда искривление позвоночника необратимо влечет перераспределение статической нагрузки и, следовательно, в конце концов мышечной массы), так что выражение лица моего совершенно перестало адекватно передавать внутреннее состояние.

Иногда это доходит до конфуза, когда я, чтобы принять соответствующий ситуации вид, начинаю нервно, как бы настраиваясь на нужный лад, гримасничать и непроизвольно вращать головой – в поисках любой отражающей поверхности – и вдруг замечаю, что остальные начинают смотреть на меня, как на сумасшедшего. По-видимому, именно по этой причине у меня развился своего рода тик: время от времени я начинаю двигать ушами – сразу двумя, или попеременно. Конечно, это не так заметно как глазной, но все-таки наблюдаемо.

Но это еще не все и не главное. Петя существенно стройней меня – оттого, наверно, что первые шесть школьных лет он занимался боксом: плечи его расправились, и грудь покатилась. Он выше меня и носит рубашки на размер больше. С моей же осанкой дело обстоит неважно, – при ходьбе я движусь как бы всегда «против ветра».

А вот голоса у нас, правда, очень похожи, не прислушиваясь к манере речи – не отличить. Но это не удивительно – голос отца нашего по телефону звучит совершенно так же. По этой причине, кстати, у нас была вечная путаница дома с телефонными звонками: когда тот, кто звонит, свято веря, что говорит именно с кем ему надо, начинает с места в карьер излагать не предназначенные для посторонних вещи. Петя в таких случаях, если мне звонила девушка, без зазрения совести начинал валять дурака, притворяясь. Однажды дело натурально дошло до мордобоя.

Что касается интеллектуального развития, то здесь все более или менее спорно. Лидерство Пети скорее формально: из-за его удачливости и определенно меркантильного подхода он более успешен в институте. Ловчее в учебе: обходителен с преподавателями и – поскольку отвечает с ходу, с каким-то залихватским пренебрежением к вопросу – умеет произвести впечатление, что знания его обширней, чем есть на самом деле. Он явный любимчик своего научного руководителя, к которому виртуозно подлаживается.

К тому же в юношеском возрасте год разницы считается за три, и он по отношению ко мне – старшекурсник: у преподавателей я всегда был на сниженном счету – как младший брат такого-то, очень толкового и очень похожего. (Только я один знаю: его толковость – наполовину моя.)

Со временем жизнь моя незаметно обернулась не то чтоб адом, но ужасно напряженной, как затянувшаяся паника, гонкой с преследованием. Почин был положен, еще когда Пете пришло время идти в первый класс. В то лето родители купили два одинаковых комплекта школьной формы и разные ранцы со всеми принадлежностями и букварями. Задумав не обременять себя, они хотели отправить меня на год раньше в школу. Я страшно горел этой идеей – мне было страшно, что я отстану от Петьки. Однако выяснилось, что в матшколе вакансий нет – классы и так набиты по 30 человек. Отец ходатайствовал через приятелей в районо, но сказали, что взять не могут и точка. Так я еще на целый год загремел в подготовительную группу нашего детсада.

Мой провал обернулся сложной катастрофой. Мне было одновременно обидно и радостно за Петю, и уже тогда жизнь моя стала всерьез омрачаться надвигающейся завистью. Вначале исподволь и

совсем не так остро и ясно, как ныне, но все же иногда мне что-то такое подступало к горлу, когда, например, совсем изведясь от тайного восхищения, я доставал свой пылившийся в стенном шкафу ранец, надевал его перед зеркалом и передразнивал Петю, бодро идущего в школу: вот он приходит в класс, снимает ранец, деловито раскладывает на парте хрестоматию, тетрадку и пенал, хвастает ножичком соседу, – и вдруг горло начинало першить и хотелось кашлять, и кашель этот наконец вырывался каким-то неисчерпаемым, душераздирающим приступом, вплоть до истерики и рвоты, когда уже вроде бы прокашлялся, но не в силах остановиться, теперь наблюдаешь себя в зеркале со стороны, где только что паясничал и красовался твой брат, а теперь – исступленно бухикающий, присев от бессилья на корточки, пунцовый от стыда и кашля, – и ранец уже беспредметно валяется на полу, и разбросаны вынутые для форса – счеты, азбука, карандаши, и в зеркале теперь – не сияющий от фортуны Петя, но самый несчастный и настоящий я.

Вообще, надо сказать, я всегда отличался ненормально взвинченной психосоматической реакцией. Случается, произвольное, более или менее острое переживание у меня сопровождается какой-то истерической взбудораженностью – рвотой, неудержимым, как лавина, кашлем, или черт еще знает чем, что протекает внутри и внешне вроде бы незаметно, но тем не менее имеет невыносимый по интенсивности характер.

Ничего похожего нельзя сказать о Пете.

Никаких особенных неврастенических наклонностей у него не наблюдается.

Рефлексия у него вообще ниже среднего уровня, даже для его типа личностей. В школе мой брат всегда первым откликался на требование ситуации начала решительных действий: например, не задумываясь дольше, чем на не ощущаемое извне мгновение, после краткого оценивающего переглядывания в вагоне метро, он подходил к своей будущей знакомой с какой-нибудь сомнительной по учтивости фразой, и та с необходимостью таяла и расцветала. (Я же часто в таких случаях, ужасно туго размышляя и колеблясь, либо просто упускал ее в толпе из виду, либо она наконец выходила с сердитым выражением досады на личике, а я, обмерев, но спохватившись, выскакивал на следующей остановке, чтобы на идущем в обратную сторону поезде метнуться вспять и... застать оставленную ею по себе пустоту, которая еще некоторое время теплилась, наполненная постепенно остывающей частью моего возбуждения.)

В походах Петя всегда первым ступал на подвесные мосты, либо отправлялся искать брод в подозрительном ручье или крымском ущелье, где дальнейший спуск при начальном рассмотрении при-

равнивался к паденью; он всегда первым из сотоварищей откликался на брошенный вызов к драке, даже когда нерешительность могла быть принята противником за пренебрежение, вызванное уверенностью в превосходстве, и косвенно послужить причиной мирного исхода. Впрочем, последнее можно грубо объяснить тем, что он просто лучше других знал, как следует бить морду, а не его благородным бесстрашием.

В общем, сказать о Пете, что он – другой – бесконечномалое настоящего смысла – он мой труп.

А я – его.

О д н а ж д ы. Однажды я не выдержал и спросил Петю о Фонареве. Он поморщился и не ответил. Я повторил свой вопрос. Петя отвернулся и как-то двинул кистью, пренебрегая.

И тогда я взорвался.

Так от плевка взрывается перегретая жидкость.

Схватил его за плечи и тряханул. Я выкрикнул:

– Скотина, что общего у тебя с Фонаревым!

Петя, высвобождаясь, двинул меня в грудь плечом: отлетев, я осел на кровать.

Не унявшись, взвинченным голосом, едва удерживаясь в размеренности, я стал формулировать предположения и догадки относительно мотивов, которые заставили Фонарева со мною так поступить, строил свои безумные версии, зачем понадобился им камень и почему он, мой брат, пошел на поводу у этой скотины и стал перебежчиком, его подручным...

Разве не знал он, что Фонарев в 67-м состряпал на отца дело – и шил его крепко и наглухо, так что отец тогда едва выпутался, – и если бы не заступничество Цилиного отчима – старого большевика Кайдалова, мы бы с ним вряд ли появились на свет!

И тут я не выдержал – о, как я, верно, был жалок! – я сорвался с этой взвинченной иноходи, стал орать во весь опор, подыхая от негодования, что Фонарев гад, что благодаря ему мы теперь не братья, а черт знает что такое, и пусть он передаст ему все это, пусть он скажет ему, что я его раскусил – я ненавижу его, вместе с его силой и вездесущестью, и что мне страшно и тягостно, и я не понимаю, почему они меня здесь держат, ведь мне же ничего неизвестно, и даже если б я что-то знал, я бы скорее умер, чем молвил толику...

Впрочем, я уже мертв, вы слышите, сволочи, мне нынче все равно и безразлично, мне так потому, что вы отняли у меня все, вы слышите, все! У меня не так много и было этого всего, но вы его, крохоборы, все равно выцепили, увели, стибрили, обули, – Фонарев скрутил, наделив страхом и ненавистью, и тем скрал у меня

подвижность, а ты, Петя, ты увел у меня е е и превратил в свою соучастницу, но не это главное – ты украл у меня мое в п е ч а т л е н и е, ты развенчал его, надсмеялся, превратил в утрату, и хотя я сам виноват, зачем мне было тебя с ней знакомить, но ты, ты же мог – мог удержаться, ну что тебе стоило, чего ради взбрело притворяться, что я это ты, когда встретил ее после лекции во втором гуманитарном, на «сачке», и – будто бы я – я улыбнулся ей и подошел, и с ходу, опешившую от уловимой выгодной разницы – вальяжно чмокнул в щеку, и дальше стоял застенчивым якобы молчуном, продолжая свою глупую шутку, но как ты посмел, гад, ведь я до того и не притрагивался к ней, смотрел не дыша и замирая, не мысля о прикосновении и краешком предположения, и даже когда мы оставались наедине, и мы рушились оба, и она не могла сдержаться, и трепетно проистекала, разворачиваясь в восхитительной близости, я не выдерживал, и свет выходил из-под ног, – в эти невыносимо проживаемые, как упаданье, мгновения ради спасения я старался не быть собой и превращался, внутренне отпрянув, в постороннего, в нечто внешнее, в некое растворенное, рассеянное во внутреннем свете зрение, которое, нет, не касалось, не трогало, но теплым малиновым облаком, медленно опускающимся с купола простынь, отражалось в наших телах, обволакивало их, возвращаясь, – и мы плавали в нем, отраженные, – но меня там не было, я был только зрящим облаком и зрением, и я не мог быть, не мог быть и м, прикасающимся, я скорей предпочел бы стать ею, но не тем, к т о б ы л с н е ю: я бежал прикосновения, как смерти, – следуя своему табу, нарушить которое значило погибнуть; да, я слабак, все забитые мертвецы – слабаки, мне не удалось удержать свое в п е ч а т л е н и е и, следовательно – себя: ты же обрушил меня и ее – доблесть моей души, ты пренебрег нами шутя, и тем самым меня исчерпал, обокрал, извел, уничтожил, и теперь я – не я – и больше никогда, никогда не смогу вернуться, чтобы видеть как раньше – и отразиться: все это необратимо, и оттого пребольно, – и прости меня, прости, я больше не способен сказать как прежде: прости, я не дам тебе сейчас ни соленых орешков, ни тряпичного клоуна, ни даже живого тигра, но когда я вернусь (а я непременно вернусь), обещаю попытаться спросить тебя, насколько ласковым был мой двойник, и красиво ли вились гирлянды из наших с тобою пенных утех, покуда я отбывал свое наказание.

С т о г. И вдруг я подумал: ну и что? Чего я, собственно, боюсь? Страха может быть сколько угодно, вон, его здесь и так целый стог – составленный из скирд каждодневных, сжатых мною – я трудяга полей страха, страхороб, а толку все равно чуть: поскольку

я жив. Охапки эти набиты под самый потолок, под самую завязку – набиты в ноль, заподлицо в подкорку – так туго, что не вздохнуть и не помыслить свободно.

Но уже чувствуется его насыщение, чувствуется, что эта переогромленность жути, которая суть проявление, казалось сначала какой-то и теперь – ясно застывшей божественной низости – грязной и зловонной, – она, вместе со своими особенными обитателями, среди которых я почему-то, хотя на то у меня нет никаких оснований, выделяю Петю, – среда эта постепенно начинает проявлять свой ничтожный, пустотный характер безобидных декораций: чья бутафорная природа сразу перестает источать вонь катастрофы, стоит только к ним подступить, дотронуться – и опрокинуть.

Действительно, чего я боюсь? Мне пока ничего конкретно не угрожает. Я могу спать, есть, пройти от двери к окну пять шагов и еще полшага, могу посмотреть на потолок, – ну и что, что мне кажется при этом, будто глаз закатывается под него, как под веко, и зрение темнеет, – это ничего, можно ведь зажмуриться – и не видеть...

К тому же здесь у меня вполне есть чем заняться. Например, я могу разглядывать обои и разбирать их гербарий. Могу описывать рельеф вздутий и воображать под ними миры, в которых есть свой горизонт и свое солнце, и они прекрасны и пустынны...

Последнее мне особенно приятно представлять: наверное, потому, что спокойная пустота этих миров распространяется и на меня.

В самом деле, мое положение здесь не так уж и ничтожно.

Я могу смотреть в свою амбразуру и наблюдать кусок асфальта, его поверхность, испещренную трещинами, выбоинами, кавернами от капели, струек после, во время дождя – и, например, думать о том, что при его изготовлении использовалась нефть...

Могу вспоминать, как ее капельки, словно сырные слезы, проступали в следе от подошвы сандалий на тротуаре, раскаленном тяжелым зноем до ощущаемой стопой мягкости – и тревожно чуять, как марево над городом тягуче пахнет нефтяной испариной.

Каждый день наблюдения участок двора под моей щелью откладывается, отпечатывается в снимок медленной съемки. Если прокрутить их все сразу, то крупнозернистый рельеф оживет, зашевелится: быстрым бегом затопочут чьи-то ноги, под ними трещины разбегутся дальше и шире, каверны станут глубже, и камешки разлетятся и слетятся, и разлетятся во все стороны, и замелькают пятна от луж, высыхая и вновь стремительно наполняясь влагой; появятся и исчезнут под невидимой метлой бутылочные осколки.

В сущности, моя жизнь теперь мало чем отличается от жизни статуи в нише какого-нибудь фронтона. Но с некоторых пор мне стало казаться, что у нее, статуи, больше шансов сделать шаг, чем у меня.

Однако, в самом деле, чего мне бояться?!

Мой страх не имеет ничего общего со страхом ожидания, предвкушающего нечто, поскольку, если что-нибудь и должно было бы произойти, то оно у ж е давно бы случилось, – ни тем более со страхом пустоты, поскольку она у ж е наступила.

Я ничего не жду, я уперт в свою неподвижность, я слился с ней и совершенно теперь не способен создать хоть какую-нибудь длящуюся последовательность.

Впрочем, это не совсем так. Хоть какую-нибудь последовательность я могу организовать – но вот в чем дело: она никак не может стать последовательностью моего побега. Да, все ж таки я способен хоть как-то, запуская цепочки бессмысленных действий, прибегнуть к движению: например, могу взять тумбочку (1) и расколошматить ее о пол (2), могу сдернуть с кровати матрас (3), залезть верхом (4) и прыгать, как на батуте (5), и кричать (6), и могу запрыгнуть и спрыгнуть с кровати (7), рискуя удариться о потолок, и, лежа теперь на полу, истошно вопить, чтоб меня выпустили (8), отбивая кулаки о линолеум (9). Но это все равно окажется бесполезным, поскольку вскоре на шум откроется дверь и войдет Петя: и, сгорая от стыда, я мгновенно замолкну.

И это все, финита. Я ни на что не способен далее, ни тем более – более.

Я только буду мучительно пытаться избежать его взгляда и все-таки, увязая в страхе, заворожено всматриваться в него, чуя, как столбик ужаса ползет вверх и упирается в скорлупу черепа, бесконечно давя изнутри, и волосы мои зашевелятся, и я схвачу голову руками, боясь, что ее разнесет: скорчась от напряжения, я сорву ее с плеч, как в бешеной панической боли себе выбивают об что попало под руку зуб, – и мне станет легче.

И я поднесу ее к лицу, чтобы всмотреться – за что?!

– И тогда Петя вырвется, сбросит свои руки и ударит меня в солнечное сплетение, и я осяду.

Скоро, оправившись, он выйдет, не проронив ни слова, а я, задохнувшись болью и ненавистью, буду смотреть бесконечно вслед – не оглянется.

Но это ничего, это можно вынести, нужно только быть внимательным и стараться ни на минуту не выпускать себя из наблюдения.

Действительно, все это только на первый взгляд опасно. На самом деле у страха моего нет предиката, его функция не прикладная – и значит, мне ничто не может повредить.

Мне от него только темно и душно: обретшая мнимую телесность темнота, ставшая на ощупь ватной, завалила меня с головой. Опасна она не более, чем тополиный густой пух, который, дразня

чихом, лезет в глаза и горло, и смех мой от ужаса – результат его щекочущего прикосновения.

В самом деле, ну какой исход может быть у детского страха, когда в темноте беспричинно вырастает вопль «Мама!» – и сгустки сумерек раскачиваются, надвигаются, выплескивая в полнеба облачные глаза, сочащиеся сомненьем...

Страх этот, конечно, невыносим и глубок, как память о перерождении, и остр, как ожог, причиняемый рождением. Но он безвреден, так как снимается материнской рукой. Однако, в действительности исчезновение страха – ложно. Свет и рука мамы только отслаивают его, не уничтожая: страх всегда остается на мази, – и вот теперь он во мне прорвался, сохранившись.

И никакая химия здесь ни при чем. И что тебе до того, что какой-то там баланс реактивный в подкорке нарушился? Все в точности осталось тем же, что ты однажды наблюдал во внутренностях живого жаркого, до смерти щекочущего мрака, когда, играя с пацанами в «царь-гору» на громадном, издали похожем на золотоверхий город, стоге сена, внезапно оступившись, провалился в какую-то полость, и она ухнула тобой, тебя проглотив, – и, приземлившись во мгновенной, как пронзительный сон, непроницаемой, набитой удушьем темени, внимая ребрами наваливающийся, тектонически тяжелый, как вся жатва мира, сенный ужас, – ты не можешь ни кричать, ни дышать, ты завален, и тебя нет, и нет ничего, и не было, и не будет.

В самом деле, какая причина бояться была у Хомы Брута? Летающие и ползающие вокруг декорации здесь ни при чем. И панночка в натуре устроила все это из мстительной своей любви, а не забавы ради. Так что, выдержи он, удержись от встречного взгляда – остался бы цел. Ведь страх Хому погубил потому, что Вий на него воззрился, а он поддался – и в ответ глянул. Глаз Вия присвоил, вобрал Хому и затмил его взгляд своим: сделав обитателем своего зрения...

Вот так и Петя присваивает меня, высасывает, как яйцо, как глаз, по ночам наблюдая.

Глава 13

ПОБЕГ И ОДНАЖДЫ

П о б е г . А ведь некогда я был летуч и легко способен к побегу, был невесом и неуязвим, всякий раз, за целую ли чуя опасность проникновения, предвосхищая каждое ее шевеленье.

Я всегда был настороже и, вовремя извернувшись, ловко перех-

ватывал взгляд, – и опасность, прянув, проникшись уважением к моей виртуозности, учитывала, чтя, во мне достойного противника и была готова сначала выслушать и, внимая, вскоре оказывалась заворожена: обезоруживание происходило без замешательства – и даже чудесно оборачивалось моим приобретением...

И я был бесстрашен, находясь где пожелаю – невидимкой и посторонним, – и ты была в безопасности – и рядом, всегда рядом, так что я мог – как свое – слышать твое дыханье – зная, что моя близость тебе не может навредить.

Я был косточкой бело-синего сна, гладкой, твердой, с непроницаемой сутью косточкой, которую всегда так приятно было нащупать языком и слегка протолкнуть к губе, чтоб вынуть и убедиться – да, это я – и ты – другой створкой скорлупки – рядом.

Теперь же моя суть – рыхлая мякоть тугого, безвкусного и непосильно затянувшегося сна, в котором нет ничего, кроме меня, меня одного.

Да, теперь я, пожалуй, скис.

И сейчас я не вижу переплет окна, ветки тополя, фонарь: та часть зрения, что была, – поослабла вчера и теперь сплыла.

Ночь течет из орбит, а в глазницах по колышку.

В головах из окна – выход в свободную ночь. Но не достать – направление вверх опрокинулось к полу, оттого-то и полночь слилась с половиной немого шестого – не пропетого кочетом утра.

Но внезапно, как дар, припомнив, как это раньше происходило со мной, когда я легко мог достичь состоянье побега, себя отыскав и направив, ориентируясь по эху собственной мысли, я выдумываю способ – и это мой трюк: пусть он не избавленье, но только краткое – на время произнесения – отдохновенье, но я упиваюсь своей догадкой и немедленно приступаю к его исполнению...

– Пробравшись на ощупь в ванную, я сбиваю все краны, чтобы вспухшей водой затопить потемки, вытеснить их.

Спустя время слышен далекий рокот: воды внешние отозвались – так волки собираются мелким зовом, писком щенка от дворовой суки, – и вдруг осознав, что они обманулись, медлят мгновенье, но все же начинают свою яростную защиту...

И вот, завертело, бросило, подобрало, занесло, всплюнуло, протянуло... И от счастья задохшись крепчайшей пеной, пряди водорослей посдернув, медленным брассом, фырча и роя, я выбираюсь на мелководье, вижу дно и танкетку краба, ковыляющего наискосок в направлении к камням, по мини-дюнам, – я вижу, поднырнув над стайкою бликов, как солнце погружается в воду, пуская свой луч-острогу и тонкой струей проливаясь, себя на него надевает: и морским ежом, шурша, зарывается в воздух.

К а м е ш е к. Сегодня ночью мне удалось распознать камень. Тривиально! Сначала, как обычно, что-то бесформенное, переливаясь – утолщаясь и истончаясь, – медленно колыхалось вокруг: движения его массы повторяли мои; страх зашкаливал от его приближения – и я цепенел при попытке всмотреться: чтобы хоть как-то быть дальше, нужно было отпрянуть, выскользнуть из-под неуемного взгляда.

Сделать это невероятно трудно, потому что, даже зажмурившись, не удается укрыться от высасывающего мановения. Но в тот раз это что-то внезапно сгустилось – и возникло нечто, что можно было бы описать, как глаз темноты, как воронку, производящую не-зрение. Мне даже показалось – совершенно непостижимым образом, так как наблюдаемое было квинтэссенцией мрака, – что я вижу его радужную оболочку, которая, колышась, создавала иллюзию рельефа, причудливо располагая на своей поверхности вздутости и окраску, и постепенно – о ужас! – принимала форму чьей-то памяти, которая неудержимо выливалась из моего пристального взгляда, проецируясь, как на экран.

И то, что я увидел, потрясло меня, – хотя чувства мои уже давно затупились и ничего, кроме животного страха, ставшего привычным, как невыносимая, но неизбывная зубная боль, – я теперь не способен испытывать. А произошло вот что.

По мере наблюдения страх мой почему-то исчез, и на его огромном месте чудесным образом возникло любопытство.

Я увидел море в солнечную, но ветреную погоду – и баркас с людьми на палубе. Море сильно волновалось, баркасу никак не удавалось пристать к буровой платформе. Наконец человек на причале поймал концы и стал углом, как упрямицу-корову, подтягивать судно к дебаркадеру.

Солнце, брызги, ветер.

Затемнение.

С трудом вскарабкавшись по зыбкому трапу, все вышли на площадку. Столпились плотным вниманием к одному из них. Тот достал из внутреннего кармана пиджака коробочку и, выколупнув камень, посмотрел сквозь него на солнце. Остальные застыли, обмерев.

Это был довольно крупный, неограненный алмаз с желтоватым оттенком, который прохладно помещался между кончиков моих пальцев. Микродефекты, обильно испещрившие внутри светоносное тело – янтарные прожилки, пронизывавшие плотную среду эфира, – делали его совершенно непригодным для обработки, и следовательно, никакой особенной ценностью он обладать не мог. Стоило резцу дотронуться до камня, как он бы тут же раскрошился. В чем его тайна – все еще не было ясно.

Но взгляд мой, проникнув далее, стал, постепенно утяжеляясь, как пыльцу, набирать медленное пониманье.

В конце концов, миновав спотыкающуюся череду картин исторических событий, которые мелькали, проплывали, скакали и повторялись, искаженные брызжущим жидким пламенем и какими-то грязными, как на старой кинопленке – потеками, царапинками, папиллярными отпечатками, – все дело оказалось в том, что структура дефектов этого камня суть карта нефтяных пластов, которые, залегая на страшной глубине, совершенно не поддаются зондированию. И оказалось также, что в погоне за планом советские добытчики совершенно не заботились, чтобы изолировать друг от друга сообщающиеся подземные нефтяные бассейны, не учитывали, растратчики, взаимное расположение пластов, – и при таком головотяпстве тяжелая нефть уходила все глубже и глубже. В результате была выкачана лишь пятая часть локуса. Отсюда прямиком следовало, что владеющий этим камнем, по сути, обладал уникальнейшей трехмерной картой месторождения, которая позволила бы многократно увеличить добычу...

Впервые за все это время я спокойно заснул.

Утром, однако, виденное ночью мне показалось дичью, и я решил, что это – галлюцинация.

Записывать я, разумеется, не стал – не дезинформации ради, а просто потому, что все это, ну честное слово, бред и чушь.

О д н а ж д ы. Однажды мне пришло в голову засмеяться.

Это не составило труда сделать.

Стоило только подумать, и я выпустил свой смех с легкостью, как выдох.

Сначала я смеялся вычурно, как сумасшедший, и даже испугался, а не сошел ли я с ума на самом деле, но потом почувствовал облегчение, стало как-то безразлично и наплевать, и меня от души разобрало так, что я долго не мог остановиться.

Я неугомонно катался по кровати, держась за живот.

Иногда я видел себя со стороны, и это еще больше раззадоривало, заражало смехом.

Я стонал и смеялся, и уже больше не мог, из меня клекотом рвались содрогания, я корчился и изгалялся – и, чтобы не сводило мышцы пресса, колотил кулаками в живот.

Наконец, потекли слезы из глаз, и я, то всхлипывая, то глухо посмеиваясь, постепенно остановился.

Мне стало легче; теперь я просто сидел на кровати и тихо ревел, радуясь своему облегчению.

Вдруг открылась дверь, и мне стало стыдно.

С о о б щ н и ц а. Теперь, когда я не чувствую, что ты говоришь, улыбаешься, глумишься, берешь ложечкой варенье, отпиваешь, проводишь рукой по моим волосам, спрашиваешь, возражаешь, подчиняешься – и принимаешь, как дар, ту себя – творец которой мой взгляд, – тогда уход твой становится возможным: поскольку я медленно отодвигаю штору и, напустив июльских сумерек в кухню, близоруко задыхаюсь ими, высматривая тебя, пересекающую двор по направлению к метро. Я прикуриваю новую от окурка, присаживаюсь на подоконник. И вдруг понимаю: душа моя (простая мысль, но, ставши очевидной, из посторонних выделившись сразу, представилась мне главною она), что она существует и мне на самом деле не принадлежит: иначе бы моя душа не исчезла сейчас из виду, у углового подъезда войдя в подворотню.

А также, что нечестно считать, что она мертва. Что было бы вернее... Я цепко хватаюсь за штору: та не выдерживает, ползет, обрывая петельки, я ослепительно бьюсь затылком о батарею и падаю юлою на пол, но все же успеваю как-то удержаться на паркетном льду... Как будто в затяжном прыжке, паря на серфинге воздушном, проваливаюсь – куда, куда?!.. Но, видимо, я остаюсь и постепенно, скользя с открытыми глазами в темень, я различаю пустотой разбитый, хриплый голос, как будто бы читающий за кадром (естественно, что на неизвестном языке, на коем невозможны плач, прощанье) субтитр, появившийся в финале: «Где бы ты ни был сейчас, существует земля – там внизу, под тобою, – терпеливо ожидающая, чтобы принять то немногое, что ты покидаешь».

И только он замолк, смутилось зренье, в слух прорвавшись оглушительным прибоем, смешалось с небом, пролитым в сознанье, – последствия удара: молоко туманностей, осеменивших место, где в ворохе из пены кружев, ласок – всего лишь час назад моя душа рождалась. Нынче ж – пустота, она любовницей моею приключилась...

А тогда произошло на деле вот что: сердце, запаниковав, вдруг бросилось наружу, путем кратчайшим через горло – в хрипы (сердечный обморок?), и это вот паденье, галлюцинации – немые, слуховые, все сразу наложилось, – так что мне невольно нолик увлажнить случилось... (Тут физику полезно вспомнить казни.) Да, случай этот, собственно, «кино»: исход любимой – ей на счастье, немного лирики в июльский вечер, лежанье в обмороке в теченье ночи – и твой звонок, с которым я очнулся.

Ты говорила скоро, что ты «жить не можешь без меня» и проч., что я приехать должен непременно. То было невозможным бредом... И я вдруг понял, трубку положив поспешней, чем то надо было, что как раз меня там и добьют сегодня.

Отмокнув вкратце в ванне и помедитировав над чашкой кофеина, я выскочил из дому на бульвар, но перед зданьем ТАССа шаг замедлил...

– Мне надо срочно перепрятать Шаха! – То был зов интуиции – не мысли.

В р е з у л ь т а т е. В результате она скоропостижно приближается... Растительные сети мокрых, пахнущих не то тиной желания, не то «Шанелью», душные дебри тропического сна – безвыходного настолько, что вернуться в него – значит проснуться... А между тем, канув всеми пятью, сейчас тонкой серебряной струйкой в глине потемок – ясным и новым – проворно, и к поцелуя устью уверенно расширяясь, происходит происходящее – я, некий звук, исподволь и незаметно, внятным побочным продуктом, – эхом бьющегося прикосновения под кожей, выемкой ласки.

Ж м у р к и. Он становится на четвереньки. Ложится. Замирает. Он передразнивает ее: отбрасывает левую руку, прикладывает щеку к предплечью, просовывает кончик языка между зубов. Он крепко жмурится: не помнит. Потом начинает реветь от злости, катается по полу, бьется. Оцепененье. Раза три сосед возвращался с работы; визг щенка добермана у лифта – коготками по створкам. Приходила хозяйка квартиры за санками для сына – прошла только на балкон из кухни – писала долго записку, – что была, забрала... Утром идет в ванную – зачем-то решает побриться. Ровно, как поле метель, помазком залепляет зеркало пеной. Потом без сил висит над раковиной, открутив во весь напор горячую воду. Вода бьется, он свисает так низко, что пар обжигает лицо; наконец принимается за бритье. Движения легкие, как кровь, движения не весят... Он не чувствует лица – нажим уходит в пустоту. Не чувствует и этого боится: он неловок. Клубника со сливками пены, молотый перец щетины: обрезался там, где желудь миндалины. Глубоко. Он чувствует ранку изнутри, ее податливость при глотании... Проем в пустоте, как странно... Щепотью пробует стянуть, кожа не слушается. И эта легкость – он не... не чувствует, как набухают края ранки, и распускается бутон шиповника, вскрывая приглашающую влажность и невесомость входа. Он пробует средним пальцем, оттягивает снутри – не понимает, насколько глубоко – гортань. Отводит правую руку, роняет бритвенный станок, стирает с зеркала пену и пытается видеть порез... Молочные разводы, клочья стойкой пены... И вдруг понимает, что не смотрит себе в лицо... Обрыв.

Однажды – однажды они играли в жмурки: завязывали глаза кашне так туго, что зеленые разводы – палочки-колбочки от впеча-

тывающей силы глазного давления становились видны: дно, изнанка глазного яблока, тупая боль не-зрения. Завязывали обоим – так интересней – и бродили по дому на ощупь. Она представляла внутри себя интерьер своей дачи – сеанс одновременной – с домом и с ним – игры вслепую: как сыр, как ход червя – дырчатое пространство слепоты, выплетаемое на выпуклостях памяти движений. Действительно, так проще – вот плоскости стола, буфета, лаз кротовый коридора, кладовка, в ней – в дебрях старой одежды, корзин, банок – Никто, ускользнувший. Ага, вот здесь должно быть темное клетчатое поле пледа, раскинувшееся на тахте. Внезапно следует ход конем – рука выбрасывает подвернувшийся пуфик за предполагаемый угол, и, судя о вспугнутом по шороху или воплю: о, коленная чашечка! о нерв предплечья! – шарахнувшись о подлокотник кресла, или косяк в прихожей – и теперь только резкий бросок вперед: осалить. Иногда она приподнимала шарфик, оставляя крохотную щелку, чтобы немного видеть, пусть и недоимками сумерек, карту очертаний... Шулерствовала она потому, что до слез не любила проигрывать: никогда – она – до слез... И вот, однажды поднимается наверх – 9 ступеней – в спальню, в руке – подвернувшийся в прихожей зонтик – продолжение руки, щупальце слепого, предупредительный орган нечестной подсказки... Закрывая на то глаза, он давал ей фору – у него: ничего – только выставлял впереди напряженную интуицией пустоту – как поле, и прислушивался к ее возмущениям, волнам. Он считал это верным способом: когда привычное еще и выстраивается воображением, то: мозг предельно чутко настраивается на различенье. До этого они бродили – бредили по большому дому бесконечно долго – и никак не могли встретиться: известное напряженье, когда игра становится взаправду битвой – поймав себя, они беспощадно владели друг другом – до края. И вдруг она видит его, какая удача! – он близорук и неважный искатель даже при свете, – и тогда решает действовать на опереженье. Она мечет сорок пять сантиметров алюминия. Яркий – лоскутья света – звон... Что за черт, ты что, ты разбила зеркало, вот ведь досада... Что ж, я поймал тебя, ты проиграла. Зеркало? Ну вот еще! И вдруг истерика, рыданье. Ну, что ты, что ты, успокойся, подумаешь, какая ерунда. Мы завтра новое из города прикатим. Да брось, какая-то стекляшка, родители простят. Ну, прекрати сейчас же. Вот, успокоилась. Досадно, что там говорить, – ты спутала со мною отраженье. Да что с того, всего лишь вещь, тебя нельзя винить. Вдруг снова, вытирая слезы, с какой-то непонятной злобой: я в ы и г р а л а! Да, конечно, да – ты выиграла, ну как иначе? Да успокойся ты, того не стоит. Опять рыдания: безутешна. Нет-нет, ведь я случайно... Ты просто испугалась, и темно там было. Ну да, глупышка, –

он целует ее в глаза: она вырывается, ползет на четвереньках в угол и глядит оттуда, постепенно затихая.

Ошеломленная внезапной ненавистью, страхом.

П е х о т а. Ты, наверное, помнишь тот берег? Костер из плавника под утесом, – на нем видны были вышки местных пехотинцев. И как эти энтомологи в беретах нас ото сна, сплетенного любовью из рук, до бельма ярким пинцетом прожекторов отрывали, бросая морским ежам в качестве гостинцев. И как мы плыли в фейерверке планктона, его взрывая гребками, и светящиеся наши тела рыбам виделись знаком Близнецов, неким случайным собраньем светлячков, и мы рассыпались, чтобы быть ближе. То есть – везде. Мы знали, что тот брошенный танкер, севший после шторма на мель, кто-то в шутку прозвал Моби Диком. Мы плыли к нему, мы взбирались по якорной цепи. Луна всматривалась в нас, как в пастель пепельно-розовую, как в собственное произведенье. Нас ко сну так клонило, как только бодрствующего может клонить к яви, и когда светила взошли – у каждого по одному над головами, то мы – как и сейчас – что-то мучительно припоминали.

Н е д о н о с о к. А произошло вот что. «Что» оказалось лишенным смысла, по крайней мере, того, ради которого происходило. Лицо как-то сразу поглупело: из свирепого от боли и ужаса тяжело набрякло сведенными зрачками, сплюнутым языком. Комочек пены в уголке рта. Он заметил, что сам еще хрипит. Ослабил петлю волос, отвалился и, взяв ее голову в ладони, будто отрывая, осторожно приподнял, подтянул, прислонил. Затем сложил ей руки на животе. (Огромность этого живота будто раздавлена им.) Получился домик. Сел на пол рядом. Закурил, косясь на профиль. Зажав сигарету в зубах и придерживая затылок, средним всунул обратно кончик языка. Тыльной стороной ладони легко снизу пристукнул по подбородку. Большим и указательным провел по векам, зашторив выражение. Прикурил новую. Трамвай, подвывая, выворачивал на Преображенку, искрил. Полотно дыма аккуратно разворачивалось, шевелясь пластами, нарезанными щелями штор, движением вагона. Он стянул с пальца кольцо. Отведя ей за ухо прядь, продел, подвязал. Кольцо повисло, как сережка. Покачалось. «А ребенок должен быть еще жив». Он положил ей руку на живот, подержал, легко разминая. Ничего не почувствовал. Потом дотянулся до лежащего на полу штепселя елочной гирлянды – весь вечер они наряжали елку, путаясь в струйках «дождика», вытряхивая из волос конфетти. Светящийся прах взмыл спиралью по хвое. «Теперь она ему надгробье». Он зажмурил глаза, затянулся поглубже – и стал мед-

ленно выдыхать. И дыханье его, затянувшись, прежде чем кончился воздух в легких, зацепило дух его, потянуло наружу, и, выйдя весь, он стал подниматься к потолку, перемешиваясь с пластами дыма, уничтожаясь. (Еще один трамвай стал выбираться на площадь.) Но ему, как заправскому джину, все же удалось сжаться и тонкой струйкой, мелькнув, просочиться сквозь губы. Встал, отыскал телефонную трубку, набрал «03», сказал, что должен родиться ребенок.

М и о п и я. То, о чем напрасно твердил Платон и что было услышано камнем: идея способна оказаться под стать своей тени – воплощенье возможно, снимите шляпы!

Все очень просто: представьте два идеальных зеркала – идеальных, поскольку коэффициент их поглощения точно равен нулю, и они сами абсолютно (увы, как все в этом примере) параллельны – то есть целятся в невидный глазу, но запросто отыскиваемый в затылочном пространстве геометра полюс – и там пересекаясь, идут в дальнейшее без каких бы то ни было шероховатостей, недоразумений в сведении.

И представьте, что выпущен был взгляд сознанием, случайно происшедшим между ними. Да и не то чтоб послан был за смыслом, но как бы брошен напоследок в виде оглядки – не забыть бы чего.

Да нечего.

Вдруг тело исчезает. Взгляд все так же бьется мотыльком меж стекол...

И вот прошло с тех пор... но сколько? Здесь я сбиваюсь с полусчета, полу– – поскольку, чтобы сосчитать, необходимо твердо помнить метку, а не ловить ее мерцанье – и там и сям, в растерянности шаря по сознанью.

Теперь я живу только из инстинкта самосохранения. Со смешанным выраженьем страха и любопытства внутри. Страха перед возможностью поглядеться в зеркало этого города: случайный взгляд на витрину и вдруг – рикошетом бьет ворох обрывков света: пронесшийся автобус воздушной волною рева задел стеклянную мембрану, размешал и унес: струйки марева над асфальтом, опрокинувшиеся карнизы, окна, соринку солнечного зайчика от невидимого осколка, выставленные из лавки, перекипевшие мусором баки...

Зеркальная волна, несомая колышущимся дрязгом, с натугой ввинчивается в прозрачность, отбиваясь от разбросанных автобусом отрывков улицы, фронтонов, клочков розовых облаков олеандров. И наконец, разбитый калейдоскоп памяти об этом городе оказывается собран после тщательного наведения резкости жизни – в прицеле памяти.

Но ничего о себе, ничего, кроме, может быть, пустого места себя – неловкости, по следам которой струйки марева сейчас и змеятся прозрачно к троллейбусным проводам...

А п е л ь с и н о в о е у т р о. К р а ж а. Я проснулась в том месте, где Глеб плавно вытягивает у меня из-под сна подушку и говорит: «Пора!»

Теплые пряди лучей на щеке, нагретая негой уютность ладоней, внезапная яркость пробуждения в предвосхищении приключения: мы идем искать прадедушкин клад!

Захватывающая дух огромность окна; накипь зари над карнизом дома напротив...

Фильтры вышли все, и под кофейную гущу подкладывается втрое сложенная салфетка: в результате готовится настой из «арабики» и целлюлозы.

Глеб уже готов и одет и с напряженьем следит мое медленное круженье: сначала в поисках тапочек – в путанице пижамы на пути в ванную, затем и в кухне – с зависанием взгляда в мягкой, вязкой линзе медово-осеннего утра, в никелированном отражении этого взгляда, возвращенного полным, сытым нашими снами – оттого и влажным – хрусталиком солнца.

Сейчас оно, как «ячмень», разбухает созревшей охрой в переплете спросонья туманного зрения: отраженье, впрочем, вскоре уносится жестом руки, потянувшейся за рафинадом...

Для меня такое медленное слеженье взгляда за его собственным возрожденьем из сна – неизбежно: в случае особенно раннего пробуждения, меня завораживает, не спросясь, мое длительное вниманье к происхождению существенности реального мира, выпадающей медленным сложным осадком из легкой взвеси сновидений, равно будь то тина кошмара или цветочный вальс пенящейся лепестками неги...

(Мне однажды подумалось, что это явление чем-то схоже с парафиновым обрядом лечения испуга: со мною был случай в детстве – ничего страшного, как ты бы сказал: «Живы бы мы все равно не остались», а так: ушибы, шишки, но испугалась жутко: текущий ужас по ночам, провалы шока: однажды – долго спустя – застыла без чувств на прогулке в парке.

Чувствую: Ник-нак, словно требуя вернуться, пачкает куртку передними лапами, подталкивает, лижет, но, вдруг испугавшись, визжит, отпрыгивает, скулит, юлит, оглядывается, лает отчаянно, призывая на помощь... Меня тискают, трут щеки, уши, пытаясь вызвать движение, чувство: стеклянный – я гляжусь в пустоту, и она отражает меня, скупа – взгляд, – и, очнувшись, оказываюсь в унизи-

тельном состоянии истерики – это я особенно помню: рыдания, крики...

И вот, после того как меня «посмотрел» доктор Лифшиц (живет теперь в Бостоне, папа с ним встречался недавно: хорошая практика, здоровые пациенты): «Хотите, ведите к знахарке, хотите – везите в Минводы, здесь ничего – не какая-то там наука, а – я – не способен сделать».

Ну да, меня свезли на воды, и затем пол-лета я барахталась в санаторном «лягушатнике» в Евпатории – глотала взбитый воздух в удушающем анисом лечебном коктейле, до мушек в глазу читала...

Как привезли домой, повели к знахарке. Та поставила мне на голову миску с водой, пошептала, пролила струйку расплавленного парафина на темя, и я проснулась.)

...А затем и в прихожей: нужен ли свитер, или достаточно будет надеть ветровку – и вновь замедленье: Глеб мучительно морщится: ворох тряпок второпях теребится безрезультатно и вредно, – срываются вещи, ложатся в беспорядке на пол...

– Держи свою палку, вот ведь как кстати она отыскалась! – Ну, теперь сторожевым шавкам в этот раз достанется на орехи.

И вот – отвергнув свитер и не найдя ветровку, надевает Глеба плащ, подвернув до локтя рукава:

– Наконец-то...

Глава 14

ГОСТИ

М а с ш т а б. Сегодня Глеб проснулся с трудом и, находясь в некоторой неге и потягиваясь, обнаружил, что у него гости.

Дотянуться до сладкого зевка ему так и не удалось: сраженный внезапным присутствием, он судорожно оглянулся в окно, удостоверяясь в своем местонахождении.

Было уже светло, и слабый шлейф мутного света, изгибаясь, струился до пола – по нему расползался медленными студенистыми складками.

Ничего спасительного в слепом окне – и под ним – не обнаружилось и пришлось снова вернуться взглядом к гостю.

Это было нечто, которое, уютно устроившись у него на животе поверх одеяла, мирно почесывалось, время от времени взглядывая в его лицо. Деловитая умиротворенность, с которой существо занималось своим утренним туалетом, несколько притупило острие

ужаса, чьим внезапным источником оно происходило в своей непосредственной близи.

Это дало возможность рассмотреть подробности.

Размером с кошку, нечто имело прижатые, устремленные к загривку ушки. Комочек тельца был неровно покрыт коричневой, потертой в выпуклых местах шерсткой. Существо порывисто водило по ней мохнатыми лапками, с кожаными, сморщенными как у младенца ладошками.

Всмотревшись в подвижное личико миниатюрной головки, Глеб потрясенно узнал точную уменьшенную копию лица своего брата.

Последнее обстоятельство было настолько чрезвычайным, что даже возбудило в нем интерес, – и когда таковой потеснил немоту испуга и сердце осторожно начало вновь проталкивать душу к яви, Глеб попробовал с этим существом заговорить.

На удивление, оно охотно отозвалось, и через какой-нибудь десяток фраз их беседа приобрела вполне трезвый характер взаимных расспросов.

Глеб довольно скоро привык к необычному виду гостя, чему немало способствовало его вернувшееся к жизни внимание.

Благодаря которому выяснилось, что внешность пришельца суть кукольное воспроизведение облика Петра, а увиденные им поначалу в спешке страха ушки и лапки – всего-навсего части несуразного одеяния: теплые наушники и варежки. Впечатление шерстки объяснялось наличием заношенного мехового комбинезончика, который, по объяснительным словам Петра, он теперь вынужден носить в связи с наступлением осенних холодов.

Движения, принятые Глебом за почесывания, оказались обыкновенными попытками расстегнуть на себе непослушную молнию комбинезона.

Вскоре Глеб понял, что ему так и не удастся сложить из череды невнятных звуков законченную фразу, которая одновременно могла бы быть понята предполагаемым собеседником (последний, не прекращая теребить застежку, сначала раздраженно морщился в ответ на эти мычания, а потом и вовсе перестал смотреть на Глеба, полностью поглотившись своим занятием), и вместе с тем коей он смог бы правильно передать вовне свое дикое отношение к происходящему. Потому он умолк и постарался сосредоточиться.

Наконец инстинктивно решив, что с явлениями бреда нужно бороться бредовыми же средствами, Глеб спросил:

– Как вы сюда попали? – И, симулируя в интонации спокойное удивление, пояснил: – Ведь все кругом заперто?

– Да равно так же, как и вы – я тоже житель, – смутно, но кратко объяснил гость, продолжая теребить застежку. – После паузы, за-

нятой досадной возней, он попросил: – Вы не могли бы мне с этим помочь?

Глеб выпростал из-под одеяла руки, в два рывка справился с молнией, но при этом застежка как-то неловко скользнула в бок – и ущипленный гость взвизгнул, легонько хлопнув его по руке:

– Осторожней!

Тут же, пыхтя, он стал высвобождаться из надоевшего одеяния:

– Фу-у, наконец-то, ну и топят здесь у вас.

Глеб поправил подушку и выбрался из одеяла повыше.

Существо, выпростав себя из комбинезона и оставшись в свитерке и джинсах, теперь усаживалось по-турецки у него в ногах.

Глеб отчего-то вспомнил байку, что трупы космонавтов Волкова и Комарова, погибших в результате разгерметизации спускательного аппарата, приземлились в уменьшенном – один к трем – масштабе.

– Да, топить-то топят, а толку – пшик, – поддержал разговор Глеб, с любопытством разглядывая крохотные ботиночки. – Мне бы сейчас хоть в полымя, хоть в холод – только б на волю податься: уж семь месяцев как трублю здесь без продыху. Вот вы, например, как сюда проникли? – снова не вытерпел узник, догадываясь о какой-то неизвестной ему возможности.

– Как проник – неважно, вам туда все равно не пролезть, – решительно ушел от ответа гость. – Говорю ведь, ничего удивительного, я тоже житель, только более давний, старожил, так что мне это привычно.

– Простите, житель чего? – недоумевал Глеб.

– Да вот того самого, будь оно неладно, – еще более отклонился в сторону от объяснения гость. – Поверьте, сейчас мне не до описаний, – и, чтобы перевести тему окончательно, поинтересовался: – Как тут у вас насчет курева?

Потянувшись, Глеб вынул из тумбочки пачку «Беломора». Человечек, пристроив папиросу наподобие кальяна на коленке, стал приминать мундштук, забавно пристукивая с боков кулачками. Наконец справившись с картонной трубой, гость достал из кармана крошечный коробок, чиркнул сразу тремя спичками, вытянул руку – как тромбонист с сурдинкой – и стал водить пламя кругами по лохматому торцу папиросы.

Глеба поразило, что он затянулся в полный рост, с наслаждением – и не закашлялся, а даже от удовольствия – и заодно от дыма – сощурил глаза. От гостя при этом повеяло таким спокойным уютом, что Глебу тоже захотелось закурить.

Но прежде, подумал он необычно трезво, неплохо было бы выпить кофе.

– А не хотите ли кофе, у меня – чайник электрический, импортный, вскипает за семь минут? – поделился своим желанием Глеб.

– Пожалуй, не откажусь, – живо откликнулся гость, но тут же спохватился: – Только вот что. Вы воду для питья откуда берете, из-под крана? – Дым пропыхал вместе со скороговоркой.

– Нет, из крана хлоркой отдает, мне Ольга отфильтрованную приносит, – Глеб кивнул на пластиковую бутылку, стоящую на тумбочке.

– Я так и знал, – схватился за голову гость, – я так и знал. Вам что, лень воду прокипятить лишний раз?! Это ведь та еще курица... Гнали бы вы эту сволочь с самого начала, беды бы тогда меньше поднабрались... Вот повадилась, подлая, на лакомое, – негодовало кукольное подобие Пети на отравительницу Ольгу.

– Подождите, неужели вы подозреваете, что... – не поверил, но стал сомневаться Глеб.

– А вы как думали? – тщетно пытаясь ладошкой стряхнуть с постели упавший комочек пепла, отрезал гость. – Она не тому еще папашей своим обучена. В мое время так меня оприходовала, что я жив еле-еле – сами видите, как – остался.

Глеб взвился от услышанного и сел на кровати. Кулаки его сжались.

– Только не нужно кипешиться, спокуху держим в образе, – предостерег гость.

Вскочив, он шнырнул по постели к тумбочке, ткнул, как дротиком, в пепельницу папиросой – и обхватил двумя ручками плечо Глеба:

– Пожалуйста, успокойтесь, я, может, за тем и пришел, чтобы помочь... Э-э, ну это уж совсем не годится...

Глеб не реагировал, входя неуклонно в ступор.

– Вы по... понимаете, – от ужаса осознания Глеб едва сдерживал слезы, – я догадывался, да, я догадывался, но все-таки не верил... Я чувствовал вину... себя виновным, хотя и не понимал, в чем именно.

– Ну, будет, будет, успокойтесь, – Петенька осторожно погладил брата по шее, дотянувшись на цыпочках. – Слезами пожар не залить, тем более не все так страшно, как есть на самом деле. С привыканием нынче медики борются превосходно, у меня есть один знакомый псих – нарколог бывший, он тоже житель – с ним легко договориться, – так вот, отличнейший специалист, мы с ним проконсультируемся, он выручит... Вот только бы добраться до него, сюда его не вызовешь – у бедняги, к несчастью, топографический маразм, как пить дать заплутает... Эх, вот жалость-то, что вы ростом в меня не вышли, а то б мы живо отсюда деру – я дорогу как свои пять знаю, – попробовал обнадежить маленький Петя.

Глеб тяжко поднялся, натянул поверх пижамы свитер и с чайником отправился в ванную. Вернувшись, обнаружил, что Петенька копошится, пропав с ногами, в тумбочке. Побросав все на пол, поднатужился вытянуть еще и альбом для эскизов, но не справился и, запыхавшись, крикнул Глебу, чтобы помог.

Глеб собрал бумаги с пола, положил вместе с толстеньким альбомом на постель – и вдруг заметил, что Петенька, отвернувшись, прячет что-то, шурша бумагой, за пазуху.

– Это все? – невозмутимо и строго спросил он, обернувшись.

Глеб достал еще из-под подушки. Петя удовлетворенно кивнул:

– Теперь нужно все запалить.

Глеб просмотрел стопку листов, перелистал альбом.

Вырвал из него один рисунок, остальное покорно отнес в ванную и там – в три спички – развел в костер.

Комната заколыхалась в едком дыме.

Тем временем заклокотал и отщелкнул выключатель чайник. Прямо в чашке заварив кофе, Глеб отлил немного в блюдце и, поставив на тумбочку, подсадил туда Петеньку.

Пока пили кофе, Глеб сокрушенно молчал в одну точку. Гость на него с верхотуры поглядывал пристально и озабоченно.

– Ну что, так и будем сидеть?

Глеб апатично закурил.

– Да, сидеть... – дотянув до донышка, Глеб медленно снял пальцем кофейные крошки с верхней губы.

– А вы... – вспылил гость, – вы, надеюсь, понимаете, что если сиднем сидеть, то сиднем и останешься, – откуда такое безволие? Вы знаете, я такого не переношу, это последнее, что должно оставаться в человеке – такая вот раскисшесть, вялость, переливание себя из пустого в порожнее. Утешьте меня, проявите хоть толику решимости! Ну вот, представьте, что вскоре мы канем отсюда, а для этого понадобятся силы и сосредоточенность!

– Недавно я подрался с Петей... – с достоинством сказал Глеб.

– В истерике? – спросил гость.

– Да, кажется, – смутившись, ответил Глеб.

– Отвратительно, – осудил гость. – Истерика, милейший, это горячка бессилия. Так что ничего геройского вы тем, что полезли с кулаками, не совершили.

Оспорив таким образом мужественность недавнего поведения Глеба, гость стал расспрашивать далее:

– Чем здесь занимаетесь?

– Ничем. Читать не дают, писать вот только месяца два как разрешили... Да и то – отбирают время от времени: поправить ничего нельзя, – Глеб с опаской посмотрел в сторону ванной комнаты.

Пришелец расстроился и снова стал отчитывать Глеба:

– А почему вы так покорно согласились?! И согласились, заметьте, дважды: сначала писать согласились, а потом – когда я вам сжечь все велел. Откуда такая покорность?

– Не знаю... – Глеб растерялся.

– Ну, ладно, ладно... Что я вам сжечь велел – это необходимость: чтоб следов по себе не оставить, – смягчившись, разъяснил гость. – А вот начинать писать нельзя было ни в коем случае, вы их тем самым спровоцировали, и теперь гады еще неизвестно что придумали. Вот ведь как мне с вами не повезло! Мало того, что вы кашу всю заварили, так вы еще такое безумие выдумали – писательством занялись! Как вам только в голову пришло – в такое время бумагу марать, рисковать, что гадам ваша писанина на пользу придется! Может, из-за камня этого, нефтяного, вот-вот война разразится, а вы ни сном ни духом – разрушены и как ребенок малый нюни распустили, – от негодования гость на тумбочке вскочил и теперь, пританцовывая от возбуждения на месте, горячо жестикулировал, рискуя повалить пластмассовую бутылку с отравой.

– Теперь я понимаю, почему Фонарев так нагло себя ведет в последнее время: он уже уверен, что козырь перешел к нему на руки, – тут гость бахнул кулачком по бутылке: глухо прянув, она рухнула на пол плашмя, покатилась.

Горячась, Петенька стал напряженно тереть лоб.

Глеб, впечатленный пылкой речью гостя, задумчиво и не сразу восставил бутылку на место.

– Что ж, еще не все потеряно, – наконец оживился гость и снова хлопнул по бутылке, но в этот раз она устояла, – то есть, конечно, потеряно все, но поправить удастся. Нам бы только Ираду дождаться: отправилась сюда еще вчера и вот-вот уж должна объявиться...

Сказав это, гость выжидающе хитро посмотрел на Глеба, в лице которого второй раз за это утро проявилось живое удивление, когда-то для него означавшее потрясение.

– И кстати, у меня еще к вам есть весточка от отца, – добил Глеба пришелец. – Он полгода разыскивает вас: недавно мне удалось наладить с ним связь и немного успокоить.

На Глеба это произвело впечатление, какое могло бы произвести сообщение о помиловании на субъекта, еще до выстрела обморочно стекающего по стене расстрела.

Заметив это, довольный Петенька вернулся к своей папиросе, потрубив, раскурил ее и, побалтывая в воздухе ножками, уселся на краю тумбочки.

Лихорадочно задумавшись, Глеб вспоминал, что Ираду он не видел уже два года. Оказавшись на Физтехе, она чудесным образом

обрела там уют и спокойствие – и вскоре стала примечательным и почти родным персонажем общежития его факультета. Легко освоившись с новой жизнью, Ирада устроилась на работу в институтском буфете. До Глеба доходили слухи, что кто-то из студентов, взявшись за ликвидацию ее безграмотности, оказался настолько успешен, что она стала подумывать о поступлении на подготовительные курсы библиотечного факультета Института культуры, что поблизости от Физтеха, на Левобережной. Глебу также вспомнилось, как, несмотря на ее всегдашнюю приветливость и благодарную теплоту, которая излучалась ею при каждой их редкой встрече, он испытывал сладкое щемящее чувство...

Придя наконец в себя, Глеб оживился, встал, прошелся, посмотрел в окно – и заплакал. Потом засмеялся и снова заплакал.

Петенька, сердито глянув, буркнул:

– Это еще к чему?...

Глеб бросился к нему, схватил под мышки и, подняв, как ребенка, над головой, тряхнул:

– Это правда?!

Петенька, морщась в его объятиях и опасаясь своей зажженной папиросы, зашипел:

– Немедленно поставьте меня обратно, вы с ума сошли, я щекотки боюсь... – И когда его требование было выполнено, поспешно поправляя задравшийся на животике свитер, добавил: – Какая мне нужда вас обманывать, если я здесь? Впрочем, можете мне не верить... – он пренебрежительно подмахнул ручкой, – но, когда выберемся отсюда, я вам это припомню.

Глеб не знал куда себя деть. Он то вставал и подходил к двери, то шел в ванную и пил из-под крана воду, то закуривал и тут же бросал папиросу, то пристально взглядывал, искаженно улыбаясь, на Петеньку. Тот заблаговременно предупреждал его своим «Но-но!», прекрасно зная, что взгляд этот означает: еще чуть-чуть – и ему снова придется оказаться в неосторожных объятиях брата.

Глеб понимал – лилипут-Петя сейчас ему все равно ничего больше не расскажет, и все же едва сдерживался от расспросов.

– Простите, – все-таки не выдержал Глеб, – а отцу известно, что со мной произошло?

– Какая разница, – рассердился гость, – известно, не известно, помочь он все равно не может: самим надо выбираться. И пожалуйста, умерьте свое любопытство, оно сейчас, ну честное слово, праздное. Да что за невезуха с вами, то слова живого не вытянешь, а то не знаешь, как уберечься, просто отвратительно как вы несносны!

– Хорошо, – с удовольствием смирился Глеб, которому все это стало напоминать ужасно интересную игру в новую жизнь, – я обещаю...

Петенька недоверчиво кивнул, буркнул: «Ладно, посмотрим» – и попросил еще папиросу. Глеб сам гармошкой смял мундштук, прикурил, но тут послышались за дверью шаги и какое-то позвякивание.

Гость побледнел и, отпав от протягиваемой ему папиросы, нырнул с тумбочки под подушку.

Вошли Фонарев и Петя.

Фонарева у себя Глеб видел за все эти семь месяцев впервые. Позабывший в это утро об их существовании – и вот, вдруг видя сейчас своего главного мучителя, он мертво осел на кровать – да так неловко, что попал прямо на подушку, отчего маленький Петя глухо крякнул.

Это не прошло незамеченным.

Большой Петя подскочил к кровати и проворно вытащил себя-маленького из постели.

Гномик верещал и вырывался.

Фонарев удрученно смотрел, как маленького Петю выносит из комнаты большой, схватив щепотью за ворот свитерка.

Вышвырнув себя и грянув дверью, Петя заглянул в ванную.

– Так вы здесь спичками баловались, ну-ну...

– Как этот негодник попал сюда? – проснулся Вениамин Евгеньевич.

Глеб, сидя с открытым ртом, не нашелся и только, пошевелив челюстью, что-то мыкнул.

Фонарев уставился в слепое окошко.

Тем временем Петя вне себя угловато носился вокруг и, казалось, при этом метал свои поисковые движения. Он перевернул вверх тормашками комнату и опрокинул, увлекшись, тумбочку. Ничего не найдя, чертыхнулся:

– Все спалили, сволочи... – и хрустко швырнул в Глеба уцелевшим рисунком.

– Глеб, собственно, я хотел бы пояснить причину. Нашего столь внезапного вторжения, – вдруг прерывисто очнулся Вениамин Евгеньевич. – Я, конечно, должен был. В самом начале. Но ваш гость. Он отвлек. Суть нашего прихода. Состоит в том, что. Как это не прискорбно. Но мы должны сообщить. Вчера ваш отец решил бросить этот черновик.

И, ставя в конце своего сообщения точку, Фонарев стукнул согнутым пальцем по стеклу.

Глеб посмотрел на Петю.

Тот отвел глаза.

Глава 15

НЕ-ЗРЕНИЕ

«Н и к о г д а. Подмосковный дачный июль. Шереметьевская. Гамак. Лужайка.

Небо, березы, их шепот.

Серебряные туши дельфинов, касаток и кашалотов – «боингов», «илов», «ту» – поднимаются друг за другом глотнуть на вершине воздух, – и дом иногда дрожит.

Тридцать в тени. Для теней – это уже горячка.

Сойка в кормушке купается в крошках хлеба.

Высохший вяз – театр ветвей.

Золотой дирижабль, сотканный солнцем, зависает вверху, останавливая движенье.

На соседнем участке дети (смех и визги, игры и тайны) хоронят щенка – на индусский манер. Сложили хворост и на пышную эту подстилку положили остывшего за ночь друга.

Страшная вонь застелила глаза, дыханье.

Приступ рвоты выплескивает меня из гамака. Слух взрывается грохотом немыслимого форсажа. Самолеты летят отовсюду – входят в грудь и плечи, выходят, – двадцать соток, поток забора – все это тесно моему безумью.

Я мечусь, я мечусь, и меня от бессилья тошнит.

Как маленький, весь в слезах, весь в рвоте, кулаком уминая грязные щеки, я вижу мальчика с плюшевым щенком в руках, который только что с долгого поезда и сейчас стоит в длинной очереди в баню: Треблинка.»

Х о д. После их ухода Глеб долго сидел, растворившись в неизвестном, и это бесконечное сидение отложило возвращение его в себя до самой темноты. В темноте он постепенно смутно стал припоминать содержимое этого утра. Оно (содержимое) медленно раскрывалось светлым облачком интереса и, осторожно притягивая, возвращало его обратно. Окончательно очнувшись, он привычно почувствовал, что находится в комнате не один. Но сейчас осязаемое им присутствие, довольно странно отличалось тем, что не порождало животного, выталкивающего страха. Напротив, оно выпускало какие-то странные, втягивающие в себя лучи темноты. Их паутина постепенно становилась все более липкой и напряженной: ей удавалось каким-то удивительным способом, слегка натягиваясь и дребезжа, передавать ему некое призывное сообщение – приблизиться.

Вдруг возник, идущий откуда-то сверху, тонкий – звучавший сначала робко, надолго пропадая во тьме, звон, – как если бы китайский колокольчик был колеблем дыханьем теплой звездной ночи.

Звук этот становился настойчив и вдруг стал величественно опускаться – и, наконец достигнув глубины слуха, мгновенно рассыпался на осколки: подобно капле, разбившейся о солнечную паутину, повиснув на медленно клубящихся нитях и свиваясь ими в причудливые ожерелья, они присоединились к звавшему сообщению.

Подавшись коротко вперед в облаке звучащей серебряной пыльцы, Глеб осторожно, ведомый легчайшим напряжением втягивающего дыхания этого таинственного присутствия, начал медленно продвигаться в его устье.

По мере приближения он стал догадываться, что уловленное им – не что иное как ход, о котором говорил ему сегодня утром Петенька, – и вместе с тем уверился, что, войдя в него, – он потеряет брата безвозвратно.

Поэтому, перед тем как исчезнуть, он в нерешительности приостановился... и вдруг вспомнил все.

Точнее, не вспомнил – вспомнить он не мог: увидел.

Сначала увидел две сцены – одну за другой в двух разных аэропортах: первая стряслась в Домодедово, когда я встречал свое «впечатленье». Она была страшно возбуждена и зачем-то все время оглядывалась в толпе, как будто высматривая в ней кого-то, – и вдруг, на миг задержавшись взглядом, успокоилась – и больше не смотрела.

Вторая – в Шереметьево: мы с Петей провожали родителей, и отец, когда они уже прошли таможенный контроль, вернувшись к барьеру, как-то тревожно посмотрел на меня – и хотел еще что-то сказать, но тут подскочил Петя, – и он не успел – и только обнял нас обоих и чмокнул по очереди на прощанье.

И увидел я пять пальм, посреди усадебного двора запрокинувшихся в синюю высь долгими свечками, – когда мы вместе (поскольку решил, что для нее это будет отличным турпоходом: тогда, провозившись неделю с оформлением документов на владение, – автостопом, часто петляя и отклоняясь, – мы пропутешествовали от Цфата до Эйлата) приплыли из Лимасоли и на следующий день отправились бродить в окрестностях <...> в поисках прадедовской усадьбы, – которая отыскалась наконец на дне удивительного чашеобразного пустыря.

С его края разлетался вид на засаженную пардесами холмистую, плывущую в горизонт полого вниз – долгими волнами – местность. Вогнутый склон редко пестрел охапками кустов барбариса, олеандра, убогими деревцами апельсиновых дичков: там я впервые увидел иссиня-черных, с ярким желтым клювом дроздов – нанизывая

в воздухе пронзительные, тугие трели, стелясь по-над самой травой, они перелетали от куста к кусту – ходили друг к другу в гости.

И увидел я – густые, сочащиеся молочной кровью сгустки света – разметавшиеся по подолу ее платья: ломая ногти и подобранные с замусоренного полу щепки, мы открыли шкатулку, добытую из тайника полуобрушенной стены второго этажа; в провале открывался, перекипая через край пустыря перистым закатом, наполненный парус неба, – и крышка все-таки не выдержала нашего натиска и отвалилась, и мы, дико крича и задыхаясь от удачи, стали хватать горстями украшенья... и вдруг – зависли, перекатывая в ладонях крупный, желтоватого оттенка камень.

И увидел я следом страшное: ее и Петю, идущих навстречу от метро. Встретившись взглядом, она остановилась на мгновение, но потом, взяв меня поудобней за руку, прошла – и что-то звериное мелькнуло в ее лице.

И увидел я тогда – в мою последнюю ночь, в мою первую ночь в ее новой, недавно снятой квартире, как она встала – и тихой белой тенью прошла в темноте куда-то.

Глава 16

УЦЕЛЕВШИЕ ЗАПИСКИ, ПРИХВАЧЕННЫЕ ПЕТРОМ

Записка первая, интеллектуальная. «Хорошо известно, что человек, сидящий на стуле, похож на кентавра.

Кентавр, в свою очередь, похож на ставшего на четвереньки человека, у которого вместо крыльев выросла еще одна пара рук.

Неизвестно: ездил ли Шива верхом. Я ни одного изображения Шивы-всадника не видел. Но, может быть, я плохо искал.

(Шива, между прочим, напоминает двукрылую мельницу, вращающуюся в стробоскопическом свете, как на ветру: день сменяет ночь за четверть оборота.)

Зато я однажды видел репродукцию древнеперсидской миниатюры, изображавшей Синдбада верхом на птице Рух. Их фигуры вместе напоминали двуглавого дракона, вошедшего в непоправимый штопор.

Также неизвестно, умеет ли Сфинкс летать.

Сиамские близнецы похожи одновременно на Тяни-Толкая и двуглавого дракона – с лишней парой шасси.

Тяни-Толкай – это кентавр, глядящийся в зеркало, которому его отражение забежало за спину.

Когда человек всматривается в зеркало и не видит себя, первое, что ему приходит в голову: «я ослеп». Когда внезапно исчезает ваше отражение и ни одна отражающая поверхность больше уже не способна, возвращая зрение, вас видеть, вы принимаетесь рефлекторно вглядываться в любой глянец, попадающийся вдоль траектории перемещения: сначала все еще не веря в случившееся, позже – настойчиво проверяя, не появилось ли отражение снова.

(Способность поверхности отражать свет, более или менее достоверно передавая детали изображения источника этого света, называется зеркальностью. Глянец – это низкая, наиболее распространенная степень зеркальности.)

Исчезновение собственного отражения, как правило, является трагедией для человека. Отрицая случившееся, человек начинает в панике отыскивать любые зеркальные поверхности, снова и снова убеждаясь в их пустоте.

Посмертная маска есть слепок, отражение, снимок, сливки – снятые с пустоты, в которую вглядывается умерший.

Позже паника сменяется подавленностью, и вы уже не намеренно, а лишь рефлекторно – наподобие тика, не себе повинуясь, – вглядываетесь в отражающие поверхности, которые минует ваш скорбный путь.

Передвижение человека в городском ландшафте совершается по преимуществу по касательной к плоскостям, этот ландшафт образующим. (Касание – это мгновенная параллельность.)

Движению и взгляду параллельные поверхности сначала появляются в боковом зрении.

Жест, сопровождающий переключение внимания на предмет, возникший в боковом зрении, представляет собой составное вращательное движение туловища и головы.

Вращение также составляет суть движения, которое совершает собака, безнадежно пытающаяся поймать свой собственный хвост.

Человек, беспрестанно смотрящий по сторонам в надежде где-нибудь отразиться, поймать свое – уже не существующее – отраженье, похож на такую собаку.

Вестибулярный клубок суммы вращений в конце концов вызывает тошнотворное вертиго.

Кто-то выразил, что вложенное отражение – это художественный прием, осуществляющий перевод действительности в интеллигибельное состояние.

Вот это-то состояние, по закону каламбура, и оказалось для меня гибельным.»

Вторая записка, криминальная. «... ..., я – ..., прием. ... ..., я – ..., прием.

(Слышен шорох помех, будто перелистывает атлас связи кто-то.)

..., я – ..., прием. Прием.

(Наконец, вырывают из атласа лист, находят на нем меня – цок – прокалывают карандашом: начинается сеанс связи.)

– Прием. Сейчас я нахожусь в твоей мансарде (если помнишь и если счет все еще тебе доступен, – последний этаж самого красивого дома на Патриарших прудах, ближайший к одной из Бронных подъезд).

Обе створки твоего окна открыты, тростниковые жалюзи подняты в свиток с рамы; сорок два кубометра – за вычетом объема кушетки, книжного шкафа, меня, столпотворенья моих страхов и желе рождающего их долгого взгляда, – а также роя червонных шмелей сознанья, атакующих, как нектар, эти страхи (эти строки), – так что в результате вычитания мы получаем минус-объем, не-место – как и положено всякому предсмертному созерцанию) населены смеющимися облачками тополиного пуха: они плавно водят хороводы, цепляясь за углы, внезапно будоражась шумом, доносимым сквозняком от Садового кольца.

Я хватаю их ртом, различаю их вкус, вкус смеха, щекотки.

Из окна, различенные ветками, листвой, движимые смесью ветерка и воображенья, просыпаются в комнату – световой шелухой – блики, – оседают на потолке, обоях, неровно разворачиваясь своими обратными сторонами – пятнами прозрачной тени.

Я уверен – я слышу их шелест.

Московский июнь. Полдень. Примерно, тридцать в тени: влажная духота, которая затянется до возможной грозы.

Я думаю о том, что если она не случится.

Гроза обещает принять во внимание...

Вот уже прошло четыре года с тех пор, как не прошло и дня, чтобы я не вспомнил о тебе. Может быть, потому, что, исчезнув, ты прихватил, как скарб, и меня с собою. Ведь по сути ты – вор, и я должен был это помнить. Вор своей наготы, моего желания, наших общих развлечений и авантюр – источников интереса, повествованья.

А также – наших общих денег – мы не успели тогда поделиться: нас подставили, был объявлен розыск, мы вспыхнули – нужно было деться. И когда решили, обжегшись, ехать в Крым – мы собирались пожить на приколе в Гурзуфе, – ты не пришел на Курский на стрелку.

Один я не поехал.

Ты же канул бесследно – вместе со мной и со всей добычей.

Все эти четыре года я болтался по свету, как в проруби волчье семя.

Исколесил на нашем «гольфе» всю Европу, был в Турции, гостил у Короля в Беер-Шеве, подолгу жил в Праге, Берлине, Варшаве...

Сначала с полгода, мотаясь из города в город, я искал тебя, как обманувшийся пес, попавший на собственный след, потом – уверяя себя, что без цели – забыться.

Что я видел? Не вспомнить: бойня расходящихся серий, бред абсолютных различий.

Однажды я понял – тебя нет в живых: эхо моих позывных оборвалось, когда – в прошлом году, в ноябре, я вечером вышел из гостиницы, чтобы пройтись по Карловому мосту.

Я застыл, свесившись через перила.

Меня стошнило.

Теченье слизнуло, как пес, мой выкидыш – рвоту.

Я вернулся, лег не раздевшись – и три дня изучал путанку трещин на потолке, маршрут облаков, жизнь в их громадных, рушащихся городах...

Тогда я решил искать тебя среди мертвых.

Месяц спустя в Кракове, когда я просматривал «фиши» тамошнего архива судмедэкспертизы, вдруг при смене очередного кадра, как в провале, я увидел снимки твоего мертвого тела.

Графа описания диспозиции на месте: «головою на северо-запад».

Раскроенный с темечка череп, твое как бы надорванное на два облика лицо: божество лукавства.

Тогда, затопленный ужасом, в одном из них я узнал себя.

И я решился.

Блики исчезли. Пополам с духотой в легкие стали въедаться сумерки. Вместе с ними сгустилась облачность, вынуждая стрижей переходить на бреющий. Взвесь тополиного пуха осела, завалив сугробами плинтус. Гроза, видимо, решила принять меня во вниманье.

...Потом, подкупив краковского архивариуса, я стал владельцем твоей записной книжки, двух своих давних писем к тебе и ключей от этой мансарды.

Из Польши я шел к тебе месяц.

Я не сел ни в самолет, ни в поезд, я пешим ходом измерил свое исступленье.

Мог утонуть в Днепре – закрутило в воронку, был обобран по мелочи – взяли ксивы и куртку в Смоленске.

Я не отвлекался, я шел, как голем, шел к тебе с одной мыслью – добраться.

Сегодня утром я был кем-то узнан в переходе метро. Человек

вцепился в мой локоть, полоумно вглядываясь в лицо. Отпустил наконец, внезапно смутившись.

Я не вспомнил его. Я двинулся дальше.

На Маяковке замешкался: купил телефонный жетон. Было занято.

Тогда я пошел на бульвар. Забрался, разбив локтем окно, в раздевалку купальни, вскрыл твой тайник (записная книжка) в подсобке, взял камень, порошок (дыханье), немного денег.

И сразу направился к подъезду.

Поднялся. Позвонил. Ты не открыл. Я отпер. Ты стоял за дверью.

На этот раз я не пропустил удара.

Я успел – оглушил рукояткой, сорвал рубашку и спутал ею руки; дотащил, завалил на кушетку.

Сел рядом на пол, стараясь отдышаться.

Пух лез в рот и глаза. Я отплевывался, чтоб не сглотнуть, перехватывая дыханье, глубокое после борьбы. Я спешил отдышаться...

Наконец ты очнулся, двинулся, застонал.

Он наклонился к моему лицу. Дрожащими влажными пальцами провел по щеке, постепенно усиливая нажим. Резко отнял руку и, медленно разворачивая, поднес к расширенным от кайфа зрачкам. Указательным снял с подглазья приставшую пушинку. Потом осторожно опустил руку, сначала поглаживая легко, и вдруг резко сжал горстью.

Я задохнулся болью.

Видимо, тополиный пух попал ему в дыхательное горло.

Он закашлялся, набухли артерии, лицо от удушья стемнело.

Я бросился в кухню, схватил нож, метнулся обратно.

Он погибал, я не задумываясь полоснул по горлу.

Мне повезло – пушинка застряла выше.

Я закинул ему голову, чтобы кровь не заливала глотку.

Теперь он мог какое-то время дышать, мог слышать.

И тогда я сказал ему э т о – и глаза его застыли.

Я лег рядом.

Я встал.

Я ушел от него.

Захлопнул дверь, спустился во двор, вышел к пруду.

Сел на лавку, закрыв руками лицо и раскачиваясь, как цадик.

И вдруг я услышал его позывные...»

Май-ноябрь, 1998

бутылка

повесть о стекле

И. Григорьевой

У нас иногда так бутылку закупорят, что помрешь от жажды или зубы обломаешь. Через это со мной однажды вышел случай.

Давно это было, Родину мою еще не совсем успели раскурочить – самый разгар зачинался; народ только-только стал вымирать, а пока с непривычки нищенствовал или отсиживался по ресторанам-заграницам. Но стрелять уже начали. (Вообще, это только сейчас – в Северной Италии, в начале апреля, когда миндаль кругом, как невеста, облачился цветом зари, – вспомнить можно без содрогания. А тогда – не жизнь была, а как бы сплошное ее, жизни, сотрясение.)

Так вот, в ту пору однажды купил я в буфете Консерватории бутылку крымского вина. Решил выпить с горя. Грустно было – жена выгнала из дому.

– Иди, – говорит, – денег где-нибудь достань – хоть своруй, а то мне скучно.

А надо сказать, по начальной профессии человек я совсем не денежный. Математик. Покамест жена так выкаблучивалась, я за год полдюжины работ сменил.

Так сказать, от теории к практике: за алгебраическую топологию совсем платить перестали, так я устроился оператором в Институте механики, на аэротрубе. Крылатых ракет макеты продувал. Работа совсем непыльная, между прочим. Сядешь верхом, пришпандоришь датчики, солнце из распашного цехового окна в трубу ярит, пропеллер стрекозиным нахрапом в зенках чешет, кругом турбулентность стрежни форсажем рвет и мечет: и вроде как летишь – интересно даже.

А как отрубили электричество, встал пропеллер, определился я на Птичьем рынке торговать почтарями, – покуда все они у меня от чумки сенной не отлетались.

После назанимал у гавриков с Птички денег на прокрут – стал челноком возить из Чада куртки кожаные: снабжал точку на тол-

кучке в Сокольниках. Три дня там, два здесь. 16 раз сгонять успел – жене на радость: кожанки из шимпанзе хорошо шли, раскупались вмиг, хотя товар дорогущий. Особенно бандиты любили в шимпах щеголять: называли – «вторая кожа».

Мне до слез было жалко всех этих птиц, обезьян. Жену проклинал, но, любя до смерти, грузил вонючие клетки, вез вороха шкур в баулах – целые селения шимпов. Совсем извелся на такой работе. Всю дорогу чудились мне преступные толпы, марширующие по проспектам в моих куртках. А за ними – духи голых обезьян, – то стенающие, то передразнивающие тех, кто щеголял в их шкурах...

Хорошо – на семнадцатый раз у меня на таможне всю партию отобрали. По всему – соседушки сокольнические стуканули начальничкам. А закупался я на всю прибыль, как фраер: не припас на черный день почти ничегошеньки.

Говорит мне таможня:

– Попал ты, парень: кожа приматов хуже наркоты.

Так и вышло – по сказанному: на деньги большие попал – откуп, долги. Ужас меня объял, скушал, жизнь совсем обрыдла.

Жена мне говорит тогда:

– Ты бы ушел пожить еще куда-нибудь, а то и меня с тобой прищучат.

А я тогда в последний заезд подхватил в Чаде дизентерию – хлебнул в аэропорту, в сортире, две горсти воды из-под крана – не стерпел, жарко там очень.

Не пожалела:

– Иди, – говорит, – подобру-поздорову.

Я и пошел: в Зюзино ночевать к приятелю – в аспирантскую нашу общагу. Еле дошел – то и дело прятался по кустам с нуждой неотложной.

В Зюзьке месяц промаячил орлом над толчком, как джин дизентерийный, чуть не помер: а подайся я в больницу – сразу бы засветился. Так бы и кончил: в дерьме и в крови, как в кино, по уши.

Однако, пока болел – отстрелил кредиторов моих кто-то.

Женка ж меня обратно пустить – ни в какую. Отвыкла, видать, пока прятался.

Ну, думаю, ладно: разбогатею – сама прибежишь.

Устал я тогда очень. Исхудал – одни мозги да душа остались. К тому ж, до смерти устал от страха трястись – достали: жена, покойные кредиторы. Дай, думаю, тайм-аут возьму – расслаблюсь, пораскину, как дальше быть, может, что и надумаю с толком.

И полюбил я тогда читать книжки и по городу ходить. Стишки повадился на ходу придумывать. Математикой кое-какой снова в уме занялся. Но все больше стишки, конечно. Днями целыми хо-

дил, шлялся где ни попадя, нагуливал настроение на поэзию, – чтоб ввечеру стишок какой тиснуть на бульваре.

Ночевал я в той же общаге – в кастелянной, чтоб приятеля, с бабой новой его, не тревожить. Ключ подобрал и ночью вскарабкивался на сложенные матрасы. Как принцесса – на горошину. Нехорошо там спалось, несмотря что мягко очень: спишь, как на облачности летаешь – туда-сюда во сне болтало, будто падаешь и взмываешь, а земля, твердь – с горошину ту самую, что заснуть глубоко не дает, так как ворочается под поясницей – далеко и жутко. Все оттого, что матрасы чересчур высоко были наложены – до потолка носом подать. Форточка на уровне глаз маячила. В нее звезда одна вплотную смотрела, мигала всю дорогу небесную: мол, держись, браток. Я и держался.

И еще минус – рано вставать приходилось, пока не нагрянет комендантша.

Чуть свет – вскакивал, умывался и шел бродить по городу, как собака, которую из дома вышвырнули, а та – не в силах привыкнуть к воле – повадилась ночевать на чужом пороге.

У гуляний моих было два направления – любопытство и праздность.

Вот по первому я и зашел однажды к Петру Ильичу Рубинштейну – проверить репертуар консерваторский. А там пусто – никто уже не играет, оркестранты, видать, по кабакам подались лабать: только, смотрю, в буфете мурло с саксофоном торгует винищем. Подудит, подудит и кассой – щелк.

Ну, думаю, раз нет репертуара, то и мы выпьем.

Дайте мне, говорю, вон ту бутылку, в черно-красной этикетке, с кудряшками; называется «Черный доктор».

Мурло снял, рукавом от пыли обмахнул. Поставил:

– 17 рублей с вас. Только это никакие не кудряшки, а лоза виноградная.

И – ка-ак духанет в басовый аккорд: шквал перегарный оплеухой в морду. А мне все равно – взял бутыль за горло да пошел на Суворовский бульвар, чтоб в теньке оприходовать эту гадость вместо музыки, раз ничего не играют.

Только вот пробка что-то не вытаскивается.

Верчу я бутылку так, сяк, по дну ладонью, коленкой стучу – ни в какую, ни на миллиметр. Авторучку сломал – хотел внутрь протиснуть. Мизинец вывихнул. Пробка ж ни с места – приросла, пустила в стекло корни. Прямо клин какой-то, что свет извел. А подумать – кусок деревяшки, щепка.

Изнемог я с этой пробкой, хотел было бутылку устаканить в урну, а вместо книжку достать – та, поди, уж точно сразу откроется.

Но не тут-то было.

Там, на бульваре, стояла напротив скамейка. И два битюга на ней в кожаных польтах (я своих обезьян сразу узнал по покрою – такой фасон имелся только у Баламуда, чадского моего подельщика). Оба лысые, с усами. Только один побольше, а другой в очках – ему по плечо и виду более благообразного, похож вроде на барсуна?..

А погода кругом – чудо в юбочке: начало июня, птички, солнышко, липа цветет, и запах от нее волнами ходит.

Смотрю, те двое воблу, тарань, или плотву какую – издали не опознать, брезгливо так, щепотями ломают надвое: один держит, другой тянет.

Но вот бросили рвать, и Барсун мне рукой машет, подзывает.

Я смекнул – надо чего, или насчет воблы кое-что хочется выяснить, – взял да и подошел к ним: человек-то я, в общем-то, вежливый, податливый, можно сказать, – а что виду они – не по мне – такого, то это – это, думаю, ничего: все ж таки, как все – прохожие.

Подхожу, а Барсун мне и говорит – чего, мол, ты бутылку бросил? Совсем дурак? Неси сюда – мы тебе выдадим штопор.

Принес я бутылку (чудо, что еще никто не потырил). Хотели они мне ее штопором чпокнуть – не тут-то было. Повозились, покрутились – только растянули в проволоку штопор из ножичка швейцарского.

Плюнули. Ладно, говорят, хлебни нашего. Достали из портфеля такую же, но початую. Хлебнул, а свою запазуху прячу – еще пригодится, думаю, раз попался экземпляр такой уникальный – прямо камень преткновения, что ли.

Тем временем хлебнул я еще из подарка.

Стали расспрашивать. Точнее – Барсун делал мне вопросы. А тот, что грозный с виду, почти всю дорогу стремного пути моего помалкивал, – видимо, то ли цену себе набивал, то ли оказалось, что плевать ему на меня.

А я и отвечаю, сопротивляться не думаю даже – два месяца ни с кем не чесал, дай, думаю, слова хоть какие вспомню, языком на ощупь.

Сначала, говорю, занимался математикой, был аспирантом, в универе решал задачки всякие по математике, а потом жизнь кувыркнулась и пошла, пошла коверным во все тяжкие – сдурел, говорю, совсем – науку на мели кинул, спекулянтом стал – перестал – чуть не шпокнули из-за денег; стишки с горя начал придумывать, вот и жена прогнала из дому, доигрался, говорю, дурень.

Раньше, говорю, когда замуж шла, думала – за академика прется, да не тут-то было.

– Обозналась, – говорит, – звыняйте батьку, а мне иную партию пошукать треба.

Украинка она у меня, червовая дива – красива-ая, – ну, як панночка прямо. Брал я ее из Житомира – на конференции в Киеве познакомился: была она на заработках – горничной в столичной гостинице. А теперь вот одна по квартире моей – родительской – шастает. А может, и не одна, не знаю... Поди, уж и карточки мамины со стен в сервант запихала. Однако ж, забыть ее никак не могу, как не силюсь. Сроднилась она мне, не то что – я ей: чужой совсем придурок. Думал недавно: собаку купить – подружиться с песиком, развеяться – да вот сам бездомный, куда я щенка приведу, – а с собой таскать: утомится бедняга.

А подумать – деревня она у меня деревней: сельская жительница, малоросска – ей бы яблоками на базаре торговать, а тут нате: прописка в столице, трехкомнатная хатенка на Плющихе. Да еще мужнины сбереженья – хватит года на три сплошного шика.

К тому ж, говорю, мужа-то самого похоронила заживо...

На самом деле, говорю, я ее даже жалею – она от глупости такая злая. Бедненькая она, неграмотная почти – половину слов по радио не понимает: как раз от нее-то я и говор такой перенял придурочный – vox populi, не отделаюсь никак. Да и не хочу, если честно: из любви, из памяти, что ли.

Да-а, вздыхаю, была червовая, стала червленой.

И еще хлебаю из халявы. Хлебаю – и вдруг чую: разобрало меня хуже некуда. Понимаю, что вру-завираюсь, а стоп себе сказать не хочу – не потому, что вздумал пожалеть себя, а потому, что слишком я себя ненавидел все это время.

Очнулся я от себя, смотрю на соседей по лавке – Барсун вроде проникся: хлопнул напарника по лопатнику, где сердце – кричит:

– Наш человек, наш мальчик!

– А я, – чуть он не прикусил мне ухо, – семь лет оттрубил профессором филологии в Лумумбе, слыхал про контору такую? А теперь вот – на-кося: бухгалтер!

Тут я смотрю: а Барсун-то – в стельку. Как насчет второго биндюга, не знаю: молчит он все; а этот уж как пить дать.

Барсун тем временем – вроде как от болтовни моей – обмаслился, раскис совсем, мне шепчет:

– А я, понимаешь, пять лет по Соссюру лингвистику читал, Леви-Стросса, Якобсона, Бахтина, как братишек, люблю и – во как уважаю!

Тут второй бандюган достает три четверти «Абсолюта перцового» – красивая такая, тонкого стекла и цены высокой водка, – одно плохо: только четверть в ней кристально плещется, – и строго так одергивает напарника:

– Ты что-то, Петька, совсем забурел. На вот – сполосни от рыбы ладошки, морду побрызгай. – И давай лить водку на щебень, я аж поперхнулся.

Помыли они руки, умылись – и собираются уходить. Встали, оглядели лавку – не забыть бы чего. На меня не смотрят – нечего смотреть ведь.

Тут сзади из кустов к ним еще трое в шимпах победней, подходят – и встали в сторонке. Пригляделся – стоят тихо и в карманах щупают, катают нечто, что ли.

Ну, думаю, сейчас начнут палить. И тихо так, не раскланиваясь, пригибаюсь и в сторонку отгребаю понемногу – без внезапных движений.

А Барсун мне:

– Цыц! С нами пойдешь. Море пить будем. Правда, Петь, ведь наш мальчик-то, совсем наш!

Здоровый Петька плечом – крутым, как бугор, – повел под кожанкой и на маленького вполоборота глянул:

– Как хочешь. Только странно мне это, ты знаешь.

Короче, те, что из кустов образовались, – сподобились ихними телоблюдителями. Деловые такие, услужливые – все молчат и головы набок клонят: у них по наушнику в каждом левом ухе блестит – будто слушают глас Старшого или тайное радио.

И я оказался вроде как при них – плетусь и шаркаю, а зачем – еще не знаю, из праздности, видимо.

А с Барсуном творится уж совсем пурга: он то трезвеет, прямо идет, глазом в стеклышко зыркает, а то совсем в стельку стелится, на руки телохранам падает. Прям как мальчик маленький с папой-мамой за ручки: два-три шага нормально пройдет и вдруг – повиснет. Третий же рядом с грозным Петькой пошел – адъютантом вышагивает.

Ну, думаю, придуряются типчики: непременно надо держать с ними ухо востро, а то выйдет неприятность. (Я же не знал, что она, неприятность-то, и так уже вышла...)

Между тем, скверик кончается, сходим с обочины.

Тут, откуда ни возьмись, «понтиак» кровавый – вжик: колеса – как солнца. Водила миллиметраж хотел по бордюру выправить – ботинок мне со ступней отдавил. Хотя и не больно, но нагло. Надо, думаю, возмутиться.

Смотрю на водилу подробней – а тот пушку с правого сиденья принял, на торпеду швырнул, будто вещь какую. Ладно, думаю, пусть пока катается как хочет...

А на правое сиденье уже укладывают Барсуна под локотки, распахнули задние дверцы– и предлагают мне присаживаться подле Молчуна ...

В общем, чем дальше, тем глуше – как в сказке.

Колесим мы, значит, по Центру на кумачовом «понтиаке» – девки на нас с тротуаров заглядываются, парни оборачиваются. Наше счастье – пробок ни одной, есть где с ветерком раскатиться. И мне езда очень нравится – полгода хожу пешком, деньги на такси экономлю. Устроился поудобней – бутылку свою в рукав чуть передвинул, чтоб не выпала, и стекло на всю спустил – глаза с удовольствием подставил встречному ветру.

Барсун сначала вздремнул, потом приободрился, стал хулиганить: высунется на светофоре перед какой-нибудь пешеходной бабенкой – и то песню орет ей про княжну Стенькину, то «Облако в штанах» декламирует. Кричит-рычит:

– Мар-р-рия! Дай! Не хочешь?! – Ха!

Женщины от его рожи справедливо шарахаются, а он им вдогонку: «У-у-у!» и ладошкой по юбке – хлоп, словно ловит муху в кулак.

Короче, поколбасились мы так по улицам еще минут двадцать и прикатили куда-то на Знаменку. Выходим. Там опять та же охрана – встречает. Все трое тут как тут – как на часах, разве что не тикают.

Поднялись в офис. В нем пусто, компьютеры пылятся на столах, вверху пропеллер гнутый вертится, препинаясь как во сне. На мониторе одном бюстгальтер, будто прапор переговорный выставлен. И кот здоровенный рыжий по подоконнику пляшет на задних лапах: за жалюзями мух мутузит по стеклу.

В углу громоздится сейф, и радио над ним надрывается:

– Пусти, пусти, Байкал, пусти!

Я и смекнуть не успел, старший Петька пошуровал на коленках что-то под сейфом, дверца – прыг, а там – елки-палки: денег как грязи! Мама мия... Доллары – баррикадами, марки – развалом, а рубли – вроде как мусор: сверху ими все припорошено.

Вдруг радио над сейфом прохаркалось, тишиной немного пошуршало, да как выдаст:

– Дорогие братья и сестры!..

Тут Барсун опять протрезвел – шмыг прямо к сейфу, радио щелк и – цап-царап, цап-царап – пачечки распихивает по карманам: две себе положит, а третью передаст напарнику, что еще с колен не встал. Когда набрал норму – хлоп дверцей, и шасть к моей милости – сует мне в нагрудный карман кипу и прихлопывает, чтоб оттопыривался поменьше.

А я:

– Извините, ни к чему мне эти фантики. Спасибо, – говорю, – возьмите, пожалуйста, обратно, – и ему в карман все дочиста перекладываю.

Тут Барсун опять обмаслился, да как заорет, полез обниматься:

– Наш, наш, Петька, мальчик! Я ж говорил, нашенский он, ты не верил!

Короче, дальше был уж полный швах.

Повели они меня во все тяжкие. В Дома журналистов, литераторов, киноактеров и композиторов – по ресторанам море пить. И всюду-то их знают, всюду-то их у дверей по мановенью охраны встречают, усаживают за столики, подвигают стулья, тут как тут несут семужку норвежскую с кухни, на пробу посола... Однако, лично на меня халдеи как на собаку поглядывают: будто я хуже Петек. Да и то правда: ведь на дармовщинку-то с хозяевами жизни путешествую... Но посмущался я недолго – и расстраиваться плюнул: сам себе на уме буду, а на ресторанщиков чихать – плебс как-никак, какой с них толк-то?

Ну и натрескался тогда Барсун наш! Мне его аж жалко стало. После последнего номера – в Доме композиторов, где он Шнитке пытался девке какой-то на бюст намурлыкать, – блеванул-таки на выходе.

Притом – ладно бы, если бы так просто стошнило: подумаешь, человеку стало дурно от живота. Но ведь вышел еще больший конфуз при этом. С Ростроповичем.

Он, оказывается, в эту самую минуту, как подались мы из ресторана, – из аэропорта на Родину возвращался впервые. Из Шереметьева должен был с женой-певицей и делегацией встречающих заехать на Новодевичье кладбище – поклониться Шостаковичу. А после – в родные пенаты. Вот его здесь, у выхода-то, и ждали. Ему квартиру в доме Союза композиторов вернули перед приездом – и подготовили встречу с митингом.

Как раз мы из ресторации выходим – чтоб пройти к Центральному телеграфу, где машину с водилой оставили. А тут – фу-ты ну-ты – толпа на выходе жужжит и куражится: дамочки в декольте бижутеревых, мужики-пиджачники – по всему видать, композиторы – смолят трубки, подбоченясь, гривы правят пятерней. Плюс – официантики в жилетках бегают с мельхиором и богемским на руках – шампань разносят, репортеры пробуют вхолостую вспышки; а над подъездом висит лозунг – голубым по простынке белой: ГАЛЕ И СЛАВЕ – СЛАВА!

Прямо свадьба какая-то. Я аж оглянулся – шаферов поискал...

Тут Барсун, как все это увидал – ка-ак блеванет на поднос разносчику – тот обалдел: стоит, как закопанный, и даже не мыслит отряхнуться. И я стою, бутылку свою плечом наружу подвигаю – думаю, как начнут бить, так хоть ей оборонюсь, чтоб совсем не забили.

А Барсун тем временем отплевался и как завопит:

– Люблю Шостаковича! У-у-у! Пятую! Давай симфонию! У-у-ю! Всем – лож-жись! – смир-рна! Пятую давай! Давай Пятую! У-у-у! Хочу плакать! Су-уки, плакать хочу!..

В общем, пока он так выл, едва наша охрана подоспела – а то бы Барсуна как пить взять – схавали б и растоптали: за хвост и башкой об угол. Это точно – композиторы, они слов не понимают: у них сплошные чувства, звуки – звери, прям, какие-то...

Думал я, что на этом все. Что меня теперь восвояси отпустят. Но не тут-то было. Ошибся я. Причем трагически. Прямо как Федра какая ошибся. Или – петух: который через думку свою окаянную попал в ощип, – тоже фигура трагическая, не хуже Антигоны.

После Ростроповича последовал один актер. Добрейший дядька, понравился мне очень. Забурились мы к нему у Белорусского вокзала. Поднимаемся – смотрю, а в дверях, черт возьми – Генрих IV стоит, из моего любимого кино, – только не в латах, а в трениках и в рубахе навыпуск...

Приветил нас актер, накрыл стол, бутылки откупорил и песенник достал – все как полагается. Только не долго у него мы загащивались.

Поорал Барсун вдоволь «Выхожу один я на дорогу», и тут мне поблевать захотелось. Иду срочно в ванную, но смотрю краем глаза – Генрих за мной. Ну, думаю – мало ли чего, может, руки охота ему помыть. Однако ничуть. Стою я, блюю мало-помалу, а король мне в ковшике подносит воды с марганцовкой. Красивая у него ванная – я отметил: кругом кафель с корабликами-рыбками всякими, и еще особенно запомнил – на полке под зеркалом стоял шампунь забавный: прозрачная банка с буквами, внутри – сияет янтарь жидкий, а в нем здоровенный жук-олень, – а как он туда рогами через горлышко поместился – чудно, неясно.

Черпает Генрих мне, значит, третий уже ковшик, а после ласково так массаж по спине, по плечам запускает. А я, дурак, расслабился зачем-то – давно никто не уделял мне ласки: жену, идиот, телом вспомнил, чуть слезой не пришибло. И на жука того в колбе смотрю-смотрю: чудится мне все, что он рожки мне делает, шевелится. Если б не жук – точно бы разревелся...

Хорошо, я вовремя очнулся: в зеркале Барсун из дверей залыбился. Я ж от измены такой обстремался срочно.

Спасибо, говорю, Генрих Антонович, но я совсем не по этой части. Просто, говорю, жена от меня ушла.

Добрый Генрих тоже смутился:

– Ничего, – говорит, – извините, бывает.

Говорю ведь: превосходнейший человек – не только что фильм

отличный. Жаль, что мы срочно так от него ушли: Барсун снова тошнить захотел. Причем, кричит: надо ему на воздух. – Воздух, орет, мне дайте, – и во двор без лифта деру, – мы за ним, ясно дело: всю песочницу заблевал, едва дети спастись от дядьки страшного сумели.

А потом – прямо кошмар, что потом случилось.

Вообще, на первый взгляд мы совершенно произвольно, совсем не руководствуясь принципом наикратчайшести, колесили по городу, время от времени будто случайно выныривая там, где надо. Этот способ передвижения, этот способ проистекания пространства, странным образом напоминал принцип лотереи: где мельтешение шаров, злобно будоража мертворождающееся будущее, содержит абсолютно все ваши куши, – но выскакивающий нумер раз за разом приходит точно по назначению: на убийство ваших шансов.

Однако, приглядевшись к городским рекам и речкам, проистекавшим в окне «понтиака» (передвижение по столице вообще похоже на путешествие по дельте могучей реки, имя которой – Государство), я вдруг заметил, что видение города происходит по какому-то совсем не случайному плану. Что оно движется со своими особенными монтажными ужимками и выкидонами, будто беспредел катаний на «понтиаке» дадаистическим образом составляет мне метраж исторического фильма. Всю дорогу мы норовили замедлиться или вообще беспричинно тормознуть у какой-нибудь известной городской усадьбы. Так, мы минули кратким постоем – тургеневский мемориальный домик на Пречистенке, где Иван Сергеевич почти и не живал, страдая от вечного раздора с норовистой своей матушкой; на Поварской у Дома Ростовых мы прокатывались едва ли не три раза сряду, а после сразу же рвали зачем-то поверх Крымского брода на Воробьевы горы, понятно – с залетом через Хамовники, – чтоб, будто нарочно, дать крюк у Девичьего поля, где стоял каретный балаган, содержавший Безухова и Каратаева, в плену у французов. Я уж не говорю о бесчисленных проездах по Лучевым в Сокольниках, где Пьер за сучку Елену подстрелил Долохова. А также о разлетах у Дома на Набережной, через Каменный мост, на Театральный и Лубянский, к Музею Маяковского; а потом тут же с залетом на его же мемориал на Пресне, 36, мы рвали к «Яру» на Грузинах, и после сразу на Солянку, к Трехсвятительским, к дяде Гиляю, на «Каторгу» и к Ляпинским трущобам, хранившим великого Саврасова... Вот там как раз я не выдержал, укачавшись поездкой, и хорошенько проблевался под минералочку под флигелем Левитана, стоявшем во дворе Морозовской гостиницы, где в подвале эсеры держали в заложниках Дзержинского... И хотя я и был сурово

пьян, но то, что мне город собирался показать этим «кино» – меня волновало больше, чем Барсун, – во сне слюняво кусающий мое плечо, как младенец мамкин локоть...

Постепенно насторожившись, я стал кое-что прозревать, но не успел утвердиться, как Барсун в машине опять – от ветерка, видать, – протрезвел, стал липнуть к водиле: мол, хлебни глоток – смажь баранку. Вовремя остраполил его здоровый Петька, успел: водиле-то отказаться неудобно – раз сам легионер предлагает, он уж и грабли от руля за бухлом протянул. Только Петька-большой тут ка-ак – шмяк Барсуна по жирному загривку:

– Ты что, Петюня, по нулям забурел?

Барсун тут же на попятную: бутылку в окошко – швырк.

И смекнул я тогда: кто тут по правде у них настоящий император, а кто прокуратор выдуманный...

Не успел я размыслить над этим, как Барсун достает из перчатницы еще одну – и ко мне:

– На – глотни, все равно пропадать!

А я – в несознанку: мне, говорю, не хочется, мне, говорю, и так плохо.

А сам бутылку свою от страха к ребрам плотнее жму: думаю, ежели что – как вдарю...

Тогда Барсун всполошился, да как заорет водиле:

– Гони к Парфенычу, гони! Я его с курями поить стану!

Пока к Парфенычу катились, на улицу Энгельса, к Головинскому саду, Барсун опять ко мне с сантиментами – гад, замучил совсем:

– Ты, – говорит, – определенно, наш мальчик. Ты, – говорит, – даже не представляешь, какой ты наш, как тебе повезло, засранцу.

Ну, думаю, пусть, пусть себе языком треплет: я чуть что – на перекрестке дверцу во дворы распахну – только ты меня и видел.

А пока до Парфеныча в пробках стояли, рассказал мне Барсун историю одну – то ли расчувствовался, то ли со скуки, только стало мне вдруг интересно.

Говорит:

– Что тебя баба помелом погнала, это я очень даже понимаю. Я, когда тебя чуть постарше был, тоже травануился любовным расколом. И чтоб не страдать, аспирантом в загранку подался. Нас из МГИМО куда хочешь тогда посылали – пошпионить, постажироваться. Вот и я рванул с тоски в Германию – развеяться. Там меня по части комсомола определили, фининспектором вроде: я взносы по гедеэровским райкомам собирал, учитывал – с умыслом, ясное

дело... Короче, – говорит, – ты не поверишь – плакать будешь, как я резидентом в Зап. Берлине себе крышу определил. Открыл казино со стриптизом на комсомольские взносы. Так и жил – во сыру да масле, а пива было – сплошная ниагара... Про бабу свою от жизни такой забыл наскоро – как не было, суки той. Вот и ты забудешь.

Тут я, конечно, ему не поверил. Хотя сомнение он в меня заронил, признаюсь.

Однако, долго ли, коротко, приехали мы до Парфеныча – в ГОРО: Городское общество рыболовства и охоты – над самой Яузой, в Лефортово, особнячком шикарная такая усадьба, с иголочки после реставраций. Высыпаемся ко входу – а у дверей кипарисовых уже телохраны: Гогой-Магогой стоймя стоят, башками друг к дружке жмутся – наушники одни на двоих слушают. Нас увидали – разошлись, ходу дали, – а наушники на проводке провисли типа ленточки. И зря – Барсун проводок как рубанет наотмашь: левый за ухо схватился – терпит.

Смотрю на угол с адресной табличкой: Большой Эльдорадовский переулок, а по перекрестку – Энгельса, значит.

Ага, думаю, приехали...

Заходим, подымаемся кое-как – больше Барсуна в поясницу толкаем, чем сами идем. Да еще лестница винтом – крутая больно, но красивая – вроде витражная колба идет вокруг ступенек штопором: ромбы, цветочки, серпы, молоточки, знаки качества (пентаграммы с человечком внутри распятым), восьмиугольники также, голуби, веточки, звездочки разные... По такой лестнице, если б не Барсун, подниматься одно удовольствие – как во дворец, не меньше, а то и – в ракету на Байконуре.

Но вот и вскарабкались. Главная зала – насквозь залитая светом, будто лампа – вроде как музей: зеркала, стол с приборами, пионы в корзинке, клавесин, камин, картины по стенам маслом – все больше, правда, монтажники-сталевары, туркмены на комбайнах, хлеб золотой веером, ворохом и фонтаном – плюс политбюро, правда, не в полном составе: однако Ч. и Щ. там были, на почетном притом местечке, узнал я их... Лет семь тому я ихние биографии на политинформации в школе докладывал: была у нас такая бодяга – по утрам на первом уроке вырезки из «Правды» по очереди расписывали вслух перед классом...

А как узнал я портреты – на чистой интуиции, необъяснимо – вздернул бутылочку свою из рукава повыше, – чтоб сподручней – наотмашь – с плеча вскинуть...

Тут заминка вышла – Барсун вдруг с равновесья вздумал заваливаться. Прислонили мы его к косяку, разворачиваемся, обходим залу, смотрю: стоит нараспашку сейф-иконостас – точь-в-точь как в

прошлой конторе, только изнутри дверцы иконами увешаны, – а перед ним жирный мужик расхристанный, в рубахе белой навыпуск, верхом на коньке-горбунке – на кресле-качалке с ногами – туда-сюда, туда-сюда – и в сейф из арбалета целится.

Дзень-бум – ба-бах!

И стрелу перезаряжает – меланхолично, как «Герцеговину Флор», пальцами из колчана на ощупь тянет.

Смотрю, а у него вместо мишени внутри – пачки денег, как в «городках», выложены колодцем-пирамидкой: и стрелы ежом торчат.

Этот-то мужик Парфенычем и оказался. Никакой уже был, лыка не плел, только мычал и рукой двигал в бессилии, будто пса гладил – так что мне его Барсун представил: мол, олимпийский чемпион по стрельбе из лука, а нынче – завхоз ихнего филиала.

Ну, чтоб еще покороче – скажу сразу, чем кончилось.

Милицией. Напротив усадьбы ГОРО – через речку, у Головинского сада, куда Петр к Лефорту на ботике по Яузе из Петербурга для ревизьи-по-мордасам скатывался, – чудный бело-розовый госпиталь Лефортовский – стройно так очень – стоял на взгорье понад речкой, – в нем как раз в 12-м году Платоша Каратаев с кой-какими однополчанами из Апшеронского полка отлеживался от лихорадки. Так вот, Барсуна за пальбу по гошпитальным окнам-то и увезли с концами – мудила через фортку палил, навскидку из арбалета: пальнет, прислушается, как стекла падают, – и ржет от счастья, затвор перетягивает. И Парфеныча менты для коллекции прихватили – ни за что, так просто: пьяному ведь, как мертвому, все одно, где ночевать...

А нас с Молчуном – возьми да и выпусти из «воронка» на полдороге: за полсотни.

Я дал. Молчуну, видно, все это по барабану было. Пока нас везли в лефортовский «обезьянник», сидел чин-чинарем – спокойный, как Емельян Пугачев: ногу на Парфеныча поставил, локтем на Барсуна оперся (тот плашмя на скамейке пузыри храпом пускал), платок чистый достал, утирается, за решетку на ландшафт по-хозяйски поглядывает.

Я размыслил-прикинул – чую: нечисто здесь что-то, – ну их всех в баню, не хочу я в участке лишний раз светиться... Достал купюру – машу ею в задний вид сержанту.

Тот по тормозам, к нам вертается:

– Командир, маловато будет: я те че – маршрутка?

Тут Молчун отозвался:

– Это за двоих, начальник. Остальных баранов я тебе на съедение оставляю.

Отпирает нас сержант, взял полтинник, осмотрел, посторонился:

– Вы, – говорит, – трезвые и смирные, даром что сомнительные клиенты, так что хиляйте поздорову, сами дойти сумеете, некогда мне с вами.

Ну, мы и пошли. А чего, собственно, не уйти, раз не держат? Вот если б препоны чинили, тогда и остаться бы можно – чтоб шум не подымать. А так-то – чего перечить?

Ну, значит, выходим. Глядь – опять телохраны, как архангелы, на тротуаре стоят. Я было обратно в «воронок» полез, но он вспорхнул.

И тут как раз самое интересное начинается.

Молчун молчит, набычился, на меня не смотрит, а я бутылку за пазухой жму – так, на всякий случай: поди, прочитай, что там у него на уме, – может, сердится за что-то, чего вдруг – еще драться полезет.

Но драться Молчун не стал. Наоборот даже. Охранников жестом остраполил – мол, держитесь подальше – и легко так под руку к метро меня влечет.

У подземного перехода сплюнул длинно в урну – попал, платочком утерся и зырк – на меня с приглядкой.

Ну, я напутствие какое от него ожидал. Думал, сейчас скажет чего-нибудь, вроде «Живи», «Бывай» или «Не кашляй». Однако совсем обратное прощание у нас с ним вышло. И не прощание даже, а наоборот – знакомство.

– Меня, – Молчун говорит, – Петром Алексеевичем зовут. Вы извините, мы вам тут собеседование несложное хотели устроить – только вот как оно все вышло. Ну да ничего. Я и так вижу – вы нам годитесь вполне.

Я – честь по чести – в несознанку: стою, ног под собою не чую, не то что землю. Бутылку еще крепче сжал – думаю: щас как вдарю – ежели что, конечно.

А дальше Молчун такую пургу несет:

– Я, – говорит, – хочу предложить вам в нашей системе, в совместном предприятии то есть, одно симпатичное место. Не пыльное совсем, при этом вполне денежное, солнечное даже место. Вы, я вижу, в деньгах нуждаетесь – да и проблемы личные вас поджимают. А на том месте – все как рукой, – слетит, исчезнет. К тому же – поучаствуете в полезном деле: Партии и Комитету вновь требуется отбыть на время в эмиграцию. Но мы вернемся еще, – тут Молчун как-то особенно помрачнел, искра какая-то перебежала с левого глаза на правый. – На табулу расу, так сказать, ворвемся, лет через пять... В общем, приходите в пятницу к нам в филиал – мы там были сегодня, в Эльдорадовский переулок, – я вам все разъясню с подробностями.

Руки не подал, повернулся – и пошел вразвалку: спина кожаная – стена ерихонская, загривок – бритый в складках, каждая – в три пальца, а кулаки по бокам свисают – будто палач за вихры головы несет, помахивает. И – бугаи-охраннички за ним, – как дети за папой.

И такой вот ужас меня тогда обуял – вспомнить стыдно.

Тут же поклялся себе – ни за что: режьте меня, полосуйте – баста, и так напрыгался, теперь буду книжки читать под забором!

Рванул с ходу в метро и, спотыкаясь, попадал в нескольких местах на эскалаторе. Влетел в поезд не на то направленье – и еще часа два куролесил по городу, чтоб потеряться.

Однако же, не потерялся. От себя не уйдешь, не то что от дяди.

В пятницу из общаги, где после жены я в кастелянной на тюфяках притулился, перебрался срочно в чердак – и оттуда, конечно, ни шагу. Все выходные проторчал с голубями, замучили они меня – голова под конец гудела от шумных их случек: кудахчут, гулят, воркуют, молотят крыльями – сил нет: не чердак, а мельница-бордель, натурально. Или – часы живые, башенные, вспять спятившие. Одно было приятно в этом пребывании – когда сизари затихали пыль месить, – лучи солнечные из-под щелей в карнизе шевелились пучками копий – веером по ходу солнца, поджигали нефтяные разводы на голубиных грудках, и вдруг разливалась тишина замиранья – особенная, будто перед справедливой битвой.

В понедельник, уже успокоившись, спускаюсь – умыться, погулять, съесть чего-нибудь... Чу! – в холле Барсун стоит – от разомлевшей вахтерши подвинул к себе телефон и чему-то лыбится в трубку. Я еще приметил зачем-то: телефон старого образца, как на КПП – эбонитовый, увесистый ларчик... В общем, я чуть не умер: горло распухло от ужаса, хотел саданут его телефоном тут же, а самому ломануться – в Томск, Тамбов, в Мичуринск, в Турцию – на дно закопаться... Только я решился – он тут же хвать телефончик: и вжик его за стойку обратно. Вахтерше мигает: мол, спасибо, миленькая. И вот жалость – бутылки у меня при себе не оказалось: расслабился, в кастелянной под матрасами оставил. Так что вдарить ему тогда у меня не вышло...

А Барсун меня увидал, откинулся поясницей и, падло, мигает: приветик!

В общем, так я к ним в лапы-то и попал. Тяжело попал, круто даже. Однако, сейчас уже – ничуть не жалею. Что дальше было – сказка сплошная, неверье, – жуткая местами, но интересная – так что дослушать было б полезно. К тому ж, совсем коротко осталось...

Для начала поместили меня с вещами на чердак, где ГОРО. На сутки, в которые я не спал, курил и все видел вокруг шарящих в придонных слоях жемчужных тунцов, поначалу принявших меня за утопленника, но побрезгавших таким кормом... Через день приходят охранники – и ведут к начальству.

Молчун с Барсуном, в полном составе и трезвости, приняли ласково – и к вечеру все было кончено: опростали меня на полную катушку.

Однако, надо признать, не очень-то я и сопротивлялся. Истерик точно не устраивал. Особенно, когда узнал, в чем дело-то было.

Говорят мне – нам навык твой кое-какой понадобится. Жить будешь на отшибе – в загранице. Тепло там и сухо, сытно вполне. Математикой своей займешься по новой, жизнь вообще поправишь – соглашайся, мол, а то хуже будет.

Пока беседовали и бумажки предо мной, как листы диспозиции, перекладывали, пока тесты – сначала несложный, потом боевой – надо мной держали, приносит секретарша от ночного курьера из МИДа: паспорт, билет, рекомендательные записки. Дали мне все это, я в руках верчу – присматриваюсь к своему новому имени. Спрашиваю вдруг:

– А как мне статьи свои научные теперь подписывать?

– Фамилию свою настоящую возьмешь псевдонимом. И вообще, – Барсун говорит, – ты там особо не высовывайся. По городу ходить – ходи: бабы там страшные, так что ничего – запасть навряд ли встанет. А вот знакомств долгосрочных не заводи совсем. И вообще – сиди больше дома сиднем, тень не отбрасывай.

Тут они с Молчуном поднялись, руки мне протянули, пожали: и за обе ладони – напористо так – к двери тянут. Дверь распахивается, а там охрана с электрошоком наперевес: на выход, мол, просим, не обессудьте...

Тяп-ляп – вкололи мне через штаны, будто диабетику, успокоительное, свезли в Шереметьево, в очередь к таможне поставили, всучили в пальцы заполненную декларацию. А я стою и думаю: «Пойти, что ль, в сортир и там удавиться? Или – в кабинке о помощи закричать». Но потом жену вспомнил – хотя и сквозь сон-укол, и это меня как-то взвинтило, так что приободрился даже. Валютную карту, что Барсун дал, а секретарша зашила в лацкан, – помял на изгиб, нащупал бутылку свою бесценную в сумке – и шагнул на таможню.

Гляжу, а таможенник мой – тот самый, что за шкуры шимпов меня щучил. И он меня узнал – мигнул с приветом: штамп без базара шмякнул и рукой так показывает – свободен, мол, паря.

Что дальше? Дальше – полет в молоке облачном, карусель посадки – два раза почему-то заходили – и то хорошо, успел наглядеться:

море штилевое на закате, чудные очертанья острова, похожего на гуся, с белоснежной, вроде меловой горой в виде гузки; белые домишки – как сахара песчинки, искрятся аж.

Когда с трапа сошли – смеркалось. Смотрю наверх – тлеющее небо – по тонам, по глубине – совсем другое. Совсем иное – вчистую, просто невиданное небо: сочное, как море – живое. Опять же дома белые, у каждого цветочные горшки рядком по-над подпорными стенками палисадников, прямо на улице, и дальше – окаймляют проход и начало дворика. И чуть не над каждой горшковой клумбой – поразительно – висит по стайке бражников трубных, ночных бабочек, каких я только на картинках видел в детстве: эскадрильей зависают, сосут длиннющими хоботками нектар, как колибри, – и треск стоит от крылышек тихий, будто листают деньги в пачке.

Потом – Никосия, Лимасоль, где пришлось в гостинице откантоваться с полным бенцом. Халабуда оказалась – вроде бордингауза: битком матросня, преимущественно английская – баб на этажи напрудили, спать не давали: по коридору в гальюн пройти – только бегом и невидимкой, а то заебут до смерти, раза два только пикнуть успеешь. И то навряд. Раз даже, когда штук пять этих дыр, вокруг размалеванных, за мной погнались, ночевать остался в сортире: сижу – молюсь-матерюсь, а выйти – до ужаса стрёмно: как Хоме Бруту из круга податься.

Но ничего, обошлось. В Лимасоли сварганил кое-какие делишки – зашел в морпредство, подал бумажки на оформление – через день забрал: на аренду своей конторки в Ларнаке.

Куда и прибыл – с великим облегченьем, проклиная лимасольскую матросню. По дороге, правда, в Никосии, где делал пересадку, сдуру заперся на турецкую территорию, прошнырнув чудом через оцепленье. Как так вышло – долго мне было невдомек... Иду – глазею, увлекся – особенно меня забавляли надписи на алфавите, родном почти (поначалу мне всюду вместо ярлычков мерещились осмысленные формулы), – норовлю заглянуть в каждый дворик, потому как непременно охота полазить по развалинам, если попадутся.

Вот и перелез случайно на ту сторону – миновав блокпост, даже местные и то, поди, таких ходов не знают. Только вдруг смотрю: вместо крестов-молотков на церквах почему-то стали попадаться серпы-месяцы. Тю-ю, думаю, – а визы турецкой-то у меня и нету. А ну как депортируют меня с потрохами!

Только стал юлить – путь нащупывать обратный, – как из-за угла патруль ооновский: каски голубые, как синей птицы яйцекладка, мать их. Увидали неместного – давай паспорт. Даю. А они чуть

не в кипеж: нету ихней визы. Схавать хотели – еле отболтался. Сначала, конечно, ни в какую – не верят, что так просто пробрался. Ну, я и повел их на те развалины, ход им через подвал показал.

Отпустили, чуть раскумекав, еще спасибо сказали, что лаз открыл. Так что ничего страшного. Даже с плюсом у меня вышло это путешествие к туркам: потому как в катакомбах, когда спичкой в одном месте чиркнул – ахнул, отколупал кусок фрески тут же – размером с ладонь. Там сюжет забавный – девушка голая, с водопадом волос ниже попы – переворачивает вверх дном здоровенный пифос, будто кастрюльку какую, – а из горшка к ней выбирается юноша, тоже совсем голый. С улыбкой. А вокруг них, надо сказать, совсем не любовная обстановочка – по периметру, полустерто, но все ж различить – битва кипит: девушки на лошадях круговую оборону от всадников держат – с мечами все, один ранен пикой, другой без башни уже – и тетка какая-то его срубленную голову уже к седлу приторочила. В общем, повезло. Очень художественная попалась мне находка: тела и лошади на фреске переплетены были в настолько подвижный рисунок – что не оторваться.

Еще мне в Никосии кофе очень понравился – все никак я не мог после «успокоительного» отойти, всю дорогу ходил сомнамбулой, глушил кофе, чтоб проснуться. Крепкий, сладкий, с солью-перцем. Такой ядреный, что с каждым глотком сердце – прыг-скок – и выше, выше в грудину, аж под горлом уже толчется... Как-то раз расчувствовался я и похвалил кофе хозяину кофейни – тот расплылся:

– Кофе, – говорит, – должен быть черен, как ночь, горяч – как ад, и сладок, как любовь...

В общем, проторчал я в Ларнаке худо-бедно три года, без малого. И то дело. Подзаработал немного, а под конец – обогатился даже. Только чуть не помер при этом. Но хранил Всевышний – по случаю. Тут вот в чем дело.

Конторка, где я аферил, была совсем маленькой комнатушкой – восемь на семь по улице Исофокла. Первый этаж, вход прямо с улицы – под неброской вывеской: See Tours <=> Σομα Ποιοκ; окошко одно пыльное, бамбуковые жалюзи, стойка перед задником; в нем – стул, секретер, с крышкой надвижной, на нем – дырокол, бутылка та самая – маленькой стелой, папки, факс-телефон, кассовая наборная печать, да книжка какая-нибудь, или ксерокс научной статьи. Назади, на стене – карта Средиземноморья, лист с расписанием рейсов и – кусок той фрески Никосийской, приделанный гвоздем к стене, в толстой рамке.

Торговал я также билетами и на морские круизы, но больше – на паромы местного назначенья. Чаще всего покупали оптом – два де-

ляги: палубные места на Хайфу за ночь – и вечером обратно. Закупались они редко – вперед на две-три недели; звонили прежде – чтоб я поспел, в свою очередь, вызволить резервацию в мореходстве, – и присылали днем позже курьера, которому я выдавал пачку выписанных безымянных – самых дешевых, палубных билетов. Так что времени у меня было навалом, и торчал я у себя совершенно один – никто никогда ко мне не совался.

Летом на улицу днем старался не выходить: жара стояла такая, что прогулка по риску сравнима была с выходом в открытый космос. В жару жизнь в городе начиналась чуть свет – вообще затемно: еще на ощупь открывались жалюзи мастерских, у фруктовых лавок с сонной руганью под нос происходила расстановка товара – стукали на прилавок ящики, расчехляли весы и кассы, танцевально поскрипывали тачки зеленщиков, роскошно везших на мягком, шинном ходу вороха овощей в росе обильной, как в брильянтах.

(Часам к одиннадцати все подчистую вымирало, будто в комендантский час. К тому ж иногда в полдень мне становилось... странно, если не сказать страшно: бывало, по делу позарез надо наружу выйти, но не могу – знобко мне, жутко аж до жмурок. Как в месте разбойничьем ночью. Хотя и свету полно, а жуть такая – прямо дыхалку спирает: все отчего-то мне мерещилось чудовище полуденное по переулкам где-то – бродит прозрачно, тяжело, огромно...)

Людишки шевелиться начинали только на закате – и то лишь на последней его фазе, когда тень от углового дома доползала до самого конца улицы – вроде как конь длинной шеей до корма в стойле, – и воздух становился совсем розовым.

Дом мой был выложен из толстенного кубика – известняка, пористого, с россыпью ракушек на срезе, и кое-где сине-перламутровых, как куриные желудочки, «чертовых пальцев», – так что внутри было прохладно. Спал я здесь же – в заднике конторки, где был санузел и пазуха вроде чулана с тюфяком и оконцем в две раскрытые ладони; в окошке этом жил по утрам – на солнце нежной зеленью в прожилках – шершавый лист инжира, росшего в заднем дворике: муравей иногда приходил топиться от жажды – в капельке млечного сока на полюсе плода, день за днем в полный рост наливавшегося от самого черенка, будто шар воздушный от горелки.

Обедал я обычно наверху, во втором этаже – у соседки-гадалки. Болгарская цыганка, толстая добрая Надя держала у себя дома гадательное заведение – по хиромантии и Таро. Приходили к ней регулярно одни и те же клиенты. (Однажды глядя привычно на куцую их вереницу, каждый вечер переминавшуюся у винтовой лестницы, ведшей к Наде, я подумал, что нужда в услугах гадалки – что-то вроде страсти по частному психоаналитику, вроде дыромоляйства,

только гаданье – более честная все-таки деятельность, чем лженаука – психоаналитика.)

Обвыкшись друг с другом, мы с Надей стали добрыми соседями. Кормила она меня за грош – овощной южной вкуснятиной. Сама заквашивала брынзу (крошево сычуга, растираемое в ладони, драгоценно ссыпалось в молочный жбан, как намытое золото в множительную реторту). Драхмы-лепты мои брала нехотя – говорила, что я ей сполна отплачиваю своим обществом (на деле – пустой и ленивой болтовней в ответ на расспросы про заморские страны советской жизни). Только вот мучила меня Надя немного сводничеством, которое, увы, было у нее в крови. Покормит-покормит – и, как следующее блюдо, достает нежно альбом с фотками. Я и смотреть уж потом боялся – такие там все крокодилы были: бровастые, с веерами-цветочками, шарфиками, глазищами...

А Надя все мне альбомчик подсовывает, новеньких там расхваливает. А пока нахваливает – варит кофе, раскладывает пенку ложечкой, разливает и приговаривает с умыслом: вот, мол, тебе кофе мой – ночи чернее, ада жгуче, слаще любви...

Однако с любовью мне на Кипре долго что-то не фартило. Ходил по кофейням, по пляжам, как призрак в предвкушении воплощения, – ни одной так и не нашлось, чтоб сумела меня отвлечь. Все жена мне где-то рядом прозрачно мерещилась. Да я уж и забыл, что она мне женою когда-то была – так... образ некий.

Правда, был все-таки случай. Неподалеку от конторки моей девка одна на углу стояла. Мало было что-то у нее клиентов, несмотря что ко всем прохожим подряд, кроме баб, липла. Да все какие-то старенькие ей попадались. Уйдет с таким пузачом – брюхо спереди, четки сзади, – а минут через двадцать снова на углу топчется.

Ну, я как-то днем, в самый полдень, когда улицы солнцем вымело, – дай, думаю, схожу к ней – узнаю, как живет, или еще там что-то.

Страх-робость поборол – и двинул. Обрадовалась однако. Повела к себе. В подъезде кошка с крысой цапались: стоят друг пред другом, фырчат – но ни одна ни с места. Кругом чад по лестнице вьется: мочой и баклажанами жареными страшно воняет. Лестница – крутая и темная – вроде как в башню ведет.

И черт его знает, что там наверху. Дорогой мне и расхотелось.

Однако пришли. А дома у нее, в чердаке – старушка-мать и сестра горбатенькая – обе жалкие такие: в личиках кротость придурковатая и радость, что клиент имеется. Меня увидали – чаю налили и сами куда-то провалились. Сел я к столику низенькому чаю попить, в окошко на крыши глянуть, – а она хлоп – на колени, груди вынула – и ко мне между ног лезет...

Я говорю – подожди: за чай тоже заплачу. Да куда там.

Стянула до колен шорты, я чай себе вниз пролил – чуть не прибил дуру. Однако сдержался. А она молодец оказалась – ласковая. Тем временем разволновался я почему-то сверх меры, жена опять примерещилась, замутило меня, завертело... – да как блевану с горя чаем. Оплошал в общем. И ее забрызгал.

Да уж, конфуз – всем конфузам конфуз.

Ну, крик подняла. Мамаша с сестричкой снизу влетели. На ступах. Или – на птице Рух, как мне потом показалось. Кругом крыльями молотят, подпрыгивают, волосы рвут, к моим тянутся. Сестричка ейная на горбу рубаху разодрала и тычет – хочет что-то мне показать. Смотрю – а там на горбу татуировка искусная, цвета невиданные: поразительно, прямо-таки загляденье. В ступор вошел, забыл про все, пока разглядывал: по горбу холмы лиловые идут, сады по ним в цвету, а между – под башней в чаще, озерцо лазурное: на дне его что-то странное, очень знакомое – девушка с распущенными до ягодиц волосами сверху юношу любит...

Я обомлел, а горбунья обратно от меня воротится – и куда-то наверх тычет и пальцами трет.

Я в панике. Ругань теперь такая поднялась, что лучше б сразу съели. Мать к окну подлетела – караул орет, а моя красавица ползает по полу, царапает ноги мне голые и голосит, как по покойнику. Хорошо, догадался – дал плату, кинул об пол пачечку: затухли сразу.

Когда спускался – на лестнице мертвые крыса и кошка лежали: плюнул.

Больше к ней не ходил, не думал даже.

Да и она потом с угла пропала куда-то.

Основным же делом моих афер была, конечно, отнюдь не продажа морских билетов. Раз в месяц, или в пол-, приходил мне факс с номерами счетов, сумм и атрибутами банков. Я тут же пропускал входные данные по своим разработанным схемам, коротко прикидывал результативность и рисковые заклады, находил выход – или его не находил: тогда посылался обратный факс с просьбой пропустить два-три таких-то начальных варианта по таким-то цепочкам мадагаскарских, или еще каких оффшорных транзакций, получал вскоре подтверждение, – и тогда звонил в местный банк: чтоб предварить клерку ожидание такого-то перевода и попросить его подготовить к обналичке такую-то кучу денег.

Затем шел на соседнюю – Миносскую, кстати, – уличку, покупал в аэродромной конторке, вроде моей, билет на гидрокукурузник, летающий по местным линиям – на Порос, Гидру, Поклос, Траксос, на Каламат, или еще какой чудный остров Эгеи; перед са-

мым отлетом шел в банк, набивал деньгами рюкзак – и бежал к причалу на посадку.

Далее – через час-другой невероятной болтанки, трясучки, искупавшейся правда сполна ярчайшей лентой бреющего полета над морем: над эскадрильями дельфинов, куролесившими в гоньбе за хамсовыми косяками, которые, лавируя массой, мерцали стремительным серебряным телом гигантского пловца, распластанного в глуби, – полета, иногда фланирующего роскошно по кайме береговой линии, однако, с неизменным, время от времени пополняемым гигиеническим пакетом у подбородка... И вот я выпрыгивал со спускного трапа этого «гуся-лебедя», неуклюже, вразвалку покачивая крылами, подруливавшего к дебаркадеру, сердито расталкивая, цепляя, толкаясь, с пилотным матерком в открытые фортки кабины, меж группками нелегально пришвартованных фелук, баркасов, шаланд, – и мчался в отделение местного банка – спуститься скорей вместе с охранником в хранилище и вывалить содержимое рюкзака на вычисленный заранее счет: с тем чтобы очередная порция Денег теперь уже необратимо канула по корректно законспирированному каналу.

В общем и целом, деятельность моя как курьера-аналитика мне самому странно напоминала несколько шулерскую – и вполне уничижительно-комическую – работу так называемого «демона Максвелла» из знаменитого термодинамического парадокса, якобы опровергающего закон непреложного увеличения энтропии неравновесной системы: гипотетического зверька, умно и ловко распределяющего быстрые и медленные молекулы газа по разным частям испытуемой системы...

Ночевал я обычно на пляже – чтоб зря не светиться по гостиничным гроссбухам – и утром летел обратно. Со своим, хотя и мизерным процентом от отконвоированной суммы. Со своей зарплатой.

Личные деньги я держал частями в двойной крышке секретера и в тюфяке, – с большим или меньшим равнодушием ощупывая уже туго наполняемую вместимость своих хранилищ...

Так продолжалось два года, став привычным, машинальным делом. Я давно уже перестал трястись от злости при виде денег – от жгучего желания все их тут же пожечь: от ненависти к идее всеобщего эквивалента вообще. (Поначалу это действительно было для меня проблемой: в первые три ходки я ни копейки не удержал в пользу своего процента – и далее не собирался, неблагоразумно не учитывая – на что мне придется жить, – но на четвертый раз в факсе, помимо столбика кодированных цифр, объявилась приписка: «Во избежание приказываю удержать четырежды». Тогда-то меня эти суки и подписали на поруку: «Во избежание...»)

Кстати, забыл сказать, в первую же зиму – дождливым промозглым январским вечером – выяснилось, почему я так привязался к той своей бутылке.

Январь тогда на Средиземноморье выдался шибко прохладный. Поговаривали, что виной тому война в Заливе. Объясняли, что от «Бури в пустыне» – поднялось облако дымно-пылевое и, двигаясь к Синаю, заэкранировало собой ультрафиолетовую часть солнечного спектра. А стало быть, и пустыня чересчур остыла в тени и никак не могла нагреться. С конца декабря на остров регулярно рушились дожди. Раз даже снег выпал – это у нас-то! – на побережье. Местные, которые снег видали только по телику, думали – все, каюк – опал саван.

Вот и в тот вечер ливень – стена за стеной – рушился порывами. Гром, молния, сигнализация у автомашин детонирует – вой стоит, как при Помпее, раз даже сирена противовоздушной обороны сработала от удара: долбанула молния в бензозаправку, в кисонные резервуары саданула – громоотводов здесь из экономии не держат, так как даже простые дожди тут редки, как метеорологическое ископаемое, не то – грозы. А воды-то по щиколотку – бьется ток ее по улицам, как Терек бешеный, в дверные щели хлещет. В общем, совсем неуютно.

Потому я буржуйку себе смастерил накануне – обогреться. С утра зашел к жестянщику, на листке набросал ему раскрой: он мне в полчаса все разрезал, залудил: денег брать не хотел – говорит, не по-соседски это. Трубу я сварганил из гофры от вытяжки кухонной и вывел прямиком в фортку. Топил ломанными ящиками из-под яффских апельсинов, которые покупал у Христоса, хозяина фруктовой лавки за углом.

Так вот, сижу я тогда у печурки – дождина ливмя вовсю хлещет-воет, пламя языками пляшет, танцует – будто волосы рыжие – Горгоны там, Стюарт Марии, или... жены, – вдруг я подумал.

И вот, взгрустнув, взбрело мне выпить малость, чтоб спать покрепче завалиться. Только мало что-то «Курвуазье» у меня оставалось. Лизнул я на донышке – вот весь и вышел. А хочется еще – для пущего согрева. Тогда-то я и вспомнил про свою бутылку. Про «Черного доктора». Решил почать ее наконец. Сходил за штопором. Уселся.

Только ввинтил – смотрю, а тут такое! Что-то привиделось мне в стекле напросвет. А надо сказать, что «Черный доктор» напиток совсем, как чернила, непрозрачный. Через него и солнца-то не увидишь. А тут мелькнуло на огне что-то. Ну, поднес я бутылку к самому пламени, пригляделся – чу, а там, на донышке – человечек. Я чуть не рехнулся. Бутылку выронил. Не-ет, думаю, мерещится. Мышка это. Занырнула в бутылку при розливе. Или ее, утопленни-

цу, вместе с вином из жбана влили. Нырнула, попила сладость пьяную, захлебнулась – вот и попала, бедняга. Поднимаю я бутылку – а там точно: человечек маленький, вроде светляка-зародыша плавает, ручками двигает, зовет, сказать что-то хочет – и лицо у него, хотя и страшненькое, но – умное, страдающее даже...

Ну, и заорал я тогда – как же не заорать-то, когда страсть такая вот примерещится. И бух – в обморок.

Утром просыпаюсь – в чужой постели. Оказывается, меня Надя кой-как к себе перетащила – крик услыхала: думала, зарезали меня или подожгли. Примчалась – смотрит: лежу я, не дышу, и пена у меня вокруг рта, вроде как брился недавно. Ну, думает, сосед ей попался припадочный. Однако, пожалела – побрызгала, я замычал, и – к себе, как медсестра раненого, на горбу – еле-еле, говорит, но втащила.

Только я не верю, что она одна донесла меня.

И – донесла ли?

Я после этого случая на пару недель прекратил свои научные занятия. Решил – такие кошмары объяли меня от переутомленья. Отдыхал я со вкусом – лежа в постели. Два раза факс начинал шуршать – выползали заказы. Жутковатое это дело – факс, между прочим. Лежишь в тишине глубокой, покой свой лелеешь. А тут вдруг в комнате, без предупрежденья – шур-шур-шур, шур-шур, тр-р-р-р, тр-р-р-р – будто кто-то лапкой когтистой невидимой выцарапывает грамотку из щели ...

Ну, я потом отписал, что не мог вовремя прореагировать – болел: отнеслись с пониманием. Кстати, пока болел – война в Заливе блицкригом закончилась, скважины потушили: дожди прекратились, дело к весне пошло, – в жилу погода мне влилась с выздоровленьем, так что к концу февраля я как бы оказался на третьем небе от беспричинного счастья... А бутылку ту с тех пор как талисман стал беречь, пить ее и не думал даже.

(Между прочим, отмечу здесь факультативно: пока я тогда отлеживался, пришла мне одна интересная штука в голову. Сумасшедшая, конечно, но не менее сумасшедшая, чем самый ее предмет размышления – история. А история и в самом деле – штука вполне тайная, поскольку она не выражает время, как обычно думается, – а у н и ч т о ж а е т. Вздумалось мне тогда размыслить, что ж это такое происходит в мире – откуда все эти передряги: на Родине моей, хотя и промежуточной, да и вообще – всюду в мире. Откуда вот, например, эта война? Ну, ведь известно, что чем более фантастичней выдумка, чем она менее имеет под собой известных оснований, тем она ближе к истине. И вот что я по поводу новейшей истории

вкратце надумал. Вывел я, что причиной всему такая инфернальная штука: нефть. Ею в аду топят. Хотя настоящий ад – это холод. Но чтоб лед получить – надо сначала растопить пустоту. Например, чтоб космическую холодрыгу образовать, Б-гу надо было Большой Взрыв устроить, – без огня полымя – выходит, что никак не образуется, так сказать; чтоб температуру понизить, надо непременно энтропию раскочегарить, это – по закону...

Тут как раз Надя-гадалка пришла ко мне в гости – соседа больного проведать, бульончик там, пирожки принесла, спасибо. А я – бульон выхлебал, да весь бред этот под пирожки с компотом и выложил.

А она-то рада. Сидела – заслушалась, хотя и не скумекала, поди, ничегошеньки. Очень она мировыми новостями интересовалась. Раньше все расспрашивала у меня про Перестройку и глупости всякие, вроде – правда ли, что Горби – агент.

А мне-то из собеседников хоть кого подавай – лишь бы не глухого. Вот я и спохватился. А как разошелся – понесла пристяжная, да коренника завалила, дура...

Вот и говорю я Наде: нефть – вещь инфернальная потому, что уж слишком мощно – теневым и прямым образом – она влияет на человечество. Потому как она – «философский камень», типа асфальт, озокерит, воск горный: сама мусор, да из себя, мусора, путем перегонки, алхимической между прочим, золото образует. Зороастрийцы-огнепоклонники вышли из нефтяных колодцев. Англичане персов против России завсегда науськивали из-за керосина: за то и объявили джихад Грибоеду. Гитлер слил всю партию под Сталинградом – в битве за бакинскую нефть. Говорят, Волга тогда пылала страшно: пролилась кровушка земная из хранилищ, с человечьей смешалась, сама в жилы горюче вошла – и оранжевые мастодонты, рванув из палеозоя, замаршировали по небу над рекой...

А начал я свои измышления от причины жизнетрясений на Родине. Известно ведь, от чего стряслись: <...>.

Здесь Надя ахнула, перекрестилась и компот мне поскорей еще подлила. А я хлебнул, фигу разжевал – и дальше, только меня и видели, т.е. слышали:

– <...>. Они же, чуя удавку, двинули на попятную, но без боя решили не сдаваться, затаившись. И бой этот произошел: в Заливе. Это не С-Ад-Дам двинул войска на лакомый, вражеский Кувейт, где золото – чуть только палку ткнешь – в морду хлещет. Это – они ва-банк двинули единственный свой резерв. И проиграли. Бесповоротно.

Тут Надя не выдержала да как ляпнет в сердцах:

– Ой, – говорит, – а я-то, грешная, в лампадку заместо елея керосин наливала, вот ведь дура-то, прости Господи... Чтой-то теперь

будет с того, милый, а? Как думаешь?... Такая вот странная мыслишка мне вперилась в голову при отлежке.)

Да-а, со временем такой – не сказать благостной, однако совершенно необходимой мне потусторонней жизни – глаз у меня замылился. Потерял я бдительность, инстинкт самосохранения притупился. Привычка вообще – гиблое дело: смерть как бы. И только к смерти, как к любви, нельзя привыкнуть.

Хорошо, однажды случай один приключился. Без особых последствий – кроме нервотрепки, но он вывел меня по ветру настороженности: ухо я после стал держать востро. Подспудно, конечно, бенц я этот все же предвидел – поэтому испугался, но не смертельно. Потому как твердо знал, что в таком деле не оставляют в живых не только свидетелей, но и исполнителей...

В позапрошлом июне пришлось мне переставить бутылку с секретера на подоконник. И вот почему.

Всю зиму факсы не приходили. Я не стал волноваться, а даже обрадовался: суеты стало явно меньше – а у меня как раз пошла работа: задачка одна, поставленная мне шефом еще до аспирантуры, вдруг разрослась решением чуть не в монографию. (Надо сказать, тогда в проблеме по вычислению центрального заряда алгебры Вирассоро двухмерной конформной теории поля явный прорыв наметился.)

Так что я совсем дома засел – с утра колол в миску фунт синеватого кускового сахара и глушил чай вприкуску, – как по маслу, набело оформляя по-английски параграфы: чтоб сослать в «Physics Reports».

Стал больше гулять по вечерам – для отдыха: купил себе спиннинг, оснастил его как самодур простейший, только еще бубенчик поклевный приладил – и на закатах ходил на волнорезы: почитать, стишок нацарапать, одну-другую кефальку подсечь – ежели, конечно, на мидию клюнет. В общем, лафа сплошная, закадычная даже.

Но однажды возвращаюсь я, стало быть, с вечерней зорьки, – захожу в свою конуру, ставлю удочку в угол. Только – ша! Кто-то был у меня, был – на секретере, сволочь, шарил: бутылка моя подвинута (четкий полумесяц чистого от пыли пятнышка), и у телефона трубка шнуром наоборот перевернута...

Э-э, думаю, так не годится. Шасть рукою под крышку – деньги на месте. И в тюфяке – тоже оказывается: на месте, хотя и шарили – матрас не то что бы смят, – лежит как-то наискось...

Походил я, подумал, трубку поправил... Главное, думаю, бутылку переставить, а то сопрут еще – алкашам на поживу...

И переставил – на подоконник, за жалюзи в уголок задвинул, – так чтоб с улицы ее только под острым углом разглядеть было возможно.

И успокоился. Только зря – как в августе оказалось.

Тогда, в августе, этот бенц, официальный-то, и вышел. Но тут виноват оказался я сам – счастливчик однако чрезвычайный, что обернулось все так прилично.

А вышло все через мою растрату.

Растратчиком я оказался. Как? А вот так – решил дело одно кровь из носу провернуть – на деньги чужие. Несмотря ни на что – хоть режьте меня, полосуйте, а приспичило мне сварганить дело то срочно.

Докладывал я, что под конец, на третьем году своего резиденства, стал я понемногу рыбачить на волнорезах. После рыбалки обычно шел в кофейню на набережной – кофе напиться.

А там дед один симпатичный завсегдатаем приключился. Все время один восседал печально – пока с ним я не познакомился. Красивый был дед, я его сразу приметил. Аккуратненькие усики, нос грандиозный, очки круглые, пиджак мятый, затертый местами до блеска, но видно, что – дорогущей ткани. Глаза у него были необыкновенного выражения... И вот особенное: кашне он пестрое носил все время, в самое лето даже.

Как-то раз подсел он ко мне – внезапно, не ожидал я – по такому гордому его виду. Я, как полагается, спохватился – по чашечке кофе, коньяку по наперстку заказал – поставил...

Разговорились. Рассказывал он немного, но метко: долго думал прежде – на море смотрел, будто там являлись ему картины. Английский у него к тому же: просто заслушаться. Я поинтересовался: откуда навык?

– Отец мой, – отвечает, – в Лондоне до войны лавку трикотажную открыл и лет пять держал, а я у него – приказчиком, с братьями на пересменках.

Ну, думаю, мне такого знакомца послал сам Бог, соскучился я по разговорам. Так и зачастил я в кофейню эту, даже забросил почти рыбалку. Приду, бывало, сколупну, распотрошу ножичком мидию, наживлю, закину донку, бубенец на ус нацеплю, посмотрю на закат и как по нему яхты из бухты ходят, в свете тонут – и иду поскорей кофе глотать, смотреть, как догорает – и слушать моего обожаемого Йоргаса.

Вообще, это очень здорово, когда у собеседников – один на двоих – беззвучный предмет интереса: закат над морем, скажем. Тогда паузы в беседе – никогда не бывают пустыми: молчать можно сколько угодно, скучно не будет: свету полно. А свет ведь – лучше смысла.

И вот, рассказывает мне однажды Йоргас такую вот катавасию.

В октябре сорок четвертого подлодка немецкая здесь, у Ларнаки, в бухте одной укромной всплыла и два дня стояла: может, чинили в ней что-то фашисты, или так просто – отдыхали. Решил это Йоргас проверить подробней. Залег с биноклем в скалах, смотрит: а фрицы на баркас из лодки перегружают какие-то ящики. А ящики-то – тяжеленные, приметные к тому же – оловянной фольги лохмотья из-под крышек выбиваются: они их лебедкой из люка в рубке один за другим тягают, – и счета им нету. Штиль на море стоял, и по ватерлинии хорошо было видно, как баркас набирает осадку.

Ну, Йоргас посмотрел-поглядел, и тут его осенило. Слух по городу ходил, что месяц назад в Салониках фашисты еврейскую общину погромили. Людей в грузовики загнали, а ценности в ящики из-под чая, оловянной шелухой выстланные, запаковали. Богатая была очень община в Салониках, зажиточная – более сорока ящиков одного золота да брильянтов вышло. Ну, людей, как водится, куда-то подевали, а сами ящики к морю свезли, в штабеля на причале сложили. К утру они все исчезли, будто чудище морское языком слизнуло: никто, даже начпорта, не знает – куда подевались, потому как ни одно судно не ушло из бухты и на шварт ни одно не подходило...

Смекнул так Йоргас – и к ночи добыл у партизан старую английскую – на механическом приводе, специальную диверсионную торпеду: еще с первой немецкой войны трофей, – партизаны из нее тротил для взрывчатки хотели наковырять, или вытопить, в крайнем случае. Сами бойцы на такой шаг решиться струхнули – и Йоргаса отговаривали, но не тут-то было: дед мой оказался героем. А торпеда – исправной.

Полбрюха лодке разворотила. Йоргас сначала, как смерклось, привел завод в действие: там пружина тугая, как ус китовый, насажана на маховик, и ее закрутить надо – вроде как на будильнике. А то не хватит разгону.

Вот и крутил изо всех сил, боясь, что засекут. И засекли – прожектором нашарили: когда уже в воду спустил охапкой и по курсу нацелил на пораженье.

Ну, тут такое началось. Стрельба – почище метели. Хотели подбить торпеду. Штиль вскипел от очередей – хоть яйцо, чтоб вкрутую, бросай. Разок попали даже: а ей, машинке чертовой, хоть бы хны – прет напролом, не хуже гончей.

Баркас тут же, как кипеж поднялся, – снялся с якоря и затарахтел, утекая. А фрицы еще для проформы попалили туда-сюда – по воде, по скалам – и попрыгали, кто успел, в море. А успели немногие: как долбануло – лодка на дно канула с креном и воем – от ура-

гана в пробоине, хлобыстнула хвостовым стабилизатором по воде – и как не было; щепки только всплыли и кое-какой мусор закружился в воронках.

А тех, что на берег вскарабкались, – партизаны тут же перещелкали: собрали всех в кучку и порешили разом.

Такой вот рассказ дед мне поведал.

А я и задумался. Крепко.

Вдруг слышу – бубенец мой звенит, аж заходится. Я бегом на причал – удило ходуном ходит, вот-вот с упора соскочит... Подсекаю, подматываю – чую: тяжело идет, не вываживается... В общем, потратился я порядком, пришлось в воду сигать – подсачиком-то я так и не обзавелся... Однако чудный пеленгас попался (мы его потом с дедом на углях в моей буржуйке оприходовали).

Возвращаюсь в кофейню с уловом. Вешаю рыбину на оконный крючок. Посетители кивают и цокают.

Закат тем временем догорел, только рыжими перистыми лоскутами еще кое-где остался, – да и те, нежные слишком, растаяли в минуты. У оконной рамы занялось тихое свечение: на блестках крупной чешуи, с лишайчиками налипшего песка, сползает закатный отсвет. Вдруг тяжелый эллипсоид рыбины, благодаря восхищенной рассеянности взгляда, снимается с кукана и плывет в потемневших глазах головокружительной линией женских бедер...

Чайки постепенно, опадающими кругами оседают на воду – и, смотрю, булочник сонный в пекарню на смену ночную поплелся...

И говорю вдруг Йоргасу:

– Это дело срочно поправить надо. Не потому, что там что-то по вашей личной вине недоделано. Вам тогда не с руки доделывать было – опасно. А сейчас – ничего, справиться можно.

Известно ли вам, продолжаю, что в лагерях вроде Треблинки, Майданека – фрицы женщинам волосы обрезали, и утиль этот набивочным фабрикам посылали. Там из них матрасы варганили. А те шли в основном на подводный флот, как привилегия, вроде усиленного пайка – чтоб еще мягче матросы под водой дрыхли. Так вот, говорю, надо здесь справедливость восстановить, хоть частично – в рамках одной лодки хотя бы. Я, говорю, как представлю, что там, на дне, фашисты на волосах наших женщин лежат – в глазах темнеет. Важно ведь это очень – святое от будничного отделить...

А Йоргас смотрит вприщур – не на меня, на море – и вроде как капелька у него в уголке глаза мелькнула...

На том и порешили. Нарисовал мне Йоргас подробно, как добраться до этой заветной бухточки: тропинки к самой воде там нету –

скалы кругом, и с них почти нет прохода, разве что для альпинистского навыка.

Следующей ночью, перед рассветом, съездил я туда на такси на разведку, вроде как рыбу половить, – и удочки для отводу взял.

Как светать занялось – страховку к валуну приладил, закрепил: без труда особого на берег стравился. Целый день провел я в этой бухте – чудеснейшим местом она мне показалась: загорал, купался, стишок один даже нацарапал. Пришел к выводу – отменно пустынное место: за весь день никого не встретил, и обзор с моря – очень укромный: скалы шатром в обнимку нависают, два домика обрушенных всего прилепились в запустении ландшафта на верхотуре, а у устья камень подводный стоит торчком высоченным.

Через день, увы, пришлось лететь мне внезапно по делам на Гидру – отвлекся от дела, чертыхаясь. Что-то они тогда зачастили с переводами – уже пять раз сряду отлучался я за последний только месяц, – а летать на гидроэтажерке, сами понимаете, – то еще удовольствие. (Между прочим, отмечу в скобках один такой забавный перелет, чтоб ясно стало, что не только мед я пил в своей курьерской деятельности. Попали мы как-то на подлете к Траксосу в суровые объятия грозового фронта. Мы – это человек десять пассажиров, плюс коза, которую один дедок перевозил, – сморчок чахлый в кепке, с подвижной нижней челюстью, что дико ходит-шамкает под щеками, будто культя под пиджаком... Ну, понятно, та еще обстановочка – видимость в низкой облачности – ноль, темь сверкающая в иллюминаторах полыхает, дверцу, на простую щеколду запертую, долбит, как будто неприятель снаружи рвется, – а пилоты – в шторку, распахнутую в кабину, видно – положили оба ноги на штурвал, что-то из фляжки по очереди сосут и переговариваются, насчет – сядем, не сядем, и хватит ли топлива, чтоб возвернуться.

Но самым страшным в этой истории была коза. Дедок ее, чтоб зря не трепыхалась, распял на поводках меж лавок. Притом все уже по третьему гигиеническому пакету наполняют, рыгают и стонут тоскливо, как в застенке – желудочная вонь в салоне горькая, страшная стоит, а коза – странное дело – ни ме-ме, ни гу-гу, – только ссыт беспрестанно от страха. Все блюют взахлеб, самолет от объявшей его трясогузки ходуном бродит, молнии долбят так, что башка трещит – не то что только уши, – а коза – поминутно – фр-р-р-р, фр-р-р-р: отливает обильным потопом, уж почти по щиколотку всем достало. А я смотрю на все это, сам блюю потихоньку и думаю очень странно – откуда в козе такие запасы?! И это меня, как ни странно, мало-помалу спасает – в таких страшных делах главное – за что-нибудь, за самую глупость зацепиться, только чтоб с ума не сойти... Тем временем, смотрю – мы уже третий раз на по-

садку заходим – да все без толку: нет визуального ориентира, а диспетчерский пеленг из-за помех не ловится. Слышу – пилоты переговариваются: со стороны моря в бухту не зайти – потому что шторм, на волнении сковырнемся-опрокинемся, а со стороны поселка садиться на ощупь – чревато: горы, вышка, домишки и так далее. Решили еще раз попробовать, может, мелькнет что. Дедок, между тем, молиться вздумал – как взвоет, заблеет псалмом: мочи нет слушать. И козу свою, ссыкунью, рукою дрожащей гладит. Вдруг слышу – пассажиры орут: – Крест! Крест! – Ну, думаю, спятили – знамение им мерещится. Однако глянул сам в иллюминатор – а там, натурально – рукой подать, под крылом самым, – крест, увитый клоками тучи, как маяк в тумане, сверкает: торжественно – и жутко, потому как – впритык. Я еще сообразить не спохватился – вдруг слышу: тр-р-р-рр, тр-р-р-рр, тр-р-р-рр. Оглянулся – а то коза на крупное перешла: гадит как заведенная – горошек из под куцего хвоста залпами, как уголь из забоя, пускает, – а дерьмо тарахтит и в луже под ней булькает. Ну, думаю, теперь точно каюк. Однако, ничуть – сели. Пилоты отлично местность знали: как крест сверкнул, они тотчас смекнули и на четвертый раз плюхнулись вдоль по склону горы в бухту прямым попаданием – на дыбы – осадили у самого причала. А коза, между прочим, концы все-таки отдала: единственная потеря с того приключенья вышла. Как стянул ее дед по лесенке на дебаркадер, тут же на бок – плюх, завалилась, подергалась четырьмя, поикала немного – и кранты ей завинтились. И задумался я тогда: если люди страх такой пережить способны, а животина бессловесная, та – с копыт долой: то что же такое люди пред страхом Божьим – герои или чурбаны?!)

Отстрелявшись в тот раз, я вернулся и тут же купил водолазную снарягу.

Для начала потренировался на мелководье – под присмотром Йоргаса. Смотрю – вроде как получается: глубины не боюсь, спазм от страха на горло не наступает... Еще через неделю Йоргас взял у рыбака-приятеля моторку, и свезли мы ночью костюм и баллоны в бухту – и в камнях незаметно сховали.

На следующий день на рассвете облачился я по полной форме – баллон запасной взял, альтиметр, часы, кирку-захват и сетку для находок.

Для начала нырнул и тут же в камнях, чтоб обвыкнуть, пошарил. Красота-а, надо сказать, предстала мне неописуемая: рыбки-медузы плавают, зависают, шевелятся, скат-кардинал промахал капюшоном, нежные водоросли русалочьими волосами танцуют – кругом мир совсем потусторонний... Еще мне почудилось, что мордочка

ската ужасно похожа на рожицу нетопыря, без ушей только. В общем, так я загляделся, что и забыл – зачем нырял. Но вспомнил.

Плыву дальше – дно под откос в темень уходит: холодает аж до дрожи, и вокруг смеркается с каждым взмахом ласты. Я включил фонарь, смотрю на альтиметр – уже тридцать метров, а опыта декомпрессии у меня никакого... Однако продулся. Как помнил, по писаному – в три притопа. Но вот уже лодка – лежит бочком на косогоре: камень-утес ее здоровенный от дальнейшего упаданья в районе хвостового отсека подпирает. На корпусе – кресты, на рыле – свастика – все как полагается; в пробоине – рваной, лепестковой – рыбы косячком стоят, как жемчуг в подвеске, шарахнулись, смели строй, но скоро снова выстроились шеренгами. Смотрю – торчит у рубки лебедка погнутая ...

Заплываю вовнутрь с мостика. Слежу по сторонам, чтоб шланг ни за что не сорвать. Опускаюсь дальше, шарю отсеками к кубрику – жутко: подлодка эта – чистый Голландец Летучий: черепа врассыпную, ребра – на ощупь, как пенопласт: крошатся. В кубрике – посуда бросовая, консервные банки, вороха шоколадной фольги, там и сям висят фигуры шахматные; кости уложены на койках в одежде, понавалены матрацы... Вдруг, когда дверцу потянул на себя, прижался мне теченьем к маске листок... Гляжу – фотокарточка: краля белобрысая в пеньюаре, ножка на ножку – откинувшись, тянет папироску в длиннющем мундштуке...

Вспарываю один – так и есть. Обвязываю проволокой штуки четыре – и тут вдруг пропикало: смотрю – давление в баллонах упало; а почему: неизвестно.

Я – наружу. Всплываю медленно-нежно, будто мину с растяжки вытягиваю. Но уже задыхаюсь: дышу часто, как после забега, пузыри кругом кипят, ничего не видать – а толку чуть: будто пустотой дышу, что ли.

Спасибо, Йоргас меня наверху на лодке встретил – помог откачаться...

Три дня я нырял за матрасами как угорелый: себя забыл, не то – остальное прошлое.

Я доставал их, как сокровища, больше – как самую бесценность – жизнь. Все на лодке обшарил, все достал.

В день последний Йоргас добыл где-то фелуку на дизеле: привел в бухту. На закате выпотрошили мы все матрасы в громадный жестяной контейнер из-под кофе, все – до единого волоска.

Как радужный свет ссыпались волосы, вспыхивали от заходящего сильного солнца, унося его в глубокую темень.

Контейнер мы свезли в город к причалу и поместили на грузовик. Ночевал я в кабине – сторожил.

На утро прибыли мы на почту и оформили посылку – недалеко, миль за триста к юго-востоку – в Иерусалим, в городской раввинат. Я быстро черкнул сопроводительное письмо без подписи, где разъяснил – что к чему: мол, надо, чтоб груз этот был похоронен там, где следует.

Отправили, уплатили спецдоставку – и вернулись в нашу кофейню: помянуть.

Заказали – как полагается. Приняли. Вдруг у Йоргаса – бац: глаза на мокром месте. Я ему: не плачьте, пожалуйста, все в порядке будет: они теперь свет увидят...

А он – ни в какую: я, говорит, сколько живу – все понять не могу, что это было.

Хозяин кофейни к разговору нашему прислушался, подходит: вы, парни, чего здесь такое затеваете?

Ну, мы его усадили, налили...

Дальше – час сидим чин-чинарем, два сидим...

Только через некоторое время разнервничался я что-то. Вскочил, бегаю меж столиков, кипешусь почем зря...

Кричу Йоргасу:

– Не могу я так больше, что хотите со мной творите – не могу. Надо, говорю, взорвать ее к такой-то фене, чтоб пыли от нее не осталось.

Старик молчит: мол, как знаешь...

И тут кофейщик мне:

– Что, сынок, динамиту надобно? Так что ты так нервничаешь? Сядь – выпей спокойно, а я тебе расскажу по порядку...

Ну, слово за слово, выясняется: пластид есть, только дорого. Хотя и скидка большая – со стороны кофейщика за посредство вообще нуль. И ничего тут не поделаешь – такова природа этого матерьяла.

Денег моих личных, остававшихся, точно бы не хватило. Но тут как раз перевод на Порос подоспел. Его-то я и оприходовал насчет пластида. Решил – потом просто не буду в счет зарплаты проценты вычитать, задарма работать стану, рабом на ихние галеры пойду – только бы подорвать эту лодку, чтоб ни атома от нее не осталось.

К тому же привык я, что без контроля внешнего живу – кум королем, что называется: милльоны через меня проходят – и хоть бы хны: доверяют, значит. Ну, и нынче поверят, ежели только спросят, конечно. До сих пор не спрашивали – а сейчас-то им что приспичит?..

Чтоб поскорей с фашистами расквитаться – сразу на Порос не вылетел: решил подождать неделю, – а деньги – помня, что рылся весной у меня кто-то, закатал в целлофан и на берегу той бухты заветной спрятал: почти в точности там, где гардероб костюму своему водолазному устроил, чуть в сторонке.

Девять дней я обкладывал пластидом лодку изнутри и снаружи, баллонов опорожнил несметно – Йоргас, спасибо, сам возил их на заправку.

Потом еще целый день монтировал взрыватели в цепь, шнур вел на берег. Довел все же.

Сели мы тут же с Йоргасом, хлебнули как следует вонючего арака и – подождали глоток за глотком, покуда стемнеет погуще: фейерверк в темноте полной – он красочный самый.

Луна как взошла – мы в лодку сели. Свели ладони – и вместе нажали.

Осечки не случилось. Рвануло так, что скалы зашевелились. Под водой – будто солнце лопнуло.

Я дернул стартер и, обогнув рвущийся фонтаном холм взрыва, мы ретировались в город.

Там еще на причале хлебнули немного – и разошлись.

Вот уже самый конец – и еще немного.

Возвращаюсь домой, захожу в контору.

Еще светом щелкнуть не успел, а меня тут по шее – хвать: и я в отключке.

Очухиваюсь в странном вполне положении: вишу я у окна в петле за ноги, а за стойкой моей конторской стоят Барсун с Молчуном – кверху ногами – и что-то разливают друг другу в рюмочки.

Я их – перевернутых – не сразу-то и узнал. Петля у меня в ногах крепкая – ступни затекли, а в голове темно – хуже некуда: кровь набежала, как при погружении.

Пригляделся еще – сверху веревка идет какая-то и к батарее струной подвязана. По всему, думаю, они меня наподобие лебедки за карниз подтянули.

Тем временем Барсун увидал, что клиент очнулся, глотнул рюмку и ко мне: так, мол, и так, где, сука, деньги?

А я – все как есть начистоту: мол, простите дяденьки, истратился по делу, – но денег большинство – там-то и там-то: спрятал в камнях в бухте такой-то.

Барсун:

– Ладно, ты повиси еще немножко, – и кляп мне мастерит, чуть не задушил, собака.

Молчун со мной остался – одну за одной хлещет, а на оклик ни слова сказать не хочет.

Когда Барсун вернулся, во мне только полдыха осталось. Голова ртутью налилась – хоть отрывай, кровь из носа хлещет, и вроде как совсем дохну.

– Ты чего, – говорит Барсун, – нас разводишь, как маленьких? Там менты по всему берегу шарят – отлить нельзя, не то – подойти поближе.

А я мычу еле-еле: хотите верьте, хотите нет, но сказал правду – достанем завтра деньги.

Не поверили, видно.

Морочить меня стали: Барсун по почкам, Молчун – селезенку да ребра охаживает. Лупят, как грушу. Барсун подпрыгивает, Молчун – стоймя мочит.

А я и так – без битья – уже помираю.

В общем, не стерпел я. Думаю: еще убьют – чего ради?

Короче, дотянулся я до бутылки – хорошо, пока крепили – с подоконника ее не свалили – чудом: да как вдарю Барсуну по темечку навскидку.

Тот рухнул сразу – как статуя подорванная.

Полоснул я лепестком по веревке: да так и свалился.

Очнулся, когда Молчун меня водкой брызгал. Чую на губах, что – водкой, а вокруг почему-то винищем воняет...

Ну, мне и полегчало от такой заботы, однако – не совсем: смотреть и шевельнуться могу кое-как, а говорить – как под плитой на губах могильной – невозможно.

А Молчун тем временем спрашивает меня с корточек:

– Так где же деньги?

А я смотрю на Барсуна: лежит – не дышит, башка его плешивая вся от крови и винища мокрая – и очки заляпаны подтеком...

Мне жутко стало. Говорю я Молчуну:

– Помогите товарищу.

– Ничего; одним меньше в наших планах, – отвечает Молчун, и мерещится вдруг, что мигает он мне.

И тут я совсем уж взбеленился. Не привык я ожидать от себя такого, хотя точно знаю: если припрет под яблочко, страшен я становлюсь, как ангел-хранитель. Хватанул я тогда «розочку» от бутылки своей бесценной – и молча пыром Молчуну в брюхо накрепко вставил. И еще завел по часовой на четверть, для верности.

Тот аж охнул – не ожидал, видимо.

Короче, отвалился он, и тут я сознание и потерял – теперь окончательно.

Надо сказать, оттрубившись, я долго к себе возвращался. И мучительно очень. Особенно неотвязным был один сон-испытание,

ужасный коварностью, но все же облегченный некоторой иронией: смех вообще, я заметил из жизни, смежен по милости Божьей – страху. Снилось мне следующее. Я бегу-ползу по термитнику переулков, а за мной медленно мчится Молчун на карачках – башкой мотает, мычит, рычит, быкует, коленками пыль роет – наподобие минотавра. Или – как перед корридой спущенный в забег по городу бычара. Причем вместо рогов у него – полумесяц на темени: и холод от него я чую жутко, будто яйцами ятагана близость. И вот – очень странно – как я спасался всякий раз от такой напасти. Ползу в изнеможении – и вдруг, опостылев себе за выделение страха, ложусь на спину, в зенит смотрю через узкий створ карнизов – и плевать мне на все. Лежу – синевой упиваюсь, солнце на переносице, как тюлень разнеженный мячик, перекатываю. И вдруг меня осеняет. Вскакиваю пружиной, подлетаю в верхотуру над клубком переулков, сграбастываю солнце в руку и, снизившись в пике, чуть отпустив шарик от себя по лету, гашу его со всей дури Молчуну в темя, как над сеткой волейбольной. Ну, понятно, рогатый полумесяц в пух и прах, а от Молчуна – кучка пепла серебристо-лунного...

Вот такая глупость мне снилась раза по три за ночь – обнуляясь всякий раз заново, переживаясь с новой силой. И что интересно – только однажды, на самый последок, мне привиделось настоящее избавленье: перед полноценным пробуждением, после солнечного пике и броска, и взрыва – я глянул вверх – проводить восстающее в зенит солнце, и узрел: деву прозрачную, жидким золотом сверкающую желаньем – и лоно ее, со светилом совместившись вскоре, воссияло моим ослепленьем...

Окончательно я пришел в себя – в гостях у Йоргаса.

Старик в ногах сидит – поправляет кашне и смотрит вполне геройски.

Вдруг чувствую – промокает мне кто-то лоб.

Повернул через густую боль голову: девушка красоты неписаной – склонилась надо мной, но вдруг отдернула руку, из стыдливости.

Волосы у нее – такие черные-черные, вороные даже: так от солнца блещут – льются будто...

Йоргас мне говорит:

– Добро пожаловать обратно, – и внучку мне представляет: Мирра.

Оказалось, к Йоргасу меня гадалка Надя спровадила. Как я грохнулся из-под карниза – на шум ко мне сверзилась сверху: и сквозь жалюзи все-то и разглядела.

Позвонила срочно Йоргасу, а пока тот на таксо мчался – я сам с Молчуном управился.

Таким образом, загрузили они меня в машину. Надя чуть погодя вышла у полицейского участка – сообщить, чтоб биндюгов этих снизу забрали...

Такая вот история с бутылкой крымского вина у меня вышла.

Согласитесь – счастливая все же.

Потому что на следующий день, как менты отвалили с берега, Йоргас все-таки достал из-под камней кое-что.

А через год, когда утих шум про двух битых русских (выдворили их, перебинтованных, поскорей-поздорову), я выбрался из подполья и – уехал к Мирре во Флоренцию: она там учебу начинала в аспирантуре по искусствоведению.

Так что – что ни говори, а все-таки отлично у нас пробки в бутылки загоняют: иной раз намертво – не вынуть никак, хоть ты разбейся.

P.S. Да, вот еще кое-что после этой истории у меня осталось – стишок, что я в первый день в бухте, пока загорал-купался... от нечего делать... Ерунда, конечно... Честное слово, алгебра Вирассоро и то забавней, но вот все же – что есть, то – есть, может, кому интересно.

ДЕНЬ У МОРЯ

I

Там за пригорком в серебре
клинком при шаге блещет бухта
(палаш из ножен ночи будто),
где субмарину в сентябре
сорок четвертого торпеда
вспорола с лету. – Так от деда
в кофейне слышал я вчера.
Затем и прибыл вдруг сюда.
Из любопытства. Ночью. Чтобы
кефаль на зорьке половить.
Опробовать насчет купанья воды.
И, может быть, местечко полюбить.

Таксист мне машет: «Ну, пока»,
свет фар, качнувшись, катит с горки.
Луна летит – секир-башка –
над отраженьем в штиле лодки.

II

Ромб бухты тихо вдруг качнул восход.
И сердца поплавок приливом крови
шевелится – и с креном на восток
скалистых теней паруса на кровли
домишек белых вдоль по склону жмут.

В кильватере лучей стоит прозрачно
невеста-утро. Выбравшись из пут
созвездий карусели – верткой, алчной,
по свету местности приморской дачной,
нагой и восхищенной, держит путь.

Над небом бьется белый перезвон.
Штиль разрастается шуршаньем блеска
и поднимается со дна зонтом
зеркал. Вдруг бьет в натяг со свистом леска:
ночь – рыжая утопленница неба –
срывается... В руке – стан утра, нега.

III

Большое море. Плавкий горизонт
стекает в темя ярой прорвой неба.
Как мысль самоубийцы, дряблый зонд
висит над пляжем – тросом держит невод

метеоцентра: в нем плывет погода –
все ждет, как баба грома, перевода
из рыбы света, штиля, серебра –
на крылья тени, шторма и свинца.

IV

Чудесное виденье на песке
готовится отдать себя воде:
лоскутья света облетают
и больше тело не скрывают –
не тело даже: сгусток сна,
где свет пахтает нам луна –
и запускает шаром в лабиринт
желанья, распуская боли бинт.

V

Солнцем контуженный, зыбкий, слепой верблюд,
с вмятиной пекла на вымени, полном стороннего света,
из песка вырастает, пытаясь прозреть на зюйд,
пляж бередит, наугад расставляя шаги на этом.

VI

Натянув на зрачок окуляр горизонта с заката рамой,
по бархану двинуть в беседку рыбного ресторана.
Сесть за столик с карт-бланшем немой скатерки,
чье бельмо-самобранка будто Тиресий зоркий.
Опрокинуть в стакан полбинокля рейнвейна –
и лакать до захлеба этот столб атмосферы и зренья.

Десять раз опустело и раз набежало.
Бродит по морю памяти жидкое жало
луча – однакож, нетути тела, чтоб его наколоти.
Вылетают вдруг пробки, и дает петуха Паваротти.

Что ли встать голышом и рвануть к причалу –
раззудеться дугою нырка к началу.
То-то ж будет фонтану, как люстре, брызгов.
Но закат уж буреет, и полно на волне огрызков.

Постепенно темнеет, как при погружении.
Звезды дают кругаля, как зенки Рыб над батискафом.
Или – как соли крупа, слезы вызывая жженье.
От чего еще гуще плывут очертания лиц, местечек с их скарбом.

Вот выплывают Майданек и Треблинка, где утиль
женских волос, как лучей снопа, шел в матрасы,
на которых меж вахт на подлодках ревели от страха матросы.
И луна точно так же доливала в полмира штиль.

Июль, 2001

случай крымского моста

рассказ о реке

Я – дух; прозрачный, размером с кроху.

Причем – городской, не лесной. Это – потому так, что не могу я в пространствах один шататься. Хотя и прозрачен, я должен пастись хоть в чьем-нибудь поле зренья. К тому ж – в человечьем. Глаза птиц, зверья – темны и скудны: в них я, как сон наяву, скоро хирею и чахну.

Однако я совсем не люблю людей. Хотя я без них – никуда и ничто. Они для меня – нужда, тоска творящая; безвыходная, как труд урожая – питающая нагрузка.

Но я не паразит; я – спутник. Люди, они мне: как прилипале – большая рыба. Как истребителю – стренога авианосца; как рысаку – стойло. Как водолазу – неудобные баллоны. Как аэростату для жизни балласт. Как планеру над вулканом – восходящие токи дыхания жерла!

Я же им – пшик и ничто ломоть; поскольку прозрачен и невесом, как вакуум.

Я дух зрения – обреченный, прозрачный. Я светоносно прозрачен и не взимаю от зренья ничто, лишь так – немного греюсь. Тепло ж для меня – натурально – воздух; как впрочем, и для любой, даже самой скудной жизнью твари.

И вот вышло так, что только в зренья тепле мне жизнь возможна. Если вынуть надолго меня соринкой из взгляда, то я быстро остыну, как дыхание на морозе – кану соленой крупой, кляксой луны на зернистом асфальте, – и никто в меня больше случайно вдруг не вглядится, – чтоб оживить, запустить снова в воздух; а заслонят, затопчут, затрут: кому? с каких пор? стало вдруг нужно – пристальным следопытом клониться к земле, – то ища, что никто не видит. – Исчезну.

Потому я обычно порхаю маркой летучей «Л. Голландца», курсирую наобум, слоняясь без порта приписки во взглядах людей; шныряю проворной частицей их зренья в предметной толпе, – зайчиком

уличного фонаря от дребезжащей гулом трамвая витрины – бликую, мотаюсь, как морось, как пыль пустоты, – тесним их движеньями, лесом их жестов. То там – прилеплюсь, то сям – повишу-повисну. То здесь – незримо блесну остановкой, как парус – стремлением в море: лишь бы зрения луч блуждал на мне и вокруг – живой, хороший.

Вечерами я допоздна слоняюсь в людных местах: в электричках, вокзалах, кафе, ресторанах, театрах, концертах... А ежели где загощусь, припозднясь, в жилище, то греюсь тускло в хозяйской бессоннице ночью. И если сморит хозяина сон, то я не теряюсь: хватаю перо сновидения и впархиваю с ним отрывком незренья под веки.

Иногда со мной происходят случаи. Случаи происходят со всеми: и с духами в том числе. Точнее – я в них совсем не от любопытства случаюсь втянут. Любопытство, сметаемо ужасом, исчезает, как только я чую неотвратимость...

Иногда мне даже кажется, что я чуть не сам – Случай. Или – какая-то безвольно зрящая часть его, провокатор. Происходящее мне не подвластно, но время от времени я чувствую: я закваска. Случая кристалл как-то находит меня, как вещество раствора – осколок, крупинку затравки, – и начинает расти вокруг своим стремительным происхождением. И тогда мне становится не по себе, словно я – взрывник-самоубийца в обреченном мной самолете, или – точнее – способный к страху мизер-взрыватель. Или – еще точней – птичка-алмазная-невидимка, непоправимо встрявшая в турбину происходящего: мне хоть бы хны, а пике уже где-то внизу, ревя и вонзаясь, рвет и режет упругую атмосферу.

И, конечно, почуяв такое, мне хочется тут же деться. Смыться и кануть. Но не могу. Масса кристалла стремглав уловляет меня в свою сердцевину, и, обездвижен, я дико вижу бродящий вокруг, сквозь меня собирающийся гуще и гуще, пылающий фокус. Лучи истребленья – пучки вероятий – навыворот нижут меня, кружа, разрывая, как магнитное поле сбрендивший полюс. Вероятия – кровь и плоть Случая – неумолимо сгущаются до происхождения Ангела. Недвижим, немо охвачен, облаплен лучистыми шкурами Пана, я так же вижу Ангела, как паралитик видит у изголовья одра – своего двойника-убийцу.

Он, Ангел, – голограмма, прошедшая через меня, как сквозь хрусталик, семечку зренья. Он – эфемер, который был соткан преломленьем моей бестелесной плоти. Я вижу поодаль бесскорбный лик незримого Случая и, полнясь жутью, как мешок овсом, как река половодьем, я молю его о пощаде...

Но скажите, что может дух зренья предотвратить, кроме собственной жизни?

Вот, к примеру, какая катавасия стряслась со мною недавно.

Какая это неправда – не знаю, одно непреложно: сам видел. Так что – судите лично: ну, что тут я мог поделать?!

Тем летом мне негаданно приспичило слоняться ночами по электричкам. Сами знаете, жара в июле стояла нерушимо и невозможно, подминала и обкладывала пластами парного воздушного чернозема город.

Духота сипела, сопела и отдувалась пыхающими мехами слоистого смога, – теребя и качая их, как жирный любовник – брюшные складки по-над раскинутой девкой-столицей.

Дней десять кругом парило без продыху и никак не могло разведриться. Москва охала, млела, потела, слабела и рвалась дать голой по улицам деру.

Вот и я, обложен духотой, как волчара кумачом в пекле облавы, полонясь с утра жестокой немоготою, сигал весь июль за границы МКАДа. Дальше жал срочно над лесом за город подальше, держа в отдаленье забитые дымом шоссе, – искал водоем где почище, и там – у воды и в воде – обретал наконец столь желанный продых.

Хотя и пуст я, как космоса глоток, но все-таки воздух – моя стихия, и грязный и душный – он мне отрава: в испарениях я как бы теряю прозрачность, и это мне – вроде астмы.

Особенно тогда мне приглянулся Клязьменский водохран: простор не чета речному, да и людно к тому же: поселок, яхт-клуб, станция «Водники» рядом. Поговаривали, есть опасность воспламенения торфяных полей под лесами Шатуры, – вот я и брал к северу от Москвы – от юго-востока подальше.

День навылет я пробавлялся над пляжем, временами нежил себя в брызгах детских игрищ на мелководье, и когда в сумерках округа пустела, гнался тропинками на ж.-д. платформу.

На благословенный последок пофланировав над платформой, я впархивал в фортку подходящего поезда. А там – раздолье: ежедневные дачники, вымиравшие зимой до редких субботне-воскресных, купальная молодежь, туристы; вагон умеренно полный, проходы вполне проходимы, и в открытые форточки отдохновением мчится вечерняя свежесть, напирая обильно набранным ходом.

Так – до самых последних электричек, перепархивая где взбредется в ближайший по расписанию, я блаженно катался обычно между Савелой и Лобней. Далее – либо перебирался в депо, ночуя над головами третьей ремонтной смены, либо – рвал по ул. Чехова в центр, – где у меня на бульварах имелись два-три бессонных знакомца, которые время от времени в город бежали гостей, грянувших вдруг на ихние дачи.

И вот в чем, собственно, дело. Однажды на Новодачной, в пустой почти вагон забурилась компашка.

Трое. Один – здоровенный битюг, заглавный. Двое других – лет двадцати. Сели в свободном купе в мирный кружок порезаться в сику.

Я околачивался в это время вокруг длинноносой старухи, дремавшей над сложенным на коленях аккордеоном.

Чем-то один меня зацепил, и я решил разобраться.

Махнул от сонливой старухи, помельтешил для начала у каждого в зенках – и повис над карточным полем.

Играли на жестком цветном журнале, подставив от каждого по коленке.

Сначала все было покойно. Я даже увлекся игрой.

Один, молодой, загорелый, вихрастый, слегка на девчонку похожий – часто проигрывал, и видно было, что дальше играть ему не охота.

Старшой, с черной страшной, как у ротана, башкой, был нем и, жестко быкуя, метал раз за разом.

Другой гастролер, по кликухе Чума, с грязными патлами в хвост, надсмехаясь, называл третьего, младшего – Дусей: «Дуся, на! Дуся, ша!» – приговаривал он, выкладывая с прихлопом карту.

Старшой помалкивал и, делая по три вжика, тасовал «гребенкой» колоду. Будучи грозен и хмур, однако не дергался и был, в общем, спокоен. Только раз хватанул Дусю за плечо, когда тот, сдув по новой, было рванул на выход...

И еще – какое-то злое, озорное веселье один раз перекосило тритонью, сплющенную к губам, башку Старшого...

Перед последней раздачей я понял: ага, началось – и больше уж не был в силах помыслить. Случай потоком хлынул в меня – и обволок, леденея...

Карты мехами дунули в горнило моих вероятий и, жахнувшись друг об дружку, убрались спешно в окно. Стопка колоды, на ветру обернувшись гирляндой, маханула на три вагона, у четвертого потеряла строй и попадала врассыпную, крутясь и белея в колесах, как обрывки нечитанных писем...

Вступил Старшой.

Он взвинченно встал и сутуло прошелся вагоном – в брюки руки – туда и сюда, дурацки мелко кивая страшной башкой, как голубь.

Сел обратно. Чума от испуга рванул пересесть на скамейку к старухе. Та крепко спала, накрывшись огромным грустным носом.

Почуяв Чуму, старуха дернулась ото сна. Аккордеон, протяжно скользнув половиной с коленки, дал басовую ноту.

– Слышь, пала. Ты знаешь че, пала. Ты проиграл, – просипел Старшой.

– Я проиграл, – подтвердил Дуся.

Старшой закурил. Старуха, вняв вони, обернулась в их сторону.

– Тиха, бабуля, – шепнул ей Чума.

Старшой нагнулся ближе.

– Слышь, пала. Лоха замочишь.

Дуся кивнул.

– Чума, глаза мои, позырит.

Кивнул еще.

– Ну, лады, тада, – Старшой поднял на кулаке граненый перстень, вроде кастета.

Дуся мотнул головой.

Кулак не опускался.

Чума срочно пересел обратно и пугано чмокнул печатку.

На Савеловском последние стайки пассажиров спешили кто куда: во дворы на Бутырку, в ждущий троллейбус, на Масловку под эстакаду, но большей частью в метро. Платформа срочно освобождалась.

Милиционеры хлопотно поднимали с путей какого-то человека. Люди спешно оглядывались, не останавливаясь, боясь не успеть на последний транспорт.

Оранжевая поливалка, проползая по обочине, брызжа в два уса лохматой водой, кувыркавшей крупный мусор, была похожа на майского хруща. Торопясь забраться в горящий троллейбус, пассажиры лезли под струи.

Вокзальная площадь вскоре опустела.

Москва остывала, отдуваясь снизу теплым влажным асфальтом, словно легонько махала себе на ноги подолом.

Старшой держал Дусю за локоть и отпустил у входа в метро.

Он снял с запястья толстые водолазные часы. Вглядевшись, отдавил большим пальцем неполный виток на циферблате. Затем протянул Дусе.

Дуся взял, выпрямил спину.

Тем же жирным пальцем Старшой провел, до крови чертя ногтем, по застывшему кадыку проигравшего.

Дуся стоял, чуть подавшись вперед.

Патруль милиции спустился мимо в метро, волоча под руки окровавленного мужчину.

И тогда Старшой ударил.

Чума отскочил, озираясь на уличные фонари, на пустые киоски, на освещенное крыльцо вокзала.

Старшой подсел на корточки к Дусе:

– Не залупись, пала.

Нависнув, оторвался и тяжко тронул в темень тоннеля, ведущего под эстакаду.

– Глубже воздух хавай, – советовал дорогой Чума.

Корчась от загнанной под диафрагму ржавой пружины, Дуся достал из кармана часы и надел их на руку.

Браслет болтался, как обруч на гимназистке.

Свет в вагоне метро стоял словно на глубине – вполовину яркости. Неясный воздух мерцал, танцевал, хлопал жаброй – от бликов бегущей по потолку ряби.

Тяжелый раскаленный камень удара ворочался, как живой, в солнечном сплетении.

Переход на Библиотеку был уже закрыт и пришлось, умирая, карабкаться по – и – вниз мукой восставших лестниц.

Дальше?

Дальше – поезд мог не прийти, но пришел – пустой, последний.

Последний настолько, что – без расписанья...

А есть ли в метро вообще что-нибудь вне распорядка?

Дальше?

Дальше была лысая женщина. Лет сорока. В пустом хвостовом вагоне.

Светлое, измученное трудоемкой ноской платье спускалось по неясному телу, как по неготовой лепке – мешочное покрывало.

Бурые пятна мятой травы на подоле, россыпь впившихся в ткань запятых репея.

Женщина была на сносях, к тому же – на самых крайних.

Охваченный узкими ладонями, живот громоздился отдельно от тела над разведенными коленами: как тюк, как охапка жизни, как медленный взрыв, созревший под сердцем.

Женщина изможденно спала. Мертвое ее лицо не видело снов. Напор предельной скорости кидал вагон, прошивающий близкую плотную темень, словно паденье – коляску по лестничным ступеням. Бешеными змеями метались ряды кабелей в окнах.

Изнутри поезд походил на длинную оранжерею, составленную из объемных теплиц пустых зеркал, нанизанных друг в друга на стеклянную шахту тусклой, мигающей перспективы.

По пустынному поезду то и дело прокатывалась волна мрака:

свет отчего-то пропадал по цепочке – в каждом вагоне поочередно. На станциях никто не входил. На платформах медленно вдоль платформы горбатились полотеры, толкая тачки машин, как шары грязного снега для снежной бабы; как рабы – кубатуру для пирамиды.

Казалось, от мигания света лицо женщины плясало гримасой.

От упругого поршневого хода воздух в тоннеле, не успевая податься вперед, сжимался по стенкам до плотности урагана, выл и ревел, кидался и бился горным потоком, пропавшим на время в теснине обвала; иногда к стеклу прибивались утопшие в нем подгорные духи.

Лампы на потолке, теплясь в провале черточками накала, мигали все чаще, словно плоские флюгера проблесковых сирен на ветру, набирающем мощность порыва.

Я метнулся в сторону глянуть в Чуму.

Чума длинно сплюнул:

– Тяжелая баба...

Разогнувшись, Дуся тяжко прошел по вагону и лег на сидение. Он смотрел на женщину и почему-то чувствовал в ней свою разбухшую душу.

Боль медленно, как яркость заката, шла на убыль, стало легче дышать. Ему странно казалось, что душа его скорбно стоит над ним и, как мать, жалея, гладит теплой ладонью воздух над животом; бережно перебирает сплетения боли внутри и прочь из-под них вынимает тяжелый камень. Дуся закрыл глаза, чтобы увидеть мать, но увидел внутри только желтую ветреную тьму, в которой, однако, было покойно и сонно.

Вдруг поезд сбросил скорость, и мертвая голова, полная грома и гула галопа, оторвалась от тела, колотившегося на бегу за кобыльим хвостом, и покатилась свободно по полю, глуша верчение о стерню.

Застыла навзничь. Качнулась.

Обернувшийся лицом Старшого, всадник шагом вернулся.

Цепляя на пику кочан, вгляделся.

Дуся не выдержал взгляд, распахнул глаза, сел. Поезд катил, затухая, по светлому павильону метростроевского моста мимо заброшенной станции «Воробьевы горы».

Хотя и не было здесь остановки, поезд встал над Москвой-рекой.

Чума протяжно харкнул в конец вагона:

– Попали...

И тут мне приспичило оглядеться. Я рванул наружу и ввинтил на мгновение ока семь витков вдоль трех сотен шагов метромоста.

Московская округа взмыла омутом и опрокинулась подо мною.

Оправленная в дюраль капсула станции мерцала над рекою ночи слабым, дробным накалом, дребезжа свеченьем, как неисправная неоновая вывеска.

Поданным в ствол патроном поезд стоял в ее оболочке.

Сзади белокаменной гроздью поднимались настороже башни и церкви Девичьего монастыря.

Внизу по маслянистой темени реки шел теплоход, груженный воплями, шлягером, огнями мигающих танцев.

Лапута громадного стадиона висела над темной массой парка, вращаясь горящими по периметру сторожевыми кострами.

Через речку над лесистым откосом, сияя в прожекторах, целилась в луну ракета высотного Университета.

Дойдя до берега, я заложил вверх петлю, чиркнув по лыжному трамплину на склоне, и, дав легкую «бочку», стремглав прочертил обратно.

Верхнее веко Дуси еще не сомкнулось с нижним.

Женщина, не просыпаясь, застонала.

Поезд стоял.

По необжитому после ремонта перрону длинно и сосредоточенно бежала черная дворняга. Ее иноходью нагонял рослый кобель. Выпростанный из шкуры красный кусок, как киль, как припрятанная финка, был несом им под брюхом. За первым кобелем семенил другой, вдвое меньше суки, но с той же целью: с той же алой ужимкой в паху.

Пропали.

Женщина зашлась воем, будто кто-то в ее сне стал опускать гроб в могилу.

Она заполошно орала всем телом, хватала живот руками и, уминая, пыталась прижать к груди, не отдать.

Вой раздирал надвое ее круглый облик.

От испуга Чума подскочил и ударил ее по лицу.

– Заткнись, лярва, ногой ударю.

Как колокол в звоне, женщина раскачивалась среди густого воя на сидении и вдруг стала мелко подрыгивать в пол раскинутыми ногами. Живот колыхнулся спазмом и пошел сдуваться волна за волною.

Тухлые синие воды хлынули вместе с кровавыми водорослями под ноги Чумы, и он, повисев мгновение в немоте, искаженно зашелся струей блевоты.

Отброшенный залпом тошноты, он больше не мешал Дусе.

Размеренно поднявшись, Дуся опрокинул навзничь пьяную бабу и расправил под нею подол.

Схватки брали тело, как припадки землетрясения горную местность.

В сумерках близкого обморока Дуся нащупал ладонями тельце и, зажмурившись, потянул на себя.

Чуть погодя, недоносок вывалился из нее, как колтун перекати-поля – из оврага к костру на стоянке, – и вспыхнул, ожегшись о воздух, гиблым смертельным криком.

Что делать с пуповиной, Дуся не знал.

Он поднял человека за ноги и потряс, как утопшего, на весу.

Остывшая было баба вдруг тряско забилась падучей дрожью и кротко затихла, открыв навсегда глаза.

Дуся положил на нее ребенка и вытер о платье руки.

Женщина лежала пронзительно зряче: убиенно раскинув члены, она падала вниз плашмя, увлекая с собой все, что видит – там, в пустоте.

Орущий с похмелья новорожденный ерзал по мертвой матери, держась пуповины, как привязи.

Женское лицо, немыслимо вспыхнувшее напоследок острой красотой – сквозь испитую маску жизни, шло на убыль, застывая в выражение безразличия.

Стараясь не залапать джинсы, Дуся достал из носка выкидуху.

Щелчок вставшего лезвия, цок лопнувшей кожи, свист о ребро, притоп рукоятки, достигшей упора.

Он обернулся к Чуме. Чума выворачивался в три погибели, хотя уже было нечем: хрипел и плевал, не во власти оправиться от впечатленья и вони.

Дуся метнулся к нему и хватанул его волосы в жмень. Чума заорал.

Дуся приплел его к роженице, как осла за узду – за патлы.

– На колени.

Чума тянул его руку двумя на себя, чтоб ослабить рвущее скальп движенье.

– На колени, – Дуся ткнул кулаком, обмотанным волосами, в потек на полу. Патла лопнула и закурчавилась по запястью.

Чума вдарился лбом, как в намаз, и заплевался кровавой слизью.

Дуся поднял его чумазое лицо над женщиной и ребенком.

Девочка уже не могла кричать. Морщась, она лежала ничком у матери на животе – над своей ямой – и неполно держала кулачком рукоятку ножа. Другой кулачок разжимался частым пульсом...

– Что видишь?

– Убита-а-а...

– Кто ее убил?

– Ты-ы...
– Я ее убил. Ты видел.
Дуся даванул его зубами в материнский подол:
– А теперь пой.
Чума плакал.
– Пой, сука.
Дуся сам встал на колени и негромко запел:
– Ма-ма, ма-ма, ма-ма...

Поезд стоял.
Помощник машиниста шаркнул по громкой связи: «Сейчас поедем». И, не вырубившись, крикнул кому-то: «Сергеич, ну, что там, скоро?»

Чума рванулся с колен, ревя: – Пусти! – и стал биться всем телом в двери, пытаясь раздвинуть створки.
Я метнулся на платформу – глянуть.
Чума вбивался в дверь за дверью, крестом распластывая руки, ища створки послабже. Его разъятое плачем лицо, вминаясь и кусая ором, оставляло на стекле потеки...
По перрону наискосок в щель под колеса рванула по ниточке писка крыса.

Дуся пел.
Затем встал, сдернул с руки часы и осторожно устроил на переносье трупа.
Упершись в проваленную грудь, вынул нож.
Обернул девчонку на спинку и покороче полоснул пуповину.
С ребенком в руках он подошел к оползшему на пол Чуме:
– Сымай майку.

Обернутая тряпкой девочка дрожала, как вынутое сердце.
От страшного удара ногой стекло ослепло, будто первый лед от брошенного камня.
От второго удара оно прорвалось, как оберточный пергамент.

Машинист забирался с пути на платформу, подтягивая за собой расстегнутые брюки.
Еще не найдя пуговицей в хлястике дырку, услышал удары.
Двое выбрались из хвостового вагона. Голый спрыгнул на пути и бегом дернул к тоннелю. Другой, со свертком, стал подниматься по лестнице к запечатанному выходу с моста в эскалаторную галерею.
– Подонки, – сплюнул машинист и заскочил сообщать в кабину.

Рация никак не соединялась с дежуркой. Помощник сонно клевал головой над приборной консолью.

И тут в темноте бокового зеркала за хвостовым вагоном треснул голубой костер: голый споткнулся в потемках о шпалу и нырнул руками вперед на контактный провод.

Бережно прижимая руки к груди, он быстро поднимался по заброшенной эскалаторной галерее над темной речной прорвой.

Прозрачная, кое-где повыбитая стеклянная темень огромно проницалась звездной округой ночной Москвы и от волнения, словно висячий мост, дышала воздушным обмороком падения под торопливыми ногами.

Взяв «ножницами» барьер турникетов, Дуся, оберегая грудь, потыкался коленом в ряд выходных дверей вестибюля и, смеясь, обнаружил одну открытой.

Над рекой, у трамплина, на смотровой площадке шелестела над крышей патрульной машины гирлянда огней. Два бойца стояли у балюстрады. Держа скворчащие рации у ртов, они всматривались вниз по склону в рощицу, окружавшую выход из тоннеля.

Щелчок ракетницы длинным фырком накинул на вершину воздушной горы пылающий зонтик. Дрожащий купол света бесполезно схватил короткой видимостью – деревья, дорожки, массив парапета, полукружье речного блеска...

В убежище парка сушняка в темноте, хоть глаз проколи – вынь, засвети – все равно не сыскать, – и тем более что на ощупь.

Дуся набрел наконец на автодром и затем, несколько раз опасно споткнувшись об автомобильчики, – на какие-то детские вертушки. Ничего полезного здесь не находилось. Дуся на что-то сел в темноте и затаился. Слабые тени крались из глубины парка, – сходились и вновь расходились, как в хороводе. Среди водоворотов каруселей он закружился от отчаянья неудачи, с силой расталкивая качели. Качели скрипели и, толкаясь обратно, мешали ему метаться.

Дуся забрался на дощатый кругляк и попробовал одной рукой отодрать с краю доску. Наконец он просто отбил ногой целиком деревянно-картонную лошадь, бежавшую по карусельному помосту.

В будке, где помещался моторный привод крученья, Дуся подобрал огнетушитель.

Наполовину занятый ребенком, даже не мысля на время его оставить, с одной рукой дважды бегал к реке, перенося поочередно необходимое.

Крашенный облупившимся суриком, с отбитым и состругранным для растопки хвостом, конь занялся проворно – и скоро уже во весь опор пылал стоймя, клоня голову набок, будто был взят пристяжным из упряжки.

Пены из огнетушителя в речку – ветхой, чуть не 50-х годов заправки, стравилось немного: пучась и оседая над зеркальной водой, ее коричневый облак пошел на сплав по медленному теченью.

Сполоснув металлическую колбу, Дуся держал ее над огненной гривой конька, пока вода не согрелась.

Хорошенько обмыв девочку, Дуся спалил грязную майку Чумы, кинув ее попоной на разгоряченного бегом коня, и снял с себя для младенца.

Пупочек тек на ощупь слизью и был бобовой семечкой отдельно упакован в вырванный зубами из майки клочок. Костер Дуся потушил остатком воды и еще почерпнул из реки: не хватило.

Чтобы не остаться на том же месте, Дуся побрел у реки вдоль бетонного парапета. Девочка нашла, обслюнявив, его пустой сосок и больше не плакала, а он и не думал ее теребить: пусть поспит, отдохнет, ночь ведь.

Над чернотой фарватера несколько раз проплывали увеселительные баржи; в Волгу – домой, на Бирючью косу – прошел, подымаясь огненно-белой горой из берегов, пятипалубный «Адмирал Макаров»; и пулей, газуя, глиссировал туда и сюда мотоциклист, видневшийся только бурной кильватерной точкой.

– Интересно, – думал Дуся, отчего-то случайно вспоминая все детство сразу: дом, лето, астраханскую их ватагу, всход большой воды на майские, затопленные по верхушки деревьев острова – и то, как они вместе с отцом браконьерили на Дамчике птицу и осетров, как сандолей били в Тихом ильмене застывших сомов; вспоминал пудовую белужью башку, которую он вез на коленях в коляске отцовского «Днепра», накрыв мотоциклетной каской, – а ведь им-то, водным, тоже, поди, полагается шлемаки надевать? Вода ведь, если крепко в нее разогнаться, так же, как и дорога, способна нанести увечья.

Водный гонщик крутанул в темноте разворот и с пьяным заносом пошел на таран наплывающего двухпалубного казино.

Глядя на водного мотоциклиста, Дуся вслух, для девочки, рассудил: «Вона, прыгал у нас на Болде пацан с мостков, а баба одна сверху течения газету, в которой белье полоскать принесла, упустила; так прыгун так в тютельку в то, что написано, темечком вдарил, что потом ему в городе шину на ум наложили, чтобы сдержать сотрясение...» Мотоциклист перед самым ударом повернул и был та-

ков, истекая протяжно моторным ревом, в сторону Бережковки, Пресни, Звенигорода, Можайска...

Впереди от Москвы было не отвертеться: город выворачивал из-за деревьев и вставал, медленно нарастая, громоздясь и ломая линию горизонта. Мосты, набережные, дома – будто на сваленной праздничным буйством новогодней елке – горели гирляндами, звездами, игрушками башен, высоток и куполов... Вдруг широкие кроны деревьев проступили светлым цветом зелени, и воздух легко опрозрачнел, беспокойно удивив Дусю внезапной проходимостью парка. Укромными сторожами появились над деревьями монастырские башни. Под бледнеющим небом стало больше пространства, и Дуся ускорил шаг.

Но спустя сто шагов – он бережно считал шаги, экономно ценя про себя свое новое будущее – махом погас, ожидая рассвет, весь город.

Стало темней и спокойней, и Дуся тогда облегченно убавил ход.

Огляделся.

Слева над рекой нависало в лучах высотное здание – огромное, как целый поселок, составленный на попа. Дуся читал однажды газету, где писали, что здание это вроде как на мерзлоте стоит. Что тут, мол, на том берегу – под землей плывуны, – такие нестойкие, зыбучие почвы. Из-за этих почв здесь церковь одну в прошлом веке не смогли построить: плыл фундамент и дальше проваливался. Ну, и бросили: церковь потом вниз по течению, ближе к Кремлю пришлось ставить. А вот для этого здания отыскали способ: прогрызли котлован, в который можно было упрятать две деревни, и поместили в нем морозильные машины. Холодильники ели воздух, давили из него росу, охлаждая кругом весь нижний грунт. Машины эти морозильные сейчас в подвалах охраняет специальный отряд: потому что, если перекрыть ток, то сплывет все здание скопом в речку.

Дуся представил не внутри, а в глазах, как вместо парохода по реке дом такой плывет в ебеня, и засмеялся; но тут же, боясь, что разбудит младенца, закусил до крови соленый язык, чтобы боль помогла помнить оплошность подольше.

Девочка умерла, когда над крышами появилось затылком солнце.

Дуся почувствовал, что грудь его холодеет и сердце толкается во что-то – теперь непрозрачно.

Он развернул человека из майки и осторожно потрогал.

– Ничего, будет день – отогрею, – Дуся поправил тряпочку на пупке, завернул осторожно по новой и теснее прижал к учащенному пульсу сверток.

Весь день он проходил по городу с маленьким свертком на голой груди. Отстояв вместе с двумя старухами перед дверями булочной до открытия, купил батон горячего хлеба и завернул его к девочке в майку: пусть греет.

Батон младенцу пришелся сверх роста, а кусок мякиша Дуся разжевал и вложил осторожно губами в ротик.

Одна старуха заглянула ему на руки – и обомлела.

Чтобы ее успокоить, он закачал на руках девчонку и замычал колыбельную, которую помнил потому, что когда-то соседка баба Груня, приглядывавшая за ним сызмала, пела своему внучку, малому Петьке.

Старуха отщипнула из авоськи горбушку и зашамкала, жадно посасывая теплую пшеничную слюну и потому теряя от сытости интерес к необъяснимой ноше Дуси.

В этот день пик последней жары опрокинулся на Москву. Раздевшиеся пешеходы брели, прикрывая газетами солнце над головами.

Я дох от светового удара, не в силах себя оторвать от идущего в пекле по самым солнечным сторонам неумолимого Дуси.

Идя, он рассказывал девочке жизнь, все, что в ней знал, не выбирая и без остатка. Говорил ей про волжскую Дельту, про Астрахань, про рыбалу на низах, на взморье – на Харбайской россыпи, на Дамчике, на Варяге; про хлыстов-осетров и про икряных мамок; про моряну; и про то, как Стенька кидал в колодцы персидских пленниц и архимандрита – с крепостного откоса; про Каспий, соленый и теплый, как кровь; про остров Тюлений, про остров Чечень; врал про то, как взял его дядька на каботаж в Баку, и про то, какие в Иране растут лимоны, женатые на клубнике... Еще говорил он мало про то, как увяз в Москве на гастролях, уже третий год, как связался с дмитровскими гоп-стопниками, как не брезговал с голодухи тырить по Сокольникам велосипеды, сбрасывая их жлобам у «Зенита»; а также про то, что Чума – он шальной, но все же хороший...

К вечеру брызнул дождик, но – в падении испаряясь, намочил только крыши: было видно вверху, как шарики воды, исчезая мутной влагою на излете, крутились, дрожали, мельчали, – как капли воды на дне раскаленной кастрюли.

По дороге Дуся зашел в детский мир и купил для ребенка немного цацек: висячие погремки, водяной пистолет и огромный, управляемый радио катер – ничего, что девка, пусть растет боевой, как пацан.

Резинку погремков он надел на шею, а коробку с катером обнял незанятой рукой.

Из-за скупости жизни рассказывать Дусе оставалось немного, и он теперь помалкивал, то ли экономя остававшиеся слова, то ли внимательно их сквозь себя вспоминая.

С Пречистенки снова вышли к реке. У Крымского моста посидели на парапете, глядя на изведенную солнцем округу. Иные машины, увязая в столпотворении на перекрестках, вскипали, отбрасывали капоты, словно в рот им попала горячая, дымящаяся пища, и водители их толкали на тротуары, трудно беря бордюр с нескольких коротких разгонов.

Солнце, однако, шло, утомившись собственным пылом, на убыль. Воздух над городом помягчел, впитав предвестие сумерек, и края домов, барельефы, фасады, косые треугольники неба над ними теперь более ясно складывались в отдалении улиц в жилое пространство.

Солнце вошло в Замоскворечье, когда они добрались по набережной к подножью большой, высотою с три соседних дома, черной статуе со стеклянною головой.

Изображавший памятник, высоченный, как четыре каланчи, как двадцатиэтажка, каменный человек, с хрустальной, сияющей головой, стоял в реке в болотных, с отворотом, сапогах и держал на весу свободную от шпаги руку.

Он вглядывался под нее вырубленными – огромным, как секира, резцом – пустыми глазами.

Дуся оглянулся.

Безголовый черный великан слепо смотрел куда-то поверх моста, – откуда они пришли.

Вокруг памятника врассыпную били фонтаны; к ним был устроен удобный лестничный сход – на бетонный мысок, вдававшийся в хоровод толстых невысоких струй, который дальше по воде жался к самым ботфортам.

Дуся распаковал катер и спустил на воду. Пошевелил рычажками, погонял суденышко туда-сюда, полавировал между струй, на пробу.

Потом бережно открыл ребенка и сложил его навзничь на судно.

Отломав от внутренней упаковки кусок пенопласта, Дуся бросил его на воду и внимательно проследил за тем, как тот ведет себя на плаву.

Пенопласт, затянувшись теченьем, покружил у сапог истукана и поплыл в сторону моста, за который смотрел великан.

Тогда, убедившись в направлении к Каспию, к дому, – опасливо поводя рычажками, тихо пробуя мощность мотора и управление, Дуся вначале попробовал покатать девочку вдоль самого берега – только туда и обратно.

Скоро, наловчившись, закружил катер по некрутой спирали и дугой провел вокруг огромных ног, лихо заходя обратным путем под анфиладу фонтанов.

Убедившись в надежности судна, Дуся вывел катер на середину реки и посмотрел напоследок наверх.

Дымящееся солнце уходило в кирпичное Замоскворечье, вздымая в небо плеск заката, как в медленной съемке – сердце, брошенное в жбан со слитой из туши кровью.

Хрустальный калган истукана пылал, переливаясь радужным преломлением.

Пальцы сломали рычажок газа, и катер, привстав на дыбы, заглиссировал в сторону Волги.

Дуся подальше отбросил в воду коробочку управленья и отвернулся от катера, чтобы видеть, куда смотрят теперь слепые глаза Царя, – и мельком заметил: кусок пенопласта, отдалившись от берега, повернул в обратную сторону...

Сердце заныло так, что отдалось болью в руку, словно кто-то дергал ее вниз.

Дуся несколько раз сжал и разжал кулак, и ломящее чувство отпустило грудную клетку. Он поднял вдоль статуи голову и увидел, что Царь ни черта не видит в той стороне, в которую плыла девочка: ни Волги, ни Бирючьей косы, ни моря, ни персидских сладких, как клубника, лимонов, ни жарких берегов, где девочка могла бы хорошенько погреться... – Дуся внезапно понял, что спутал с «обраткой» теченье, – которое здесь, у огромных ног Царя, отражалось и завихрялось вспять, в обманное направление.

И тогда Дуся прыгнул.

С открытыми в мутную темень реки глазами он искал на дне коробочку управления.

Воздух кончился, и по локоть в иле он выскочил на набережную и помчался, отталкиваясь для разгону от парапета, все еще видя катер.

Он бежал, толкая людей, не нагоняя.

Прямо в глазах вырос мост.

Катер пошел под ним.

И тогда Дуся закричал.

Сначала он не знал, что надо крикнуть, как позвать, какое дать имя, и вышел только ор, который вместил в свой звук всю силу теченья реки – от истока до уст.

Но потом он вспомнил. Он крикнул:

– Ду-уся, а я?

Катер стремительно шел из виду.

Он рванул по бетонным ступеням через бензозаправку на мост.

На мосту смердела вечерняя пробка. Он взлетел на капоты, зап-

рыгал – но оскользнулся, и четыре водителя стали отжимать его от перил, стараясь попасть в него кулаками.

Дуся рвался вперед и подпрыгивал, чтоб заглянуть: прозрачное белое пятнышко маячило в кажимости за головами людей, пока совсем не пропало.

Пробка мычала, как недоенное стадо, и водители пошли, остывая, садиться обратно за руль.

И тогда Дуся снова прыгнул. Он вспрыгнул на тяги моста, провисшие вдоль стальными крутыми сходнями, и стал карабкаться вверх на стойку, – нагоняя речной горизонт, поднимаясь за ним все выше и выше.

Внизу крутил пальцем у виска человек, махали руками, кричали другие водители; свистел постовой и пробовал лезть за Дусей, но скоро раздумал и едва сумел слезть обратно.

На стойке, на высоте выше чертового колеса, торчавшего слева из парка – и еще метров тридцать вниз до воды, – Дуся, сложив вокруг глаз ладони в рупор, то терял на реке, то вновь находил за поворотом крошечный белый катер...

Когда девочка исчезла, Дуся развернулся в сторону черного человека.

Солнце зашло совсем, и Царь вдруг разом стал еще чернее, будто его облили. Хрустальная голова потухла.

Теперь Дуся смотрел ему вровень в глаза.

Вдруг стекло колыхнулось последним лучом, добежавшим, отражаясь, по витринам и окнам в кривых переулках.

Дуся вдохнул и сильно плюнул:

– Вот он я – залупившись, на-кось!

Милиционер внизу перестал свистеть и закурил, прислонившись к перилам.

Я отлетел в сторонку и, взяв разгон, шибанул всем лётом Дусю в темечко.

Обернувшись навзничь половинкою оборота, за спиной постового он вошел вертикалью под воду.

Затянувшись до головокруженья, мент отщелкнул бычок за перила и снова задрал запревшую под фуражкой башку.

Потом ныряли здесь под мостом лупастые водолазы.

Дуся на ощупь торчал из ила по пояс, и шнурок уцелевшего от удара ботинка был зачем-то использован ими для усиления крепежа – при подъеме за ноги тела обратно в воздух.

Ноябрь, 2000

КУРБАН-БАЙРАМ

Поздним утром 1 марта я шел частыми галсами по южной дуге Кольца со скоростью 160, выжимая временами 190, и думал о всяческой ерунде. Например, вот о чем.

Что нынче, как всегда, когда меня сражает наповал Москва, я лечу в Велегож, будто битый малец к маминой юбке.

Что избушка на лесистом берегу Оки – одно из всего только двух мест на Земле, где я могу выспаться, где могу думать, где меня никто, кроме Бога, не отвлечет.

Что если вдруг у моего автомобиля сейчас оторвется спойлер, я взлечу, – поскольку моя скорость давно превышает скорость «кукурузника», вошедшего в невозвратное пике.

Что, черт возьми, Москва и сейчас – как ни ловчил я всю зиму ужом на ейной адской сковородке – сокрушила меня пустотой: навылет.

Что еще одно место моего покоя находится в семи километрах от Иерусалима. Что в тех краях я не был 12 лет – но часто бываю во сне. Что сейчас там, поди, уже расцветают в кристальных садах миндаль, апельсин, олеандр... А у нас еще даже грачи не прилетели.

Что вот уже третий пост ГАИ, считая от Можайки, с которого стремглав наперерез – как снежинка бурана в световой рог и зев ло-

комотива, несущегося оренбургской степью, – выбегает серое пугало с кусочком шлагбаума в пятерне – и расшибается мошкой в лепешку об зеркало заднего вида...

Что, увы, меня больше не развлекает – видеть прочий транспорт стоячими вешками моего разъяренного слалома. И что пора уже перестраиваться в крайний ряд, потому что мелькнул эмалевый щит БУТОВО и вот-вот в правый висок вылетит петлистая, вращающаяся, как аркан на мустанга, развязка симферопольской трассы.

Что мой «Фольксваген» – это «народный автомобиль», – что он засел у меня в голове, привязался. Что вот – Гитлер держит речь на закладке очередной автострады. Он начинает тихо и скромно, даже застенчиво. Но уже через минуту заводится, наотмашь рубит ладонью воздух, брызжет слюной, хватает лопату, всаживает ее в распаленное воображение нации – и швырнув раза три в заклад, вещает: через два года каждая семья будет владеть автомобилем, народным автомобилем. Я думаю как раз о том, что Эйхман был похож на бухгалтера, что зло рационально, механистично, но что любая машина – прах перед раскаянием.

Я свернул, крутанулся, снизошел с эстакады на взлетную – и спустя километр осадил на бензоколонке Бритиш Петролеум.

Мне нравится сервис БиПи, нравится их буфет и что бак заправляется без предоплаты. Я иду к кассе, с удовольствием оглядываясь вокруг. Вижу над собой бетонный портик – он кроет череду бензиновых чекалок, веер подъездов, вижу парад персонала в флуоресцентной униформе. Вижу реванш Британской Империи, взятый от поражения в Персии 1918 года.

И пока мне заливают баки, покупаю два буррито с лососем и сок, расплачиваюсь за топливо и отваливаю на задний сектор парковки, где предаюсь завтраку.

Глубокий транс погружает в свою пасть голову профессора Доуэля, откусывает ее – и когда профессора шепотом спрашивают: «В чем тайна мироздания?» – его губы беззвучно пробуют воздух: «Все пахнет нефтью...»

Тем временем четыре разбитых вагона долго и тяжко тянутся по пескам каракумских окраин. Старый машинист, седой как лунь, в треснутом пенсне, ведет поезд под дулом английского офицера.

Когда машинист подбрасывает в топку уголь, рука с револьвером отворачивает пробку походной фляжки. Величина глотка пропорциональна числу подброшенных лопат.

Море то появляется, то исчезает за барханами. Наконец офицер догадывается, что это уже давно не море, а белесая от марева рябь песков.

Но вот по отмашке машинист дает гудок и наворачивает тормоз. Через полчаса две чертовых дюжины бакинских комиссаров разметываются расстрелом по пустыне – как городки, зашибленные невидимой битой.

Паровоз ревет, тоскует – и пятится от оранжевой прорвы – к морю.

Постепенно сонный стук колес стихает, страх слабеет, и суслик наконец осмеливается вылезти наружу.

Неглубоко закопанный труп до самого захода солнца еще будет в агонии. Каждый раз забывая, суслик часто будет вылезать из норки и снова прятаться, завидев, что песок под его пригорком дрожит, плывет и ходит.

Наконец, показавшаяся из песка рука застынет, и длинная-длинная тень поползет по залитому закатом бархану – указывая на тонкий накаленный месяц в бездне стремительно сгущающейся синевы.

Вскоре британские войска, обгоняемые мусаватскими фесками, стремясь песчаной струйкой по лобовому стеклу, спешно ретируются в глубь Ирана под натиском 11-ой Красной армии. Стреловидная диаграмма ее наступления наползает по карте, целясь в промежность генерала Денстервиля. Знаменитый генерал нынче поспешает на попятный – под прикрытие британского флота, стоящего на рейде в Персидском заливе.

Красноармейские штыки один за другим вспарывают саквояжи с 10 миллионами фунтов стерлингов, которые Денстервиль получил от лордов на операцию по захвату каспийского флота. Взметнувшись высоко в стратосферу, саки опорожняются листовочным конфетти над колонной автомашин, следующей улицей Горького к Спасским воротам. Сонмы листков кружатся и порхают над несущимися в улыбке головами Чкалова, Байдукова, челюскинцев, Гагарина и других героев.

К моему автомобилю подходит работник бензоколонки и принимается резиновым скребком протирать фары и стекла. Я послушно приоткрываю окно, протягиваю ему червонец.

Над перелеском поднимается туча галок. Исступленно галдя, они мельтешат россыпью и, вдруг разредившись на развороте, пропадают пропадом в густом, пасмурном небе. По лобовому стеклу долго тянется сизая ползучая клякса.

Я брызгаю стеклоочистителем, запах паленой водки бьет в нос, пускаются вприсядку «дворники», – и в залитый солнцем кабинет моего прадеда хмуро входит Есенин.

Прадед – военком 11-й армии, шаровой молнией плывет по кабинету его сияющая лысина, он что-то приветливо говорит сердитому поэту, после чая ведет его на набережную, они пьют айран с лотка у причала общества «Кавказ и Меркурий», смотрят на колышущиеся на волнах флотилии арбузных корок, на чайку, распекающую мусорный ящик, и долго-долго – на безупречную линию горизонта, взятую к небу серыми крыльями бухты.

Через день Есенин, усеивая лапчатыми каплями пота почтовые бланки, телеграфирует в Москву свою ужасную поэму.

Два расписных, как печатный пряник, танкоподобных «Форда» пролетают мимо заправки. Вой блескучей сирены впивается дискантом и вынимается тугим икающим баритоном. Огни в сигнальных колбах ворочаются и ходят, будто в них кому-то заламывают руки.

Гаишники не знают, что за рубежами Москвы я успокаиваюсь, как осколок гранаты – за пределом зоны поражения. Что на подмосковных просторах я в силах передвигаться медленно и плавно: как облако по штилю, как по небу луна, как сомнамбула по карнизу, как инвалид в коляске с парусным приводом, как транспорт гужевой, как партизан дремучий по-пластунски.

Каспий с утра штормит рваными полосами крупной зыби, и В. Хлебников блюет за борт на мельтешащие, как пятки, плицы парохода, который везет его в Энзели. На том же пароходе, но на верхней палубе – едет Яков Блюмкин. Он отлично переносит качку и развлекается наблюдением шныряющих в волнах тюленей. Между спазмами Хлебников умудряется записать, что Каспий свят, возвышен потому, что он есть средостение всей России, собранной по капле Волгой. В конце будущего года поэт, затерявшись в Персии, станет от счастья цветком. Блюмкин спустя три месяца будет отозван Троцким с должности политкомиссара Гилянской Сов. Республики и отправится в свое первое путешествие в Тибет, на поиски Шамбалы. Так начнется его мучительное и триумфальное фиаско.

Потому в ноябре 41-го танки вермахта останавливаются перед окраинами Москвы, что у немцев заканчивается бензин. Большая часть его запасов была затрачена на завоевание Украины и Белоруссии. Козырной своей удачей брянские, вятские, тульские и калужские партизаны считают пущенные под откос составы с топливом. И вот – не дотянули. Полный останов разверзает пред Москвою пропасть. Пока Манштейн ждет бензин, Жуков успевает подготовить контрнаступление. Наши танки прут немца на соляре. Соляра в подземном храме в Сураханах сочится прямо из стен. Гитлер снимает Манштейна с должности главнокомандующего, сам садится на стального козла и поворачивает рога на Баку.

Гаишники возвращаются. Один «Форд», отделившись, переметывается через встречную и хищно встает напротив.

Все по той же причине фрицы и отступать-то толком не умеют: стоп машина – ни в хвост, ни в гриву. Вот почему оккупация северной части Калужской области длится чуть ли не год, до августа 1942 г., в то время как юг был освобожден еще в декабре 41-го.

Согласно одной из частей плана «Барбаросса» совершенно секретный корпус «F», составленный из арабской, афганской, иранской и индийской дивизий после захвата Сталинграда должен будет установить контроль над Каспийским морем и занять Баку.

Дожевывая, догадываюсь, что спокоен я потому, что уже нахожусь на верном пути. И что с него меня – не свернуть, не сманить ничем, кроме как пулей. Впереди – в 16 часах езды передо мной открывается Великий Юг: Таврида, паром Ялта – Синоп, оттуда, маханув малоазиатским побережьем между тройских курганов, – я загибаю в Каппадокию. Качу по кремнистой равнине, залитой закатом, петляю между армией исполинов – слоеных остистых столпов, вырезанных в тысячелетиях пильчатыми песчаными бурями. Соловьем-разбойником устраиваюсь на ночлег в одной из этих эоловых башен. Ночной пустынный бриз подвывает в мое дупло, как циклоп в пифос с таящимся Одиссеем. Далее утром взлетает гористая дорога на Леванон, трехдневная проволочка с визой на границе Газянтипа, наконец мелькает транзитной сотней километров Сирия, чиркает Бейрут, и вот – пустынный КПП перед Кирьят Шмона – и все, приехали. Коленопреклоненно губы шепчут землю – и вот уже поворот на Цефат, вот кипенные его сады на взмывающих склонах – и мальчонка верхом в белой рубахе цветущей веткой погоняет мула ввысь по переулку...

Один мент выходит из машины и проникает в павильон заправки. Через стекло он косится на меня. Выражение у него такое, будто взглядом он окунается в небытие, пытаясь припомнить чудной, поранивший душу сон.

Дачку в Велегоже я купил по чистой случайности. Лет пять назад загремел в больницу, где месяц промаялся на койке по соседству с одним стариканом. В реанимации он отлеживался после третьего инфаркта. У нас нашлась общая тема. Мы оба оказались физиками: я – по образованию, он – по профессии. Когда-то я проходил преддипломную практику в институте, в котором он проработал 40 лет. В самом начале 60-х в лесу под Серпуховом построили Институт физики высоких энергий и рядом с ним – закрытый городок ученых. По территории Института просекой в сосновом бору проходила многокилометровая петля подземного туннеля, в котором мощные магниты разгоняли пучок протонов до чудовищных энергий.

Старик, рассказывая о своей научной молодости, вздыхал регулярной присказкой: мол, все ж таки ему довелось пожить при коммунизме, – хотя бы и в отдельно взятом фаланстере. Превосходное снабжение, великолепная культурная жизнь – КВН, литкафе, Жванецкий, в широком ходу самиздат, двухуровневые квартиры, регулярные поездки в Швейцарию в Европейский Центр ядерных исследований и т.д.

Однако мне почти не о чем было вспомнить ему в пандан, в том же институтском контексте. Разве только о чудесных ночных купаниях голышом в Оке, когда парная вода ласкает все тело и тонкая дымка загадочно висит над звездным речным простором; когда щелкают надрывно соловьи и дева, блеснув зрачками, медленно раскрываясь млечной наготой, опускается навзничь в росистую траву, мерцающую лунной жуткой искрой...

Но об этом я помалкивал.

А старику было чего порассказать. Хоть отбавляй. Чего-чего я только от него не слышал! Например, он поведал мне об одном бедолаге – технике, припозднившемся с монтажом в тоннеле ускорителя в тот момент, когда физики начали один из экспериментов. Пучок бешеных, как дикие пчелы, протонов прожег навылет ему голову, пройдя от левой скулы к правому виску. В результате герой остался жив, но сошел с ума на почве микромира. Ему все чудилось, что атомы – это совершенно живые существа, но только впавшие в глубокий обморок... Он писал в газеты письма, что в цепочке «человек – животное – растенье – камень – атом» жизнь, лишь убывая понемногу, присутствует абсолютно во всех звеньях. Что в результате несчастного случая им был установлен контакт с протоном №3425679875027811933142711828182831476582 73.

Но закончилось все тем, что старик как-то раз посетовал, что километрах в тридцати от Серпухова, в дремучем заповедном месте над Окой у него есть дачка, с которой он из-за болезни уже не в силах управляться. Я воскликнул: – Отлично! – и через неделю мой маклер привел к нам в палату дочь старика и нотариуса. Дочери я вручил принесенные маклером деньги, а нотариус заверил подписанную купчую.

На следующий день, разбуженный уже горячим светом апрельского утра, я открыл глаза, полежал – и протянул руку к изголовью старика, чтобы опустить ему веки. После окончания сделки старик не прожил и суток, – помер, скорей, не от времени, а от чувства невыносимой беспечности – будто сдал свой тяжкий таинством город чужестранцу.

А мне в том прозрачном городе – на той загадочной дачке очень даже пришлось впору. Впервые я приехал туда вскоре после выписки, на майские. И вот ведь диво – все клумбы оказались усажены королевскими тюльпанами. Представьте – целая алая армия! А еще там кругом дремучий лес по-над раскатистыми взмывающими все глубже в высь и даль уступами древней речной поймы. Рыбалка щедрая, зверья полно – косули, лоси, куропатки, утки, бобры и зайцев прорва. И так там тихо, загадочно, мудро, – что, бывало, проснешься ночью, полежишь – и вдруг сладостно пронзит: что будто бы ты уже умер.

Циклопический гаишник, отоварившийся целлофановой коробкой с пирожными, подходит к моей машине и, катая желваками, пялится в упор через лобовое. По закону он не имеет права потребовать от меня ни документов, ни объяснений. Я – не пойманный вор. Однако выхожу и извиняюсь: «Перенервничал, вспыхнул, газанул, впредь буду паинькой», – и достаю три сотни – по купюре на каждый обделанный пост. Молча хватко берет, будто только что мне что-то впарил, крутит пальцем у виска и отваливает вразвалочку. Желтая сигнальная жилетка, подле которой плывут рядком шесть кремовых пионов, уменьшается, выкатывается из-под портика, – и ее тут же обступает, проглатывает ноздреватый крупнозернистый март, голая галочья роща, тяжкое – вровень с небом – все в оттепельных пролежнях поле, которое широко за горизонт кесарево рассекает бетонная дуга, ведущая меня в мой ближний дальний рай.

Дальше вот что. Я умеренно мчусь в Велегож, вдыхая из приоткрытой фортки весенний, натертый подсолнечником ветер, слушаю по радио Шопена, но тут...

В общем, я утыкаюсь в грузовичок, сбавляю и рыскаю, чтобы его обойти. Вдруг на ухабе из-под кузовного тента вылетает голое тело. Виляю, ухожу на обочину, торможу. Грузовичок шкандыбает еще две сотни метров, роняя из-под прорвавшегося тента замороженные туши.

Выскакивает водила, бежит назад расставив руки, вдруг бухается на колени, рвет на себе куртку, хватается за голову, на отрыв. Я врубаю «маячок», выхожу, выставляю аварийный катафот. Поднимаю мужичка под локти, ору: – Давай собирать! – Бедняга подхватывается, лопочет не по-нашему, и мы с ним долго-долго, задыхаясь, стаскиваем с трассы в обоченную груду грязно-розовые туши баранов. Попутный транспорт набивается в пробку, гудит; легковушки объезжают, грузовики переламывают стесанные от удара, растянутые в бесконечном прыжке туши.

Наконец присаживаемся отдышаться.

Расплывшиеся фиолетовые печати на полосатых ляжках наводятся резкостью памяти на случай.

По этому случаю я оказался на офицерских сборах, проходивших на территории части ракетных войск стратегического назначения в лесной секретной глухомани. Во время самоволки на реку меня пытался подстрелить часовой, за что я получил «губу», трудодни которой тянутся на кухне. И вот повар требует подтащить со склада коровью тушу. Вдвоем мы долго и сложно ворочаем через сосновый бор буренку. Наконец присаживаемся на корточки на перекур. Прикладываем к теплой, нагретой солнцем земле озябшие до ломоты руки. Над протяженной тушей, облепленной хвоей, веточками, отрядами муравьев, тут же появляются слоновые изумрудные мухи. Они гулко летают над мясным ландшафтом, будто светлячки на кончиках капельмейстерских палочек, шомполами выбивающих из глухого оркестра марш. Вверху чирикают птицы, полосы солнечного света текут между розовых сосновых стволов. Я докуриваю и, поднимаясь, различаю цифры и буквы чернильной печати, поставленной у крестца:

«1941 г., Моск. воен. окр.»

Привыкнуть к этому было невозможно. Единственное, что помогало унять дрожь и тошноту, – это могучее усилие, которое он прикладывал к душе, чтобы удалить, прогнать ее от скверны страха, пронизывавшего тело. Вот и сейчас, пока пышущий луком и водкой краснорожий майор шарил и лапал его на первом пропускном, у Боровицких, он переправлял нутром все эти толчки и жамки – по ребрам, ляжкам, по бокам, по ягодицам – куда-то вверх, с тем что-

бы намеренно опротиветь душе, помочь ей отпрянуть, брезгливо взмыть и отстраниться – как недотрога прочь от мужлана.

К представшему пер. зам. наркома Сталин обратился вполголоса: «Товарищ Байбаков, Гитлер рвется на Юг. Он объявил, что если не завладеет нефтью Кавказа, он проиграет войну. Ваша задача – сокрыть нефть. Имейте в виду, если вы оставите хоть тонну нефти врагам, мы вас расстреляем. Однако, если вы уничтожите промыслы, но фашист не придет, а мы останемся без горючего, мы вас тоже расстреляем».

Стол-поганка у ларька на Моховой заляпан тающими сугробами пивной пены. После приема сталинской нормы – стопятки и кружки «Трехгорного», Байбаков, без году молодой нефтяной нарком, смотрит в весеннее яркое небо, в котором грузно висят заградительные аэростаты.

Возвращающаяся душа спускается необычно быстро. Было обрадовавшись, он вдруг пугается ее скорости, понимая, что сейчас произойдет катастрофа. Душа, мятежным болидом войдя в пике, верзится, угрожает его прибить, самой разбиться вдребезги. Нарком малодушно отскакивает от столика, дергается, но вдруг каменеет, запрокидывает голову, решительно подставляет грудь – и душа, совместившись, слившись с тугим могучим потоком железа и бетона, ревмя сокрушая скважинную пустоту, гвоздит, запечатывает одну за другой километровые буронабивные колонны Майкопского месторождения.

За шесть месяцев оккупации Северного Кавказа ни одной железобетонной пробки Байбакова немцы вскрыть не сумели.

И вот я вскакиваю в кузов на погрузку – собираясь принимать от незадачливого скотовоза баранов. Но от ужаса приседаю. В кузове толпятся живые бараны. Они жмутся друг к другу, отступают волнами вглубь, шарахаются от моих колен, трясут курдюками. Я провожу рукой по их пышным бокам, по нежным ушам, по курчавым затылкам, по шелковистой у шеи полоске каракуля... Господи! Да как же к ним мертвых укладывать? – в страхе восклицаю я про себя.

Но не выскакивать же обратно? – И я одну за другой принимаю, перекладываю гремящие туши, стараясь уложить их поплотней, сцепить ногами, – и кошусь на баранью голову, подплывшую мне под ноги.

Миндальные глубокие глаза кажутся совершенно живыми, нежными, умными. Я дотрагиваюсь пальцем до упругого тонкого уха, потом беру голову в руки и вглядываюсь. Я успеваю проникнуть в эти глаза настолько глубоко, что когда слышу: «Э, брат, спасиб-да-а! Поехал-да-а, гостем будишь!» – не успеваю отказаться, и вот че-

рез полчаса мы подъезжаем цугом к сельскому дому, стоящему одиноко на краю леса.

Белоснежные буруны, катящие грядами – одна за другой, целая армия белых шеренг – по пространному взморью, в моем каспийском детстве назывались «барашками».

Дом моего нового друга полон женщин всех возрастов. Они высыпают нам навстречу, одни приветливо кланяются, другие, помоложе, распахивают тент, забираются в кузов, откуда толчками и пинками выгоняют баранов. Сложно преодолевая барьер из мороженых туш, спотыкаясь, цепляясь, упадая передними ногами с борта, животные выскакивают, блеют, сбиваются в кучу. Когда мы уже входим в дом, я вижу, как их загоняют палками в сарай.

Внутри дом уподоблен пещере Али-бабы: все устлано коврами, медная посуда, пылающий очаг, над ним крючки, миски, кастрюли, тазы, джезвы всех размеров. Волны запаха смеси имбиря, корицы, шафрана, зиры – ослепляют мой мозг воспоминаниями детства.

По-русски хорошо говорит только средняя дочь хозяина, которая выступает переводчиком.

Разувшись, мы усаживаемся на длинные шерстяные валики, подкладываем под поясницы какие-то то ли думочки, то ли пампушки... В общем, весь антураж почти как в одном марокканском ресторане в Сан-Франциско.

Из подпола поднимается корзина с копной соломы, из которой выпрастывается огромная дыня-торпеда. Мы омываем руки над тазиком и впиваемся в выдержанную густую сладость Шемахинского солнца. Заваривается чай, крепчайший, янтарного цвета чай, который мы пьем из небольших грушевидных стаканов.

– Армуд, – говорю я, поднимая на свет стаканчик.

– Груша. Ты знаешь, – улыбаясь, кивает девчушка.

Вдыхая терпкий пар, я закрываю глаза – и на вогнутом амфитеатре асфальтовой ночи рассыпаются известняковые кубики домов. От них восходит, танцуя и кривляясь прозрачными талиями, марево, и кажется, что дома, остывая и восходя потоками, тают в сумерках, подобно рафинаду в чае, – подобно кусочку белой твердости, исходящей осмосом по струйкам преломления.

Густой воздух упруг и податлив сладостным чувствам. В переливчатой осыпи уличных огней, колеблемых и тасуемых по зыбкой в мареве панораме, загорается где-то оконный маяк немыслимого гарема. Влекущей звездой он дрожит на краю наития. Огромные кольца счастья, расходясь от таинственного окна, несут свой центр

через солнечное сплетение, наполняя его, как фокус, цветочной тревожной тягой южной любовной тоски...

«Сегодня первое марта, первый день весны», – бормочу я про себя, стремительно окунаясь в безнадегу...

Отец девчушки начинает неспешно говорить, она переводит размеренно, внятно. Прочие женщины усаживаются далеко в сторонке и уважительно кивают.

Я не смею поднять на нее глаза, потому что мне страшно и сладостно. Потому что боюсь встретиться глазами с тем, кто позвал меня сюда.

Отец говорит: – Спасибо, друг. Эти бараны – мой основной заработок в году. Скоро Курбан-байрам, все будут кушать барана, я хорошо заработаю.

Мы пьем чай. За единственным в комнате окном поднимается метель. Я прислушиваюсь к завываниям ветра. Хозяин кивает – мол, деваться некуда, вот такая на чужбине весна...

Мне уютно. Пляшет в очаге огонь. Женщины занялись рукоделием. Я беседую с хозяином дома, объясняясь глазами с его дочерью. Часто девушка помогает отцу с ответами – скороговоркой переводит ему и тут же, не дожидаясь, отвечает мне – обстоятельно и с интересом. Отец сопровождает ее рассказ одобрительными кивками. Они оба получают удовольствие от беседы, и я не хочу огорчать их своим уходом.

Слово за слово выясняется, что они совсем не азербайджанцы, а мидяне – древний народ, чуть не древнее персов, еще со времен Ахеменидов наследовавший зороастрийцам. Они приехали из южного Азербайджана. Принимают их здесь за азербайджанцев, но сами они по-тюркски говорят лишь на людях. Современные иранские зороастрийцы – те не настоящие, потому что настоящие как раз мидяне. Мидяне – маги. Они всегда спорили с персами, начиная еще со времен Дария. Имя царя Дария Мустаф произносит странно: Дари-сахум, с ударением на «и». Именно мидяне сумели сохранить подлинную чистоту мысли и обряда, заповеданных Заратуштрой. Например, для ритуального огня мидяне используют не дрова, а нефть.

Я осторожно расспрашиваю. Курбан-байрам – совсем не их праздник, просто у этой семьи хорошая торговля в мясных рядах в Чехове. На чеховском рынке все лавки сплошь принадлежат мусульманам. Специально к празднику Мустаф подзакупает живых баранов, потому что Курбан-байрам – жертвенный праздник, на него живую жертву приносят. Баранов разбирают в одночасье, по двойной цене, не торгуясь. Конечно, было бы лучше – если бы под праздник он торговал исключительно живыми баранами. Однако с

ними много возни, надо скотный двор расширять, дополнительным транспортом обзаводиться – и все ради одного только раза в году. А разводить скотину невозможно, – пастбищ тут нет, а комбикормом разве только карасей в пруду прокормишь.

Меня ведут во двор. Стемневшее небо швыряет вниз колючие шлейфы снега. Вот тебе и весна. Недаром говорят, март не капелью, а метелью красен.

Мне показывают какую-то бетонную нишу, в ней пылает огонь. Это – ритуальный огонь, вроде «вечного», он пляшет над небольшим углублением, к которому по змеистому стеклянному желобку стекает понемногу коричневая маслянистая жидкость. Спрашиваю: солярка? Нет, чистая нефть. Добывают они ее на узловой в Бутово, где стрелочник отливает из проходящих цистерн по полтиннику за канистру. В Бутово добрый нафт – сибирская югра. Ею умоешься – после много дней ходишь как летаешь. – Но Мустаф мечтает о том, чтобы съездить на родину, разжиться белой нефтью, какую там добывают из ритуального колодца, в незапамятные времена вырытого над берегом Каспийского моря. Белую нефть даже пить можно. Для здоровья по ложке в день – как рыбий жир, очень полезно.

Поводя во все стороны мощным фонарем, меня ведут по двору, знакомят с хозяйством, показывая обустройство двора. Здесь есть и летняя кухня, и курятник, и сеновал, и хлев, – в живой темноте которого кто-то шумно вздыхает, переминается, всхрапывает. В приоткрытую дверь заметает снег; качнувшись, она выдыхает теплый навозный дух.

Я мельком соображаю, что будто бы мне показывают приданное, или – все это в рамках гостеприимства?..

И тут я обращаю внимание на странную вышку, стоящую посреди двора. Поначалу – из-за неполного освещения, я принял ее за беседку, но, подойдя поближе, понял, что высота ее огромна. Я беру у девушки фонарь и направляю луч вверх. Метель несется густой пеленой поверх, скрадывая истинные размеры конструкции. Я справляюсь о ее предназначении. Мустаф начинает что-то объяснять, но дочь вдруг кричит на него – и горячо, будто оспаривая то, что я мог подумать, говорит мне, что на этой вышке летом отец пьет чай, а она смотрит в поле, на лес, или читает. Оттуда на Юг открывается великолепный вид. Тем временем мы отходим в сторону, возвращаясь к нефтяному огню.

Я понимаю, что эта вышка как-то связана с неким ритуалом, но держу язык за зубами. Не буровая ли? Канал для общения с недрами, с небом? Обернувшись, вдруг вижу, что вокруг этой сходящей на конус этажерки взметнулся снеговой шлейф, обвил ее, сделав похожей на призрачную фигуру великана...

Поежившись, я придвигаюсь поближе к огню.

В этом зороастрийском огне есть что-то необъяснимо затягивающее, совсем иное, чем в огне от лучины, свечи. Между ними такая же разница – как между пресной водой и морской.

Закрытый двор спасает от вьюги, но ночь уже примораживает, и я протягиваю к пламени руки.

Мустаф просит подождать, сейчас он принесет угощение.

Когда ее отец исчезает в пристройке, девушка берет меня за руку. На ее щеке, обращенной к огню, тают снежинки. От глаз ее, в которые я посмел взглянуть, идет разверстое сияние южного ночного неба.

Мустаф возвращается – и протягивает нам гранат. Розовый, шишковатый, он увенчан глянцевитой короной. Мустаф разламывает плод и ссыпает нам в ладони сияющие в отсвете огня кровавые зерна...

Вскоре я прощаюсь, Мустаф выходит меня проводить.

Калитку я открываю с трудом, против ветра, белая мгла хватает меня за щеки, кутает в вихорь – и я вылетаю наружу, брошенный откатным порывом. Метель беснуется над полем, за забором я едва могу разглядеть свой автомобиль.

Мустаф не сразу отпускает меня. Он подводит меня к хлеву, какое-то время фонарь пляшет в проеме двери – и выводит за шкирку одного барана, поднимает – дает мне на руки как ребенка.

Я отказываюсь.

– Господи милостивый! Да что я буду с ним делать?!

Мустаф объясняет, что мне не отступиться.

Я толкаю коленом прижавшуюся морду – и кричу:

– Как я его повезу?

Вместо ответа – Мустаф ныряет в хлев и появляется с ножом в руке. Плещет фонарь, зажатый в подмышке, – и Мустаф распрямляется, на вытянутой руке держа за загривок баранью башку.

Черное огромное пятно расплывается по снегу у меня под ногами – разверзается, глотает.

Мустаф проворно потрошит, подвешивает на крюк, просит меня посветить – и, подрезая вкруговую, стягивает изнанкой шкуру. В сарае поднимается вой, стук, рев. Мустаф скалится улыбкой, приносит из сарая банку, сыплет на шкуру две полных горсти, завертывает в нее тушу – и протягивает мне сверток.

Меня мутит, волнует от теплого, сладкого запаха, я становлюсь сам не свой и, желая все это срочно пресечь, покоряюсь Мустафу.

Метель воет, толкает в грудь, хлещет по лицу. Я укладываю барана в багажник – и меня вырывает на бампер. Утершись снегом, я смотрю на Мустафа: за что? Он похлопывает меня по плечу.

Сажусь за руль, включаю мотор, но вдруг замешкавшись, выскакиваю – и прошу Мустафа, раз уж на то пошло, дать мне еще и голову.

Как букет обернув газетой, я устанавливаю ее на переднем сидении.

Трогаюсь. Мустаф идет рядом, начинает отставать, гулко хлопает по багажнику и, взмахнув рукой, пропадает в мглистой черноте.

Ничего не вижу. Еду в сплошном буране. До окружной бетонки по прямой через поле километра два-три.

В потоках метели, рукавами метущейся по лобовому, мерещится черт знает что. Снежинки вертятся и нарастают до огромных хлопьев – будто чей-то мозаичный снежный лик, прижимаясь к стеклу, заглядывает мне в глаза, пытаясь свести с дороги...

Вдруг чудится, что мне наперерез кидается девочка. Я притормаживаю, машину несет, зарывает, но девочка, ослепительно взметнувшись в свете фар, уносится в пургу. Или – что за мной мчится снежный гигант. Я наддаю, но, хохотнув и раззявившись, он сам уносится прочь.

Мне страшно, мне все время кажется, что вот-вот колею заметет до непроходимости.

Но вот снежный колосс встает передо мной, не давая проходу. Его белый саван то сгущается и опадает, то взметывается, разлетаясь. Он протягивает ко мне лапу, он что-то требует.

Я останавливаюсь, мне так страшно, что сводит в паху. Я смотрю на соседнее сиденье. Барашек внимательно выглядывает из газеты.

Я беру его в руки, сую за пазуху, выхожу. Вьюга воет и хохочет, рывком выдергивая ручку двери. Открываю багажник, принимаю из него баранью тушу, отбрасываю в снег. Туша падает, вдруг встает на ноги и, обнявшись снеговым руном, – кидается прыжками назад по дороге, но снежный вихрь подхватывает его – и уносит в белую-белую тьму...

Через день ранним утром я слонялся по Гурзуфу, поджидая открытия поселковой столовки. По краю расцветшей гортензией клумбы выкарабкивался из зимней спячки жук-олень. Он шатался, вздымая рога, и упрямо, буксом лапок царапая бетонную кромку, стремился на пригрев за край синей длинной тени. Солнце наконец перевалило через хребет Аю-Дага и подожгло море, разлетевшись блеском наискось до горизонта. Я посмотрел на часы. До отхода парома на Синоп оставалось два с половиной часа. Внезапно острый приступ досады расколол мне темя...

В общем, мне нет оправдания – я спалился. Как фраер. Решив непременно доиграть до конца, вынуть весь клад, я прыгнул за руль и, оставляя на ялтинском серпантине дымящиеся вензеля, полетел

обратно на север. Доехал как завороженный – единым махом, без запинки, – даже ни разу не тормознул для дозаправки, потому что каждый раз, скашивая глаза на стрелку бензобака, видел, как она неумолимо всползает вверх...

Меня нашли через неделю, в поле на окраинах Бутово, неподалеку от заброшенной ретрансляторной станции, когда солнце ярилось уже совсем по-весеннему и снеготаяние обнажило спойлер занесенного по крышу «Фольксвагена».

Подвязанный шарфом под мышки к перекладине, уже оттаяв с лица, я сидел на последнем ярусе радиомачты – с открытыми глазами, держа в ладонях баранью голову. Мы оба смотрели за горизонт. Восходящее солнце зорко-зорко всматривалось в наши параллельно остановившиеся глаза, проникая в них все глубже, дальше, рушась мощным потоком сквозь четыре звезды в бездонную тихую тьму.

КЕФАЛЬ

Наталье Гетманской

Впечатление это стряслось в Севастополе, в детстве.

В августе по городу, словно весть о тайной катастрофе, разлетелся, мигая, шепот: к берегу наконец подошла кефаль.

В сопящей ватаге друзей, путаясь в снастях донок, то и дело взвывая от впившегося крючка и гремя поклевными бубенцами, Семен несется вниз по нешироким ярусам города к морю.

Полдневная духота тяжко оплывает по чаше ландшафта. На Мичманском лужи лопастного крошева сухой акации лениво шевелятся и пересыпаются на новое место от случайного сквозняка. Там и сям по косогору в дебрях Исторического бульвара, в своих подземельях или с ветвей вскрикивают, цокают цикады.

Пацаны, едва поспевая корпусом за ступнями, мчатся вниз на Графскую пристань, слетают с Верхней Садовой: ограды над подпорными стенками, заросшие плющом и остистыми копнами дрока, памятники, камни бастионов, петли переулков и булыжные лестницы, едва проходимые от царапких дебрей шиповника и ежевики, уютные тупики, розовые острова душного олеандра, стрельба солнечных бликов по окнам домов, подвесные мостки к парадным, резные балконы, с повыползавшими на них на прогрев пальчиковыми гекконами, золотисто-карий полусвет кофеен и дурманный чад жареной султанки, обморочный шелест шелковых флагов и запах роз и поми-

доров – все это бесследно рушится в их взвинченных ощущеньях и взглядах, с бешеной цепкостью вырывающих из перспективы бега ниточку равновесия. Море, входя предвосхищенной прохладой в обрывистые узкие бухты, пока еще невидимо живет за Братским кладбищем, за Корабельной стороной...

И вдруг впереди – стоп, провал, неясная заминка: на пути громоздится нестройный вой духовых, по ухающему колесу барабана ходит войлочная колотушка, и медный блеск тарелки, гремя, впивается в зрачок.

На улице Лейтенанта из дома, утопшего в мощном обвале пыльного плюща, в палисадник выносят гроб.

Вся в трещинках, барабанная кожа натянута дрябло, пролежень от колотушки дышит, как на жирной старухе.

Гроб устанавливают на крашеные табуреты, похоронная какофония рассыпается на минуту молчанья.

Следуют всхлипы и плачи. Дымок из зажатой в чей-то дрожащий кулак сигареты свивается в сизую розочку и плывет перед глазами Семена.

Училка математики, Лизавета Сергевна, хотя нынче каникулы, почему-то стоит здесь, вся в черном.

На них шикают, кратко – трам-бац-трям – сыплются подзатыльники. Совсем сбавив ход, мальчишки снизу-вверх любопытно сочатся в толпе старшеклассников.

Почему-то все они смотрят в одну точку.

От лица девушки, лежащей в гробу, не оторваться. Оно влечет взгляд, как пропасть.

И тут Семен вспоминает – дочь капитана первого ранга учится в боевом 9«Б». Ее отец командует эсминцем «Баку» – потайным огневым ураганом Средиземноморья. Позавчера на закате корабль стал на рейд у горизонта напротив Балаклавы: Семен с крыши своего дома в бинокль видел, как рушились якоря и как уже на шварте матросы впопыхах чехлили лес ракетных установок...

Это она на первомайском концерте играла на пианино в актовом зале. Низкая челка, строгий профиль тронут на скулах светлой тенью загара; ужасно прямая спина, белый фартук, короткая черная юбка в складку, – ее край, сместившись, приоткрыл золотистую мышцу бедра – чуткую, как рыба, телесную волну, оживающую при нажиме педали...

В распахнутых окнах носятся наискось ласточки. Клавиши, ткущие полонез, невесомо взбиваются плавными тонкими руками.

Вопли ласточек, проносясь, как бы колышут музыкальную ткань.

А еще он однажды видел с нижнего пролета школьной лестницы ее кружевные трусики. Он следил за ее восхождением с открытым ртом, так как не предполагал, что нижнее белье способно излучать свет, что оно может быть таким же легкомысленно воздушным, как манжеты или отложной воротничок на школьной форме... В сравнении с просторечием простых плавок и батистовых пузырей – это было ударом ослепленья.

Заметив, что пацан подглядывает, настигла, перемахнув стрелой перила – стремительно голые смуглые ноги в раскрытом оперении юбки мелькнули жар-птицей над опрокинутым взглядом, – и, слегка придушив, вместо того чтобы наотмашь в спину сшибить наглеца вниз по ступеням, вдруг оглянулась и, нагнувшись, чмокнула в уголок рта.

После, на географии Семен долго и мрачно тер рукавом щеку и губы, до тошноты корчась от стыда внутри.

Сейчас тело девушки неопрятно запеленато в розовую блестящую тафту – так девчонки кутают кукол. На матовом виске виднеется крохотный подтек. Его форма – ящерка с рогатым хвостом.

Семен не боится мертвецов, он просто испытывает к ним отвращенье, как, например, к запаху герани или ко вкусу содержимого гробиков вареных яиц. Когда у них умерла бабушка, он бежал из дому и ночевал три дня на причалах Северной бухты, пока его не определили, загнав погоней в полночь на портовый кран, в детскую комнату милиции – до востребования взбешенной матерью.

Но теперь, глядя на девушку, ему хочется сделать страшное. Его мутит от злобы, от желания кинуться, раскрыть, выпростать всю из тряпок, чтобы, задрав ей юбку, припасть, укусить, отомстить за свой стыд.

Понизу прошел обрывок бриза и качнул прядь на виске.

На мгновение стало страшно.

Он первым снова рванул к морю.

Вечером на закате Семен в одиночку возвращался той же дорогой. Выкупавшись напоследок, напитанной светом кожей он чуял, как при ходьбе прохладно прикладывается к загару вобравшая капли моря рубашка.

На тротуаре перед домом на улице Лейтенанта рассыпаны пыльные, исхоженные ветки кипариса. Их плоские, затертые кружева невесомо покрывают асфальт.

Семен огляделся. Белая башня херсонесского маяка розово зажглась низкими лучами солнца. По ту сторону Южной бухты поезд высек свисток и пошел накатом в гору на Инкерман.

В высоком объеме неба, заставленного плоскостями оттенков заката, прозрачно стоит лицо девушки.

Улыбка плавает на губах.

Семен удивился и, помотав головой, словно вытряхивая из ушей воду, срочно тронулся дальше.

В конце улицы на балкончике дома, вылезши за край косой, на глазах ползущей тени, греется последним светом крохотный геккон. Бледный язычок длинно выскользнул набок из щелки рта и потер монетку глаза.

Обмякнув, застыл как у повешенного.

У Семена на проволочном, режущем плечо кукане обливаются потекшим на солнце жиром пять радужных кефалей. На блестках крупной чешуи – лишайчики налипшего песка.

Он на ходу с приятным усилием снимает кукан и вытягивает руку, снова любуясь уловом.

Вдруг тяжелый эллипсоид рыб, благодаря восхищенной рассеянности взгляда, отделяется от связки и плывет в потемневших глазах головокружительной линией женских бедер.

ПЕРСТЕНЬ, МОЙКА, ПРОРВА

По дороге в Велегож со мной всегда что-нибудь приключается.

Огромное – или крохотное, но всегда такое, что потом не то чтобы не расхлебать, но несколько даже удивительно, что вообще выжил.

Вот как раз той весной и приключилось все мое будущее. Худобедно, но оклемавшись, могу теперь рассказать, как все было.

В середине марта первые солнечные деньки умыли мне душу. Особенная в том радость была, что за всю сошедшую зиму не набралось и трех ярких дней. Это я точно могу сказать, потому что на почве светоголода, я давно уже стал натуралистом, природоведом, что ли, фенологом, да. В общем, веду дневник наблюдений, в котором каждые три часа отмечаю – облачно-ясно-дождь-снегопад-гроза. Температура и влажность мне не существенны – метеорологом я не дерзаю. Единственное, что меня в этой жизни заботит: это наличие солнца на небе. Без солнечного света я как рыба без воды. Жизнь не мила, и воздух обступает тесно, будто земля сырая, забивается в глаза и горло...

Так вот тогда как раз грачи прилетели – раньше на неделю.

Сам видел, как они в Кускове садились на насесты – валко, обстоятельно гаркая, кружась на отлет над гнездами – колючими, раскуроченными за зиму воробьями.

Весна, разгораясь, будоражила все вокруг. Тонким стал воздух: прорвав снежные тромбы, город звенел вовсю. Машины рассекали сияющее небо в лужах. Отраженные в них окна бились, взлетали веерами осколков, взметывались павлиньими хвостами солнечных клякс.

Пьянящий ветер врывался в рамы, как любовник под кофточку. Ноздри втягивали воздух – жадно, с трепетом, как кокаин. Вдохновленный бессознательной мечтой, я носился по городу, торопясь, изнывая от нетерпения расправиться с делами.

И вот поздним вечером, насилу со всем поквитавшись и даже успев заскочить в парикмахерскую, я был готов уже рвануть с Пресни на Можайку и оттуда по Кольцу на Симферопольскую трассу ... Но подойдя к машине, ужаснулся ее внешнему виду. Не мыл я свою тачанку ровно зиму. Сейчас она стояла под фонарем – непознаваемо, беспролазно чумазая, как спаниель после охоты. Слой дорожной грязи придавал ей лишний вес и обтерханный вид раллийного снаряда. И я стоял перед ней, обновленный весной, только что подстриженный и вымытый, обуянный мартовским воздухом, уже не сознающий ни в какую, что жизнь есть тьма и нищета, и слезы. Я еще раз упоенно вдохнул родниковый воздух марта. На выдохе мне стало ясно: ехать так вот – не помыв коня – не то что грех, а преступленье. Машину надо было срочно в мойку – мыть, скрести и пылесосить. Пусть выеду поздно, хотя и за полночь, но в Велегож прибуду чистым, словно бы новеньким.

Было уже начало одиннадцатого, а единственная поблизости – на Грузинах – мойка работала, кажется, до полуночи.

Мойка эта пособничала охраняемой автостоянке, располагавшейся на задворках заброшенной товарной станции и начала бесконечного тупикового парка Белорусского вокзала. Жутковатое это было место. Приезжал я туда всегда по темени, как и сейчас. Так получалось. Никогда я не торопился возвращаться с работы. Одиночке дома делать нечего, кроме как спать. К тому же пробки рассасывались никак не раньше девяти. Пресненский вал вообще гиблое место – толчея у пеш. перехода к метро, цветочный рынок – торговцы-горлопаны, зазывалы у букетных фонтанов на обочине, автомобили покупателей наискось – кормой в бочину, не пройти, не то что проехать. Место, где Грузины и Белка-Ямские сталкиваются с Беговой и 1905 года – клин с клином, суши весла, иди пешим. Место, где некое коловращение Москвы всегда – сквозь века принимает обороты, омут, тайну. Место, которое кому и по плечу, так разве что дяде Гиляю...

Пресня, Грузины, Ямские – сходясь – образуют своего рода московские Бермуды, которые не столько страшны, сколь таинственны.

Неспроста именно здесь в течение нескольких десятилетий стояли в позапрошлом веке таборы цыган. Именно благодаря цыганам здесь, на Пресне, возникли ресторация «Яр» и Зверинец. Наследия символа разудалого забытья и сейчас сколько угодно в этом треугольнике, как нигде в Москве. Только здесь можно наткнуться на ласвегасовские театры – такие, знаете, с золоченными слонами в натуральную величину напротив входа. И конечно, Зоопарк – невероятное заведение – островок, сингулярность, выколотая точка, провал – на дне которого как в калейдоскопе сгрудились осколки обитателей всего земного шара. Гам, стенанье павианов, всхлипы выпи и рыдание павлина, уханье шимпанзе, иканье лам и тигриный рык несколько лет сопровождали меня во время вечерних прогулок по Зоологическому переулку. Два года назад животных поместили в новые закрытые вольеры, и наступила тревожная тишина, которая хуже любого вопля: зверь затаился у площади Восстания.

Грузины замечательны двумя домами. Одна – усадьба Багратиони, из которой по всему городу расползаются бронзовые чудища. И другая, в трех кварталах – дом Мирзахани, самый красивый новострой в Москве, чем-то напоминающий шедевры, обступившие Австрийскую площадь в Питере. Владение строительного магната представляет собой резиденцию по-восточному многочисленного фамильного клана. Выгуливая себя в той местности, я непременно выруливал к дому Мирзахани, чтобы пройти мимо парадного, отделанного искристым лабрадоритом. Пренебрегая крупнокалиберными взглядами пиджачной охраны, я вышагивал поребриком вдоль сквера, прямехонько на двух бронзовых гигантов – в объятья шабутных одноколесных клоунов. Я шел вдоль парковки, где можно было увидеть и «Роллс-ройс», и «Феррари», и «Ламборджини», и «Z4», – пока еще не переведенных «валетами» в стойло подземного гаража, спуск по спирали с торца, из-под яшмового фонтана.

Если был с приятелем, то непременно мы заходили в полуподвальный местный магазинчик – одному мне не хватало куража. Здесь в очереди у касс и вдоль стеллажей, если повезет, можно было наблюдать плавных сногсшибательных див – наложниц дома Мирзахани. Невиданные туалеты, драгоценности, светящаяся, гладкая как вода кожа, неслыханные запахи иного мира – все это ослепляло и одурманивало. Невидимые, мы проходили мимо так – как проходят мимо раскрытой клетки с тигром. Кротко косясь – на локоть, запястье, плечо – и только, мы вскладчину расплачивались за два пучка редиски и бутылку «Синих Горьких Капель». Выйдя на воздух, еще неся вокруг себя их образ и аромат благовоний, мы заходили в Зоопарк и напротив вольера с застывшим хохлатым журавлем распивали саамскую водку, выделанную из редкого запо-

лярного моха, не ягеля, а какого-то редкого мха, каким олени лечатся от смертельных ран...

Да, вот такой в нашей местности имеется дом, не чета ни домам на Беверли Хиллз, ни сицилийским виллам... Сам я живу в 36-м доме, мои окна выходят в технический палисад секретного завода «Рассвет», где взрывным методом отливают из титана лопасти то ли авиационных турбин, то ли винтов атомных подлодок. Кстати, в этом доме Маяк написал «Облако» и срифмовал Пресню с «хоть тресни». Дом я свой недолюбливаю и все мечтаю из него съехать навсегда в Велегож. Да – продать квартиру, переехать на натуру – рыбалка, картошка, охота, – и когда закончатся гроши, а пенсия не светит или все еще не скоро, отправиться пешком в Иерусалим, побираясь, едва волоча, дойти – и попасть под копыта одного из всадников Армагеддона...

На той стороне, минуя Заморенова, сидят в Гидрометеоцентре сверхсекретные всепогодные волхвы. Сидят много лет в обмороке, а в их полушариях сталкиваются циклоны с антициклонами, и расходятся по океанам морщины цунами, и штормит беспробудно Тараханкут. Меня забавляло так воображать, и я всегда специально давал лихой крюк мимо ГМЦ – когда шел в Планетарий. В порушенный, заброшенный Планетарий я пролезал промозглыми осенними ночами, ставил свой галогеновый фонарь, включал вертушку Южного полушария, садился на стопку утеплительных плит, слушал, как упорные мыши грызут по углам свитки карт звездных туманностей, выпивал фляжку коньяка с горстью засахаренной клюквы и курил, курил, курил до одурения полночи, пялясь на тускнущие вместе с аккумуляторами звезды, проползавшие над Мачу-Пичей, над высокогорной столицей инков...

Чтоб на ту мойку попасть – следовало пройти чуть не огонь, воду и медные зубы. Во-первых, сам по себе подъезд. С Пресненского вала заруливаешь вправо, под ржавую вывеску «Мойка кузовная» – в какой-то невозвратный темный желоб. Шуганув усталую стаю дворняг, сходствующих с лемурами, катишь, постепенно погружаясь выше крыши в железобетонный бруствер. Застигнутая крыса бежит обоченно с тобою наравне; сбавляя, чтоб не обагрить протектор, изумляешься до тоски, что и пасюк переходит на шаг, экономя.

Далее какие-то бушлатные ханыги пускают тебя под шлагбаум. А ну как они тебя – тюк по темечку монтировкой – даже движок вырубить не успеешь. Потом ты сумеречно едешь чуть не по шпалам, пересекаешь бесчисленные, как годы, пути. Время от времени шныряют в потемках «кукушки», маневровые локомотивы,

трубят ремонтные дрезины – знай только увертывайся; вагоны стоят безбрежно, цистерны, платформы, контейнера – все это громоздится, накатывает, будто бы волны бесконечной штормовой ночи. К тому же хозяйство это поверх обставлено оранжевыми кранами-диплодоками – так что по временам мерещится – словно бы ты в порту...

И тут непременно припомнится смертный ужас – кутерьма беготни и перебежек под чередами туда-сюда, ножницами, катящихся колес. – На узловую станцию Урбах ты примчался однажды с другом по приволжской степи на «частнике» – на перехват ушедшего в Саратове из-под носа поезда. Глоток черной прорвы Волги под мостом, промельк пыльных окраин, звенящая степь – затяжным прыжком, визг тормозов – и благодать южного вечера рассекается шумом дыхательного спурта. Белый элеватор бешено маячит на бегу в закатном небе, как бакен – из шаланды, попавшей в бурю. Разлетается россыпь чумазых детишек, – играющих в салки и на велосипедах с выщербленными, закрученными вокруг уцелевших спицами. Вы врываетесь на узловую, шире футбольного поля вдоль. Вокзал на противоположной стороне, за нескончаемыми валами шевелящихся, ползущих, грохочущих километровыми раскатами составов. Стоянка поезда две минуты, сердце колотится в горле, в паху, в пальцах, вцепившихся в звенящий рельс, выжидая проход колесной циклоиды, чтоб кинуться наружу...

Неисчислимые ряды составов, свитых в клубок разъездными стрелками и запасными путями, нагроможденных в отстойниках, ремонтах, карго-складах, – приводили меня не то что в трепет, но в возбужденное уныние. Их лабиринт, текший извилисто по ходу, пугал и влек. Влек властно и взволнованно, как женская нагота воздерженца. И я отворачивался прочь – в сторону протяженных складских ангаров...

Редкие, словно пустынники, безрукавные фигуры путейцев – призраки в лунной мгле – растворялись, сгущались, плыли; заслоняли синий фонарь вдалеке, пропадали. Фонарь оставался. Пронзительный, немигающий его взгляд из невообразимой дали наводил на меня ужас. Страх этот сходился с тоской, какую вызывал у меня в детстве больничный ночник: левосторонняя пневмония, стационар, осень, вороний грай, разбитое окно – в распахнутый качнувшийся кленовый парк, порхание в пике стеклянных птиц, треск ткани, звон, нежная возвышенность груди и розовый, желанный и ласковый до головокружения сосок – под наполненным смугло-золотистым светом халатиком склонившейся медсестры, глубокое несчастье малолетства.

Ночами я не спал от неизвестной тоски – и этот синий фонарь над входом в карантинный бокс на всю жизнь тавром впился мне в сетчатку. Сейчас его гиблый стерильный свет как бы утягивал душу в огромный простор страны: как тогда, в детстве – в еще более нежеланное, чем неведомое будущее, – туда, туда, по рельсам магистрали: вытягивал душу, как открытый космос, вакуум, насмерть высасывает глоток обитаемого кислорода.

Несколько минут вот этого железнодорожного бреда – и ты полностью теряешь ориентацию, никак невозможно представить себя в трех километрах от Кремля. На вокзалах ближе Москвы – вся страна, вся Европа. Любой вокзал – воронка в омуте пространства. На вокзале всегда чувствуется дрожь, тревога, словно бы на краю пропасти. Огромная неисповедимая страна вглядывается в тебя поверх путеводных лесенок, карабкающихся на полюс, уносящихся в Европу, Сибирь, Кавказ, – в разлив далей, безвестности, исчезновения, напасти... Ужас перед простором неодолим, как бы мы его ни перепрятывали по городам и весям; как бы ни вымещали в оторопь перед не покрываемой – и потому на деле безопасной бесконечностью вселенной. Мне отлично понятен архаичный запрет вносить в жилище стебли ковыля. Зачем бередить будущее символом опустошения жизни простором?

Сколько раз я испытывал на вокзале эту сосущую тревогу, неподотчетное волнение, накатывающее исподволь, как влеченье на самоубийцу, заглянувшего в лестничный колодец... Стоит ведь только кинуться к проводнику – как на следующий день третья полка тихо толкнет и упокоит тебя влет, – и ты очнешься навзничь от тишины: степь под Оренбургом, кузнечики, трубачи, кобылки, медведки – стрекочут, нагнетая во всю ширь густые волны трезвона, будто бьют прозрачной мощью в тугой, но ходкий бубен горизонта; солнце садится в кровавую лужу далеких перистых облаков; стреноженные кони, утопая по холку в цветистых травах, переступают, вскидывают хвосты, взмахивают гривами; поезд медленно, беззвучно отплывает, вкрадчиво вступают постуком колеса – и ты вновь отлетаешь в путевую дрему, как смертельно больной в морфийное забытье. Дня через три, сойдя на рассвете с поезда где-нибудь в Абакане, ты отправишься отлить в пристанционный сортир, задохнешься, зажмуришься от аммиачной рези, и обезоруженный, с занятыми руками, – получишь сзади по темечку кастетом, очнешься в склизкой кислой темноте за мусорным контейнером, раскроенный, обобранный, без ботинок, в одной майке, – а через месяц на вокзале в Хабаровске будешь не против за стакан клопомора и пару «беломорин» рассказать для знакомства, для смеху новым коре-

шам, какой ты был в Москве справный, как ездил в лифте и машине, какая была жена, работа и собака...

Но это еще ладно. Больше того я пугался видений.

Как-то раз пришлось мне проторчать на этой мойке больше двух часов. Не знаю, что у них было – пересменка или халтура, или попросту отлынивали под видом технического перерыва. Повесили табличку – и молчок. А поскольку мойка эта полуночная, то не разворачиваться же. Тем более, что дома меня никто, кроме окна, не ждал. И я отправился гулять. Закрыл машину и шагнул в вагонные волны.

Я заблудился почти сразу, мне хватило сотни шагов – и я навсегда потерялся в этом городе, в этом колесном море.

Некая скрытная жизнь – потайное движение живого – происходило в некоторых вагонах. Иногда кто-то в сумерках отпрядывал с подножки в тамбур или шнырял под колеса. Несколько раз я видел по ту сторону путей чьи-то спешащие ноги.

Вагоны мне встречались совершенно разные. Закопченность и обшарпанность витебского плацкарта вдруг сменялись никелем и бардовой матовостью заграничных СВ. Я остерегался умом, но сердцем желал набрести, подсмотреть жизнь вокзальных людей – бездомных, нашедших пристанище в заброшенных вагонах. Дважды я обнаруживал по угарному запаху дымок над вагоном. Очевидно, там топили углем водогрейный титан. Однако войти я не решался.

Улицы путей влекли меня, как муравья сахарный след великана. Я будто брел по огромной масштабом карте. Таблички вагонов возвещали мне мое местонахождение. Большая часть Запада – от Мозыря и Бреста до Вильнюса и Кельна протянулась передо мной. Пучок извилистых стрел, контурная карта идеи направлений легла передо мной и потихоньку пронизала тело...

Слепая луна с отрешенной медлительностью поднималась над вокзалом, над столицей, над страной, над Северным полушарьем.

Подслеповатый безразличный свет ровно ложился на стальную реку, низвергавшуюся в царственную пропасть России. Я брел по ней – влекомый обмороком стремления. Вкрадчивый звук моих шагов по щебенке перемежался скрытными звуками таинственной жизни. Я не боялся ничего, кроме того, что вагон вдруг тронется и, не удержавшись, я вскочу навсегда на подножку...

Впоследствии я еще один раз рискнул прогуляться по этим вагоноремонтным закромам. Было это прошлой осенью. Тогда я наглухо заплутал по запасным путям – и наконец выбрался в хорошо освещенное депо: музейное, или, скорей всего, являющееся стойбищем киношных, мосфильмовских, вагонов. Повыбитая, запыленная, заляпанная мазутными дождями стеклянная крыша накрывала все это старомодное хозяйство. Вдоль двух перронов – с хоботом

водоразборной колонки и фонарными столбами, на которых, как гнезда, висели воронки громкоговорителей – стояли теплушки гражданской войны, «столыпины», три ромбических звена бронепоезда, – с прицепной платформой, обложенной мешками с песком, которые были утыканы фанерными пулеметами, и много чего еще допотопного. Сажа, белила и сурик яростно раскраивали два агитвагона: молнии штыков, грудастые девы – то в туниках, то в косынках, все с флагами, баррикады из печатных букв, парни в буденовках, беглый буржуй в цилиндре...

Я впрыгнул в следующий вагон и решил пройтись по короткому поезду до конца. Скоро – судя по развешанным фотографиям – стало ясно, что это – поезд Николая II, взятый под уздцы в 1918-м под Могилевом. Я миновал спальный вагон, похожий на стиснутый циклопом в пальцах номер «Англетера», вагон-столовую и штабной, увешанный картами. На карте-плане контрнаступления в Галиции, разложенной на столе, были расставлены флажки, смастеренные из эмалевых значков-флагов С.С.С.Р. и оловянных кавалеристов. Все это было покрыто толстой, как войлок, пылью.

Следующий вагон был санитарным. С виду обычный плацкарт, выскобленные деревянные плоскости, запах карболки, йода, жгутовой резины; на верхних полках, как в бане, лежали вверх дном оцинкованные тазы, везде были разбросаны костыли, охапки кутерьмы бутафорских бинтов. Местами слышался летуче-сладковатый, как благоуханье асфоделей, запах морфина.

Я спрыгнул с подножки и пошел по перрону, погоняя мыском ботинка камушек. Вдруг ветер донес от вокзала поверх моря путей обрывок «Прощания славянки». Видимо, от перрона отходил какой-нибудь поезд.

И тогда колеса скрежетнули и накатом встали. Свисток швырнул в лицо, ударил в грудь влажным облаком пара, и когда развиднелось – вокруг сновали солдаты, ковыляли самоходом легко раненные, торопились сестры милосердия, гимназисты-волонтеры в три погибели тащили носилки. Я все искал камеру, режиссера, ассистентов, а вокруг происходила разгрузка санитарного поезда. «Всех тяжелых в Лефортово!» – перебегая от вагона к вагону, тоненько вопил паренек с мятым бумажным пакетом в руках. Усатый солдат, с веселой мукой на лице, с двумя георгиевскими крестами и перевязанной до бедра ногой, хромал в обнимку с миловидной сестричкой. Его рука свободно гуляла под накрахмаленным передником сестры милосердия. Девушка не замечала, будучи вся исполнена сострадания и внимания к каждому шагу солдата. Он подмигнул мне, этот веселый служивый, – и вокруг стемнело, мне стало худо, я рухнул – меня перевалили на носилки, понесли, вынесли из вок-

зала – и трамваем доставили в лазарет. Что-то горячее и влажное отняло мою руку, опустилось на голову. Бесчувственно запела никелированная пила – и белая сахарная кость, искристая на срезе, прошла навылет через меркнущее зрение.

И понятно почему – за годы проживания на Пресне у меня сложилось впечатление, что я – единственный клиент этой мойки, которого они зачем-то поджидают и зимой, и летом. Только вот чего ради?

Каждый раз приезжая сюда, я чувствовал, что невольно зависаю на время над неким неизведанным провалом, дно которого мне никогда не разглядеть. И дело было вовсе не в том, что отдаленность, заброшенность мойки, сами мойщики с неместным габитусом и неясным выговором залетных гастарбайтеров – пуганных, загнанных, может быть, криминальных – пробуждала во мне настороженность. И вовсе не в том, что мойщики и сама мойка, с ее располосованными, хлопающими резиновыми пологами, оживающими всхлипом в сливе лужами под ногами, фартучными фигурами в болотных сапогах, – все это строго вызывало в памяти морг при Склифе. «Серов! Бреем?» – Так деловитый санитар, в вязанной шапочке, в таких же мокрых сапогах и рубероидном фартуке, выходил из-за тяжелого, как китовая шкура, полога, за которым брызгал и бился тугой обмывочный шланг, – и зычно окидывал кучки людей, ожидающих выдачи родственного тела.

По дороге к моечному ангару меня нагнала из темноты низкая приземистая машина. Голубоватый, нестерпимый свет ксеноновых фар резал глаза, так что пришлось откинуть в негатив рычажок зеркала заднего вида.

Наконец я подъехал. Как всегда, все тот же разводящий – мужичок, бородатый, как-то по-особенному косолапый в своих резиновых высоких сапогах, – выступил из-за ворот и, воззрившись, с поясным поклоном пригласил меня внутрь. Он принял мой автомобиль, как флажковый рулевой на авианосце, подманивая ладонями: «вправо, влево, на меня, влево, прямо, прямо... стоп». Я газанул, вышел, заказал коврики, пороги, пылесос (включая багажник), влажную уборку – и направился в камору для клиентов.

Там жужжал бесполезным наддувом обогреватель, было распахнуто окно и на экране ТВ бегали от полосатых ножниц помех футбольные фигурки.

Я было присел, но вдруг в ангар проник глухой утробный рев мотора. Сдержанная дрожь пронизала стены и перегородки, словно огромная кошка принюхалась к моей кротовой норке. Я обмер. Животное поводило носом, копнуло лапой – и все стихло.

В кромешной тьме за окном сторожевая шавочка, встрепенувшись после схода смертельной опасности, захлебнулась лаем.

Я потянул дверь на себя. За моей машиной виднелся обтекатель какого-то пижонского спортивного аппарата.

Я шагнул – вглядеться, но веер струи высокого давления рубанул воздух – и пошел громом тесать коросту грязи – по колпакам, по коврикам, по крыльям моего «Пассата». Облако брызг, влажно дохнув на лицо, наполнило туманом помещение. С удовольствием представив, как удивлюсь своему помытому коню, и предвкушая неприятное соседство владельца «Ламборджини Дьябло», я вернулся к белому пластмассовому столику.

Вдруг сияние поглотило все закоулки моего существа – как вакуумная бомба складки горного рельефа. Все, что произошло дальше, – поместилось в то бесконечное мгновение, в течение которого реакция взрывчатого вещества, согласно физики взрыва, распространяется вокруг, превышая вторую космическую скорость.

Она вошла стремительно, рея и развеваясь, как опоздавшая математичка – в класс, которому назначена казнь через годовую контрольную.

– Это ты открыл окно? – Не глядя и не дожидаясь: – Надо закрыть, замерзнем, – взмахивает сумочкой, хлопает рамой, морщится, заметив, что стекло разбито.

«Да уж весна на дворе, теплынь», – но лезвие немоты отрезает мне голову: глотка, вздувшись беспомощной обкорнанной мышцей, отторгается от легких – и к устам ангел смерти прикладывает свой раскаленный клинок.

Она присаживается на краешек табурета, подцепляет ногтем журнал:

– Ну, что здесь нам пишут, – сводит брови.

И тут с меня сходит прозрачный яркий лед, сковавший мозг, дыханье. Божество, смилостивившись, разоблачило себя. Никчемное устройство жизни аляповато проступило в сверкающей пустоте, мрамор потеплел и стал податлив прикосновению.

Я увидел дом Мирзахани. Я увидел, как она – драгоценная безделица персидских крезов – выходит из хрустального парадного. Тойтерьер с заколкой на челке, мельтеша и суетясь по обеим нуждам, переплетает поводком ее бедра... Потом она воспаренно сидит в скверике у бронзовых ног «Витязя в тигровой шкуре»; солнечная листва лепечет над ней. И сущность божества вновь тайно вселяется в нее, на несколько минут – пока она молчит внутри спросонья, вялая, неопороченная явью, покуда в ее зрачках ничего не отража-

ется, кроме этого штилевого утра, пятен солнечного света, деревьев, окон, неба.

Она переводит взгляд с журнала на футбол, скучает и тем и этим. Смотрит мельком на меня, потом долго в журнал. Я содрогаюсь, когда вижу, как шевелятся ее губы.

Вдыхаю свежеющий воздух из окна – и, опьянев, говорю:

– Март! Вы слышите – этот запах? Запах ветра, запах талой воды и мокрых веток...

Взгляд вспышкой наполняет камору, но лишь позолотив, обмакнув, схлопывается, как рожки улитки. Во мгновение ока я проваливаюсь в крохотную крапинку на ее зрачке...

Меховая безрукавка, белоснежная блузка, кружевные, на отлет, рукава; тугие джинсовые бриджи – до филигранных золотых лодыжек; пшеничные волны изощренно убранных волос; медовые зрачки с горчичным легким тоном, – в которые и не взглянуть от страха; а еще – слепят перстень и широкий браслет, и серьги.

Я никогда въявь не видал таких драгоценных вещей. Я никогда не видел такой красивой женщины. Бриллианты выжгли мне сетчатку – и я почуял, что нестерпимое зрение, как у хамелеона, проступает жгуче изнутри через мою кожу. Передо мной была та красота, что несет смерть желания. Ее роскошь была немыслима, невероятна – и неумолима. И не только здесь – в этом моечном шалмане. Вообще. Даже в музее. Боттичелли, Рафаэль, все золото Сасанидов и сокровища Трои – побрякушки по сравнению с той роскошью, перед которой я сейчас корчился в муках изъяна и стремления.

Много хорошего и отвратительного в мире происходит из этого источника. Святой во мне наконец пронзил злодея – и они вновь переменились друг с другом сутью...

Грохот и рев моечных струй за перегородкой внезапно перемежался настороженной тишиной, в которой ясно слышались – шаги и шарканье, дробь капель и плеск, и хлюп – тряпки, губки, полных пены, и подвыванье пылесоса, и хлопанье дверей, и ковриков резиновых плашмя бабахание оземь...

Отворилась дверь, пахнуло сыростью, как с палубы во время шторма в рубке, – и мужичок в резиновых ботфортах, в клеенчатом фартуке, с вороной окладистой, как топор, бородой и коренастый, как булыжник, побурчав, поинтересовался у меня насчет полироли.

Я отказался, посчитав полировку излишеством.

Девушка вскинулась:

– Долго еще?

– Стараемся, – наклонился в ее сторону мужичок.

– Я тороплюсь.

– Стараемся, мадам.

– Мадмуазель... – ляпнул я, и взгляд ее впился мне в переносицу.

Я хотел было встать и податься к двери, но ноги налились как будто золотом – и тяжесть, сияющая тяжесть перевалила через пах, подобралась к груди и ухватила за горло. Я просипел: «Извините», – как-то свалился со стула, и по стенке, по стенке, на полусогнутых выбрался из каморы. Прожженное, лицо горело и было не на месте.

Отставленная «на потом» моя машина стояла все еще взмыленная, как фельдъегерский коренник, загнанный до сердечного обрыва. Облака и копны – перевалы и седловины крупноячеистой пены, шевелясь и оседая, переливались то тут, то там радужными всполохами. Пузырьки на крыше, лопаясь, возносили к лампам радужку водяной пыли.

Пущенную вне очереди «Ламборджини» мыть уже закончили. Белый налет полировочного воска растирался по ее дюжим бокам и капоту в четыре фланелевых нарукавника. Внутри салона, скрывшись по пояс, орудовал щеткой еще один работник. Четвертый протирал замшей титановые огромные, как шасси истребителя, колесные диски.

Очевидно, все они были южане. Они не были кавказцами, нет, а принадлежали к тому, казацкому, что ли, типу южаков, что разительно схож с типажом горцев. Все разного росту, но жилистые, с волнистыми или кучерявыми шевелюрами, чернявые, с непроглядным дегтем в зрачках, вспыхивающих от скрытной мысли резким блеском. У того, что орудовал над капотом, тускло маячила из-под волос серьга...

Девушка вышла за мной.

Она обошла свой автомобиль, провела пальцем под спойлером и поднесла к глазам. Перстень прочертил черту и прорезал звезду на моей сетчатке...

И тогда случилось. Отборная площадная ругань забила мне уши. Она кричала на мойщиков, как Салтычиха на девок. Мойщики выпрямились и втянули головы в плечи. Главный – бородач время от времени взглядывал на нее исподлобья. Работники, отвернувшись, глядели на его живот, на бороду.

Остановиться она не могла. Это была истерика, ставшая привычной ее организму, как междометие.

Бородач подмахнул тряпкой, и работники робко, но споро бросились исправлять и довершать полировку.

Я отвернулся.

Суть ее воплей сводилась к тому, что так моют только «козлов»,

что платить она не собирается, что у нее найдутся защитники, которые приедут и сожгут этот сарай, а самих мойщиков разотрут вместе с пеплом.

Работники ускорились, а я подошел к бригадиру и шепнул:

– Я заплачу за нее.

Он прищурился смоляной черной искрой, подержал себя за бороду, вдруг отступил и отдал низкий поклон:

– Как скажешь, хозяйка.

Когда выпрямился, я заметил: окаменевшая веселость проступила в лице глянувшего на вожака работника.

С надкусанным сердцем я вернулся в камору и, отыскав нужную клавишу на панели телевизора, поднял до предела громкость футбольного матча.

«Реал» разыгрывал угловой, два раза подряд, с разных флангов. Дважды Рональдини взлетал и рушился над углом вратарской, впиваясь голкиперу «Манчестера» в глотку. Стадион вторил ему волнами ликования...

И все-таки я услышал. Пронзительный вопль резанул поверх воя трибун, поверх заревевшего вдруг компрессора.

Я резко убавил звук. Погрохотав, вырубилась и мойка. Я прислушался. Вдруг свирепо зарычал движок, знакомая дрожь окатила стены, взвизгнули и пропели шины, заскрежетала и громыхнула створка ангара – и все стихло. Но когда вновь потянулся к клавише, я заметил, что у меня дрожат пальцы...

В ту ночь я промчался по Москве, словно блоха по шкуре седой волчицы. Как будто выкусываемый ею, на светофорах я бросал сцепление в срыв и выжимал по пустынным проспектам сто сорок. Опустив стекло, я кусал встречный воздух, стараясь унять сердцебиение. Вокруг еще не растворился запах ее духов, словно она все еще была где-то рядом.

Хотя за полночь и подморозило, все равно город дышал по-иному. Точно бы вверху открыли шлюзы и воздух затопила пронзительная ясность. Три влажных звезды на юго-восточном склоне, над туманной темной Битцей, влекли меня за собой.

Ночью на Симферопольском шоссе конус дальнего света от встречного грузовика, на-гора выносящегося из-за тягучей излучины, померещился мне светопреставленьем. Грузовик погодя потупил фары, и я, все еще слепой, почему-то увидел свой автомобиль извне, с какой-то высоченной верхотуры – как он ползет по нитке трассы, толкая, выкатывая впереди себя неровный шарик света...

И где-то там, позади, далеко на севере в совершенной темени пробирается в противную сторону серебристый «Ламборджини» – приземистый спортивный автомобиль, похожий своей вычурной, грозной формой на уродливое подземное насекомое медведку. Скорость, думаю я, высовывая в окно на слом до отказа руку, делает встречный воздух плотным, вязким, как вода. На бешеной скорости воздух превращается в почву. И автомобиль сноровисто зарывается в него, как болотный сверчок в землю...

По зимней еще привычке дальнобойные грузовики выстраиваются вдоль обочины на ночевку у постов ДПС. Я сбавляю до положенных пятидесяти. Непривычные региональные номера на грузовиках обращают на себя внимание, как почтовые марки далеких стран на конверте: 05 – Дагестан, 31 – Белгород, 26 – Ставропольский край. Водилы сидят вокруг костерков. Их озаренные углями лица мертвенно проплывают мимо: как в сумерках подводной глубины – круглые одноглазые рыбы.

Между постами темная бетонная река вновь подхватывает меня на свой неистовый гребень.

У моста через Оку, полыхнув огнями, стопит патрульная машина.

После короткой, но вдумчивой проверки капитан, пошарив фонариком в салоне, возвращает мне ксивы: «Счастливо».

Заморосило, и прежде чем снова сесть за руль, я дергаю рычаг капота и открываю багажник, чтобы найти и подлить в бачок стеклоочиститель.

Лампочка в багажнике зажигается не сразу, она исправна, но иногда от тряски отходит контакт. Я вслепую нашариваю баклажку. Вдруг рука, наткнувшись, замирает. Потом скользит вдоль – и дальше. Упругое поле темноты набрасывается и перекусывает мне горло. Тогда я нащупываю лампочку, шевелю ее в гнезде.

Зрение выкалывает мне глаза.

Свернувшись калачиком, она лежала с выражением внимательного беспокойства. Руки прижаты к груди. Аккуратное алое пятнышко на блузке под сердцем. Кровь на разорванной мочке.

Я закрыл ей глаза, снял куртку и подложил под голову.

На правой руке – как бы отдельно – высоко, огромно – перстень.

Бриллиант – негласная плата Бороды – мне, за сокрытие трупа – сверкнул в моих пальцах.

От моста до Велегожа я ехал рассеченный надвое: то припускал малахольно по разбитой дороге, то плелся шагом. Так человек с но-

жом в спине раздвоен: добраться бы скорей до помощи, но, если вынуть нож, то он умрет от кровоизлияния. Мой драгоценный груз, мой драгоценный горб, мой нож – он был со мной, в багажнике я вез добычу, взятую ценой рассудка. Она была мне легка и невозможна, желанна и мучительна, как панночка-наездница – Хоме Бруту...

На подъезде к Велегожу я тормознул, проблевался в распахнутую дверь – и мной овладела решимость. Сдал назад из проселка, забуксовал, но чудом соскочил – и, крутанувшись, врезал по направлению к Дугне, глиссом взметывая из-под колес лопасти слякоти.

В кромешной тьме я добрался до Островов. В этом месте в излучине Оки располагаются два узких, как ящерицы, Острова, – место глухое вполне даже летом.

Я вышел из машины; прозрачным колоссом небо обрушилось на меня. Ноги не держали. Я опустился в слякоть и потерся лицом о колесо. Я так давно не плакал, что не соображал, чего я хочу. И когда наконец всхлип раскрыл мне дыханье, страх и удивленье – вот те два чувства, что стали глупо бороться друг с другом во мне.

Я открыл багажник и пошевелил лампочку в патроне. Тусклый свет озарил мое видение.

От тряски ее поза изменилась. Теперь она лежала навзничь с вытянутыми вдоль бедер руками. Величественное спокойствие возносилось над ее лицом.

Я взял ее на руки и начал спуск по лесистым уступам древней поймы.

Местами склон был очень крутым. Впотьмах я был обречен на частые падения. Падая, старался изо всех сил прижать ее к себе. Если упускал, то не поднимаясь, обдирая о наст ладони, ползал на коленях вокруг, отыскивая ее. Спустившись ближе к реке, я вспомнил об опасности – набрести на делянки бобров: на острые, сгрызенные на высоте колена, стволы осин.

Несколько раз, выбиваясь из сил, я садился на корточки перекурить. Зажигая спички, я подносил их к ее лицу, чтобы еще и еще раз вглядеться. Спичка догорала – и погодя гасло зеленоватое пятно ее профиля. И тогда я снова чиркал спичкой, боясь, что теперь в темноте она исчезнет навсегда. Господи! Почему Ты не засек эту морзянку?..

Впереди едва видно забелела между деревьев река.

В последний раз я сел в снег передохнуть. От страха меня тянуло в сон. Гигантская пасть черноты накатывала на меня – и я, хотя и отстранялся, был рад наконец пропасть в ней...

Вдруг раздался грохот. Треск во все небо расколол ночь. Впереди

ожили прибрежные деревья. В полном безветрии они завалились – и пошли нетвердым трескучим шагом. Река – гигантский выгнувшийся зверь – напряглась всей неимоверной длиной и мощью – шевельнулась и встала до неба...

На Острова теперь мне было не выбраться.

Вскоре стало еле видно светать. Я мог идти не оступаясь.

Черная в сизых контурных пятнах река шумно дышала впереди. Недостижимые острова шли над ней.

Я сел на поваленное дерево. Держа ее голову в ладонях, чуть покачиваясь, согнулся и закрыл глаза.

Мне приснился день. Огромный яркий день у моря. У Каспийского моря, – в которое мой сон втек вместе с рекой. Я лежал на песке, слушал прибой – и солнце, яростное солнце вкрадчиво опускалось в мою гортань через отверстое переносье.

Когда я очнулся, по Оке уже вовсю шествовал грузный лед. Льдины, как отмершие облака, ноздреватые, грязно-белые, натруженные качкой лета, тяжко сталкивались, шли вместе, расходились. Придонный стеклянистый лед внезапно, припадочно всплывал, как подлодка с ходу, сбрасывая с себя потоки воды. Тут же он шел в обратку, гнул, грубо, мощно ломал кусты, бубенцово звенел, бряцал и щелкал – и, откатив, присоединялся к шествию...

Неся ее на руках, я вошел в шугу, в плотное, позвякивающее крошево. Крупнозернистый донный лед хорошо держал подошвы. Я дождался, когда подплыла подходящая льдина – и опустил на нее тело девушки. Льдина погрузилась, но вода дошла только до висков.

Удерживая одной рукой, нашарил в кармане перстень и вложил ей в губы.

Я отпустил ее. Вскоре она выбралась на середину – в самую гущу ледохода. Казалось, льдины расступаются, давая ей ход.

Перстень сиял по темной свободной воде, но, выбравшись дальше, потускнел – и слился с льдистым сверканием речного простора.

Шепча и кланяясь, я попятился. Оскальзываясь, я съезжал в воду, но, не смея повернуться спиной, продолжал упорно пятиться и как забубенный что-то шептать.

ВОРОБЕЙ

На подоконник сел воробей, попрыгал, позыркал, помотал башкой – и клюнул стекло. Потом подлетел – и впорхнул. Кулюша притворила форточку, схватила полотенце, погналась, сбила его за лавку.

Свернуть голову, как курице, не вышло.

Тогда оторвала двумя, сдернула, как цветок со стебля.

Темная ломота хлынула из ушей, захлестнула глаза.

Поползав от боли на четвереньках, легла набок и притихла в обмороке – отдохнуть.

Безголовый воробей еще поерзал крылом, сократился, сдал еще две алых капли из соломинки гортани – и тоже затих, завалившись на бок.

С печки смотрел неподвижно Иван. До самых сумерек, не шевелясь, он смотрел на лежащую мать, на клюв, на глаз, полускрытый сизой пленкой. Остановившейся бусинкой он блестел в ее окровавленной ладони. Временами Иван проваливался в этот воробьиный глаз – в его серый ветреный свет, раскачивавшийся на голой гибкой ветке; от качки ему становилось худо, он выныривал обратно – и снова видел горницу, высоко залитую светом, лежащую спокойно мать, ползущий по ее щеке луч, пыльное окно, изгородь, черную улицу, степь за ней.

На закате мать очнулась, села на полу. Она смотрела на черную ладонь, на птичью голову и не двигалась.

Холодная багровая степь, выгнувшись – как крыло, впившись за балкой в небо, принимала в себя долгий ветер. Стихая, ветер уходил за горизонт вслед за окровавленным солнцем, как мантия за царем-убийцей.

В глянцевой стерне длинно струилась по склону седина первого – колючего, мелкого снега. Он ссыпался, как пыль на вещи – незаметно, из страшной верхотуры неподвижных, остистых, волнами идущих облаков. Эти закатные высотные облака были одновременно похожи и на рудые барханы – и на узор печеной, разваленной вдоль хребта дымящейся рыбной мякоти. Барханы Кулюша видела по дороге в Астрахань, куда ее брал муж за рыбой, – песчаные волны дымились от ветра на гребнях. И прошлой ночью ей неожиданно пригрезилась рыба, хотя еда ей давно уже перестала снится.

Однако первые два месяца пища мучила ее во сне хуже ката. То сестры на Пасху принесут ряженые пироги и кулебяку с потрохами.

То сама напечет сахарных пампушек и усадит рядом детей – полакомиться, запивая горячим кизиловым узваром...

А потом – как отрезало. Сны стали пустыми, как убранное поле.

Вот оно сейчас ей и снилось. Конный стоял на взгорье черным силуэтом в солнечном протуберанце. Лошадь водила, мотала головой, преступала то туда, то сюда – и пика лучей из-под ее морды то входила алой чернотой в переносье, то вынималась облегчением.

Стерня кололась по всему телу. Падая, увлекая за собой Ивана, вдавливая его в землю, она чуть не выколола себе глаз – жесткий короткий стебель окровил подглазье.

Желание влиться в землю, отдаться целиком ее холоду было неодолимым; оно сливалось с тоской по мужу. Муж был ее кровом, она чуяла его там далеко, в земле, как лоза чует воду, – холодного, черного, но родного, огромного, сильного, как сама смерть.

Похоронить его не сумела, упала на улице в обморок. С октября уже ездили по домам – и его забрали. Только день пролежал, не нагляделась. Дети по нему ползали, игрались, – будили отца, таскали за нос. Пришли, стащили за руки с крыльца. Она не пускала, но как справиться? Цеплялась за мужа. Комсоды отгоняли: и так тяжело. Пронесли через двор, за калитку, уложили в рядок – к другим мертвецам. Она вгляделась в мертвых, никого не узнала. Тяжко, оседая, оглянулась вокруг. Телега была той самой – с резными, крашенными слегами, на которой к ним наезжал Копылов за продразверсткой. «Нате, – шепнула она тогда, – вот вам хлеб. Вот она, ваша разверстка. Что ль, не это искали?»

Она села в грязь, телега откатилась, но возница сказал «тпру», обернулся и поглядел на нее.

– Слышь, баба, может, к мужу ляжешь? Чего тебе маяться.

Всадник из-под ладони всматривался в степь; нагайкой похлестывал по голенищу. Наконец увидал их. Подъехал шагом, грузно. Вот уже совсем близко, слышно грудью шаг через землю – но лошадь не останавливается, идет прямо на них, проминает бедро, лопатку, голову – и голова разваливается на жирные комья чернозема.

Рыба тогда ей ночью приснилась потому, что третий день уже на закате стояли, не проходили эти высоченные волнистые, как барханные пески, облака. Она смотрела на них – и казалось ей, что идут они с мужем по этим оранжевым буграм к Енотаевке. То рушатся вниз, утопая шагом в песке по пояс, то долго всходят по твердому склону, – идут с мешками от калмыков – за рыбой, выгляды-

вая – когда на горизонте покажется село, церковь, лесистый, заливной берег Волги... В мешках они несли куски прессованного жмыха с маслобойни – наживку. Когда дошли, в первый же день Алеша на этот жмых в суводи зацепил своего первого – полупудового сазана, которого вываживал, мучаясь под пеклом, целый час. Шнур, идя с мотка в извод, дрожал и по зигзагу резал воду. Потом посадил его на кукан, специальным образом продев веревку под жабры, чтоб не задушился, – и временами, сняв с колышка, выгуливал его по мелководью, как жеребенка. Под конец – испек в глине. Ах, какая потом красота сияла вокруг: по песку и в воде рыжая на солнце россыпь крупной, как червонцы, чешуи. Лежала огромная усатая башка с запеченным бельмами, и розоватый могучий остов. Поражаясь, она поднесла скелет к глазам – вдоль хребта, наподобие подзорной трубы, навела на светило – и рыба зажглась перед ней, воссияла и поплыла нестерпимо мощная, просторная и стройная, как храм в Григорполисской станице...

И вот во сне гигантский золотой сазан, коренастый будто конек-горбунок – и с веющимися ушами, плавниками, хвостом – точно как у золотой рыбки из детской книжки, – плавал взад-вперед по горнице, тычась в руки, в ухо, в плечи, целуя в щеки, в глаза: как медленная бабочка в гаснущую лампу.

Картинки из той книжки она показывала младшему, когда ходила с ним на руках, прощаясь. Днем он внезапно затих, личико разгладилось – и, поняв, что умирает, взяла на руки, ходила взад-вперед, баюкала, показывала сказку, агукала, смеялась. Сережа умер еще вечером, но она проходила с ним на руках всю ночь, так и свалилась. Разбудил ее Иван: слез с печки, укусил ей руку – и она очнулась, сбросив холодную чурочку с груди.

С Иваном они отнесли Сережу в поле, положили, раскопав ход, в байбачью нору. Засыпали. Посидели еще, отдохнули. По привычке смотрели вокруг – не покажется ли где серый жирный столбик. Хотя и знали, что байбаки ушли с их полей еще в октябре. Да если б и увидали – не было бы сил изловить.

Показался от села верхом Копылов. Подъехал равнодушно. Иван, не дожидаясь, вывернул кармашки. И сложил дулю. Нет, мол, у них зерен, сам глянь – ничего уже на поле нету. Мать, очнувшись, тоже вывернула карманы жакетки, расправила подол. В октябре они по ночам пробирались сюда на поле – шарили пальцами мышиные норки, опустошали их зерновые запасы на зиму; бывало, что и набирали горстку. А теперь уж нет тут ничего – все шаром покати.

Лошадь храпнула, вздернула хвост и уже на ходу, гукнув, выронила шмат дымящегося помета.

Копылов скрылся за голыми деревьями в балке.

Мать и сын долго, закрыв глаза, вдыхали тонкую, по временам исчезавшую струйку теплого сытного запаха.

Когда встали, им показалось, что они сыты.

Кулюша ощипала, выпотрошила воробья, лапки отрезать не стала, опалила над лучиной, опалила и голову. Затопила соломой – вместе с коровами исчез кизяк. Нарезала лебеды и сныти в горшок, положила воробья, залила водой, посолила.

Иван сначала следил за матерью, но потом его снова унес этот неясный темный ветер.

Суп Ивану показался очень вкусным. Он привстал. Длинные стебли сныти мешали сосать мясную юшку. Мать не уступала, водя ложкой, обвешанной травой, по его губам. Но вот, вглядевшись в ложку, где теперь лежала голая воробьиная голова, сам взял ее в рот и осторожно рассосал. Тут же съел и половину тушки, отломленной ему матерью. Подождав, когда разжует, Кулюша стала есть сама. Третью ложку она уже распробовала и четвертую проглотила с жадностью, куснув зубами край.

Иван позвал:

– Дай еще.

Она подняла голову. Иван показывал ручонкой на вторую половину воробышка: несколько спичечных косточек и нитки мяса она собрала в ложку и держала ее у рта.

– Вот ты, Вань, хитренький какой, – сказала Кулюша, проглотила и дохлебала оставшееся.

Вечером Иван непривычно долго оставался в ветреной холодной темноте. Его раскачивало на ветке, болтало нещадно, еле хватало сил в лапках удержаться. Ветер ерошил насквозь перья, он прятал голову то под одно крыло, то под другое, дышал в кожу, чтоб обогреться дыханьем, но его так мотало на ветке, что приходилось откидывать для равновесия голову. Он изо всей силы хотел очнуться, вынырнуть, разодрать глаза на мать – без нее страшно, но вдруг ударил сильный порыв в спину, лапки разжались – и ледяная пустота накинулась и рассосала.

Кулюша ходила с Иваном на руках и, пытаясь до него добудиться, раскачивала что было сил. Когда почувствовала, что холодеет, – стемнело в глазах и, падая, ударилась затылком об лавку.

В ту зиму 1933 года у Акулины умерли муж, двое детей, мать, два брата.

Ее и еще троих сестер – Наталью, Арину и Полю – выходила пятая самая младшая сестра Феня, муж которой, будучи кумом колхозного секретаря, сумел уберечь в тайном подполе телушку. Чтоб не мычала, он вырезал ей язык и надрезал губы. Как раз в начале декабря она наконец стала давать молоко.

Весной полегчало. Лед с речки сошел. Кулюша связала из прутьев крест, натянула на него пуховый платок и, еле передвигая опухшие ноги, пошла за огороды на речку. Отцедила «пауком» полгоршка снетка и притомила в печке. Это была ее первая твердая пища.

В мае, когда вместе с силами вернулось сознание, горе настигло ее. На рассвете она вышла из села и пошла через степь, забирая чуть правее, вслед за восходящим солнцем. Она шла до тех пор, пока в сумерках не упала на землю. Проснувшись, испугалась – это был ее самый большой испуг в жизни: небо, полное крупных звезд, неудержимо падало на нее, и некуда было скрыться. Следующей ночью слышала волков, круживших поблизости, но догадалась поджечь вокруг прошлогоднюю траву. На шестой день Кулюша встретила в степи соляную артель: барак и два сарая. От построек выскочил волкодав, и ей пришлось пролежать лицом вниз до вечера, пока не вернулись из степи люди. Артель приняла ее. Несколько месяцев она ходила со всеми на солончаки, собирала соль, несла ее на станцию, дожидалась астраханского поезда и часть меняла – по весу, один к одному – на рыбу.

Осенью Кулюша завербовалась на заработки в Архангельск, но вербовщики перепутали ведомости, и она попала в Баку. Ехала на крыше вагона через Астрахань; вновь видела волжские бугры, великую водную страну, кровоток русской земли, острова, стену камышей, протоки, бескрайние раскаты взморья, стаю лебедей на них. Справа долго-долго шли Стрелецкие пески, с гребней которых ветер сдувал дымные, плавные, верткие, как пламя, рыжеватые шлейфы.

В Баку Кулюша определилась на одну из строек великой пятилетки: первого в стране завода по производству синтетического каучука. Когда записывалась в отделе кадров, продиктовала: «муж умер в голод». Кадровик побелел, откинулся, нагнулся и сквозь зубы сообщил: «Дура. Зашей себе рот».

Но не зашила. Я любил слушать Кулюшу, ее просторные, как степь, рассказы о детстве, о крестьянской работе, о пешем паломничестве ее вдовой бабки в Иерусалим, из которого та не вернулась, отписав через год на родину, что вышла замуж за рабби Пинхаса бен-Элишу и стала еврейкой; слушать ее остроумные, иногда на первый взгляд вздорные, а случалось, что и пророческие суждения

о жизни, – и даже эти ее страшные, подробные рассказы о голоде. Сейчас, вспоминая Кулюшу, мне наконец совершенно ясно, почему Господь сотворил человека из земли: чтобы душа могла произрасти из него, даже из мертвого, как растение...

Особенно я любил в ее рассказах видеть, как хожу с ней по солончаку – по солнечной абсолютной плоскости, усыпанной до горизонта мутными голубоватыми кристаллами, видеть невысоко вверху кружение баснословных волжских рыб – и иногда представлять себя Иваном. Иваном, который всегда рядом с Кулюшей. Мне вообще интересно было думать о том, как люди живут после того как умирают. О том, что смерть – самая распространенная тайна. И кроме того, мне почему-то казалось, что, думая об Иване, я тем самым помогаю безутешной Кулюше просить у него прощения.

Потом я вырос, Кулюша умерла, я вырос еще, забыл детство, его владения – море, речку, поле, лес, огромное круглое пространство счастья растаяло, как радуга, – и я стал потихоньку умирать от бесчувствия и покоя тоски. Слишком рано и слишком пронзительно поняв, что жизнь без детства коротка настолько, что ее как бы совсем и нету, я невольно погрузился в анабиотическое состояние, как если бы у меня в квартире из крана вдруг потекла вода из Леты... Все это продолжалось больше десяти лет, и продолжалось бы и впредь, но вот нечаянно в позапрошлом году со мной произошло событие, которое вдруг вывело меня из оцепенения.

Тогда, перед тем как окончательно уволиться из одной скучной конторки, я получил месячное назначение, любопытного свойства. Я был командирован на ликвидируемый склад, на котором мне предстояло провести последнюю ревизию. Наша контора закрывала оптовое направление по мониторам – и потому избавлялась от занятых ими складских площадей. Находился этот склад на севере столицы, на улице Адмирала Макарова, близ окружной железной дороги. Это был древний кирпичный ангар – один из нескольких десятков точно таких же, располагавшихся у руин товарно-приемной ж./д. станции. Белыми кирпичами в торце каждого было выложено гигантское: НЕ КУРИТЬ. Был июнь в разгаре, работа оказалась не бей лежачего, и я наслаждался одиночеством. Пересчитав и пометив мелом часть верхолазной кубатуры, которой вразнобой пирамидально там и сям был заставлен ангар, я усаживался на стул – и с наслаждением курил на дне высоченного колодца, составленного картонными коробами, наискось пронзенного солнечными лучами, которые выходили у стропил из прорех в старой шиферной крыше. Дым, клубясь, поднимался вверх, разрастался, затихал и

повисал серебристо-прозрачными пластами. Стрижи, вынырнув из-под полутемени конька, прочерчивали на свету восклицательные зигзаги и прошивали на разной высоте треугольные, чуть шевелящиеся по краям дыры в дымовых шлейфах. Было сухо и тепло, и тихо. Со стаканом крепкого сладкого чая в руке я читал специально взятую в библиотеке книгу об адмирале Макарове; о его исследовательском военно-морском гении, о его ошибке в Цусимском сражении, о напалмового типа снарядах японцев, с помощью которых были повержены русские броненосцы и дредноуты. Вокруг, на всей территории складской зоны кипела суета погрузки, разгрузки, учета и по временам вспыхивали скандалы растраты. Я же в своих владениях уже неделю упивался безмятежностью.

Как вдруг она была порушена. Ватага воробьев повадилась проникать под крышу моего ангара и часами, с ураганным чириканием и трепыханьем умопомрачительно кружить и метаться над сложным картонным ландшафтом, как японские камикадзе над флотом в Перл-Харборе. От воробьев не было спасу три дня подряд, и пришлось принимать меры. Из велосипедного насоса, обрезка доски, медицинского жгута, куска солидола и клочка войлока я соорудил воздушное ружье. Пули забивал строительной липучкой, которую наковырял в косяке ангарных ворот; для убойности я приправлял заряд сверху дробинкой. На пристрелку ушел день. К вечеру ящики в моем секторе стрельбы покрылись россыпью пробоев. Следующие два дня я просидел в засаде с воздушкой на взводе – и не сбил ни одного. В таком виде – под ружьем – меня и застал складской обходчик.

Я объяснился. Старик выслушал меня с сочувствием – и поведал, что воробьи бич всех здешних складов: дрейфуя от ангара к ангару, они загаживают товар, будоражат, пугают грузчиков, внезапно ордой вылетая из углов в морду... Я узнал, что воробьи – наследство давних времен, когда вся эта складская зона, построенная в самом начале 30-х годов, еще служила хранилищем стратегических зерновых запасов Москвы. Раньше здесь воробьев была пропасть, аж в глазах темно, а сейчас – это что, крохи...

Когда обходчик ушел, я прошел в задник ангара, прикладом наскреб две горсти земляной пыли. Вышел на свет и на картонке перебрал набранный вместе с землей мусор. В ладони у меня остались четыре черных зернышка.

Я поднес их к глазам и увидел. Подводы с зерном из Ладовской Балки, Новоалександровки, Григорполисской станицы, со всего Ставрополья, с Кубани и Украины тянулись к железнодорожным станциям, грузились в эшелоны, которые частью шли за границу в обмен на золото и промышленное оборудование, частью в Москву –

и зерно разгружалось именно здесь, на этом тайном складе, под многочисленной охраной НКВД.

Я завернул их в сторублевую купюру и заложил под обложку паспорта.

Уволившись, я увез эти зерна в Велегож и замочил в дрожжевом растворе. Одно дало росток – и в прошлом году в горшке, наполненном настоящим черноземом, за которым я специально съездил под Мичуринск, – вырос колос.

А в этом году у меня на грядке наливаются уже 22 колоска.

А еще через год я надеюсь угостить Ивана лепешкой; небольшой, не больше просфоры.

Июнь, 2004

«СВОБОДА ПЕРВИЧНА ПО ОТНОШЕНИЮ К ВЫБОРУ»

«Зоотехнология» назывался журнал, присланный мне Александром Иличевским по Интернету несколько лет назад. Там были статьи по истории изобретения шифровальных машин и обзор достижений Силиконовой долины с пейзажными отступлениями от описаний компьютерных программ в холмистый рельеф Сан-Франциско. Созерцательность в представлении технических моделей была, конечно, от поэзии. Рассказы об изобретениях сопровождались детальными чертежами, были показаны валики с шипами, узорчатые ключи и другие формы, говорящие о неизвестных здравому смыслу улиточных путях к загадкам в обход очевидности. Было ясно, что и автор и редколлегия этого Летучего Голландца новых технологий склонны к навигации в нелинейной логике. «Зоотехнологи» поместили также и статью о теореме Геделя о неполноте, которую так любят все художественные натуры, потому что она говорит, что доказательство включает в себя недоказуемое и логика не исчерпывает описание мира. Во всяком случае, какая-то одна логика, потому что существует их множество. Проблема, однако, в том, что в быту сплошь и рядом мы встречаемся именно с постоянной нехваткой логики, и если бы не изощренные психические фильтры, отвечающие за чувство юмора и распознающие комическое, мы бы давно потеряли мастерство пропускать нитку в иголку, соединять болты и гайки и возвратились бы в прах, не оправдав доверия Провидения. Но в художественном тексте интуиция сама настраивает и выбирает необходимое «количество» логики, и в случае Иличевского этот баланс нашелся в стиле его первых прочитанных мною вещей. Математика была его оригинальным жизненным опытом, непосредственным как любой другой труд. Формулировочный стиль аксиом и утверждений отозвался в интонации и ритме его фразы, в стихах и в прозе.

После окончания московского Физтеха Александр Иличевский в начале эры ельцинского капитализма оставляет Россию и проводит несколько лет за рубежом. Страны, формации, языки нарезались и смешивались в таком темпе, когда казалось, что могут в одночасье, как само собой разумеющееся, поменяться полюса, названия планет и стихий, политические ориентации, половые отличия, все что угодно, представления о носителях власти в том числе. Зазевавшийся молодой человек – герой «Дома в Мещере» – чуткий к анализу своих восприятий и толком не решивший, что происходит вокруг, не успел и глазом моргнуть, как его более восприимчивая к положению вещей спутница сделала блестящую карьеру и почувствовала, что такое власть над теми, кого она опередила в приспособленности к наступающим обстоятельствам. Этот портрет нам знаком. В «Спекторском» Пастернака: «Она шутя обдернула револьвер/ И в этом жесте выразилась вся».

Героиня повести, Катя, скорее «тихоня» по складу, чем амазонка, – психолог, работает в хосписе, где содержатся неизлечимые больные, нашедшие средства обеспечить свои последние месяцы медицинским уходом. Задача заведения, основанного в России американцем Кортезом, – подготовка терминальных пациентов к их фатальной участи в атмосфере психического равновесия и облегчения страданий «переходного периода». Этот дом обреченных представляет сложный этический и архитектурный проект, систему средств, медицинских и психологических, которые Кортез разработал и внедрил по всему миру. По сюжету, героиня оставляет своего друга (Глеба) и пропадает на несколько лет в проекте Кортеза, помогая налаживать дело и искать клиентуру. Как раз в начале повести мы находим героя только-только выходящим из травмы разрыва, как вдруг он получает от своей бывшей возлюбленной письмо, доставленное странным горбатым посыльным, который заманивает его в хоспис: герой бросает едва упорядоченный быт, работу, съемную квартиру и едет в глухое Подмосковье, в охраняемую зону, где дверь за ним захлопывается. Глеб решает сбежать из хосписа, хотя это и есть единственное место на свете, где среди ожидающих смерти пациентов они могут встречаться с Катей. Герой под полным контролем у своей Цирцеи (получившей от Гермеса серьезные познания в области травной медицины и оккультных знаний), подчиненный ритуалам, разработанным Кортезом и его командой. Писателю важна не тема распределения власти с участием женщины в социальных структурах (о них вообще нет речи в открытую), а то, что эта власть связана с инерцией «производства» смерти и ничего общего не имеет с положительным знанием. Катя не представляет, как можно существовать с Глебом, и она предана идее Кортеза, его бизнесу:

«Я вижу, ей не только ужасно интересно, к а к мы умираем, но она еще и пытается выстроить з д а н и е нашего умирания», – говорит о ней Глеб. Метод этого бизнеса в ускорении «пропускной способности» хосписа, чтобы «постояльцы» не очень-то задерживались в своих комфортабельных палатах и холлах, а побыстрее пополняли колумбарий. Отсюда и повышенная секретность этого подмосковного «объекта». Хозяин хосписа Кортез иногда появляется и осматривает владения. Кортез – леденящее исчадье триллера: «Он коротко шутит, но заметно, что ждет раздраженно и едва терпит, подгоняя намеком. Я вижу, что шуба его роскошна и то и дело меняет состав своего меха: то умеренный бобр сменяется пышной лисицей, то лиса – аккуратной блестящей норкой, то изящная норка выпускает линялые космы енота...» Протеизм Кортеза включает и очаровательную корректность по мере необходимости.

Как чувствует себя герой в атмосфере несвободы, для которой, по всему, подходит метафора матриархата? Пантеон матриархата (Диана – Селена – Геката) с приходом власти мужчин трансформировал женские роли в проституток, соблазнительниц, блаженных идиоток, но уже в Новое время и далее – в модернизме – этим маскам возвращается постепенное участие в формах власти. Разговоры о гендерной революции как раз и свидетельствуют в пользу появления признаков нового матриархата, обозначают тяготение мужского начала к промежуточности и андрогинности. К традиционным в патриархальном раскладе женским ролям в наш век добавляется еще психолог и медицинская служительница в свите Танатоса. Святое писание этого коллектива – книга под названием «диссертация» (в этом слове, входящем в состав образа героини, пока я читал Иличевского, я услышал внутреннюю рифму к «Цирцее»), особый жанр фаустовского подхода к жизни, где судьбы – это истории болезни. Но у Глеба нет ни сил, ни способностей к ненависти, его восприятие хаотично, расфокусировано, множественно, и черты его возлюбленной смягчены, особенно к концу повествования. Энергия любопытства и заинтересованности в происходящем далеко опережает попытки кого-то обвинять и тем более настаивать на приговоре. При своей неуемности, эвристичности, провокативности Глеб остается созерцателем на всем протяжении повести.

О возможном диагнозе Глеба мы узнаем из двух-трех строк, и это всего лишь неуверенные предположения о поражении зрительного нерва. Его состояние это необычное видение, которое влиятельнее радикальных оценок, не свойственных его натуре в принципе. Пик интеллектуальной и физической активности Глеба – сон, остановка события, ревизия укрупненной детали, пауза вместо четкой реакции, недоумение перед развернувшейся перенаселенностью не стоящего

на месте пространства, психическая открытость в ответ на открытость реальности. Его движения по площадке, на которой разворачиваются события, обычно внезапные, немотивированные перемещения: уснул в одном месте, очнулся в другом; падения, прыжки, перелеты (как в кино, без особых повреждений), затяжные левитации, дающие время для вступления новой темы, поворота в размышлении или истории. Физические перспективы нарушены, но так же и смысловые, в зависимости от яркости образа – здесь и сейчас, часто вразрез логике повествования. Как раз Горбун – образ, появляющийся в перспективе – именно обратной своему достоинству в фирме Кортеза. По должности он номенклатура, ответственный за часть общей программы, начальник, но автор дает ему задачу несообразную с его социальным масштабом и посылает его зимой бродить, как бомжа вокруг мусорки, жить впроголодь и играть дегенеративного калеку, который должен пробраться в квартиру к Глебу, войти в доверие к удивленному и заинтригованному хозяину, и в конце своей миссии доставить молодого человека в хоспис, где Горбун снова оборачивается монструозным иерархом царства мертвых. Звучит неправдоподобно. Но для автора, видящего и рисующего как ребенок, важно изобразить на переднем плане именно такую форму, естественную для восприятия героя и смысла момента, а не сверку с обыденностью.

Проза Иличевского ритмически строится применительно к голосу и психическому состоянию говорящего. Фраза, кажется, слишком длинна для его героя, который думает или реагирует на сигналы извне быстрее, чем построится предложение. Наверное, будь там больше эллипсности, грамматика не казалась бы такой нерасторопной. В ритмический период фразы успевает закрасться сомнение или встречный вопрос; инверсии учащаются, чтоб завернуть эту фразу вспять, передать нерешительность внутренней речи свидетеля и действующего лица одновременно. Герой здесь, словно мерцающий фантом между пространством высказывания и происходящим. Иногда эта проза нарочито ритмизуется, и мы читаем почти стихотворную запись. Голос героя отгораживается от бытовой речи и передается поэтической, условной, как если бы абстрактные фигуры включали в документальную съемку.

Голос автора – явление синкретическое, не представимое в чистом виде. Этот голос, если понимать под этим экзистенциальное намерение, заключенное в форме высказывания о предмете, не сразу нашел в прозе Иличевского своего «звукооператора», подчищающего и делающего склейки такой фонограммы. Голос и стиль ищутся взаимно, и я думаю, этот процесс никогда не может однажды считаться законченным. Мне не кажется, что голос и стиль на-

ходятся в подчинении, что голос – часть стиля, ведь бывает и наоборот, когда автору представляется стиль яснее, чем возможность говорить на его языке и тем более наделить им действующее лицо. Голос, конечно, просветляет и ориентирует стиль, способствует его уместности в ожидаемом мире и тексте.

У Иличевского поиски голоса получили свой творческий и даже издательский сюжет. «Дом в Мещере» и «Нефть» были приняты издательством довольно неожиданно для автора, и попутно писались другие вещи – «Случай Крымского моста» и «Бутылка», которые качественно меняли писательскую технику. Когда «Бутылка» была закончена, стало как-то понятно, что именно этот длинный рассказ может считаться тем удачным сочетанием стиля и голоса, характера и логики повествования, который хотелось бы закрепить или развить, удержать эту литературную «явь». Поскольку книга печатается не в мгновение ока и существуют обычные рабочие моменты в подготовке рукописи, одним словом, отпущено сколько-то времени и возможны вмешательства и перекройки, автор решил переписать все предыдущее с позиции более поздних результатов. В истории литературы такие случаи не редки, хотя на более отдаленных дистанциях, когда произведения разнесены периодами, сменой эстетических предпочтений (переделки Белого, Пастернака и Сельвинского), политическими обстоятельствами (передатировки работ позднего Малевича, выдававшего свое творчество конца 20-х за предреволюционное, извинительное) или рыночными ситуациями: например, «омоложение» картин Кирико, более ходового на своем начальном этапе. У Иличевского «переписывание» вызвано другим импульсом и осуществлено в зоне одного лабораторного стола. Это не просто взыскательность, это нервный накрут, дьявольская непримиримость к фальши, маниакальный перфекционизм. Это наглядное, спазматическое формирование, лепка индивидуальной манеры, когда внутреннее время, обеспеченное недостижимой свободой, катастрофически сжимается, при том, что внешнее – совсем не торопится, ведь российская хроника сравнительно однообразна: устоявшееся отсутствие эстетических новшеств, рутинный конформизм, обиходность чеченской войны, незавидный, зато стабильный имидж на мировой карте после развала империи и в общем «все как у людей». Хорошее время, чтобы прислушаться к голосу, к его возможностям. К самой природе этих возможностей. «Свобода первична по отношению к выбору», – говорит пациент хосписа Стефанов, альтер эго героя.

Алексей Парщиков
Январь, 2003

СОДЕРЖАНИЕ

Лаборатория сна. *В. Месяц* 9

Дом в Мещере. *Роман* 17

Нефть. *Роман*. 209

Бутылка. *Повесть* 329

Случай Крымского моста. *Рассказ* . . . 371

из цикла рассказов
«кто вернется в велегож»

Курбан-байрам 393

Кефаль 407

Перстень, мойка, прорва 410

Воробей 426

«Свобода первична по отношению
к выбору». *А. Парщиков* 434

Литературно-художественное издание

Александр Викторович Иличевский

БУТЫЛКА КЛЕЙНА

Редактор *Александр Седловский*
Художник *Владимир Сулягин*
Корректор *Виктор Ильин*
Компьютерная верстка *Илины Ян*
Рисунки на шмуцтитулах *Илины Ян*

Зав. редакцией *Е.Ю. Жолудь*
Редактор *Е.Л. Никифорова*
Художественный редактор *А.А. Неизвестнова*

Подписано к печати 22.06.2005
Формат $60 \times 90^1/_{16}$. Гарнитура Таймс
Печать офсетная
Усл. печ. л. 27,5. Усл. кр.-отт. 28,1. Уч.-изд. л. 29,0
Тираж 500 экз. Тип. зак.
Заказное

Издательство “Наука”
117997, Москва, Профсоюзная ул., 90
E-mail: secret@naukaran.ru
www.naukaran.ru

ППП “Типография “Наука”
121099, Москва, Шубинский пер., 6